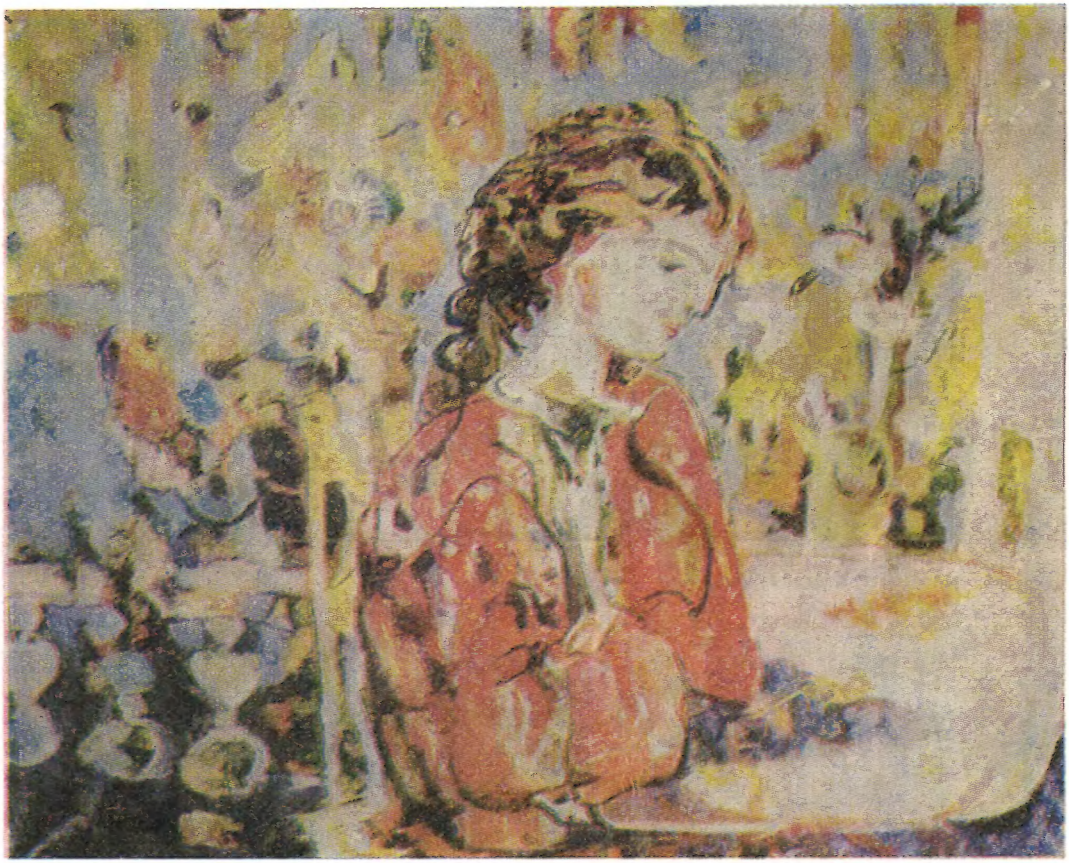
ISSN 0130 – 6545

3. 1981

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



РАКЕЛЬ ФАБРЕГА. Испания.
Портрет

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 1981

Март

Содержание

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ — Стихи последних лет *(Перевод с болгарского Лорины Дымовой)* 3

ЭДУАРДО ЛАБАРКА ГОДДАРД — Пароль *(Рассказ. Перевод с испанского Татьяны Балашовой)* 11

Из молодой прозы ЧССР

ИВАН ГАБАЙ — Мария. Стадо овец *(Рассказы. Перевод со словацкого И. Богдановой и Т. Мироновой)* 14

ЯН КОСТРГУН — Каникулы *(Повесть. Перевод с чешского И. Ивановой)* 33

АЛЕН БОСКЕ — Из цикла «Сонеты конца века» *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 71

ГЕРД ФУКС — Мужчина на всю жизнь *(Повесть. Перевод с немецкого Н. Литвинец. Послесловие Н. Португалова)* 76

Критика

Содействовать развитию культуры (Из выступлений участников VI конгресса МАЛК. *Переводы с английского и французского выполнены И. Гуровой и В. Зубовой)* 161

Взглянуть в лицо времени (Панорама: 70-е годы в литературах социалистических стран Европы. *Окончание)* 167

И. ГОЛИК — Нравственный императив доктора Кипенберга 182

Культура и современность

Заметки на полях

ЛЕОНИД ГОЛОВАНОВ — Свобода и ее социальный критерий 186

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Стародум из Индианы и прочие 189

Два репортажа

РЭЧЕЛ СКОТТ — Мускулы и кровь *(Перевод с английского М. Загота. Предисловие М. Лапицкого)* 194

ИРМТРАУД МОРГНЕР — Добраться до ядра... *(Перевод с немецкого А. Гугнина и Т. Холодовой)* 207

НОРМАН КАЗИНС—Резервы человеческого духа *(Перевод с английского Ф. Лурье)* 213

Наш календарь

К 110-летию Парижской Коммуны

В. СЕДЫХ — Творец пролетарского гимна 221

К нашим иллюстрациям

Л. Д. — Лиджия Маковей. С. Аленикова — Ракель Фабрега 227

Антирубрика

ДЖАННИ РОДАРИ — Аферы синьора Кота *(Перевод с итальянского Л. Каневского)* 228

ДЖАЛАЛ НУРАНИ — Рассказы *(Перевод с языка дари И. Багрова и В. Игнатьева)* 233

Наши гости

И. Багров — Юджин Нелсон (США). А. Веселицкий — Сильвана Де Видович (Италия) 239

Среди книг

Издано в СССР

Ю. Михайлов — Кризис манипуляции и другие проблемы ✦ Н. Смирнова — Связь времен ✦ Виктор Топоров — Книга раздумий 242

Издано за рубежом

«Чтобы жить, нужна человечность». Никита Разговоров — Продолжение преследует. Лев Токарев — Самоучки тревоги ✦ Д. Урнов — Правнук президента 248

Из месяца в месяц 257

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы румынской художницы ЛИДЖИИ МАКОВЕЙ.

© «Иностранная литература», 1981.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

Стихи последних лет

■

С болгарского

Чувство истории

Семафор вспыхнул зеленым светом —
Как настежь распахнутое окно...

Только бессмертным на свете
чувство истории дано.

Чувство истории?

А мы, смертные?!

На перроне прощаясь,
целуемся мы старомодно —
поезд набирает ход...

Я знаю,
я знаю,
кто бессмертен.
Самый бессмертный —
это народ!

Как каждый влюбленный,
на ходу садишься,
врываешься
в тот хохочущий
и плачущий
жесткий вагон третьего класса.
Чувствуешь колени и локти.
Чувствуешь, как сквозь тебя
течет электрический ток
человеческих страстей.
И пронизывает поезд ночной —
это чудесное многоточие огоньков —
чувство истории.

© Любомир Левчев.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (род. в 1935 г.).

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Первый сборник его стихов «Звезды мои» («Звездите са мои») появился в 1957 г. С тех пор Л. Левчев выпустил много книг стихов, среди них «Дневник для сожжения» («Дневник за изгаряне», 1973), «Свобода» (1974), «Исход» («Изход», 1976).

На русском языке изданы книги «Громоотводы», «Пристрастия», «Заклинание»; неоднократно печатался в советской периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Предлагаемая читателю подборка стихов Л. Левчева составлена из двух его последних книг «Приветствие, обращенное к огню» («Поздрав към огъня», 1978) и «Отрывок» («Откъс», 1980).

История!
Так оба с тобою мы движемся дальше.
Ты движешься через себя
и через вселенную.
Выскакиваешь вдруг из туннеля,
пересекаешь заколдованный мост,
называемый «Сегодня»...
А под тобой сверкает река Лета...

Путник,
если ты вдруг ощутишь,
что тебя уже не пронизывает
чувство истории,
то знай, что ты потерял
связь с Бессмертным.
Значит,
ты сошел на каком-то случайном полустанке,
чтобы умыться
у придорожной проржавевшей колонки...
И
поезд внезапно умчался.
И стоишь ты один.
Только какая-то
цепочка огней
удаляется к звездным распятиям...

Нет!
Я не разминулся со временем!
И время не разминулось со мной.
Я слышу удары сердец —
это рельсы в ночи проверяют,
это в горах прорубают
туннели,
проходы к недостижимому.
Я еду в этом
переполненном поезде,
вдыхаю дерзость
рабочей усталости,
слушаю споры,
и сквозь меня протекает
и снова меня опьяняет
чувство истории.

Признание и приветствие, обращенное к огню

Поскольку меня пытает
мое же несовершенство,
я не в силах больше терпеть
и признаюсь...

Признаю, что:
поэзия — это преступный эксперимент
по переводу
языка пульсации вечного космоса
на обыденный смертный язык
нашего сердца.

Признаю, что:
поэзия — это нахальное ведовство.
Поэзия позволяет
божеству

принимать облик
человека
и
отмечает людей,
обладающих божественным даром.

Признаю,
что было всегда мне известно:
за это ведовство
наказывают
сожжением на костре.

Итак —
да здравствует
наш поэтический,
животворящий и убивающий Огонь!
Я целую ваш пепел,
братья и сестры по костру,
и весь отдаюсь тебе,
моя красная,
воинственная любовь!

Трубач

Люблю сумерки.
Вечер,
как тот легендарный трубач,
окровавленный, но вечный,
играет отбой.
Мы не слышим...
Но слышат цветы.
Слышат миры
и появляются
на горизонте...
В этот час
ложись на теплую землю.
Пусть травы
ласкают тебя.
В этот час
пей звездный сок
медленными глотками.
И мысли тоже медленными глотками:
почему наши глаза так дальнозорки?!
Сейчас
я не слышу стука вечернего поезда,
что пролетает через долину,
унося мою молодость...
Сейчас
я не чувствую шевеления серебряной бабочки,
запутавшейся в моих волосах...
Я вижу Космос!
Зачем?
Это не функционально.
Зачем мы запрограммированы так,
что видим пространства невообразимые?
Зачем нам всматриваться
друг в друга —
мне и недостижимому?

Звезды!
Не вы ли гвозди вселенной?
Что же приколочено вами,
я не знаю...

Но через глаза мои
проходят,
как через ворота триумфальные,
полки победоносные созвездий
и славят
мать-бесконечность...

И вот во мне
усталость умирает.
И жажду
ощущаю вновь.

Перевод Е. ВИНОКУРОВА

Беспечная песенка

Поэт,
теперь забудь, что ты поэт,
и поступи, как летчик поступает.

Когда бушует буря,
когда от ненависти небеса горят
и гибель шлет свои сердечные приветы,
а круглые иллюминаторы —
как ореолы без святых...

Поэт,
открой бесшумно дверь в салон
и мимо всех пройди,
спокойно улыбаясь,
с беспечной песенкой
пройди...

Поэт...

В тот миг ты должен думать о ребенке:
почти невидимый,
он смотрит на тебя
в щель между креслами...
и держится с надеждой
он за руку твоей улыбки...
Сейчас ты бог,
поэт.
И ты велик!..

Но если помнишь о ребенке
в этот миг.

Свинцовый тост

Есть такая
ночная
игра —
придумал ее Сатана:

раздается звонок телефонный,
как крик вороний...

Он тебя, оловянный солдатик,
вырывает из сна.
И, вскочив,
ты трубку не можешь найти, как назло.
А потом,
с допотопным пониманием долга,
жалобно восклицаешь:
— Алло!.. Алло!..—
терпеливо и долго...
Но с другой стороны —
глухое молчание.
И ты слышишь дыханье зловещее.
Только дыхание...
В адский барабан бьет кровь отчаянно.
И ты поклясться готов головой:
это не сон,
не ошибка случайная,
а игра беспощадная —
стрельба по цели живой.
Так что —
спокойно!
Кто-то тебя испытывает.
Кто-то тебя подслушивает
из глубин бесконечности.
Быть может,
твоя любимая,
давно забытая?..
А может быть,
Смерть
тебе подает сигналы из вечности?

А теперь
трубку на стол положи.
Но не вздыхай устало.
Зажги все лампы.
Включи магнитофон.
Налей доверху
два гордых
бокала...
И склонись над листом —
это твой трон!
Потому что
в этот
отравленный час
я стихами
хочу заплатить долги.
Я тост предлагаю.
Я пью за вас —
мои
верные
враги.
Враждою своей вы вдохнули невольно
подъемную силу в крылья мои.
Будьте талантливы!
Будьте достойны!
Чтобы сладко мне было
выигрывать
бои...
Знакомые
и незнакомые,
будьте здоровы!

Пей, оловянный солдат,
до дна!
Нас
друзья
забывают порою,
Но враги —
никогда!

Каприз № 9

Спускался
я с горы,
когда увидел,
как опускаются они с небес.

Блестяще белые. Немыслимо красивые.
С кровавыми меридианами.
И купола их трепетали
над новыми мирами
и вокзалами,
над новыми полями
и над новыми...

— Смотри-ка, сколько парашютов! —
воскликнул старый дровосек.—
А может, началась война?!

Но я-то знал, что это твои храмы,
мой фантастический Двадцатый век.
Они невидимы —
видны лишь купола.
Те храмы созданы из чистых мыслей,
свободы ясной,
безрассудной логики,
из уравнений
и откровений...

Ты в этих храмах
нас учил, Двадцатый век,
ни перед кем
в молитве
не склоняться.

— Смотри, уселись, словно куропатки! —
воскликнул старый дровосек.

И я увидел купола увядшие.
Увидел я исчезнувшие храмы.
Себя увидел
далеко внизу...

Уходишь ты, Двадцатый век!
Один полет.
Один прыжок с небес...

И двадцать лет всего лишь остается.

Слово «каприз» — кроме прихоти, своенравия и вида пирожного еще обозначает и вид художественного произведения. Музыканты предпочитают, очевидно, итальянский вариант — каприччо, здесь и скрипичные жемчужины Паганини, и такие произведения, как симфоническая панорама «Итальянское каприччо» Чайковского. Франсиско Гойя назвал свою саркастическую серию гравюр «Капричос». Я использую слово «каприз» (франц.), поскольку оно меньше всего похоже на художественный термин. Небезынтересно вспомнить, что латинский корень этого слова «сарга» обозначает — «коза», что, видимо, связано с демоническим началом искусства *(здесь и далее — прим. автора).*

Покинутые храмы

Сердце без любви похоже
на храм без бога.
Узнав, что храм пустой,
соседи
в него войдут
и унесут украдкой
от алтаря дощечку,
черепицу
и лампаду...
Все это просто так, на память!
А вслед за ними
и грабители нагрянут.

Сердце без любви
испытывает только радость,
когда его нещадно грабят...
Но страшно видеть храм опустошенный!

Тогда, пожалуй, надо слух пустить,
что привидения
в храме поселились,
что бродят по ночам с ножом в руке,
а днем
качаются на люстрах...

И жди теперь,
что грянет гром небесный
и храм твой брошенный
сгорит неосквернённым.

Рабочая кровь

Воротник у души моей — синий.
Кровь, которой пишу,
красная.

По вселенной, застывшей в напряженье опасном,
пройду,
как безумье любви,
как гнев справедливый.

Только день имеет право на ночь!
Только труд имеет право на праздник!
Верю в эти громкие фразы.
Плох я
или хорош —
таким меня сделала,
заявляю я вновь,
ты —
моя потомственная
рабочая кровь.

Я бы хотел быть строителем —
мосты возводить эпические
над подступающим
отчаянием...
Я бы заново сотворил мироздание...

Я бы хотел быть литейщиком —
выплавлять твердые души
и прочные сплавы.

Я бы хотел...

Но кровь моя повелевает
сражаться —
и вовсе не ради славы.

Но что за сражение?
Где баррикады?
Будь прилежен.
Делай доклады.
Будь чиновником.
Очутись в пекле ада.
Так...
Но останься
восторженным, чистым.
Пиши своей кровью.
Будь балладой.
Будь поэтом и коммунистом.

Нашего времени коммунисты,
и ныне идем мы путем тернистым.
Коммунисты у власти.
В застенках тюрьмы.
За все на земле отвечаем мы!

Коричневой, желтой отравой нас травят,
считают, что делать прогнозы вправе:
«Не трогайте их!
Не нужно уколов!
Предоставьте их собственному расколу!»

А крайности незаметно смыкаются,
и в кругу заколдованном бывает порой,
что неверная пуля назад возвращается
и проливаешься
ты —
рабочая кровь...

Ты — гемоглобин сегодняшнего дня.
Ты — чернила всеобщей истории.
Ты во мне говоришь, суровая,
языком похищенного огня.
Ты великой тревоге учишь меня.
И если мечтаю я о космических восстаниях
и на риск в любую минуту готов,
я этим обязан тебе —
искусство мое,
наследство мое,
мое завещание —
рабочая кровь!

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

Синие и белые воротнички — это термины, которыми современные социологи пользуются, обозначая рабочих и интеллигенцию. В моем роду по материнской линии три поколения были железнодорожными рабочими, начиная еще со службы на железной дороге барона Хиршова.

«Оставьте их самим себе!» — эти зловещие слова в адрес наших социалистических стран принадлежат Уинстону Черчиллю, о котором трудно сказать, что он «любил» больше — коммунизм или Болгарию.

ЭДУАРДО ЛАБАРКА ГОДДАРД

Пароль

РАССКАЗ

Перевод с испанского ТАТЬЯНЫ БАЛАШОВОЙ

Водитель нажал на рычаг, и двери захлопнулись; ему не терпелось поскорее избавиться от этого настойчиво преследовавшего его взгляда. Но, ведя машину дальше, по направлению к югу, он все еще чувствовал на себе взгляд черных, блестящих, напоминавших плоды маки[1] глаз девочки, горевших на ее пепельно-бледном лице, иссушенном болезнью, взгляд маленького существа, устремленный на него из-за плеча выходившей из автобуса женщины. А в ушах у водителя все еще звучал ее плач, жалобный писк только что появившегося на свет котенка.

Поставив сумку на землю, женщина остановилась, пытаясь сориентироваться на пересечении дорог у въезда в город. Она смотрела, как зеленый «глаз» светофора сменяется желтым, затем — огненно-красным, сверкающим на фоне пышно-белых облаков этого осеннего вечера.

«Напротив вас будет светофор, единственный светофор в городе — ошибиться невозможно. Справа от него — улица, по ней вы и пойдете».

И женщина отправилась, даже не чувствуя порывов ветра, раскачивающих тополиные ветви у нее над головой, не ощущая наступающей прохлады; не слыша ни звука собственных шагов по шелестящим листьям, ни позвякиванья серебряных шпор на обуви крестьян, проходивших мимо... Ничего не чувствуя и не слыша, она мысленно повторяла полученные инструкции, и вся ее воля была сосредоточена на их выполнении.

Пройдя второй квартал, женщина, как ей и говорили, повернула налево и прочла на жестяной табличке название улицы — Мануэля Родригеса, как раз эта ей и была нужна; она даже не заметила, что по дороге прямо на нее двигалась повозка с вязанками хвороста, запряженная двумя пятнистыми волами; возница, совсем мальчик, казалось, крепко спал. Женщина снова искала взглядом табличку на стене дома, ведь ей объяснили, что она должна быть именно здесь; и действительно — вывеска «Гаражи Аргентины». А напротив, точно так, как ей и говорили, возвышалась голубоватая стена с номером дома 321, именно этот дом и искала женщина: наконец-то она могла пе-

[1] Разновидность кустарника.

ЭДУАРДО ЛАБАРКА ГОДДАРД — EDUARDO LABARCA GODDARD (род. в 1938 г.).

Чилийский журналист и прозаик. В настоящее время живет в эмиграции. Автор ряда публицистических работ, наиболее известны из них книги «Захваченное Чили» («Chile invadido», 1968), «Чили в огне событий» («Chile al rojo», журнальный вариант опубликован в «ИЛ», 1971, № 11), «27 часов с Корваланом» («Corvalán, 27 horas», 1973) и др. Публикуемый рассказ получен в рукописи.

редать информацию, ту тревожную информацию, которую сообщили ей рано утром товарищи мужа; они пришли в семь часов утра к ней домой и потребовали выехать немедленно, она же твердо ответила, что никак не может: больна девочка, у нее жар, что-то с желудком, ведь ребенок просто умрет у нее на руках; но ей сказали, что вопрос стоит о жизни и смерти многих, что накануне снова начались облавы, задержаны уже десятки, а может быть и сотни, людей и с каждым часом число арестованных растет; ей сказали, что настал момент кровопролитного сражения, враги уже перешли в наступление и будут стараться прежде всего схватить связных, чтобы потом, подвергнув пыткам, расправиться с ними; «гориллы» все берут под контроль и везде расставляют ловушки.

Ей объяснили, что наиболее уязвима из подпольных организаций — организация на юге, она может быть раскрыта в любой момент, и спасти ее надо любой ценой. Теперь вся надежда только на нее, поэтому она должна обязательно ехать, чтобы предупредить товарищей и передать уже отпечатанные листовки, в которых сообщалось о начавшихся облавах и арестах. Руководителям организации придется скрыться, уйти в подполье и, предупредив связных, прекратить всякую деятельность; а она, если захочет, сможет остаться там, на юге, ее поселят в какой-нибудь деревне, где она отдохнет, да и девочке пойдет на пользу свежий воздух.

— Дома ли хозяин?

Старушка попросила подождать. Остановившись возле двери, женщина с тревогой взглянула в горящие лихорадочным блеском глаза дочери. «Сегодня нам везет. Только что мы спаслись благодаря тебе. Все будет хорошо, ты скоро поправишься». И женщина облегченно вздохнула, вспомнив, какой страх охватил ее час назад, когда в Ангостуре их автобус был остановлен и какие-то люди начали обыск пассажиров. Один из них потребовал для осмотра ее сумку и неторопливо, как бы испытывая ее терпение, начал вытаскивать оттуда соску, пеленки, детский розовый жилетик, вынул также и маленький, сотканный на ткацком станке чоапино[1], который она везла, чтобы подтвердить пароль; все это он тщательно перетряхивал, рассматривал, а когда снова — прямо по локоть — засунул руку в сумку и пальцы его, казалось, вот-вот коснутся спрятанных на дне листков, девочка вдруг заплакала. Обернувшись, агент встретил воспаленный, настороженный взгляд ребенка. Охваченный новым подозрением, он отбросил сумку и, шагнув к девочке, просунул руку в пеленки, но тут же ее отдернул, как будто кто-то укусил его за палец.

— Хоть бы помыла свое поганое отродье! — заорал он и, чертыхаясь, удалился.

Но вот перед женщиной открылась дверь. Мужчина с чуть тронутыми сединой усами приветливо обратился к ней:

— Добрый вечер. Что вам угодно?

— Здравствуйте. Вы не купите у меня чоапино?

Мужчина внимательно смотрел на нее, а она ждала ответа на пароль: «Куплю, конечно. Заходите».

Но мужчина все молчал, и его удивленный, недоверчивый, даже слегка раздраженный взгляд скользнул по женщине, по ребенку, по сумке, что была у нее в руках, и вновь устремился на пришедшую. Казалось, он вот-вот пригласит ее войти, и она уже хотела переступить порог, но хозяин дома вдруг помрачнев, резко сказал:

— Нет, я не буду покупать...

И дверь тут же захлопнулась. Женщина застыла в каком-то оцепенении. Как старая, проржавевшая машина, она с трудом заставила себя сдвинуться с места, ноги ее не слушались; она бесцельно побрела по тропинке, прижимая девочку к груди и вцепившись в ручку

[1] Тип индейского ковра.

сумки. Женщина подумала, что пришла слишком поздно — дом превратился в ловушку, и этот усатый мужчина, быть может, полицейский. Почему же они сразу не задержали ее? Наверное, хотят выследить. Им просто неведомо, что идти-то ей некуда... Женщина не знала никого в этом городе. Даже денег на обратный билет у нее не было. И кроме того, ей приказали не возвращаться домой, в столицу. Возможно, сейчас в квартире уже засада и ее подстерегают там... Скоро совсем стемнеет. Приближался комендантский час: вот-вот начнут задерживать прохожих, стрелять. А она с младенцем на руках и с пачкой листовок, спрятанных на дне сумки... Куда же ей направиться, где найти приют?..

Нарушив инструкции, женщина вернулась обратно и снова постучала; она заметила, как чья-то рука приподняла край занавески. За ней наблюдали. Дверь открыл все тот же усатый мужчина, и она осмелилась произнести:

— Простите... Я приехала из столицы... Мне сказали, что вам я смогу продать чоапино. Сейчас уже поздно возвращаться, а мне с девочкой негде переночевать. Она больна, у нее жар...

Мужчина колебался, но все же открыл дверь, чтобы пропустить их. И тут его взгляд встретился с пристальным взглядом карих глаз девочки. И ему вспомнились другие глаза, такие же темные, как эти, умные, пламенные и в то же время нежные... Взгляд их мог быть не только веселым, но и твердым, обжигающим, совсем как у этого ребенка... Это было первого января, семь месяцев назад: руководитель организации, воспользовавшись тем, что в праздничные дни полиция менее бдительна, прибыл сюда, чтобы создать новый центр южных провинций. И мужчина отчетливо, как будто это происходило вчера, вспомнил выражение непреклонности в его глазах, когда он произнес: «Нарушить правила предосторожности — значит совершить преступление против всей организации».

Они уже прощались с этим мужественным человеком, обмениваясь пожеланиями счастья и скорой победы, как он вдруг сказал: «Новый год начался для меня очень удачно: сегодня утром мне сообщили, что у меня родилась дочка. Только вот не знаю, когда я смогу ее увидеть...». А через неделю стало известно, что его схватили — видимо, кто-то нарушил все-таки правила конспирации; и до сих пор о нем ничего не слышно.

— Я же ответил вам, сеньора, мне не нужны чоапино. Не надо настаивать.

Дверь захлопнулась, и женщина снова побрела неизвестно куда, чувствуя, как безумный страх заполняет все ее существо.

Вдруг она услышала тихий стук приотворяемой двери и осторожные шаги у себя за спиной; она замерла, парализованная ужасом, предчувствуя каждой клеточкой тела, что сейчас хищные руки схватят ее, вырвут ребенка... Голос мужчины окликнул:

— Подождите, сеньора... Какого числа родилась ваша девочка?

— Первого января.

— Это дочь Виктора?

— Да...

Тогда он взял ее под руку и повел к дому; когда они вошли, мужчина взволнованно спросил:

— Но почему же вы говорили, что продаете чоапино, когда должны были сказать: «Я покупаю чоапино»?

Только тогда женщина поняла, в чем дело.

— Мне так передали... Кто-то ошибся... какая-то неточность...

И всю ее захлестнула волна облегчения. Мужчина улыбнулся. На него по-прежнему был устремлен пристальный, горящий взгляд девочки, обжигающий взгляд черных как смоль глаз.

■

Из молодой прозы ЧССР

ИВАН ГАБАЙ

Мария

Раннее-раннее утро, едва начало светать.

Мария садится в постели, привычно нашаривает ступнями домашние тапочки и, сунув в них ноги, тут же встает и направляется в кухню.

А немного погодя она с сумкой в руках уже спускается по деревянной лестнице. Ступеньки страдальчески кряхтят, как будто несут бог весть какую тяжесть, а не щуплую, невесомую Марию, которая даже не ступает, а скорее парит над ними, лишь изредка чуть касаясь их носками туфель.

Ступени скрипят, и под ними, в комнатушке с окном на темный двор, просыпается сапожник Кршка. Не успеет глаза протереть, как начинает кашлять. Кашляет он долго, очень долго, то и дело кашель переходит в хрип, душит его. Наконец приступ кашля проходит, Кршка открывает окно, высовывается наружу и глубоко дышит. Когда ему полегчает, он втягивает голову обратно в комнату, шарит рукой по столу и, найдя, что ищет, по обыкновению вместо завтрака закуривает «Детву» [1].

Мария спускается к калитке, берется за ручку, но калитку не открывает. Она прислушивается к кашлю Кршки и стоит у калитки до тех пор, пока не услышит скрип отворяемого окошка. Только убедившись, что приступ кашля кончился, она выходит на улицу.

Мария идет по булыжной мостовой. Улица в этот ранний час еще пустынна. Ноги сами ведут ее к примыкающему справа переулку, больше похожему на щель между двумя рядами обшарпанных одноэтажных домишек. Переулок, не более ста метров длиной, впадает в широкую асфальтированную улицу, которая выходит прямиком на площадь.

Утренняя тишина взрывается воробьиным гамом. Стайка неряшливых птиц срывается с крыши вниз, к самым ногам Марии. Воробьи

© Ivan Habaj, 1979.

[1] Сорт дешевых сигарет без фильтра.

ИВАН ГАБАЙ — **IVAN HABAJ** (род. в 1943 г.).

Словацкий писатель. Получил юридическое образование в университете им. Я. Коменского в Братиславе. Первый его сборник рассказов «На юге» («Dolniaci») появился в 1972 г. С тех пор писатель опубликовал пять сборников рассказов и роман «Колонисты» («Kolonisti», 1980). Рассказ «Мария» («Mária») впервые был напечатан в одноименном сборнике в 1976 г., рассказ «Стадо овец» («Kŕdlik oviec») взят из книги «Степные хутора» («Pol'né samoty», Bratislava, Smena, 1979).

затевают свару. Мария останавливается посмотреть на них. На лице у нее появляется улыбка. Робкая, застенчивая улыбка, но какой радостью светится тогда ее лицо! Если в этот ранний час кому-нибудь посчастливится встретить Марию, тот наверняка остановится, посмотрит на нее и затаит дыхание, чтобы ненароком не спугнуть выражение тихого блаженства, которым ненадолго озарилось ее лицо.

Мария, ветхая старушка из дома номер тринадцать, стоит посреди улицы, это она и все же не она!

В глубоких тайниках души хранится людское счастье. Из этих глубин бьют ключи воспоминаний, туманят взор, воскрешают молодость. Словно и не бывало десятилетий без родных людей, словно она опять та давняя Мария, что каждое утро, кроме воскресного, идет с бидончиком в молочную Стодулки, а оттуда спешит домой, чтобы успеть вскипятить молоко прежде, чем проснутся ребята, и потом бежать к Флайшерам, Гейне или Зеленакам, в зависимости от того, какой нынче день, и там до темноты стирать, драить паркет и делать все, что прикажет хозяйка... .

Воробьи как прилетели, так и улетели прочь. Вдруг их не стало. Улица сразу пустеет, и старушка продолжает свой путь. Она идет за молоком, которое уже давно не наливают в бидончики и продают даже не в бутылках, а только в полиэтиленовых пакетах.

Совсем рассвело. В конце улицы, из дома напротив магазинчика дешевого мяса, появляется мужчина с велосипедом. Мария узнает его. Это Петрашев парень, ну да, это сын покойного Петраша, ровесник ее сыновей, теперь мужчина под пятьдесят.

Петраш садится на велосипед, проезжает мимо Марии, здоровается с ней, она тоже что-то бормочет и оглядывается ему вслед. Она смотрит на его широкую спину, на гриву седых волос, и ей не верится, что перед ней тот самый Лайко Петраш из третьего «б», который когда-то утопил щенка в пруду и получил четверку по поведению. Нет, это уже не тот Лайко, что играл с ее сыновьями в футбол во дворе, этот немолодой дюжий мужик совсем другой человек, нет, это не он! Ее мальчики навсегда остались двадцатилетними, время пощадило их, они не обрюзгли, не отрастили брюшко, не поседели, не стали ни начальниками, ни желчными ворчунами, которые в полдневную жару выпивают по дюжине пива, а потом свирепеют и колотят своих жен. Нет, нет, ее сыновья по-прежнему стройные, веселые, светлокудрые. Как живые, встают они у нее перед глазами. В то давнее утро, налегке, в клетчатых рубашках, взбираются они на грузовик, где уже полно других мужчин, кивают ей и кричат что-то, чего она не слышит в реве мотора,— машина трогается и скрывается за углом.

Вот и переулок, Мария сворачивает в него. Здесь она прибавляет шагу. Не успеешь оглянуться, как эта темная щель уже позади и Мария на тротуаре.

И первым, кого она встречает по утрам, всегда бывает подметальщик улиц Штефан, который метет улицу и притворяется, что не видит Марию. Но ей-то отлично известно, что Штефан замечает ее, известно ей также, что, опоздай она хоть немного, он встревожится и не успокоится до тех пор, пока она не появится.

— Доброе утро,— говорит Мария.

— Здравствуй,— отвечает подметальщик и опускает метлу, которую занес было, чтобы смести мусор в кучу.

Некоторое время оба молчат, глядя поверх крыш на восток, откуда восходит солнце, еще невидимое за строениями, но уже высветлившее этот край неба.

— Хорошо ли спал? — спрашивает Мария немного погодя и напряженно ждет ответа, хотя заранее знает, что он будет отрицательным.

— Ох-хо-хо, какой уж тут сон,— вздыхает Штефан.

Какой уж тут сон, где они, прекрасные сновиденья, светлые грезы. Бывало, и он спал крепко и видел хорошие сны. Теперь же сомкнешь вечером глаза, а желанного забытья нет как нет. Глубокий, живительный, отрадный сон давно покинул его. С усталости и сморит иной раз, а все не спится по-настоящему. Приходит только дрема, без конца прерываемая страшными виденьями и призраками, не приносящая ни покоя, ни отдохновения.

Потолковав еще со Штефаном, Мария идет дальше.

Она выходит на площадь, где встречается уже много прохожих. Все они идут энергичным шагом, спеша на станцию. И Марии кажется, что им нет дела ни до птичьего пения, ни до голубого неба над головой. Очень уж им некогда, с горечью думает Мария, и ее подмывает крикнуть этим торопящимся людям, чтобы они остановились на мгновенье, перевели дух, улыбнулись и перемолвились с ней двумятремя словами. Но она ни за что не отважится сказать это вслух! По большей части это люди молодые, Марии не знакомые, да и они не знают Марию, живут на другом конце города, в новом микрорайоне и, встретив ее на площади, в душе недоумевают, зачем эта старушка поднялась в такую рань, нежилась бы еще под теплой периной...

Мария продолжает свой путь. И добирается наконец до углового магазина, в котором, сколько она себя помнит, всегда торговали молоком. Молочная Стодулки. И по сей день люди называют этот магазин не иначе как по имени его бывшего владельца. Хотя где теперь старик Стодулка, о нем давно ни слуху ни духу, думает Мария.

Молочная уже открыта. И оказывается, Мария не самая ранняя пташка. Двое мужчин опередили Марию. Одного из них она признала. Зовут его Подградский, долгие годы он был здесь полицейским и однажды первого мая, вернее, в ночь с тридцатого апреля на первое мая до крови избил ее сына Ферко, тогда четырнадцатилетнего сорванца, за то, что он писал мелом лозунги на стенах. Какой смиренный этот Подградский, как невинно выглядит, думает Мария. Старичок с кротким взглядом, добряк, которому всякий воспитанный человек уступит место в автобусе... И у Марии вдруг начинает кружиться голова, она прислоняется к стене и думает о том, как несправедливо распорядилась природа, придав людям вроде Подградского такой благообразный вид на старости лет. Разве не жестоко, что время окутывает пеленой старости и тех и других. Одинаковой пеленой, до того обманчивой, что молодые часто не могут разобраться, кто есть кто, и случается, судят о человеке превратно.

— Вам плохо?

Это спросил второй мужчина, помоложе. Он торопится на поезд и забежал сюда купить себе свежих булочек на завтрак. Мария тотчас берет себя в руки, ей даже совестно, что она вдруг расклеилась.

— Нет, нет, голова что-то закружилась,— отвечает она и придвигается к прилавку. — Просто головокружение, со мной это часто бывает,— лепечет она, и ей удается в конце концов убедить мужчину.

А Подградский торопливо забирает покупки, выходит из магазина и исчезает из виду.

Уходит и второй, и в магазине остаются только Мария да продавщица.

— Ну что, бабушка, литр или два?

— Два, нынче я беру и для Кршки.

— А почему он сам никогда не приходит? — спрашивает продавщица.

— Ему, бедняге, трудно ходить, на левую ногу и ступить не может как следует,— говорит Мария. — Да и весь он такой хилый да слабый, и легкие у него никудышные, то и дело хворает.

— С чего бы это?

— Старость.

— Стало быть, потому и за молоком не ходит.

— А сапожник он редкостный,— продолжает Мария. — Золотые руки, и берет дешево!

— Что еще? — спрашивает продавщица и кладет на прилавок два прозрачных пакета молока.

— Четвертинку хлеба. Вон того, темного, он вкуснее,— улыбается Мария. Потом складывает продукты в сумку, ждет, пока продавщица даст сдачу, и потихоньку выходит.

Домой Мария идет другой дорогой. С площади она сворачивает налево, проходит мимо нового универмага, мимо пекарни, откуда с раннего утра разносится невыносимо аппетитный запах свежеиспеченного хлеба и сдобы, не преминет заглянуть в окошко табачного киоска и поздороваться с киоскершей Дорой. Потом замедляет шаг и медленно приближается к одноэтажному зданию, на фасаде которого чернеет небольшая мраморная доска.

Прежде Мария возвращалась из молочной не этим путем, ведь переулком домой короче. Она стала ходить этой дорогой только с тех пор, как на стене повесили эту памятную доску. Да, с того дня Мария возвращается из молочной домой более длинным путем и каждый раз немного постоит перед этим одноэтажным домом...

В середине длинного столбца Мария находит свою фамилию. Две строки подряд содержат почти одинаковые данные. Одна и та же фамилия, одна и та же дата рождения и смерти. Только имена разные.

Марии вспоминается один давний случай. В тот день она, как и сегодня, стояла перед памятной доской, как вдруг рядом остановилась незнакомая молодая пара. То ли влюбленные, то ли супруги. Они стояли молча, внезапно молодая женщина сказала: «Глянь, какое совпадение! Родились в один и тот же день, умерли в один день и фамилии одинаковые...». Она запнулась и тут же воскликнула: «Да они братья!» — помолчала, осмысливая скупые сведения на памятной доске, и в ужасе прошептала: «Это двойняшки, конечно, это были двойняшки». В ее голосе слышался безотчетный страх будущей матери.

Мария стоит перед мраморной доской, не решаясь расстаться с ней. И прежде чем двинуться в путь, она еще раз улыбнется своим мальчикам и неслышно что-то скажет им на прощанье. И пойдет дальше, а душа ее уже полна радостным ожиданием завтрашнего утра.

Старый квартал города представляет собой сеть параллельных и поперечных улиц, застроенных небольшими двух-, трехэтажными домами, которые явно доживают последние дни. Им уже нечего и надеяться, что они снова воспрянут и заживут как в былые времена, когда в их глубоких и узких дворах с утра до вечера стоял шум и гам чумазой детворы.

Где нет молодежи, там нет и маленьких детей. А молодых не соблазняет жизнь в сырых квартирах с одной комнатой и без удобств. И куда больше манят залитые солнцем многоэтажки, хоть новые кварталы и расположены далековато, за кладбищами, вдоль реки, на окраинах города. А те из молодых, кому все-таки приходится временно жить в старом квартале, с легким сердцем покидают его, как только представится возможность переселиться в долгожданные многокомнатные квартиры — пусть там квартплата и выше в два-три раза, да зато не таскать уголь из подвала, не выносить золу, не греть в кастрюле на плите воду для умывания.

И старый квартал постепенно пустеет. В квартирах, еще не так давно набитых до отказа, вдруг становится просторно. В одной квартире живет одинокий старик, в другой остались двое, а в некоторых и вообще никого. Недалеко время, когда старый квартал начнут сносить. Рабочие сломают стены, грузовики вывезут мусор на свалки. Экскаваторы и бульдозеры выроют глубокие ямы, зарокочут бетономешалки, в ямах забелеют фундаменты. Потом дело пойдет еще быстрее. Монтажники скрепят панель с панелью, квартиру с квартирой.

И вот через две-три недели на месте убогих домишек вознесется стройная многоэтажная башня, за ней вторая, третья...

А Мария тем временем опять вышагивает по булыжной мостовой своей улицы. Не спеша она приближается к дому номер тринадцать, узкий фасад которого, когда-то давно покрашенный в желтый цвет, слинял от дождей и ветра, прокоптился дымом печных труб, так что ныне передняя стена дома испещрена разноцветными пятнами, и только над окнами сохранилась полоса желтой краски.

Дом номер тринадцать, в отличие от прочих, стоит не у самого тротуара, а чуть поодаль, в глубине двора. Этот небольшой промежуток нарушает прямой строй домов по левой стороне улицы и делит ее пополам.

Между домом и тротуаром зеленеет площадка в пятнадцать квадратных метров, где испокон веку росли одни лопухи и крапива. Зажатый с трех сторон стенами, непродуваемый клочок бесплодной земли Мария как-то весной обработала и с той поры не давала ему пустовать.

Вдоль тротуара она насадила кустики роз. Обрезала их и придала им вид живой изгороди, отделявшей цветник от улицы. И хотя не раз, бывало, пьяницы или озорные мальчишки разоряли палисадник, Марию эти выходки не расхолаживают. Она опять высаживает рассаду, поливает, выпалывает сорную траву и терпеливо ждет, когда распустятся цветы.

Мария подходит к дому, отворяет тяжелую, окованную железом калитку и вступает в узкий дворик. Солнце тут редкий гость. Лишь во второй половине дня, показавшись справа из-за башни костела, оно осветит и уголок под окном Кршкиной комнатушки. Но и тогда не слишком балует эти места своим сиянием. Через час оно заходит за гребень крыши на противоположной стороне улицы и больше в этот день уже не появляется.

Марию обдает запахом старья и плесени, но она воспринимает его совсем иначе, нежели тот, кто здесь не живет. Она не отворачивается, не морщит нос. Тяжелый этот дух встречает ее десятки лет, она с ним свыклась и без него не мыслит своего дома.

Мария осторожно ставит ногу на нижнюю ступеньку, потихоньку поднимается на цокольный этаж, и ступени вновь покряхтывают. Но теперь в их ропоте уже нет той пронзительности, как спозаранку, когда она спускалась по ним вниз. День уже наступил, город проснулся. С оживленных улиц сюда доносится отдаленный шум, смесь самых разных звуков накладывается на скрип ступеней, приглушает их старческие стоны.

Мария поднимается на небольшую галерею, проходит мимо первой квартиры, которая уже больше года пустует. С того времени, как она поселилась в этом доме, в первой квартире сменилось множество жильцов. Последним здесь жил чудак Карасевич. Сначала Мария не могла привыкнуть к странному соседу, который неделями не произносил ни слова, в ответ на приветствие только молча кивал головой, тут же устремлялся на улицу, в город и потом целый день в доме не показывался. Да, как и в любом другом городе на свете, и в этом испокон веку не переводились чудаки. В одни времена по его улицам бродил один-единственный чудак, в другие же, неведомо почему, чудаки водились в изобилии, и городские жители могли потешаться над целой оравой чудаков сразу. Но и тогда, когда их было много, всегда какой-нибудь один превосходил по части чудачества всех прочих.

Карасевич долгое время принадлежал к подавляющему большинству почтенных граждан города. И лишь на склоне лет очутился среди тех, кто чем-то отличался от большинства, а посему и слывет у этого большинства если не полоумным, то по крайней мере чудаком. Причем на том этапе жизни Карасевича людей коробило в нем

только одно: после скоропостижной смерти своей жены, худосочной польской еврейки, которая так и не научилась говорить по-словацки, он совершенно опустился. Не подстригал волос, не брился, и в стужу, и в жару его вечно видели в одном и том же черном суконном пальто до пят. Карасевич никогда не отличался разговорчивостью, только прежде это мало кому бросалось в глаза. Когда же он стал привлекать внимание своим внешним видом, тогда и его немногословие начали считать одним из проявлений чудачества.

С раннего утра он маячил на улицах старого города. Простоволосый, он шагал из переулка в переулок, долгополое черное пальто путалось у него в ногах, мешая ходьбе, но он этого не замечал. С развевающейся гривой седых, до плеч, волос он бродил и бродил по городу. По нескольку раз он проходил по одним и тем же местам, озираясь кругом, словно кого-то искал и не мог найти.

Потом, притомившись, он выходил из узких улочек на площадь, останавливался перед костелом и, прижмурив глаза, наблюдал за происходящим вокруг.

На площади всегда было оживленно. С грузовых машин рабочие сгружали ящики с товарами, перед зданием городской библиотеки болельщики горячо обсуждали неудачи своей футбольной команды, подметальщики вовсю орудовали метлами, сметая мусор в кучи, со станции трусцой спешили деревенские бабы в широких сборчатых юбках и на площади разбредались по магазинам за покупками.

Карасевич молча созерцал все это, долго стоял и смотрел в одну точку, а потом вдруг, спохватившись, быстро пересекал площадь и, подхлестываемый снедающим его беспокойством, снова пускался кружить по улицам.

Со временем Мария привыкла к странностям Карасевича. И если иной раз утром сталкивалась и заговаривала с ним на улице, то даже удостаивалась ответа.

На улице Карасевич был не такой нелюдим, хотя случалось, что во время разговора с Марией он ни с того ни с сего замолкал на полуслове и без всяких объяснений и даже не попрощавшись, в одну секунду утратив ко всему интерес, вдруг поворачивался к ней спиной и уходил прочь.

Старый чудак умер год назад, и с тех пор эта квартира пустует. В следующей живет одна Мария, а сапожник Кршка, на сегодняшний день второй и последний обитатель дома номер тринадцать, занимает подвальную комнату под лестницей.

В конце галереи Мария останавливается, перехватывает сумку другой рукой, нагибается, вытаскивает из-под рогожки ключ, отпирает дверь и входит в кухню.

Она подходит к столу, выкладывает продукты из сумки и садится на стул. В ту же минуту опять раздается скрип ступенек, и следом за тем в кухонных дверях возникает сосед Кршка.

Сапожник здоровается:

— Добрый день, Марушка,— и, не дожидаясь приглашения, садится на стул у плиты.

Мария молча кивает вместо приветствия и только тогда возвращается к действительности (она все еще думала о Карасевиче).

— Я тебе молоко принесла,— она показывает на белый пакет на столе.

— Две кроны?

— Две.

Сапожник вынимает из кармана затрепанный кошелек, негнущимися пальцами вытаскивает оттуда мелочь и отсчитывает две кроны. Потом встает, кладет деньги на стол и опять возвращается к плите.

— Надела толстую кофту и все равно дрожу от холода. По утрам становится свежо.

— Да ведь осень на дворе,— отзывается сосед.

— Скоро надо будет топить.

— И не говори,— Кршка мрачнеет. Мысленно он уже представляет себе всю эту канитель с отоплением.

— Хорошо, что мы летом запаслись углем,— улыбается Мария.

— Почтальон приходил, молодой такой, в очках.

— Что ему было надо?

— Принес телеграмму Карасевичу.

— Телеграмму? — Мария крутит головой.

— Говорит, из-за границы.

— Кто же это ему послал?

— Я говорю почтальону, что Карасевич уже тут не живет, а он спрашивает, где его искать. Я говорю, поищи его там, за Фулковым лесоскладом, а он — в новом, дескать, микрорайоне? На кладбище, говорю, а бестолковый почтаришка — в каком корпусе, дескать? Слышь, спрашивает меня, в каком корпусе, ха-ха-ха.— Сапожник расхохотался.

— Телеграмма Карасевичу? — дивится Мария.

— Никак в толк не возьмет, думает, я ему про панельные многоэтажки, что за кладбищем,— продолжает сапожник.— Когда я сказал ему, что Карасевич помер, у него был вид как у ошпаренного. Потешный парень, этот почтальон,— говорит сапожник и закуривает сигарету.

— Я ни разу не получала телеграмм. А ты получал? — спрашивает Мария.

— Я? — Старик задумывается. — Как тебе сказать...

Оба некоторое время молчат. Первым заговаривает сапожник.

— А что, ничего нового не узнала? Будут сносить или нет?

Мария пожимает плечами.

— Столько домов сломать — не шуточное это дело. Мне все не верится, что это правда. Ведь на это уйму денег надо, —Кршка сомневается в достоверности слухов, которые уже не один год волнуют его, Марию и многих других обитателей старого квартала.— Может, и снесут, да только не все,— успокаивает он себя и свою собеседницу.

Мария молчит. Но речи Кршки задевают ее за живое. У нее в голове не укладывается, чтобы все это перестало существовать. Нет, старый квартал не может исчезнуть с лица земли, без него и город не город. Без этих сырых стен, за которыми она прожила пять десятков лет, не стало бы и ее, Марии. Здесь она родила сыновей, здесь около них старилась. Здесь она овдовела, сюда ей принесли извещение, что ее сыновья больше никогда не вернутся домой. Здесь каждый камень на мостовой ей знаком, и нет в старом квартале человека, который не знал бы, кто такая Мария, ее даже воробьи знают...

— Может, когда-нибудь и сломают,— наконец говорит она глухим голосом.— Только не теперь, лучше после, когда нас не станет. Придется им обождать, хорошо бы обождали, недолго осталось...

— Станут ли дожидаться? — Сапожник раскашлялся, и Мария замирает от страха, что его прихватит, как давеча.

— Не кури столько, в гроб себя вгонишь.

— Кабы подождали, дай-то бог.— Кршка забирает пакет с молоком и отправляется к себе.

Когда скрип ступеней стихает, Мария встает со стула. Включает электрическую плиту, ставит на нее кастрюлю с молоком и ждет, пока молоко закипит.

Мария стоит в палисаднике, растирает в пальцах черешок розы. Оглядев цветничок, она видит, что минувшая ночь пометила растения своим ледяным дыханием. Тронутые желтизной листочки и опавшие лепестки роз, привядшие, уронившие головки мелкие цветочки на клумбах, засохшие стебли — все говорит о том, что наступило время готовить цветник к долгой спячке.

Она проходит через весь палисадник к розовым кустам, обирает с них завядшие листья и складывает их в фартук. Потом выходит на тротуар и осматривает кусты с внешней стороны. Здесь желтых листьев еще больше. Недалек час, и эта ограда поредеет, из земли будут торчать одни черные веточки, и никто не подумает, что еще недавно они были густой изгородью.

Мария поднимает глаза и замечает вдали, на углу улицы, мужскую фигуру, которая кажется ей знакомой. Как только мужчина подошел ближе, Мария узнала его. Это же Подградский, опять он. Когда она встретила его утром в молочной, ей сразу показалось подозрительным его появление, ведь раньше он никогда не ходил за молоком, по крайней мере в молочную Стодулки...

Она лихорадочно соображает, войти ли ей во двор или остаться на улице. И решает остаться. Она заходит за кусты и нагибается к цветам. Собирает в фартук траву, листья, сухие стебли, делает все не спеша, времени у нее предостаточно.

Выждав, когда, по ее расчетам, Подградского и след простыл, она выпрямляется, поворачивается к улице и оказывается с ним лицом к лицу. Да, Подградский так и стоит на тротуаре и терпеливо, с каким-то странным выражением во взгляде ждет, когда Мария повернется к нему.

Он почти беззвучно здоровается, по-прежнему глядя на нее с тем же непонятным, будто виноватым видом.

Мария подходит к краю палисадника, опускает руки, отвечает старику:

— Добрый день,— и, увидев, что у Подградского явно отлегло от сердца и напряжение спало, спрашивает: — Что, пан Подградский, погулять вышли?

Она произносит эти слова спокойно и непринужденно, точно обращается к доброму знакомому, с которым долгие годы видится изо дня в день, а не к человеку, мимо которого она столько раз проходила молча, не удостоив взглядом.

— Днем еще хорошо, а ночи уже холодные. Вон и цветы облетели, посмотрите, во что превратились,— она показывает рукой, в которой все еще зажаты сухие стебли, на умирающий цветник.

Подградский слегка поворачивает голову и так же тихо, как вначале, говорит:

— До времени зима наступает, торопится. Долгая будет...

— Не люблю я зиму, зимой кругом голо, время тянется бесконечно.

— А кто ее любит? — откликается Подградский.— Разве что дети...— Он задумывается.

— Нет, не люблю я зиму,— повторяет Мария, но мысли ее уже заняты другим.

И Подградский это чувствует.

— До свиданья,— бормочет он, поворачивается и медленно уходит, откуда пришел.

Мария стоит у изгороди и смотрит вслед удаляющемуся старику. А после, когда Подградский, зайдя за угол, скрылся из виду, жалость, которую он возбуждал в ней только что, отхлынула и сменилась совсем другими чувствами. И все ощутимее угрызения совести, что при виде его она дала волю жалости, пустилась в разговоры с этим человеком, причинившим горе стольким людям...

Ей становится не по себе, мысленно она стократно, тысячекратно вопрошает: господи боже, почему мне пришлось опять все выстрадать, господи, за что мне такое наказание?

Так Мария терзается весь остаток дня, до поздней ночи, пока ее не сморит благословенный сон.

Перевод со словацкого И. БОГДАНОВОЙ

Стадо овец

Перед полуднем в поселок прибыли два автобуса. Первый подъехал прямо к школе, второй остановился на окраине. В этот второй сели жители нижней части поселка. Дети, женщины, старики, старухи и все остальные, кому следовало уехать в первую очередь, организованно подчинились распоряжению комиссии по эвакуации и быстро заняли места в автобусе. Довольно скоро автобус тронулся в обратный путь.

Проехав метров триста, он еще раз остановился и подобрал пожилую, лет шестидесяти, женщину, которая ожидала автобуса на обочине дороги. Едва она заметила выползающий из-за стены зеленых ветвей автобус, как быстро подняла с травы потертый чемоданчик, пузатую матерчатую сумку и вышла на дорогу.

Женщину провожал рослый, немного сгорбленный, примерно такого же роста, как и она, мужчина. Багажа у него не было. Увидев, как ей трудно справиться с поклажей, он взял у нее вещи и сказал:

— Дай, я подам их тебе прямо в автобус.

— Так я еще раз говорю, если что, бросай все как есть и приезжай ко мне! — поспешно отдала женщина последнее распоряжение.

— Ты будешь у Йозефины?

— Конечно. Зачем обременять чужих людей, лучше поеду к ней,— ответила женщина.

Двери автобуса распахнулись.

— С богом,— сказал мужчина, поставив вещи в автобус.

— Регор, ты не едешь с нами? — раздался чей-то голос.

Он отрицательно покачал головой и остался стоять на шоссе.

Когда автобус исчез за деревьями, Регор сошел с шоссе на проселочную дорогу и направился в сторону дома.

Дорога шла вдоль сада, отгороженного от нее ветхим забором из досок, сучьев и хвороста; с противоположной стороны сад не был огражден: там волнами переливалась высокая трава, так что трудно было точно определить, где кончается сад и начинаются кооперативные луга.

В саду росли фруктовые деревья. Ближе к шоссе — яблони и вишни, за ними — развесистые черешни разных сортов. На одних, в богатой развесистой кроне, краснело множество спелых ягод, на других ягоды были еще зеленые, на третьих, с ободранными листьями, плоды уже явно были собраны.

Более отдаленную треть сада занимали низкие, благородные сорта персиков и абрикосов. Эти деревья были моложе всех остальных, и только любитель-садовод тотчас бы заметил, что именно им хозяин уделяет основное внимание.

На краю сада стоял дом и за ним, в конце небольшого двора,— кирпичный хлев и разные хозяйственные пристройки.

Во дворе росли три могучих ореха. Один раскинул большую часть своих ветвей над проселочной дорогой, проходившей рядом с домом, другой погрузил в тень ту часть двора, которая была около колодца. Третий орех рос в конце двора, рядом с хлевом, опуская ветви на его крышу и царапая ее во время ветра. Иногда такие ветви обрубали, отчего крона ореха становилась еще более пышной.

Личные владения этого дома кончались сразу же за хозяйственными постройками. Общественные луга, тянувшиеся до этих мест стороной, здесь подходили прямо к проселочной дороге, шли вдоль нее на юг, а потом терялись, переходя в плодородные поля. И поля эти простирались вдаль и вширь — насколько хватало глаз.

Там, где кончались личные угодья и начинались кооперативные, росли старые акации. Их корни дали много новых побегов, образовавших сплошную живую изгородь.

Регор медленно шел вдоль сада. Он остановился около абрикосовых деревьев и осмотрел ветви, согнувшиеся под тяжестью плодов. Ожидался небывалый урожай абрикосов. Если бы теплая, солнечная погода продержалась еще недели три, можно было бы начать сбор ранних сортов.

Он одобрительно кивнул головой, улыбнулся, еще раз окинул взглядом сад и пошел дальше.

Миновав двор, он направился к тому месту, где кончался его участок и начинались кооперативные луга. Завернул к акациям и затем спустился вниз по склону. За оградой, сбитой из тонких стволов тополей, отдыхали его овцы. От горячего солнца их защищала тень деревьев.

Овцы зашевелились, когда он подошел к ним поближе, подняли головы, уставились на него заспанными глазами, словно удивились его появлению в столь необычное время дня.

Он сел на верхнюю перекладину, ноги спустил на землю и молча смотрел на свое маленькое стадо овечек, которые больше не обращали на него внимания и отдыхали совершенно спокойно, словно им ничто не угрожало, словно не было прорванной плотины и шумящего потока воды, затапливающей все большую и большую территорию.

Возможно, тревога была напрасной, думал он, животные обычно чувствуют приближение опасности, а эти никак не проявляют своего беспокойства. Ему стало немного легче. Наверное, вообще не следовало эвакуировать людей, говорил он сам себе. Ведь, насколько ему помнится, три-четыре раза вода прорывала плотину и затопляла окрестности близ прорыва, но по всей территории острова не разливалась.

Да, не стоит понапрасну беспокоиться, надо выждать, посмотреть, как будут развиваться события.

Он снова взглянул на овец, и вспомнился ему утренний спор с секретарем национального комитета.

Тот подкатил на мотоцикле и почему-то грубо крикнул:

— Регор, Зуза, собирайте вещи, берите самое необходимое и до полудня выходите на шоссе. Там вас заберет автобус, который пойдет из поселка.

— Что такое? Почему? — спросил он его.

— Ты что, с неба свалился? Эвакуация. Все население до вечера должно покинуть территорию.

— Все?

— Все, кроме нескольких молодых и здоровых парней, которые останутся в поселке для наблюдения.

— А за моим домом кто наблюдать будет?

— И за твоим приглядят.

— А с домашней птицей что делать? — спросила Зуза.

— Выпустите ее. Она у вас и так все время пасется на кооперативных лугах. Не беспокойтесь, не потеряется,— ответил ей секретарь.

— А с овцами как? — спросил Регор.

— С какими овцами?

— С моими. Ты же знаешь, что у меня девять овец.

— Их придется оставить.

— Что же, я их должен выпустить, как птицу, в поле?

— На все времени не хватит. Сейчас речь идет о людях. Ведь и у других кое-что остается. И моя свинья тут останется. Выпущу ее из свинарника во двор. Это все, что могу для нее сделать! — рассердился секретарь.

— То свинья, а то овцы,— отрезал Регор.

— Какая разница?

— Большая!

— Знаешь, Регор, я с тобой спорить не буду, у меня нет для этого времени. Короче говоря, собирайся и до двенадцати выходи с женой на шоссе.

— Дорогой ты мой Мартин, ты мне не приказывай. Я сделаю так, как сам сочту нужным,— отрезал Регор.

— Сейчас я тебе никакой не дорогой. Я приехал по серьезному делу, так что ты это учти! Я тебе сказал, что надо делать. Если ослушаешься, сам ответишь за последствия! — строго заключил секретарь, завел мотор и помчался по проселочной дороге.

Твоя свинья здесь тоже останется... Ах ты дуралей. Разве это одно и то же — овца и свинья? Какая разница, какая разница? Для тебя, может, и нет никакой, ругался про себя Регор. А ты только посмотри на овцу, хорошенько присмотрись к ней, в глаза загляни, тогда поймешь, какая разница! Сравнивать овцу со свиньей! Это только ты можешь.

Секретарь задел его за живое. Ничто не рассердило Регора так, как предложение бросить на произвол судьбы его овечек. Его собственное стадо! Годами мечтал он обзавестись своими овцами, и прошло немало времени, прежде чем его мечта осуществилась. Пять лет назад у него была одна овечка. Он водил ее перед собой на толстой веревке, как собаку, пас вдоль дороги, на лугу, на клеверище. Люди над ним посмеивались, говорили: «Регор, где ты купил эту длинношерстную собаку, посоветуй нам, мы тоже такую купим». Посмеялись, посмеялись, да и перестали. А у него число овечек с каждым годом увеличивалось. Он уже не водил их на веревке, а лишь гордо наблюдал за ними издали. И казалось ему, что он снова молодой и здоровый, такой, каким был когда-то давно, когда был пастушонком у бачи[1] в Северной Словакии. А потом люди перестали над ним подсмеиваться, привыкли к нему и к его овцам и даже начали завидовать ему, когда узнали, что за шерсть он выручает приличные деньги. В последнее время кое-кто тоже завел себе по овечке-другой, поняв, что их легко растить и что они приносят в дом не только лишнюю крону, но и новые радости.

А ты, Мартин, говоришь, какая разница. Многого ты не понимаешь, хоть и секретарь.

Жена настаивала, чтобы он ехал с ней к ее сестре Йозефине, живущей в подгорном селе. Не хочу я болтаться по интернатам или другим домам, говорила она. К счастью, и у нас есть родные в иных местах, а не только здесь, в низине.

Он, однако, не дал себя уговорить, сказал, что без овец не двинется с места; она больше не настаивала и уехала одна.

Теперь он сам себя убеждал, что сделал правильно, никуда не поехав. Он встал, еще раз бросил взгляд на овец и отошел от отрады.

Направился к дому. Немного побродил по двору, заглянул в колодец — не закисла ли вода или не подходят ли грунтовые воды. Да нет, водная гладь поблескивала глубоко внизу, грунтовые воды еще не поднялись уровень воды. Для полной уверенности он вытащил ведро воды, попробовал ее, подержал во рту, но не почувствовал никакого постороннего привкуса; вода была обычная, он досыта напился и, довольный, вошел в дом.

Своей жене он пообещал, что наиболее ценные вещи перенесет на чердак. Но стоит ли это делать — он не был уверен, ведь если большая вода действительно дойдет сюда, то все равно все пойдет к черту; но раз уж пообещал, слово надо сдержать.

Целый день он таскал наверх мешки, снес даже кое-что из мебели, электроприборы, продукты и, на всякий случай, бидон питьевой воды.

Солнце уже спускалось, когда он, уставший от работы, вышел во двор и сел под орех отдохнуть.

Передохнув, он вернулся в дом, поел супу, который сварила еще жена, налил большой бокал домашнего вина и выпил его.

Потом зачерпнул два ведра свежей воды и напоил овец; бросил

---

[1] Старший овчар *(словацк.)*.

им травы и клевера из копны и на луг их уже не выпустил. Хотел, чтобы они на всякий случай были все вместе.

Вернувшись на кухню, он снял с вешалки полупальто, надел его, нахлобучил на голову поношенную черную шапку с широким козырьком, нащупал за шкафом палку, сунул ее под мышку и вышел из дома. Он шел по проселочной дороге до шоссе, потом свернул налево в сторону поселка. В тишине наступающего летнего вечера его шаги звучали удивительно отчетливо. Он сам поразился этому, пытался ступать тише, но ничего не получалось.

Только потом он понял, почему так. Покинутый людьми поселок не нарушал тишины никакими звуками, которые обычно до позднего вечера доносились от дворов и огородов. Никто не громыхал ведрами, задавая корм скотине, никто не поливал сад, не загонял гусей, не звал детей ужинать. На поле не тарахтел трактор, по дороге не мчались машины и мотоциклы. Воздух не наполняли звуки радиоприемников, не слышно было голосов телевизионных дикторов. Дворы зияли пустотой, необычной и угнетающей, бьющей Регора по лицу, сжимающей грудь. Когда он увидел живого человека, его сердце забилось от радости.

Подойдя к дому своего покойного брата Ондрея, Регор увидел Штефана — мужа своей крестной дочери.

— О, крестный! И вы здесь? — воскликнул Штефан, обратившись к Регору так же, как и крестница.

— Тут я, тут. Где мне еще быть?

— Как где? Там. С остальными.

— Я не поехал.

— Плохо сделали,— сказал Штефан с нескрываемым опасением в голосе.— Думается, это не просто тревога.

— А что же?

— Днем вывозили хуторян, говорили, что вода поднимается и с той стороны. Она уже залила земли под хуторами,— сообщил ему Штефан недобрую весть.

Ближайший хутор находился не более чем в километре от поселка. И хотя поселок лежал намного выше хутора, особой надежды на то, что вода не дойдет сюда, не было, и это Регора весьма обеспокоило.

— Мне пришлось остаться из-за овец, их отказались вывезти,— объяснил он Штефану причину, по которой остался здесь.

— Разве вы им поможете, если вода вас затопит? И им не поможете, и другим забот наделаете.

— Не бойся, я и о себе позабочусь, и о них тоже.

— Да, трудно с вами разговаривать,— вздохнул Штефан и предложил: — Есть хотите? У меня кое-что припасено, пойдемте, вместе поужинаем.

— Я уже ел.

— Пойдемте. Я немного перекушу и вместе сходим на хутор, посмотрим, что там делается.

Регор послушался, вошел в дом, сел на стул и стал ждать, пока Штефан поест.

— Действительно не хотите? — спросил Штефан еще раз, но Регор снова отказался.— Электричество отключили, ничего не разогреешь,— бормотал Штефан.— Печку топить не буду. Так что поем сальца с луком,— окончательно решил он и разложил еду на столе.

Он ел молча, быстро пережевывая пищу. Потом выпил кружку воды и сказал:

— Можем идти.

Они вышли на дорогу и направились к школе.

— Сколько вас тут осталось? — спросил Регор.

— Да немного, несколько человек,— неопределенно ответил Штефан и перевел речь на другое.— Послушайте, крестный, приходите ко мне вместе с овцами. В крайнем случае поселимся все на чердаке.

Ведь наш дом надежнее вашего, он из крепкого обожженного кирпича, так что, сами понимаете, не рассыплется как карточный домик.

Регор ничего не ответил на его предложение.

— Откроем часть крыши, чтобы воздуху было побольше, и подождем лучших времен,— продолжал Штефан.— Самое мудрое для нас — быть вместе. Что вы на это скажете?

Но Регор молчал.

Они миновали поселок, приближаясь к хутору. Внизу уже издалека виднелась ровная гладь воды.

У крайнего дома, стоящего прямо у шоссе, на скамейке сидел Карол Орбан.

Они поздоровались и сели рядом с ним.

— Что нового? — спросил Штефан.

— Ничего.

— Поднимается?

— Сейчас нет. Остановилась. Но с той стороны больше никто не проезжал, машины не могут идти по воде, а в овраге вода уже высокая,— показал он рукой на юг.

— Значит, для нас остается одна сторона,— сказал Штефан и взглянул на Регора.

— Пошли лучше назад,— пробормотал Регор, быстро поднимаясь со скамейки.— Времени мало.

— Что вы так заторопились? — задержал его Штефан.— Лучше подождем,— сказал он, но сам тоже встал и направился вместе с Регором назад, к поселку.

— Крестный, зову вас вместе с овцами к себе,— повторил Штефан, когда они подошли к его дому.

— Что здесь, что там, все едино. Они либо от воды, либо от голода подохнут,— махнул Регор рукой.

— Приходите, на рассвете буду вас ждать.

— Посмотрим...— ответил Регор и быстро зашагал домой.

Еще до полуночи он часок вздремнул. Ему приснился какой-то сумбурный сон. Он пробудился и тотчас же встал.

Вышел из дома.

Свежий ночной воздух пронизал его. Полностью стряхнув с себя сон, он направился на луг к овцам.

Они не спали, месили грязь в загоне и, наконец, сгрудились в одном углу.

— Ах, чертовщина! — Регор мгновенно понял, что дело плохо.

Он побежал домой, схватил старый рюкзак, положил в него немного еды, бутылку вина, бутылку воды, надел высокие сапоги, кинул рюкзак за спину, схватил палку и шапку и вышел из дома. Потом запер за собой двери, с минуту постоял перед ними и решительно направился к загону.

Сбросив перекладины, он выпустил овец.

— Пошли! За мной! — крикнул он им, и овцы действительно побежали за ним.

У дома Регор еще на минутку остановился. Из кучи досок вытащил широкую, приблизительно двухметровой длины доску, сунул ее под мышку и зашагал впереди своего стада.

Он шел по проселочной дороге в сторону шоссе, думал провести ночь у Штефана, а дальше видно будет.

Но по шоссе он прошел лишь половину пути, отделявшего его дом от поселка. Перед ним до самых садов блестела сплошная водная гладь. Вода залила шоссе, и, хотя была светлая ночь, Регор не отважился пойти вброд. В конце концов зачем ему туда идти. По крайней мере сейчас это уже ни к чему...

Теперь было бы хорошо выбраться на главное шоссе, по нему, может, еще пройдет какая машина, быстро мелькнуло у него в голове. И он повернул на север. Миновал свой сад, погруженный во тьму, и

пошел дальше. Овцы следовали за ним. Он шел приблизительно двадцать минут. Дорогу знал по памяти. Знал, что немного дальше, за поворотом, она спускается в овраг. Уже тогда им овладело дурное предчувствие — и оно оправдалось, как только он вышел из-за поворота.

Вода преградила ему дорогу и с этой стороны. Регор хорошо знал, что овраг в ширину не более двухсот метров, но сейчас, ночью, ему через него не перебраться, тем более что он не знал, не ведал, сухая ли земля там, на другой стороне, где дорога медленно поднимается вверх. А рисковать он не мог.

С минуту он стоял и размышлял, что ему делать. Вернуться домой? Но утром вода может прийти и туда. На юг нельзя, на север тоже. Остается только идти на запад, параллельно с оврагом, вдоль подножья горы, километра два. Там, где кончается овраг, земля поднимается и воды там быть не должно. Потом он бы снова свернул на север и, пройдя еще километра три, мог бы выйти на асфальтированное шоссе, пересекающее весь остров с востока на запад...

Да, так надо идти, только в направлении к западу не ведет ни одна дорога, ни одна тропинка. Там тянутся поля да поля. Тут, с краю, посеяна сахарная свекла, дальше — ячмень, а за ним — пшеница, высокая пшеница.

— Ну, дорогуши, ничего другого нам не остается,— громко сказал он, подбадривая себя, и зашагал по полю.

Тут-то и подтвердилось, что овца действительно не свинья: животные последовали за своим хозяином.

Свекольное поле они миновали быстро. Регор даже не ожидал, что так скоро они окажутся у ячменного поля. Это был уже поспевающий озимый ячмень. К счастью, колосья были не очень высокие — едва доходили ему до колена.

Он быстро пошел по полю. Через какое-то время оглянулся. Стадо овечек двигалось за ним. И вдруг Регора охватила такая нежность к ним, что в приливе ее он почувствовал, как слабеют руки и ноги.

— Бедняжки мои, бегут за мной как детки! — воскликнул он.

Но тут же поборол в себе слабость и зашагал дальше.

Ячменное поле тянулось, пожалуй, с добрый километр. Дойдя до последней полосы, он остановился, вытер пот с лица и подумал, как ему быть дальше.

Впереди поднималась стена высокой, густой пшеницы. Сам бы он пробился сквозь нее, но овцы! До конца оврага оставалось, как ему казалось, более полукилометра. Они должны пройти это расстояние, должны!

Он бросился вперед, раздвигая перед собой колосья, втаптывая их в землю, стараясь проложить тропинку, по которой овцам было бы легче пройти пшеничное поле.

Но стебли мгновенно поднимались, смыкаясь за его спиной. Между Регором и овцами воздвигался барьер. Так дело не пойдет, подумал он про себя и вернулся назад, к тому месту, где соединялись ячменное и пшеничное поля. Пересчитал овец — все были на месте.

Что делать? Лучше всего подождать до рассвета. Тогда, пожалуй, будет легче пройти через пшеничное поле. Примирившись со своей неудачной попыткой, он присел на корточки, нарвал стеблей пшеницы, сделал из них подстилку и лег.

Отдыхая, он даже ненадолго уснул. Разбудил его ночной холод. Он сел, вытянул закоченевшие руки и ноги — в суставах даже хрустнуло. Овцы спокойно стояли, прижавшись друг к другу.

Он почувствовал бодрость, встал. Овцы, казалось, ждали его приказа Надо идти, идти сейчас же, подумал он. И тут в голову ему пришла одна мысль. Спасительная мысль!

Он хорошо помнил, что земля в конце оврага и частично на склонах над ним во все времена оставалась неурожайной. Бедная илистая почва отказывалась взрастить какое угодно, даже самое непритяза-

тельное растение. Что ни сеяли на ней, ничего не принималось. Из ста семян всходило одно, но растеньице оставалось низкорослым, недоразвитым. Этот участок земли просто бил в глаза своими голыми белыми пятнами. Даже если его и сейчас засеяли пшеницей, он все равно должен быть пустым, а по нему будет легко пройти дальше... Лишь бы вода не поднялась сюда и не залила эти неурожайные пятна, беспокойно подумал он.

Это надо выяснить тотчас же, ни минуты не медля! Он поднял рюкзак, сунул доску под мышку и зашагал.

Регор осторожно спускался по широкой борозде, отделявшей пшеничное поле от ячменного. Чем ниже он спускался, тем шел осторожнее, ощупывая палкой дорогу.

Вдруг слева высокая стена пшеницы кончилась. Значит, он не ошибся, теперь они пройдут. Он свернул на илистую почву. Она была сухой. Овечки следовали за ним. Регор прошел приблизительно сто шагов, когда почувствовал под сапогами островки грязи. Боже милостивый, не оставляй нас, взмолился он, продолжая свой путь. Но вскоре под сапогами была уже не грязь, а вода. Он взял немного выше, подошел почти к краю высокой пшеницы, но и там оказалась вода.

Делать нечего! Вздохнув, он посмотрел на овец и решительно зашагал дальше. Он уже боялся оглянуться назад, чтоб убедиться, бегут ли за ним овцы. Некоторые из них блеяли, но он не обращал на них внимания и, склонив голову, пробирался вперед, шлепал ногами по воде, которой, к счастью, не прибывало.

Так он прошел еще какое-то расстояние. Ему казалось, что идет он уже давным-давно. Да и оврагу пора бы кончиться, думал он. Пора мне выкарабкаться на сушу. Вдруг он заметил белый голый клочок земли. Ему показалось, что он сухой... Да, он вышел на сухую землю. На радостях он выпустил из рук доску и упал на нее.

Когда он открыл глаза и сел, то увидел себя в окружении овец, которые сгрудились вокруг него и блеяли, словно звали идти дальше.

Он встал, собрал свои пожитки, пересчитал стадо и, когда убедился, что все овцы на месте, быстро зашагал дальше.

Местность стала подниматься, овраг кончился. Он прошел напрямик еще шагов пятьдесят, потом, когда ему показалось, что он уже поднялся достаточно высоко, круто повернул на север.

За оврагом начинались земли соседнего района. Тут кончалось и пшеничное поле. Далее тянулось поле клеверное.

Слава богу, пронеслось у него в голове, теперь можно отдохнуть. Он остановился. Овцы подождали, а потом начали щипать клевер. Он не мешал им: пусть попасутся и подкрепятся.

Он достал из рюкзака бутылку с вином, приложился разок-другой, достал хлеб, опустился на клевер и принялся за еду.

Начинало быстро светать. Перед ним открывались дали. Он узнавал знакомые места. Теперь он понял, что шел правильно. Подождал еще немного, пока не рассвело, и устремился по направлению к шоссе. Дошел до него приблизительно за полчаса. Овец оставил в кустарнике, а сам уселся у дороги, свесив ноги в кювет. Внимательно прислушивался, не раздастся ли звук мотора...

Он стоял посередине шоссе, широко раскинув руки и наклонившись вперед, точно охваченный отчаянием человек, который во что бы то ни стало стремится преградить путь грузовику с прицепом, мчащемуся по дороге прямо на него.

Но шофер увидел его вовремя, как раз тогда, когда выехал из-за поворота, скрытого за небольшим леском. Снизив скорость, шофер вел машину по инерции, затем затормозил и остановился шагах в трех от живого препятствия. Не выключая мотора, он выглянул из открытого окна кабины и крикнул:

— Что случилось, дяденька? Надо чего-нибудь?

— Еще как! — ответил Регор.

Он подошел ближе, внимательно осмотрел грузовик, заглянул, что лежит на прицепе. Спрыгнул на землю и приблизился к шоферу.

Тот оказался белокурым молодым человеком, гладко выбритым, с высоким лбом; его беззаботные голубые глаза улыбались миру, вероятно, даже тогда, когда улыбаться они вообще не хотели.

Молоденький еще, подумал Регор, наверное, только осенью пришел с военной службы.

— Ну что, дяденька, а то время дорого! — сказал парень.

— Ты случайно не из Ольшан? Не сын ли Гладкого, железнодорожника Гладкого? — спросил Регор.

— Нет,— удивленно протянул парень.

— Ты похож на него, здорово похож. И он сейчас где-то работает шофером.

— Я не здешний, вот только работаю здесь по эвакуации,— объяснил парень.

— Ничего,— принял его объяснение Регор.— Помоги мне, сынок, ведь только ты можешь мне помочь. Без тебя я отсюда не двинусь. Что у тебя в мешках?

— Семена. Вывожу посевной материал.

— Ты вернешься назад?

— Едва ли. Мне только что сказали, что вода отхлынула от городской насыпи и теперь пошла назад вон по той долине,— махнул он рукой куда-то за спину.

— Да, зальет все,— кивнул головой Регор.— Куда везешь семена, далеко?

— Вверх, к Тренчину.

— Поедешь в сторону Нитры?

— Да, а потом через Бановце.

— Хорошо, очень хорошо.

— А почему спрашиваете?

— Возьмешь меня с собой?

— К чему столько разговоров? Садитесь! — недовольно согласился парень за рулем.

— Но я не один,— лукаво улыбнулся Регор.— Нас тут изрядно. У тебя на прицепе есть немного свободного места, а если еще пару мешков перебросить наверх, тогда мы все поместимся.

— Если выдержите в открытом кузове, то я не возражаю. В кабину могу взять только двоих.

— Добро! — обрадовался Регор.

— А где остальные? — спросил шофер.

— Вон там,— показал Регор на другую сторону дороги, обошел машину, спустился в кювет и исчез в кустарнике. Через минуту он вынырнул из него, и вслед за ним показались овцы — одна, другая, третья...

Девять, быстро сосчитал шофер.

— Ну что? Возьмешь нас? Не передумал? Если не возьмешь, погибнут тут, бедняжки, да и я с тобой не поеду...

— До черта их! — пришел в замешательство парень.— Ведь не поместятся. Да и как вы туда их загоните? — качал головой парень.

— А ты опусти борт. У меня в канаве доска есть. Они по ней поднимутся вверх, потеснятся, ведь дело касается их жизни,— горячо убеждал Регор парня.

Тот с минуту раздумывал, затем вышел из машины и, махнув рукой, молча опустил борт прицепа.

Доска оказалась самой что ни на есть подходящей: и не слишком короткой, и не слишком длинной. Доску приставили к машине, и по ней Регор осторожно поднялся на прицеп.

Там он переложил несколько мешков повыше, потом спустился на землю и позвал овец.

Они стояли не шелохнувшись.

Регор крепко схватил одну из них за бока и стал толкать перед собой вверх по доске. Она, словно поняв, подчинилась воле хозяина.

Остальные овцы отнеслись к его действиям уже более доверчиво.

— Встань сюда, вот так, ну, не крутись,— разговаривал Регор со своими питомцами, которые заняли небольшую часть прицепа.

— Сынок, подними борт,— попросил он шофера.

Тот сначала подал ему доску, потом поднял борт и укрепил его железным колышком.

Борта прицепа были достаточно высокими, так что овцы почти скрылись за ними.

Они успокоились. Каждая нашла себе место.

Регор забрался на мешки и оттуда спокойно смотрел на свое стадо. Овцы стояли близко друг к другу, но не настолько тесно, чтобы не выдержать нескольких часов езды.

— Можем ехать? — спросил шофер.

— Можем,— с улыбкой ответил ему Регор.

Парень еще раз проверил крепления на бортах. Все было в порядке.

Перед тем как сесть в кабину, он, повернувшись, крикнул Регору:

— Дяденька, идите сюда, ко мне, а то вас оттуда сдует ветер, что я тогда буду делать с этими овцами!

Машина плыла среди хлебов; по обеим сторонам дороги волновались на ветру широкие поля зреющих колосьев. Их наливающийся золотом цвет действовал успокаивающе, словно ничего чрезвычайного и не случилось, будто через два-три дня на поле выйдут люди и машины, уберут урожай и свезут зерно под крышу. Только кое-где: в зарослях ивняка, на лугах, в низинах — уже поблескивала вода и напоминала людям о том, что произошло.

Здесь на поверхность земли выходили только грунтовые воды, но с юго-востока уже наступали потоки новой воды, и через день-другой они неизбежно должны были прийти и сюда, чтобы поглотить бесчисленные караваи хлеба, утаенные пока в налитых колосьях, напевающих свою однообразную песню.

Машина изменила направление движения — с запада на север, свернула с одного шоссе на другое. Они приближались к большому селению, расположенному у слияния двух рек, миновав которое, могли считать себя в полной безопасности.

Они проехали по окраине поселка, поднялись на мост, по извилистой дороге спустились вниз, и остров остался у них за спиной.

— Так, вот мы и на суше,— сказал шофер и улыбнулся Регору.— Вы не рады?

— Как тебе сказать... и рад и не рад...— ответил тот задумчиво.— Овцы вместе со мной выпутались из этой истории, а вот все остальное...— вздохнул он.

— Может быть, плотину не сегодня завтра перегородят, тогда все будет в порядке.

— Даже если бы это и удалось, все равно будет поздно,— возразил Регор. — Вода поднялась так высоко, как никогда раньше. Столько будет убытков, столько слез.

Парень только кивнул головой.

Оба молчали, пока дорога не пошла вдоль Нитры. Тут шофер спросил:

— Дяденька, куда вы едете? Вы мне до сих пор не сказали, где выйдете.

— Нам с тобой еще долго вместе ехать. Когда переедем по мосту через Бебраву, я скажу тебе, куда еду.

— Значит, вы едете почти к нам! — воскликнул шофер.

— Да.

— У вас там родные?

— Свояк. Туда же уехала вчера моя жена,— ответил Регор.

— Ага,— протянул парень.

— Знаешь, я, собственно, возвращаюсь в свой родной край,— вдруг неожиданно разговорился старик.— Я покинул его лет сорок назад. Был тогда таким, как ты. И вот уехал создавать колонию.

— Так вот оно что,— протянул шофер.

— Да.

Они проехали по улицам города Нитры. Выехав за город, Регор попросил шофера остановить машину.

— Хочу посмотреть, как там мои овцы,— добавил он.

Грузовик с прицепом остановился, и оба вышли из машины. Парень расправил плечи и потянулся. Регор взобрался на прицеп.

— Все в порядке,— сообщил он оттуда шоферу, но не сразу спустился вниз, а еще какое-то время задержался наверху, что-то нашептывая овцам, поглаживая их и похлопывая.

Потом они двинулись дальше, и Регор, почувствовав усталость, задремал.

Вдруг он вздрогнул, осмотрелся, пытаясь сориентироваться.

— Вздремнули? — спросил шофер и добавил: — Мы уже за Тополь чанами.

— За Топольчанами? Слава богу, что не дальше.

— Не бойтесь, я бы вас разбудил.

— Спасибо.

— Смотрите, вон показался мост через Бебраву,— заметил шофер.

— И вправду,— прошептал Регор. И через минуту растерянно продолжил: — Знаешь, та деревня, куда я еду, лежит немного в стороне от основного шоссе. Наверное, километрах в трех. Не знаю, сможешь ли ты... но если бы ты меня туда подбросил, очень бы мне помог...

— Только скажите, когда повернуть,— прервал его парень.

— Скажу, скажу, когда надо будет,— пообещал Регор.

Они ехали еще минут десять, когда старик вдруг воскликнул:

— Вон поворот! Направо! Видишь?

— Вижу,— спокойно ответил шофер, сбавил скорость, включил мигалку и повернул направо.

От перекрестка дорога пошла в гору. Мотор работал натруженно и гулко. Регор подумал, что ему не стоило обременять парня, что он мог бы добраться до места и пешком... Ему было неловко, что он воспользовался его добротой.

Они взобрались на вершину холма, и перед ними раскинулась равнина, в конце которой поднималась к небу башня костела. За костелом дорога круто спускалась вниз, но здесь ее окаймляли дома, стеной тянувшиеся до самой долины.

— Я здесь выйду,— сказал он.— Вниз тебе ехать не надо, а то потом, думаю, негде будет развернуться.— Ему не хотелось больше обременять шофера.

— Как хотите,— согласился с ним парень.

Он выглянул из кабины, желая определить, как ему удобнее свернуть на боковую проселочную дорогу, ведущую от костела в сторону кладбища.

Медленно и уверенно осуществил он сложный маневр, развернул свою огромную машину и остановил ее на обочине дороги.

— Вот мы и на месте,— заметил он, выскочил из кабины и открыл борт.

Овцы выбегали из машины более резво, чем поднимались на нее.

Шофер подал Регору руку и пожелал удачи. Едва старик успел поблагодарить парня, как того и след простыл.

С минуту Регор постоял еще на шоссе, провожая взглядом удаляющуюся машину. Потом повернулся лицом к селу. Подумал, что доску он уже не потащит дальше, и бросил ее в кустарник за кюветом. Нарвал травы и немного обтер ею запачканные грязью сапоги.

Забросил рюкзак за спину, нахлобучил шапку и гордо зашагал впереди своего стада.

Шел он вниз, потому что свояк жил в долине.

Палка постукивала в такт его шагам. Он шел энергичной походкой, словно за его плечами и не было полной волнений ночи.

Над головой раскинулось голубое небо. Солнце светило прямо в глаза, так что пришлось опустить шапку почти до бровей.

Перед костелом собирались старухи, наряженные в праздничные одежды. Идут к заутрене, подумал он про себя и вспомнил те давние времена, когда и он бегал вверх по склону в костел; вспомнил лицо матери, и лица других людей промелькнули в его памяти.

Он поздоровался со старухами и сошел на обочину дороги. Перед ним лежала долина. Дорога вилась среди домов и исчезала на противоположной стороне за лесистым склоном.

Регор заметил, что навстречу ему, вверх по деревне поднималось все больше празднично одетых людей. Что происходит? — спрашивал он сам себя. Какой-нибудь церковный праздник? Конечно же, сегодня воскресенье! Он ударил себя по лбу и сразу же устыдился того, что идет, словно напоказ, в грязной, замызганной, мятой одежде.

Но ведь я иду не с гулянья, говорил он себе в оправдание. Со мной мои овечки, которых уже осудили на смерть. Из беды их вывел я и тот парень, который так быстро исчез. А сейчас мы в краю, где умеют ценить овец.

И он уверенно продолжал идти впереди своего стада. Людей, которые попадались ему навстречу, становилось все больше и больше. Это были уже не только старухи. Шли люди среднего возраста и даже молодежь. Празднично одетые жители преуспевающего подгорного села, сытые и довольные, похожие на тех, кто жил здесь в канун сороковых годов, с любопытством оглядывали высокого худощавого старика в одежде бродяги. Одни вслух ворчали, другие криво усмехались, а парни и девушки громко смеялись, да так заразительно, что через некоторое время смеялись уже все — и молодые, и старые.

Вначале Регор не обратил внимания на то, что происходит. Но когда среди сельских жителей, поднимающихся вверх, к костелу, он заметил свояка, свояченицу и свою жену, то остановился и стал ждать, пока они подойдут к нему. И в этот момент смех словно ударил его по лицу.

Он прислушался, растерянно посмотрел на людей и довольно громко спросил:

— Чего вы смеетесь?

Но те отворачивались от него, прятали ухмылки и молча проходили дальше.

— Почему они смеются, свояк? Почему? — спросил он, как только родные отделились от толпы и приблизились к нему.

— Тише, тише! — зашептал свояк вместо ответа.— Пойдемте быстрее домой,— торопил он Регора, и вид у него был при этом растерянный, виноватый, неловкий.

— Пошли, свояк, пошли,— настаивала и Йозефина.— А то стыда не оберемся перед людьми,— вырвалось у нее.

Свояк и свояченица перешли на другую сторону улицы и почти бегом заспешили домой.

Регор стоял в окружении своих овец. Родные отдалились от него шагов на пятьдесят. Он смотрел по сторонам, разыскивая свою жену, и вдруг заметил, что она стоит позади него.

— Регор... пойдем и мы,— сказала она, но он еще колебался.— Пошли, что поделаешь...

И он послушался ее.

Они шли рядом. Вслед за ними по склону спускалось стадо овец.

Перевод со словацкого Т. МИРОНОВОЙ

ЯН КОСТРГУН

Каникулы

ПОВЕСТЬ

В манеж Винца всегда бежал бегом. Он любил этот островок зелени среди большого города, островок, где еще росли деревья и даже торчали пучочки травы. Но спешил он сюда для того, чтобы прийти первым и выбрать себе лошадь. Выбирал он всегда одну и ту же — белую кобылу Ванильку.

Коломан, директор ипподрома, был одновременно инструктором, а для соседей по улице и «паном преподавателем», но прежде всего он был бывший драгун. От славных драгунских времен на щеках и возле носа у него остались синеватые веера морщин и абсолютная неспособность говорить тихо.

— Кой черт тебя несет,— хрипло заревел он. — Мы ведь начинаем через час, так или нет, черт побери?! Или ты воображаешь, что я целый час буду тебя караулить?!

— Не беспокойтесь.

— «Не беспокойтесь»! С тобой случится что, а я отвечай!

— Я почищу лошадь.

— Лошадь не шифоньер, черт побери! — Коломан оперся о стол, верхняя доска которого когда-то была обтянута зеленым сукном, прикрыл глаза и вытер нос лоснящимся рукавом ковбойки.

Винца терпеливо ждал, пока Коломан выговорится. Он имел обыкновение время от времени так вот ласково пожурить своих подопечных, и неважно — сам ли Коломан находил для этого причину или повод давала несчастная жертва.

— Не имейте такой привычки! Военный порядок — основа мира! Манеж — это вам не голубятня! Манеж — такая же неотъемлемая принадлежность института, как и ректорский кабинет! Печально уже то, что мужикам приходится учиться ездить верхом! *Учиться! Мужикам!* Будто городским дамочкам или пижонам из хороших семей! И не забудьте, мой дорогой что у вас зачет по верховой езде! И очень даже скоро.— Он весь сморщился, разглядывая цифру, накорябан-

© Jan Kostrhun, 1976.

ЯН КОСТРГУН — JAN KOSTRHUN (род. в 1942 г.).

Чешский писатель; по образованию зоотехник; много лет работал в сельскохозяйственных кооперативах Моравии. Его рассказы и повести публиковались в периодических изданиях. В 1974 году вышел первый роман Я. Костргуна «Паршивые овцы» («Černé ovce», премия Иржи Волькера), затем — сборник рассказов «Лошадка-качалка» («Houpací kůň», 1976), роман «Браконьеры» («Pytláci», 1977, отмеченный премией на конкурсе к 30-летию ЧССР), повесть «Сбор винограда» («Vinobraní», 1979).
Повесть «Каникулы» («Prázdniny») взята из сборника рассказов и повестей молодых чешских прозаиков «Я знаю толк в подковах» («Vyznám se v podkovách». Praha, Mladá fronta, 1976).

ную чернильным карандашом на остатках зеленой обивки стола. Ширкнул носом и с недоверием, исподлобья взглянул на Винцу. Белки его глаз были здорового розового цвета, а нос опять требовал внимания. — Точнее говоря, сегодня. А что это значит?

— Заканчиваем,— нерешительно произнес Винца.

— Это что же, опять каникулы?!

Винца кивнул.

— Твое счастье... Повтори хорошенько, что́ надо знать. А если какая лошадь пришибет тебя до смерти, не показывайся на глаза!

Винца надел дедушкины галифе, натянул высокие сапоги двоюродного дяди и потопал по скрипучему дощатому полу. На стенах раздевалки висели плакаты бегов — все больше ярко-красные, с белыми лошадьми,— старые седла, подставки для снимания сапог.

Ванилька была белее лошадей на плакатах и к тому же здесь, рядом, наяву. Тонкая голова на ладной шее, стройные ноги, изящная линия паха. В глазах Ванильки отражались окна — серебристые квадратики на выпуклой решетке. Винца полез в карман за хлебом. Осторожно, мягкими, чуть опушенными губами Ванилька дотронулась до его ладони; Винца погладил ее лоб, мягкие углубления над глазами, ощутив под ладонью пульсирующую кровь.

Ради этих мгновений стоило спешить. Побыть один на один в конюшне со своей лошадью. Только при этом не надо думать о том, что Ванильку каждый день седлает кто-то другой, в испуге рвет удилами нежные уголки ее губ; любой, кто заплатит.

Винца гладил ее по лебединой шее. Ванилька терлась о него головой, она чуяла, что в кармане у него есть еще и сахар. Шея у лошади была теплая, упругая и нежная, будто летний ветерок. Мысленно Винца уже мчался, топча ромашки, по лугам, меж стволов могучих дубов — одинокий всадник на белом коне, в ушах — шум ветра и шепот травы. Из леса вышла девушка, это была Мария, шея повязана красной косынкой, воздушной и прозрачной. Мария помахала ему.

Голоса в раздевалке, как упавший занавес, закрыли от него видение. Вся их двадцать пятая группа разом ввалилась в конюшню; шестнадцать человек — пятнадцать ребят и одна девчонка по имени Илона, в которую все они по очереди безнадежно влюблялись,— как, наверное, и пол-института, а то и весь земной шар. Кого любила Илона, осталось тайной.

Ребята заспорили из-за лошадей и седел.

— Где же ваше уважение к даме?! — воскликнула Илона. Она прошла между стойлами туда и обратно и указала: — Мне оседлайте вот эту.

— Винца, а ты ночуешь здесь, что ли?

— Иногда,— в некотором замешательстве буркнул Винца.

Он не торопясь, сосредоточенно седлал Ванильку. Грешно было бы просто так взять и бросить седло ей на спину; тогда не было бы ни ромашек, ни волнующихся под ветром трав на лугу. Он достал из кармана кусочек сахара.

— А кто попросит Коломана выпустить нас из манежа покататься?

— Илона... Кто же еще!

— Где бутылка?

Манеж находился в длинном и высоком деревянном сарае, стены которого снаружи подпирались столбами. Винцу отвлекла мысль о коллективном страховании молодежи при несчастных случаях, и он споткнулся, позабыв о высоком пороге. Ванилька чуть не наступила ему на ногу. Она тянула его в манеж за остальными. Некоторое время они ходили по кругу, мягко ступая по опилкам; спугнули стайку воробьев, и те с громким шумом выпорхнули через выбитые окна.

— Построиться, подтянуть подпруги, подогнать стремена! — с упоением надрывался Коломан. — Разговорчики! Никакой болтовни, не то враз выставлю! Это вам не цирк! Манеж — такая же неотъемлемая принадлежность института, как и физкультурный зал!

Его сравнения были непостижимы.

— В седло!

Они вскочили на лошадей, умостились поудобнее.

— Внимание! Конному спорту — ура!

От могучего «ура» манеж содрогнулся, но устоял.

Ванилька вскинула голову. Глухо застучали копыта по опилкам; поскрипывали седла, фыркали лошади. Ванилька плыла, как балерина, Винца чувствовал по натянутым поводьям, как она вздрагивает и напрягается, но удерживал ее в строю. Уменью сохранять дистанцию Коломан придавал особое значение.

Илона на гнедом коне выехала из ряда, направившись прямиком к Коломану. Коломан стоял неподвижно, от удивления вытаращив глаза. Подобного ему не приходилось видеть за последние двадцать лет.

Илона остановила коня и чуть развернула его боком. Упругие груди натягивали сине-белую полосатую майку, попка оттопырена, а в глазах — беспредельное изумление перед красотой жизни. Илона выглядела всегда именно так, как надо было выглядеть, словно именно для этого мгновенья она и родилась. И не было мужчины, который не клюнул бы, хотя бы ненадолго, на эту приманку, считая, что Илона появилась на этом свете специально для него.

Коломан невольно улыбнулся. А поскольку говорить тихо он не умел, то выдохнул с присвистом:

— Что случилось?

— От имени всех я хотела бы поблагодарить вас за терпение, с каким вы возились с нами, и за все, чему вы нас научили. И как маленький знак внимания мы позволили себе...

И Илона показала бутылку «Охотничьей».

Коломан растрогался, заморгал и ширкнул носом.

— Ну я что ж... Как-то... Я ведь такая же неотъемлемая принадлежность института, как, скажем... как... — Он вдруг не нашел, с чем себя сравнить.

Илона наклонилась, и Коломан машинально протянул руку. Когда он крепко ухватил бутылку, Илона договорила:

— Мы подумали, что сегодня, прощаясь, в последний раз... Нельзя ли нам прокатиться по лесу?

Коломан с сожалением взглянул на бутылку. Он почуял подвох и не ошибся.

— Это исключено, барышня...

— Пожалуйста... — прошептали ее ладони.

— Это в самом деле невозможно... Тогда мне пришлось бы вас сопровождать.

— За чем же дело стало?

— Верхом?

Илона округлила глаза и оглянулась. Взору ее предстала живая картина: изумление, словно при виде разверзающейся бездны.

Коломан бродил по опилкам, бутылка болталась в руке где-то на уровне колен. У дверей он остановился и махнул свободной рукой:

— Ладно, езжайте! Но через час быть здесь, на месте!

Они выехали на улицу; прохожие останавливались, у детишек от этой сказки наяву дрожали подбородки. По улице, цокая копытами, гарцевали живые лошади, нервно отскакивая от вонючих автомобилей.

Впереди всех — Илона, элегантный форштевень красавца парусника, а замыкал кавалькаду белый конь — белее городского снега, белый, как кружево пены за кормой.

Они свернули к обсерватории на окраине города. Кони нехотя выходили из привычного строя, но потом, разбежавшись, понеслись, вытянув шеи и едва касаясь земли.

Ванилька направилась туда, где синее небо сливалось с землей. Винца не сдерживал ее.

Над головой — белые облака, под руками такой же белизны грива. Ни одного фальшивого звука — все их унес ветер.

■

Экзамен по коневодству, последний перед каникулами, Винца, можно сказать, провалил. Такое с ним уже случалось на первом курсе. Тогда это была органическая химия. Он делал девять заходов, один ужаснее другого. Днем и ночью Винца смотрел на ехидные формулы привычных вещей, в общем-то даже приятных. Яблоки, пиво, вино, девушки — все это можно было изобразить в виде различных ромбов, треугольников и симметричных многогранников. Все было взаимосвязано в непостижимых сопряжениях. А начало клубка следовало искать на уроках химии в школе. Их учитель носил очки в черной роговой оправе и курил трубку. В химии он достиг всех возможных вершин и научных степеней, кроме разве что Нобелевской премии. Он терпеть не мог равнодушия и тупости. Видимо, поэтому на втором же уроке он осведомился, кто хочет факультативно сдавать химию на аттестат зрелости. Подняли руку человек десять. Учитель посадил их за первые парты и на ученые темы разговаривал только с ними. Остальным полагалось вести себя тихо, и четвертные — отличные или хорошие — они получали в зависимости от того, какое впечатление производили на учителя прочие отметки. Уроки химии превратились в часы приятного отдыха от напряженных занятий. Катастрофы разражались позже, когда — это определяла судьба и ее товарищ, время. В сельскохозяйственном институте на экзамене по химии Винца всякий раз оказывался в одной и той же одинаково неприятной ситуации: как будто он неграмотный, а ему предлагают изучить энциклопедию Отто[1].

Но лошади! Экзамену по коневодству он радовался заранее. В белоснежной рубашке, с полосатым галстуком, в отутюженном пиджаке Винца стоял перед испуганными ребятами из группы и с удовольствием, неторопливо отвечал на их вопросы. О лошадях Винца знал все. И даже больше. Дома у них раньше была пара гнедых, и зимой отец нанимался на лесоразработки возить бревна. Винца купал лошадей в пруду, слушал отцовские рассказы о том, как они вытащили из болота груз в сорок пять центнеров, как они были куплены вскоре после войны на ярмарке в Брно, чем лучше всего лечить колики у лошадей и что доброго человека конь чует сразу. День бегов в соседнем городке Тлумачове был праздником; в автобус, разукрашенный лентами, загружали оплетенные бутыли с вином; по дороге туда пели песни, на обратном пути спорили и ругались. У каждой кобылы была отменная родословная, благородные предки, на теле — тавро. О каждой стоящей кобыле было известно, почему ее водят именно к этому, а не к другому жеребцу.

Вопрос Винце достался лучше не придумаешь: породы лошадей, полученные от скрещивания с английскими чистокровными. Винца сидел и смотрел в окно. Отвечала Илона; не очень обстоятельно, но бодро и решительно. Одета она была сообразно моменту, так же и держалась. Академик Рихард проводил ее до самой двери и церемонно попрощался.

— Ну-с, молодой человек, надеюсь, вы не посрамите мужчин?

Винца ничуть не сомневался на этот счет. Он начал с отечественных пород — фуриозо, пжедсвит и нониус, затем отправился за гра-

[1] Многотомная Большая чешская энциклопедия, выходившая с прошлого века в пражском издательстве Яна Отто. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ницу и рассказал о дончаке, буденновской породе, русском рысаке, подробно остановился на полукровных французских, немецких и польских породах, не забыл и об американских.

— Превосходно,— похвалил академик Рихард.— Финал отличный, все хорошо. Да, скажу я вам, для некоторых из ваших коллег что муха, что лошадь — безразлично. Полная индифферентность. А без любви можно провалить любое дело. Верьте мне — я ведь посвятил лошадям целых полвека. — Он раскрыл зачетную книжку Винцы, вписал число, расписался, начал выводить «от...» и споткнулся на второй же букве. — Постойте, постойте, а вы сказали что-нибудь об английских полукровных?

— Английских?

Академик отложил ручку и откинулся на спинку стула.

— Английских.

В голове абсолютная пустота. Да это Рихард хочет подловить меня: на кой черт англичанам возиться с полукровками?! Все равно как если б в знаменитых пльзенских пивоварнях стали изготовлять фруктовые сиропчики.

На всякий случай Винца дипломатично ответил:

— Ни одна из полукровных английских пород не получила значительного распространения.

— Согласен. Ну, а хороший студент, надо понимать, занимается *только* тем, что ему интересно.

Ледяной тон Рихарда не предвещал ничего хорошего.

Наступила гнетущая пауза, затем Винца впервые услышал термины: кливлендский конь, норфолк, гекни и в довершение всего — хантер, охотничий скакун!! И пошло́, и пошло́. Чем больше говорил академик, тем меньше понимал Винца, наконец он вообще уже ничего не понимал. К счастью, ему не пришлось отвечать без подготовки, сколько у лошади ног.

Академик Рихард расстроился. Винца тоже.

К сожалению (и к счастью!), в зачетке уже стояла дата и подпись экзаменатора. Академик зачеркнул «от...», написал «хорошо» и вышел. Винца долго выжидал и поднялся только тогда, когда, по его расчетам, уже не мог встретить академика на лестнице.

Винца часто вспоминал об этом. Даже сейчас, когда они ездили на автобусе по разным потрясающе интересным местам. Все вокруг было удивительно красивым еще и потому, что стекла в окнах автобуса были розовые.

В конце учебного года они, как всегда по традиции, отправлялись на экскурсию. Сегодня был шестой день их путешествия. Они побывали у Махова озера[1], дегустировали «Будвар»[2], под Кокоржином пили «Людмилу»[3] и ели олений гуляш. В Трутнове[4] для них устроили показ меховых шуб, в общежитии в Врхлаби они встретились с туристической группой польских девушек, в Кладрубах[5] их покатали в карете, запряженной шестью парами белых лошадей. Жизнь была прекрасна, и не было в мире работы лучше деревенской, жаль — не сегодня—завтра начинались каникулы.

— А сейчас я особенно призываю вас сохранять порядок и главное — дисциплину.

Призыв исходил от Каливоды, ассистента кафедры специальной зоотехники. Он посмотрел на Илону, она — на него. Сегодня, на шестой день поездки, это никого уже не волновало.

---

[1] Доксанское озеро в северной Чехии, описанное чешским поэтом К. Г. Махой (1810—1836) и получившее название Махово озеро.

[2] «Будвар» — известное чешское будейевицкое пиво.

[3] «Людмила» — моравское натуральное виноградное вино.

[4] Трутнов — районный город в восточной Чехии, крупный центр текстильной и меховой промышленности.

[5] В г. Кладрубы находится крупный конный завод.

— Выбор производителя племенного хозяйства — праздник. Я бы сказал — обряд. Вот вы и держитесь, пожалуйста, сообразно ответственности момента. К тому же бык может повести себя самым неподобающим образом. Я своими глазами видел, как однажды во время этой процедуры бык превратил своего поводыря в лепешку. Признаюсь честно — все мы спасались от него на деревьях. Быка этого потом пришлось пристрелить.

Илона зажмурила глаза. Каливода испытующе оглядывал сидящих в автобусе. Мир за окном был по-прежнему розов и прекрасен. Даже засохшие деревья.

В племенном хозяйстве их уже ждали. Аккуратно разровненный песочек со следами грабель. К стене, освещенной солнцем и недоступной ветерку с Высочины[1], поставлен дубовый стол, покрытый красно-белой бумажной скатертью. На стульях за столом разместились неприступно хмурые члены многоуважаемой комиссии. Если кто-то из них случайно улыбался, он тут же спохватывался, точно устыдившись. На синем небе — любопытное солнце; пряно пахнет нагретая его лучами трава.

Студенты уселись на меже, раскрыли на коленях специальные разграфленные блокноты и изобразили на лицах сосредоточенность. Винца смотрел под короткую юбку Илоны.

Привели первого быка, не быка — слона, рыжего, с белым седлом на холке, с пятнами чуть потемнее в виде звезд на хребте и на крупе. Он стоял будто манекен, с морды свисала паутина слюней, он благодушно пофыркивал и глазел на Илону. Она сидела, будто обложенная льдом.

А Винца казался себе маленьким-премаленьким, совершенно высохшим в этом свежем душистом воздухе, и не мог оторвать глаз от Илоны, словно, кроме этой явной красоты, ему дано было увидеть и ту, скрытую...

— Сколько? — спросил Каливода.

Человек он был даже приятный, и в том, что поездка проходила удачно, была его немалая заслуга. Но как ассистент кафедры специальной зоотехники он все-таки был невыносим. Роста он был сто шестьдесят сантиметров максимум, поэтому, видимо, ему доставляло особое удовольствие обращать внимание на Винцевы сто восемьдесят пять.

— Девяносто три,— ответил Винца сухим голосом.

Раздался смех. Председатель комиссии укоризненно откашлялся.

— Внешние данные восемьдесят один балл, элита, общая оценка класс элита-рекорд.

— Товарищи, мы не на экскурсии,— напомнил Каливода.

Илона судорожно хихикнула. На этот раз одна она.

Винца прижал прохладные ладони к пылающим ушам.

Одного за другим выводили быков, что ни бык — то не меньше тонны коварно бесстрастного мяса и пять тысяч потомков. Слушатели четвертого курса зоотехнического факультета старательно записывали в свои блокноты баллы за голову, шею, производительные данные, грудную клетку, холку, загривок и круп.

А трава пахла почти по-майски, и где-то носились кошки.

На изрытом песке стоял последний бык. Казалось, он спит. Да и все остальные, не исключая поводыря, сонно смотрели на белый свет. Поводырь держал железный посох одной рукой, устремив взгляд куда-то поверх деревьев. Вдруг бык шагнул вперед. Опущенной головой он наткнулся на поводыря, тот от неожиданности вскрикнул и упал. Бык сделал еще шаг вперед, и голова его поникла до самой земли. Бесконечно долгие секунды он размахивал короткими рогами над грудной клеткой упавшего.

---

[1] Высочина — местное название Чешско-Моравского горного массива.

Пронзительно вскрикивали ласточки. Росла трава.

Бык повернул в хлев, железный посох, позванивая, волочился у него между ног.

Все сидели не шевелясь.

Откуда-то с громкими воплями прибежала женщина.

Поводыря подняли на ноги, поддерживая с двух сторон,— он не в состоянии был стоять без посторонней помощи.

— А ведь мне и каюк мог получиться... Почему ж он не тронул меня? — твердил бедняга в недоумении.

На это ему никто не ответил.

Жена судорожно вцепилась мужу в рубаху.

Перед отъездом студенты пошли еще раз взглянуть на быка. Казалось, он снова дремал, лениво пережевывая свою жвачку.

В автобусе стояла розовая духота.

■

Винца шел за своей тенью, и солнце помогало ему.

Он шел навстречу движению по пыльной серой дороге; все тело его настроилось на давно забытый, но тем более сладостный лад невероятно далекого времени, когда каникулы были прежде всего горячей печкой, наполненной вкусной всячиной. Винца разулся, спрятал носки в карман и пошел босиком по пыли, прожаренной до шелковистой мягкости, с улыбкой задирая голову к головокружительной синеве.

По-июльски пестрые луга, корявые вербы с молоденькими кронами, причудливые островки камыша и нахального рогоза, блестящие отточенные острия аира — букет терпковатых запахов, как на свадебном столе. Река Дыя брала начало далеко отсюда, в глубине леса, там она подмывала берега. Винца шел вперед, куда указывала тень, и солнце подталкивало его в спину...

Не надо торопиться.

Он и в самом деле не очень торопился и мыслями вернулся на пятнадцать часов назад: Мария смеется и плачет, она — как лубочная картинка. Ярким девичьим краскам очень подходят солнечные дни.

Вот уже десятый день он не может расстаться с ней.

Сейчас ему хочется вдруг заорать и подбросить вверх камень, а потом, закрыв глаза, подождать — какое место земли выберет он для поцелуя.

Сколько раз он убегал от Марии, столько же раз возвращался к ней назад.

Наверное, он любит ее.

«Если б ты меня любил, придумал бы что-нибудь!»

«У меня билет на поезд, пять сигарет и две кроны пятьдесят!»

«Дома нас накормили бы обоих...»

Мама!..

Папа!..

Соседская бабушка, прикладывавшая ей ко лбу лист лопуха!

Да, это я, тот самый, что раздевает ее при луне.

Ему стыдно за это... Стыдно за самого себя.

Наверное, он ее любит.

«Мне надо ехать домой. Каникулы...»

«Каждое воскресенье тебя ждут, на каникулы тебе тоже надо быть дома, если б я была твоя... Я приеду к тебе. Возьму палатку и спальный мешок...»

«Пожалуйста, не делай этого!»

«Почему?!»

Не считая минут беспокойного сна и сдерживаемых вздохов, он прощается с ней уже десять дней и десять ночей.

Им обоим до сих пор стыдно.

Такое странное возвращение домой, впервые в жизни и именно в свои последние каникулы.

■

Деревня их называется Доброе Поле. К ней ведет одна-единственная дорога, и все, кто направляется в деревню, поневоле проходят мимо корчмы.

Винца готов был зайти хоть на кладбище, лишь бы оттянуть время.

Чего я так боюсь?!

Винца выпил холодного пива, именно такого холодного и вкусного, о каком мечтал.

Хоть что-то...

Рядом с распивочной, в «салоне», заиграли цимбалы, затем вступили скрипки, гудящие контрабасы и озорной кларнет. Винца задрал голову, словно подставляя лицо дождику, и увидел почерневший потолок.

В «салоне», дробно топоча и непостижимо быстро перебирая ногами, отплясывал Людва Дворжачек так, что звенели стекла в окнах. Он хлопал себя по каблукам, и потное пятно на спине расплывалось все шире. Волос на голове у Людвы почти не было.

— Винца! — просипел он в середине подскока и приземлился с грохотом, словно мешок гороха.— Винца, друг!.. — И осклабился. Это, видимо, должно было означать «приятное изумление». — Ну, будет! Я уж и не чаял... Папаша-то ехать за тобой собрался.

Винца пожал плечами, что в свою очередь должно было означать: «у меня голова шла кругом».

— Наш ансамбль едет в Стражнице. На всю область прогремели... Поработаешь за меня эти дни?

— Ты сам до этого додумался?

— Винца, друг, неужто не выручишь?.. Всего ведь несколько дней! Десять! От силы две недели!

Винца отрицательно покачал головой.

Людва стоял с убитым видом, руки плетьми обвисли до колен.

— Винца...

— Ты в своем уме? Ну могу ли я работать зоотехником? Вот так, ни с того ни с сего!

— А отчего не можешь?! Чему же ты сто лет учишься? Председатель согласен... А иначе он меня не отпустит. В Стражнице, Винцик, ты можешь себе это представить?!

«Винцик»! Слово-то какое, будто улитка на языке.

Винца встал:

— Мне пора!

— Винца.. — И Людва досадливо махнул рукой.

А на дворе жара. И какая жара!

■

Его окрестили Винценцем, и он носил это имя будто второй нос. Винценц, по фамилии — Адамек. Как выражался отец, Винца учился «на пана». Теперь он идет по улице в белых брюках, черно-белой полосатой рубашке, на носу темные очки в серебристой оправе, ноги в вишневых носках и черно-белых кроссовках горят огнем.

А если и тут пройтись босиком?

И он слышит голос отца: «Вот станешь паном...»

На улице ни одной собаки. Только окна.

По мостовой зацокали подковы. Винца едва сдержался, чтоб не оглянуться. Даже в деревне отвыкли от зрелища лошади не в упряжке. Винца упорно смотрел себе под ноги. Он был как бы мишенью, а топот коня — хорошо нацеленными стрелами. И вдруг ритмичный то-

пот рассыпался звонкими хаотичными звуками. Винца не выдержал и оглянулся.

Вороной конь яростно пританцовывал, грызя удила, оседал на задние ноги и угрожающе взмахивал в воздухе передними. На коне сидел верхом соседский мальчишка Олин. В прошлом году на каникулах Олин спустил все четыре колеса на семейном «сокровище» Адамеков за то, что Адамеки задавили его курицу из породы корольков.

— Здо́рово, а?!

Олину было пятнадцать, и раза два в году он резко и бесповоротно менял свое решение о будущей профессии.

На то ему и пятнадцать.

Винца кивнул.

— И я бы не прочь так прокатиться.

Олин похлопал вороного по шее.

— Я теперь буду жокеем. После каникул поступаю в Кладрубский техникум.

После каникул.

— Тебе хорошо,— сказал Винца.

— Ни фига хорошего,— сердито отрезал Олин и озабоченно добавил: — На семь килограммов я уже похудел, а еще надо сбросить не меньше пяти.

— Нечего было брюхо набивать.

— А кто мне советовал больше лопать?

— Я?!

— А то кто же!

— Ты же хотел тогда стать водолазом.

Олин засмеялся.

— Такие дела.

И ударил пятками вороного. Из-под копыт коня брызнули голубоватые искры.

Он уже не спрашивает совета, отметил про себя Винца. И вспомнил, как когда-то даже советовал Олину стать актером.

■

Едва он отворил ворота, в нос ему ударила тошнотворная вонь; Винца чуть не заплакал.

Разве я могу позвать кого-то в гости?

Он имел в виду Марию.

Козлу на это было наплевать. Он вонял, потому что жил. В пасмурную погоду и перед дождем, когда от Палавы [1] низовым ветром приносило тяжелый туман, он вбирал в себя всю эту вонь в саду и в хлеву под орехом и полную охапку ее вываливал прямо к порогу.

Хозяева настолько привыкли к вони, что не замечали ее.

В сенях Винца посмотрелся в тусклое зеркальце и услышал голос отца, разносившийся всегда гораздо дальше, чем это было необходимо:

— Она пришла яиц спросить, я ее и не узнал. Огляделся даже по сторонам — не на сцену ли попал. Нет, в кухне мы... Так вот, под глазами у нее синее, веки серебряные, волосы отстегиваются, а титьки полистироновые...

Отец читал газеты и отлично знал значение новых слов, но частенько нарочно коверкал их и употреблял не к месту.

Винца продолжал смотреться в зеркало.

— Проклятье,— сказал он почти так же громко, как и отец, засмеялся и повертел головой.

Он был дома.

— Добрый день.

---

[1] Палава — горная вершина в южной Моравии.

Отец ел сырое сало с огурцом, запивая его горячим молоком. Все ясно — мама снова приготовила мясо из магазина. Когда отцу случалось куда поехать и время обеда заставало его где-нибудь в трактире, он утолял голод стопкой горькой. Ни за что на свете не согласился бы он съесть кусок «купленного» мяса. «Вот когда получишь диплом, я просто не знаю, что буду есть на банкете»,— говаривал он, размечтавшись.

— Здоро́во... Ты где болтался?!

— Есть хочешь? — спросила мать. — Суп еще не остыл.

— Ну, чего стоишь, будто чучело огородное?! Переодевайся. Пойдем на скотный двор.

— Сперва поешь,— перебила мать. — Наконец-то, слава богу, отдохнешь от своей учебы. На кого похож — одни штаны остались.

Отец не сводил с него пристального взгляда.

— Я тоже, бывало, таял на глазах,— и исподлобья глянул на жену.

— Ладно, не пугай,— прикрикнула она на мужа.

■

В духоте коровника впору было выращивать орхидеи. Тут производилось молоко.

Проголодавшиеся коровы нетерпеливо мычали, дергали цепи, расшатывая железную ограду. А вдоль строя коров, в полуметре от их алчущих морд, сантиметр за сантиметром ползли корытца, полные пахучей люцерны.

Старший Адамек стоит в дверях, одна рука в кармане, другой он держит пирог и аппетитно жует, с удовольствием глядя на животных, одержимых своими повседневными потребностями. Карусель вращается; это похоже на модель вселенной — земля так же обходит вокруг солнца...

Винца держался за вилы, чтобы не удрать. Отец взял его в коровник не столько в помощь, сколько напоказ. Похвастаться папаша любил.

Доярки с доильными аппаратами сидели на скамеечках у стены в ожидании, когда коровы набросятся на еду и перестанут бесноваться. Доярок было три: Маргита, Марика и Марта. В деревне судачили, будто они приехали в Доброе Поле искать женихов. Возможно, так оно и было, а может, и не так. Во всяком случае, от парней они не бегали. Девушкам было жарко; они сняли с себя все, что можно было снять, и расстегнули все, что можно было, расстегнув, не потерять.

— Господи Иисусе... А-а-а!

Дворжачкова растянулась в проходе в луже молока и тщетно пыталась изменить крайне непристойное положение ног.

Адамек перестал жевать, Винца, воспользовавшись общим замешательством, разглядывал по очереди Маргиту, Марику и Марту, подбежавших к Дворжачковой.

— Не ушиблись?

— Пока жива!

Пани Дворжачкова была женой зоотехника, но в таком срамном заголенном виде она не осмелилась бы показаться даже мужу. А прожили они вместе уже счастливых десять лет.

Дворжачкова брезгливо отряхнула и отерла места, которых касались руки этих бесстыдниц, оглядела мокрую и грязную юбку, осторожно вышла из молочной лужи.

Адамек очнулся от задумчивости, подскочил к рычагу, выключил конвейер. Где-то еще раз-другой стукнули рога, и наступила тишина.

Пани Дворжачкова подозрительно огляделась и, подбоченившись, стала в позу:

— Вы еще и потешаться надо мной будете? Издеваться, да?

— Да я и не...

— Из-за вас я чуть не покалечилась!

Адамек столько уже ругался с Дворжачковой, что сейчас с радостью отказался бы от этого удовольствия. Но из подсобки их слышал Винца. Маргита, Марика и Марта весело улыбались.

— Я, что ли, тебя толкнул?! Нечего было лезть доить, пока коровы не наелись!

— Это не корова лягнула меня! Это вы! Для меня это все равно, что вы! Я вас хорошо знаю!

Слова, как капли растопленной смолы, жгли Адамеку язык, но он проглотил их вместе с непрожеванным куском пирога, вытаращил глаза и обернулся за помощью. Но Винца был не здесь, а где-то далеко в чудесной сказочной стране.

Еще бы. Три невесты зараз!

— Ну, давайте начинайте! Чего еще ждете?.. Бабы!

В десяти шагах от коровника Людву Дворжачека охватила странная смесь ощущений. Экая бурда, сказал бы он, если б это можно было пить; и все-таки он не до конца отдавал себе отчет — что же с ним происходит. В коровнике находилась его жена, но шел он не к ней. Ему нравилась маленькая Марта, и он краснел при мысли, что все это замечают. Он уже не мог представить себе — как запросто пойдет куда-нибудь, где встретит Марту. Людва сильно потел, даже работая в леднике, в бытность мясником, а в этой жаре и духоте ему и подавно стало не по себе.

За десять шагов до коровника он начал уговаривать себя: я иду туда по служебным делам. Эта решимость и была сейчас написана на его лице.

Марта улыбнулась и наклонилась, чтобы взять скамеечку.

Людва ждал и смотрел.

— Ну, чего, чего?! — закричала его жена. — Куда ты снова уставился?! Будет ли тут порядок?! Да, ты у меня мастер в корчме кривляться! А здесь, между прочим, не купальня и не корчма, здесь *работают!*

Людва Дворжачек достал блокнот и ручку.

— Ну, что опять?

— Меня корова лягнула!

— Которая?

Жена вздохнула и беспомощно отвернулась:

— Она ж меня насмерть убить могла! Ногу перебить!..

■

Под навесом из окоренного кругляка на чистенькой соломе возлежал молодой бычок. Он уныло помаргивал и апатично жевал жвачку.

Винца ходил вокруг бычка; хотелось потрогать его за чубчик между желтыми восковыми рогами, но только бычок дернулся, прогоняя муху, как Винца в панике отпрыгнул. Занятый этой напряженной игрой, Винца не заметил отца.

Старший Адамек с сердитым видом стоял, опершись на почерневшие ворота загона.

Самый красивый и самый умный сын на свете боится глупого быка!

— Ты боишься его, что ли?

Винца мысленно совершил головокружительное сальто в детство: его словно застали, когда он рассматривал картинки в медицинской книге. Уши маково заалели, в горле застрял наждачный комок.

— Чего пугаешь?

— А ты боишься, да?!

— Он же привязан.

— А если бы не был?!

Теперь, когда он признался в своем страхе, он мог и посмеяться над ним, но нет, Винца ни за что не станет смеяться! А в груди — холодящий сквозняк.

— На, смотри хорошенько! — Адамек старший отвязал бычка, указательным пальцем зацепил за железное кольцо, продетое в ноздри, и с достоинством двинулся меж яблонями. Недоставало лишь стаккато барабанов и хлопанья парусины шапито под ветром: «...тореадор, смелее в бой, ведь ждет тебя любовь...».

Бык был послушней собачонки. Адамек почти год выводил его на прогулку, чтобы к аукциону загривок у бычка стал как диван, а поступь — как у породистых кладрубских жеребцов.

Затем Адамек молча снова привязал его к желобу и мечтательно поднял голову:

— Видал?

— Однажды я видел, как такая образина за полсекунды превратила здорового мужика в кровавый бифштекс.

— Ты, наверно, видел уже все на свете.

— А что, такого не может быть? — Голос у Винцы сорвался. Он не так уж часто врал.

Адамек богатырски зевнул, вытер набежавшие слезы.

— Бывает. Только я после этого не стану трястись от страха перед туполобым быком. Запомни — Адамеки ничего не боялись! И вообще — его бы тебе прогуливать. Я для этого уже староват.

— К тебе он привык!

— И ты к нему привыкнешь. Мой сын не может быть слюнтяем. Понимаешь ты это?

— Нет.

— Тогда раскинь мозгами и пойми. — Адамек снял с гвоздя щетку и скребницу. Острые зубья оставляли в блестящей шерсти матовые бороздки. Бык жмурился, как старый кот, и только что не мурлыкал.

■

И никаких тебе каникул.

Винца шел через громко шелестящие заросли кукурузы и скандировал. Ему хватало на семь шагов: «И-ни-ка-ких-ка-ни-кул».

А как удивительно отличались прежде каникулы от всякого другого времени: сейчас воспоминание об этом навевало непостижимую грусть. Тогда под мостом текла вода и можно было нырять, прыгая вниз головой. Кто выныривал на поверхность в пузырьках чернющего ила со дна, с того света, где звенело в ушах и перед глазами расплывались синие круги, тот был героем. Созревали черешни и ранние груши. В Ледницу тянулись, покачиваясь на ходу, тяжелые неуклюжие телеги, груженные горохом. В одни каникулы Винца был голубятником, в другие — рыболовом, в третьи — прожил в шалашах из ивовых прутьев, в садовых сторожках.

И вот снова созревали черешни и ранние груши, можно было протянуть руку за охапкой гороха, а затем дать деру; но теперь кто-то другой гонял голубей, ходил с рюкзаком на рыбалку, а сторожки в фруктовых садах потихоньку разваливались.

Что же случилось? Просто ему уже не пятнадцать.

Каникулы остались прежними, только сперва надо как следует побриться, чтобы лицо было гладким.

Призрачные тени летучих мышей (сычи побольше размером). Теплый запах пшеницы, приправленный ароматом помидорных стеблей. Небо, на которое забрались люди, но до которого никогда не дорастут вот эти тополя.

Он идет один, один и вернется.

На сером, темнеющем полотне горизонта вороной конь пишет строчки стихов. Где-то — далекая дробь барабана. Откуда вороной? Сейчас, среди лета?..

Винца вспомнил стихи:

За Брно зеленая долина.
Там пасется конь.
Горло мне тоской сдавило.
Одинокий и усталый, с кем вернусь я в дом?

Взметнулся серебряный водяной фонтан, завизжали девчонки.

Винца остановился. Стало стыдно и почему-то страшновато. Поразила догадка, что своими воспоминаниями он оскорбляет этот удивительный вечер.

Вороной пил воду, в которой плавала луна.

У девчонок блестели глаза и мокрые выше колен ноги.

— Покатай меня,— попросила Марта.

— Раздевайся,— сказал Олин сухим голосом, и смех его был таким же сухим.

— Сегодня очередь Марики.

— Еще чего! Я разденусь, а кататься будешь ты!

— Ты вчера каталась.

— Ой, совсем ведь чуточку.

— Не хочешь, как хочешь. — Олин вспрыгнул на вороного.

— Ладно, Марта, раздевайся, раз твоя очередь,— неуверенно согласилась Маргита.

Марика зябко обнимала плечи мокрыми руками.

— А я что, маленькая, зря раздеваться? — Слова, влажные от слез, и — тишина.

Разбрызгивая воду, конь вышел на берег и, отфыркиваясь, побежал к деревне.

Стоя под балдахином кукурузы, Винца смотрел затаив дыхание. Он словно читал книгу, видел картину, слушал рассказ.

— Ах, противный малый... Трахнутый.

— Пошли врозь, что мы все будто сестрички!..

— Одна я никуда не пойду... И не смотрите на меня, я сейчас переоденусь! — Маргита закуталась в полотенце, Марика и Марта обиженно отвернулись.

А далеко, вдоль тополей, мчался всадник на черном коне.

■

Винца открыл калитку, над головой у него звякнул колокольчик, и одновременно он увидел отца. В глубине двора у закута для поросенка горел фонарь. Вокруг губительного света вились ночные мотыльки; сюда же слетелись и все, какие были в округе, комары.

При звуке колокольчика Адамек замер. Ослепленный светом фонаря, он видел лишь очертания вошедшего.

— Кто там?

— Я.

— Ты где был?

— Купался.

— Купался! Сперва дело надо сделать!

— На дворе ночь.

— Чего я не успеваю за день, наверстываю ночью. Само-то ничего не делается.

— Конечно...

— Иди сюда!

Винца неохотно поплелся к отцу. Не было видно, что он делал, зато здорово чувствовалось. Отец вычерпывал из сточной ямы навозную жижу. Нацепив на веревку с крюком ведерко, Адамек с нас-

лаждением погружал его в черную дыру. Плюх-плюх — вытянул переполненное через край ведро, снял с крючка и понес в сад, где висел над виноградными лозами второй фонарь. По пути он обливал себе штаны и сандалии; хорошо — сандалии были открытые.

— Что будешь делать — набирать или носить?

— Это так срочно?

— Что-то, гляжу, не больно ты спешишь отцу помочь.

— У меня каникулы. Последние!

— Ну и что?! Каникулы на то и каникулы, чтоб отдохнуть от сидения за книжками.

— Ладно, раз ты даешь мне право выбора, буду вычерпывать.

— Принеси еще ведерко.

Когда они, наконец, кончили, провоняв всю вселенную, центром которой были они сами, мать налила им в цинковую лохань горячей воды, повесила на калитку полотенце. Они мылись вместе, на время прекратив споры, чтоб не наглотаться мыла.

— Все, что ты тут видишь, начиналось с навоза.

— Не хватит ли на сегодня? Какая мне радость, например, от нашей машины?

— Каждое воскресенье катаешься... А учился на какие шиши? Паном станешь, а?

— «Паном, паном»!! Люди вон в космос летают, или ты, может, не знаешь? А мы козла держим. Винцу к тому же.

— Что, плохое имя, скажешь?

— От него самого кому угодно плохо станет.

— Полей-ка мне на спину... Да наплюй ты на людей, если тебе сказали что. Люди!! Люди все в навоз превратят. Кабы на свете жили одни люди, мы бы давно утонули в навозе. Украшать землю! Вот, к примеру, виноградная лоза — сколько ей навозу нужно, а сколько от нее красоты! А возьми ты *художника!* Покамест он нарисует свою картину, или там писатель напишет роман... Одной еды экую прорву переведет... А вина! Ну и всего прочего. А чем его картина будет лучше настоящей виноградной грозди?!

— Виноград тоже дело рук человеческих.

— Какому-то богу надо поклоняться, помяни мое слово! Лучше уж виноградному.

Мать сидела, сложив руки на коленях, обратив глаза к звездам. Она была начеку, чтобы вмешаться, если дело дойдет до рукоприкладства. Вдруг она чуть не рассмеялась вслух. То за весь день и двух слов не скажут, и то половину из них не поймешь, а тут ишь разговорились...

— Я условился с Дворжачеком, завтра поедешь вместе с Храстеком на лошадях.

— Он же мне говорил, чтоб я...

— Что говорил?

— Так, ничего... Почему я каждые каникулы должен работать в кооперативе? Ну почему я должен работать и в свои последние каникулы?! Неужели не обойдемся без сотни-другой?

— Адамекам всегда что-нибудь нужно! Главное же — ты должен знать, как надо держать вилы. Чтоб до смерти этого не забыл. И если тебе придется когда просто поднять их — хоть не уколешься.

Поросята выхлебали помои и теперь толкали корытце и стучали им о стенку.

Козла угнетало одиночество, и он уныло мекал.

Пискнул цыпленок, тявкнула собака.

Пахли лилии.

Они перебрались на кухню, сели перед раскрашенным буфетом, под образами. Налили красного, располовинили луковицу, отрезали сала.

— Есть у тебя девчонка?
— Что мне с ней делать?
— И то верно. Ты с этим погоди малость или забудь о ней.
— А если я приведу какую?
— Не дай бог еще накаркаешь!
— Только сперва придется прирезать козла.
— Порешить козла из-за бабы? — Адамек поперхнулся луком и заплакал.

■

Едва развиднелось; солнце не успело даже протереть глаза. Под свежим ветерком серебристо трепетали листочки тополей. Луга еще нежились под кисейными покрывалами.

Вокруг колокольни вились голуби, вплетая синие ленты липам в волоса.

За каким окном просыпается теплая девушка?..

Кто-то надрывно храпел.

Винца еще толком не проснулся, отцу тоже было не до разговоров.

На скотном дворе они разбрелись каждый в свою сторону. Марика, теряя на ходу тапочки, тащила молочные бидоны. Каждые два-три шага она останавливалась, ставила бидоны, и когда наклонялась, желтые волосы падали через плечо, а растянутую футболку она могла б и вовсе не надевать!

Винца встал. Адамек оглянулся. Замычала корова, протарахтела тележка. Винца нырнул в конюшню.

В стойле стоял один вороной. Чуть повернув голову, он насторожил уши.

— Доброе утро.

Храстек почесал себе живот, потом затылок. Под ногами у него путалась рыжая кошка, гордо показывая свое потомство — четырех черно-белых котят.

— Меня послали вам помогать.
— Что делать?
— Не знаю.
— Тогда ступай домой.

В конце прохода стояла деревянная тачка центнеров эдак на пять навоза. Берясь за ручки тачки, Винце пришлось развести «руки в стороны», как по команде на гимнастике.

Все начинается с навоза... А кончается?

Вилы торчали, воткнутые зубьями в щель между досками.

— Куда ты? Это конь Олина. — Храстек осклабился и кивнул на двух здоровенных меринов. Один белый, другой рыжий, оба с золотистыми гривами и хвостами.

Винца вспомнил академика Рихарда, неравнодушного не только к английским полукровкам, но и к особенным мутациям окрасок своих обожаемых полукровок. Винца вонзил вилы в навоз.

— У нас есть один преподаватель в институте, он ездит читать лекции даже в Прагу. Мотается между Брно и Прагой. Знаете на чем? На мотоцикле «Пионер».

Храстек недовольно причмокнул:

— А на чем же ему ездить? На лошади?

Винца кивнул.

— И без шлема.

Однажды они целых три дня ехали с этим преподавателем до Слатинян: во всех придорожных трактирах у того были друзья.

— Все учатся, кругом все одни ученые,— ворчливо завел Храстек. — Я всего три класса городской школы кончил, а оба мы с тобой одинаково ходим за конским хвостом. Благоверная моя и подавно

один класс кончила, а уж какая образованная! Тебе о ней еще ничего не рассказывали?

В этом Винца не признался бы и под пыткой испанскими башмаками.

— Гуляет она от меня.

Началось это еще на курорте. Мало ли мерзостей начинается на курортах? А наружу все вышло этой зимой, сразу после сретенья. Пани Храсткова поехала на два дня к приятельнице, с которой познакомилась во время отпуска, а вернулась через полтора месяца в положении. В деревне, куда она ездила, вспыхнула эпидемия ящура, и оттуда никого не выпускали.

Да уж, с незапамятных времен животные роковым образом влияли на судьбы людей.

Олин вошел в конюшню на цыпочках. Вытянув губы трубочкой, он пропел вороному что-то нежное. Потом поднял руку, раскрыв ладонь, и зажмурился, провел пальцем по блестящей черной шерсти, и кто знает, что́ он там видел за смеженными веками, какие пейзажи, какую жизнь?

— Давай выйдем,— прогудел Храстек.

Они сели на буковую колоду, закурили.

— На этом вороном никто не сидел, один Олин. Ты представить себе не можешь, что этот сукин сын вытворяет, когда к нему подходят другие.

Винца подумал о вчерашнем вечере. Видно, вороной с уважением относится и к гостям Олина.

■

Они с Храстеком поехали за свежей люцерной для поросят. Лошади покачивали тяжелыми головами, поскрипывала телега на резиновых шинах, поскрипывали постромки.

Ровная линия горизонта, и пейзаж вокруг — то однообразно скучноватый, то величественный, таинственный, как хранящий нечто неведомое расписной сундук. Спрятанное в нем угадывалось по небольшим выпуклостям, как на теле великана. Пригорки, словно нигде не начинаясь и нигде не кончаясь, были очерчены мягко и неуверенно. Равнодушный взгляд скользил по ним не задерживаясь. Но они были здесь, и на каком-нибудь одном, обычно самом видном месте, обозначались березой, орешником, бело-зеленым погребком, черным крестом. Как будто жизнь, укрытая где-то глубоко, в одну из сказочных ночей взвилась под небо и вернулась в измененном для человеческих глаз подобии.

Косилка и конные грабли. Реквизит фантастический и несуразный в сравнении с изящными по очертаниям силосными башнями за околицей деревни. Но косилка и грабли тоже здесь. И пока Храстек ездит на лошадях и под мерный ритм их бега разбирает женин грех, они будут жить и выполнять свое назначение.

Одного коня они впрягли в косилку, другого — в грабли. Сидеть на металлических сиденьях только с виду было удобнее, чем на сломанном суку.

Гулко затарахтел привод косилки.

Когда Винца нажимал на педаль, выщербленный гребень меж огромных железных колес с легким звоном поднимал длинные зубья, загнутые в виде загребущих алчных пальцев, и на землю падал тяжелый вал скошенной люцерны.

Они нагрузили телегу выше грядок и с этим топырящимся во все стороны грузом, истекающим соком и ароматом, двинулись в деревню.

■

Около полудня лошади сами остановились у корчмы, под каштаном.

— Пропустим по одной,— объяснил Храстек. — Или по две.

Храстек опрокидывал в себя пиво, будто мензурки лечебного сиропа. Глаза его повеселели, и слова полились неудержимым потоком. После шестой кружки он все понимал, в том числе и сложность людских взаимоотношений.

Корчмарь держался словно вытесанный из мрамора монумент и запотевал так же безропотно, как и камень перед дождем. Человеческого у него оставалась только рука, которая открывала и закрывала сверкающий хромированный кран.

— Они все смеются надо мной. И вон тот старый хрыч за стойкой тоже будет покатываться со смеху, пока брюхо не надорвет. Мы с тобой отсюдова уберемся, а он сразу дунет к своей благоверной, чтоб разобъяснить ей, какой я есть дурак. А сейчас ему всего дороже пиво, которое мы выпьем. Чего он только не терпит, абы заработать побольше. — Храстек потряс в нетерпении кулаками перед своим лицом.— На его-то старую каргу никто не польстится! Куда ей!

Корчмарь не реагировал.

Храстек даже отбил себе суставы согнутых пальцев о край стола.

— Не видишь, я допил?!

Корчмарь отвернул кран. На лоб ему села муха. Не дождавшись, пока кружка покроется шапкой белой пены, она улетела.

— Но попомни мои слова: недолго им надо мной потешаться! Есть у тебя ром?

Рому было сколько угодно, и у Винцы мороз пробежал по спине от недоброго, хотя и необъяснимого предчувствия. Что-то в Храстеке настораживало Винцу, еще когда тот утром разглядывал свои ладони.

— Я скоро наведу порядок! Ты будешь свидетелем! Чтоб я надрывался заради какого-то подлеца? Пошли ко мне.

— Что мне там делать?

— Говорю же — свидетелем будешь. В случае чего — удержишь меня, чтоб я ее не прикончил.

— Никуда я не пойду!

— Нет, пойдешь! — Храстек схватил Винцу за ворот и потащил к двери.

— Платите,— просипел корчмарь.

Храстек отпустил Винцу.

— Слыхали его?! Я незнакомая для тебя личность, да?

Но корчмарь на своем трудовом посту других слов, видимо, не произносил.

— Храстек я или кто? Запиши в долг!

Через деревню кони промчались галопом. Задавили гуся. Не доезжая до моста через Тркманку, свернули и остановились перед белым домом с зелеными воротами.

— Божена! — крикнул Храстек. — Ворота!!

Ворота не открылись. Видно, слова эти как-то потеряли свою волшебную силу.

— Слезь, погляди.

Винца отрицательно замотал головой, Храстек устало вздохнул. С козел телеги мир казался необыкновенно красивым и разноцветным; живи, радуйся. Храстек взялся за тормозную ручку, оперся на широкий зад мерина, сполз на землю и хрипло засопел. Цепко держа Винцу за рукав, он уже не отпускал его.

В кухне спала кошка, тикал металлический будильник. Чистота, порядок, пустота. На полу в сенях глиняный кувшин с молоком, белое ведро с голубоватой, студеной даже на вид водой. Храстек напился большими глотками из ковшика, вода потекла по подбородку, по коричневой шее, за рубаху.

Двери они за собой не захлопнули. Божена сидела в горнице под фикусом, на краешке дивана, покрытого цветастым покрывалом, и смотрела на фарфоровую женскую фигурку в буфете. На другом конце дивана сидел человек в черной паре со шляпой на коленях, весь в поту. Увидев вошедших, он встал, и было странно, что при этом с него не свалилась одежда. Мужчина не доставал Храстеку и до плеча. По виду — сторож в костеле или чиновник страховой конторы перед ее ликвидацией. Он стоял выжидая.

— Что такое? — спросил Храстек.

— Посмотри... — сказала Божена розовенькой фарфоровой статуэтке.

— Уважаемый господин,— начал мужчина в черном, но этим и кончил.

— Гадина,— просипел Храстек.

У Винцы побелела рука, сдавленная в запястье Храстеком.

— Посмотри, что ничего твоего не беру.

— Как — моего?

Черный чемодан на сверкающем свежими красками новеньком ковре. Ночная сорочка, кружево белья, молитвенник.

Храстек выбежал, потащив Винцу за собой, но в сенях отпустил его и тут же вернулся с плотницким топором. Матово-серое серебро острия, ладно вытесанное изогнутое топорище.

Человек в черном спрятался в шляпу. Он не производил впечатления мужчины, ночи напролет занимавшегося любовью. Однако предполагать, будто он вообще обходится без женщин, было уже слишком поздно. Его избранница, у которой он собирался найти взаимопонимание, захлопнула черный чемодан; зеленое платье она носила уже без пояса.

— Прощай,— сказала Божена.

Фарфоровая куколка улыбалась.

— Что ты собираешься с ним делать?

Черный мужчина исчез. Может быть, он просто хотел подождать ее на свежем воздухе? Божена вся перегнулась влево, чтоб не волочить чемодан по полу.

— Я ведь только хотел, чтоб ты попросила прощения!!

Храстек с размаху всадил топор в платяной шкаф орехового дерева. Изнутри двери оказались белыми; еще удар — и они вывалились на пол. Храстек поднял их и выкинул через закрытое окно во двор. Вытер лоб, расставил ноги пошире, провел большим пальцем по острию топора.

Винца, пятясь, вышел из сеней, зацепил ведро с водой, испуганно оглянулся. Лакированные стенки мебели раскалывались со скрежетом.

Божена с черным господином была уже в конце улицы, за чемодан они держались вдвоем и все равно тащили его с трудом. Мудрые лошадки ждали, когда щелкнет кнут. Звон разбиваемого стекла, грохот беспомощно падающих обломков. Винца взгромоздился на козлы и чмокнул на лошадей. Они недоверчиво оглянулись. Дернув вожжами, Винца взял кнут.

Куда же?!

У моста он остановился и, приподнявшись на козлах, увидел двор Храстека, кучу деревянных обломков возле красной водяной колонки. Видно, в доме рубить было уже нечего, и Храстек в ярости носился по двору, со свистом вертя топором над самой головой. У гусей из отрубленных шей вытекала тут же застывающая кровь, всполошно бегали куры, волоча по земле крылья, в полумраке собачьей конуры затравленно сверкали зеленые глаза.

Храстек побросал битую птицу на ворох щепок и поджег. Белые перья и пух носились в воздухе и нехотя опускались на землю. Яс-

ное пламя постепенно переходило в черную тучу, крупные хлопья сажи бешено вертелись в прозрачных потоках горячего воздуха.

Пинком распахнув дверцы закута, Храстек выжидательно поднял топор. Годовалый поросенок высунул рыло с плоским пятачком, прокопал бороздку и громко захрустел найденной костью. Затем он выбежал на солнышко. Топор послушно описал заданный полукруг и мягко, по самое топорище, погрузился меж щетинистых ушей. Неуверенно шагнув еще раз, другой, поросенок повалился на бок и уже лежа подрыгал ногами в воздухе.

Черный дым, тяжелый смрад.

Храстек остался во дворе совсем один. Он сел на сруб колодца и закрыл лицо ладонями. Собака убежала в заросли ивняка.

Раздался вой сирены. Примчался брандмейстер на довоенном велосипеде. Забарабанил кулаками в ворота, забегал вокруг белой ограды, подпрыгивая на цыпочках и заглядывая во двор. Наконец он вскарабкался к Винце на козлы.

— Что там?

Во дворе он увидел Храстека у колодца и костер, на котором Храстек уничтожал следы своих злодеяний.

— От него жена ушла.

— Нечего было ее выгонять.

Прохожие останавливались, окликали Храстека:

— Лойза!!

— Не дури!!

— Дом подожжешь, олух!

Подъехала пожарная машина. Брандмейстер замахал рукой с козел:

— Шланги не разматывать! Тут дело для милиции.

У пожарных были блестящие каски и на пряжках новеньких желтых поясов — черно-золотые топорики.

— Я вызову милицию. — Брандмейстер пнул ногой колесо велосипеда и сел на ободранное седло.

Приехал свежевыбритый, едва ли достигший совершеннолетия вахмистр и залез на ограду.

— Именем закона немедленно прекратите, гражданин...

Храстек поднял голову, затем нагнулся за камнем. Вахмистр развел руки в стороны и, спрыгнув на дорогу, тряхнул головой:

— Придется вызывать подкрепление.

Подкрепление прибыло на «Волге» и расположилось на ограде из белых кирпичей с черной прокладкой; встав на ровном расстоянии друг от друга, оно принялось увещевать Храстека официальными голосами:

— Даже свое собственное имущество вы не имеете права самовольно уничтожать.

— А почему вы того кобеля не догоняете?! На него законов нету, да?!

Ощущая под рукой кучу камней, Храстек полагал, что право — на его стороне.

«Волга» отбыла и вскоре вернулась в сопровождении газика. Вахмистр еще раз забрался на ограду:

— Именем закона я требую...

Храстек ответил ему однозначно и некрасиво.

Из газика выскочил проворный ефрейтор и, аккуратно выдернув из картонки со слезоточивым газом шпагат на синей кнопочке, перебросил картонку через ограду. Храстек скучно и без всякого интереса поглядел на шипящий гостинец. И лишь раскашлявшись от удушья, он вспомнил молодецкие годы армейской службы. Швырнув коробку назад на дорогу, он сбегал в дом, обмотал голову и лицо полотенцем и, смочив его под колонкой, стал ждать. В двух шагах от него взорвалась еще одна картонная коробка, вторая, третья... шестая.

Храстек бегал по двору и кидал коробки назад. Зеваки убрались за шоссе, у ограды остался лишь усердный ефрейтор в противогазе.

Через полчаса Храстека стошнило, и он сдался. К этому времени уже занялись стропила над водостоком. Храстека втащили на лесенку, и за дело взялись пожарные.

Подкатила санитарная машина с зарешеченными окошками. Храстека зашнуровали в смирительную рубашку и осторожно погрузили в машину. Лицо у него было мокрое, глаза закрыты.

Божена стирала пот рукавом зеленого платья. Не успела она дойти до вокзала, как ее догнала «скорая» с сиреной. Кто-то принес ее чемодан. Господин в черной паре и черной шляпе исчез.

Пожарные закрыли зеленые ворота и вынесли обгорелые остатки парадной мебели, сложив их прямо на телегу.

— Лошади довезут,— сказал Винца, не зная, собственно, куда и зачем.

■

— Если б я тебе рассказал о женщинах! — Олин мечтательно наклонил голову и прижался щекой к теплой шее вороного. Едва ли Олин отчетливо понимал, о чем говорит. Это было видно по нему. При вороном он всегда произносил чьи-то чужие слова, как бы стыдясь своих собственных.

Смеркалось. Винца сидел на перевернутом ведре, о его ноги терлась рыжая кошка, стараясь обратить внимание на своих котят. Храстек где-то в сумасшедшем доме, жена его сидит одна в пустой комнате наедине с осколками фарфоровой куколки и вдыхает неистребимую вонь пожарища. Это только для рыжей кошки одинаково хороша любая нога, которая не ударит.

Олин и *женщины*!

Винце, как и всем, когда-то тоже было пятнадцать. Девятый класс, поездка на экскурсию в Брно, на международную ярмарку:

Винца влюблен в Людмилу. Вот уже третий год они, можно сказать, неразлучны. По воскресеньям вместе ходят в кино и из кино — но вместе и с остальными пятнадцатью учениками.

Зимой он дергает Людмилу за коричневое плюшевое пальто; летом дергать не за что, все слишком плотно облегает ее. Однажды на Дые у нее растянулась резинка на купальнике. Она обнаружила это только дома. Винца никогда этого не забудет... Но пока что он рисует на стенах сердце, а в нем В. А.+Л. М. В их классе учится Войта; он упал с велосипеда и разбил себе лоб, а в другой раз и вовсе все лицо. Теперь он стал важным, в свободное время занимается боксом, чтобы разбитый нос свалить на бокс. Тогда на обратном пути из Брно Войта сидел возле Людмилы и развлекал ее премудростями, которые узнал от старшего брата. Людмила страшно гордилась его вниманием. Винца смотрел в окно на проносящиеся мимо пейзажи. По дороге с вокзала он возвратил Людмиле ее фотографию. «Откуда она у тебя?» Винца утащил ее потихоньку, но в этом ни за что не признался бы. Людмилу он больше не любил. Через три месяца после этой экскурсии Винца впервые попробовал вкус земляничной помады на девичьих губах. Вместо ордена за отвагу ему вручили кружевной платочек; это было на танцах. Грудь он впервые погладил у Гедвики; примчавшись после этого вне себя домой, он с пылающими ушами до полуночи строчил сочинение на тему «Что такое счастье» и привел в ужас преподавателя чешского языка.

А потом было легко и просто, и он встретил Марию. Иногда ему, правда, хотелось, чтоб она тоже носила блестящее плюшевое пальто.

Пятнадцать лет — забытая песня, болезненно сентиментальная, которую время превратило в растрепанные радужные лоскуты.

Лошади хрупали оброк, с шумом втягивали воду из поилки.

— Знаешь, почему я хочу быть жокеем?

— Нет.

— Не скажешь нашим?

— Я говорил когда-нибудь?

— Приходи к пруду... Спрячься в кукурузе и увидишь.

— Темно ведь совсем.

— Я поеду верхом.

— Верхом?!

— Вот именно... Ты мне друг?!

Винца держался серьезно и невозмутимо. Олин отвязал вороного, сменил оброть на уздечку. Остальные кони подремывали, перенося тяжесть тела с ноги на ногу. Олин отступил, вороной осторожно повернулся.

— Я иногда даю ему побегать по двору просто так. Безо всего. Ты не поверишь, до чего он красивый тогда. В упряжке все лошади одинаковые — скучные и усталые. Как люди, если б ходили, одетые в мешки. Но когда они всё сбросят с себя... — Глаза Олина сияли.

Вороной направился к открытой двери, втягивая розовыми ноздрями запахи тихой вечерней синевы. Олин шел следом, в глазах — сияние, при котором люди ничего не прячут ни под одеждой, ни за улыбками.

В дверях вороной буйно заржал и подбросил задом. Удар левого копыта пришелся по груди Олина. Конь побежал, звеня подковами о камни.

Олин лежал на спине, скривив губы в насильственной улыбке.

— Что с тобой?! Сильно он тебя?!

Олин попробовал вдохнуть и лишь хрипло всхлипнул, на стиснутых губах показалась кровь.

Винца помчался к воротам звонить по телефону.

Посреди двора, на белых камнях, вытанцовывал вороной конь.

В синеватых сумерках, нагой, не ведавший стыда.

■

— Мне надо уехать.

— Надо так надо... Удираешь?

— Нет.

— Когда вернешься?

— Не знаю. Скоро.

Погреб освещался одной свечкой. На дворе бушевал ветер, доносились раскаты грома.

— Ах, Олин, Олин... — Адамек отхлебнул вина. — Выживет ли?

— В больницу привезли живым. — Винца держал стакан вина в ладонях; оно нагрелось и источало аромат.

— Главное — добраться живым до больницы.

— Врачи — не волшебники...

Из глиняного кувшина вытекли четыре последние капли. Адамек вопросительно взглянул на сына. Винца кивнул. По песку заскрипели шаги, гулко хлопнула затычка. Адамек, не глядя, подсосал в стеклянную трубку с расширением посредине литр вина. Пламя свечки наклонилось.

Адамек вытер глаза, потянул носом.

— Споем?

— Погодя,— Винца подставил стакан.

Они помолчали.

— Сколько раз я говорил себе, может, где в другом месте тебе было бы лучше,— Адамек, словно застыдясь, мельком взглянул на сына.

— Ерунда!

— Ты больше моего знаешь.

— Если б я хотел заниматься чем другим, давно бы так и поступил.

— Отец должен сказать сыну, чего он не успел сделать сам... Когда я бываю сердитый на тебя, это ж не от гордости... Чего не успел дедушка, сделал мой отец. Потом черед дошел до меня. А теперь дело за тобой. Только теперь все по-другому... Жизнь изменилась... Твои ребята... ты сам — затеряешься... Не отец передает дело сыну, а просто старые молодым, и готово... И неизвестно, кто что сделал. То время прошло. Я кормлю коров, другой сеет, третий изобретает...

— Иначе и нельзя.

— Знаю... Но на мою долю еще кое-что достанется... Дедушка за всю жизнь не прочитал ничего, кроме календаря, отец три месяца ходил в зимнюю сельскохозяйственную школу, я выучился на садовника... Зато ты станешь паном.

— Будет тебе.

— Для меня ты все равно что пан.

Ветер утих. Гром гремел уже над чьими-то другими головами. Под дверцы погреба тянуло запахом свежести.

— Я, когда был такой, как ты, даже с вилами боялся близко подойти к коровам. Чего ты хочешь — садовник-огородник, розочки, фиалочки, цветная капустка... Отец отодрал меня кнутом, рассек мне ухо. Вот видишь? Я боялся кнута и коров. Вот и пришлось выбирать, что менее страшно.

— Я подойду к быку.

— Только так и надо, прямо с самого начала. Ты не маленький.

Погреб будто молнией осветила резкая вспышка электрической лампочки. Они даже вздрогнули.

— Наконец-то! Сколько можно было возиться,— прогудел Адамек.

Винца послюнил большой и указательный пальцы и отщипнул у свечки любопытный кончик фитиля.

— Пойдем?

— А чего здесь-то...

Адамек огляделся. Освещение в погребе стало слишком резким.

Адамек ополоснул в роднике стаканы, трубку и кувшин, поставил кувшин вверх дном на полку. Кулаком загнал пробку в бочку.

— Как зовут твою-то?

— Мария.

— К этому имени я, пожалуй, привыкну.

Дождь лил по-прежнему, по дороге стремительно несся сплошной поток воды. Они поплыли по течению, нагнув головы и зажмуривая глаза.

Капли, подгоняемые ветром, больно били по лицу.

— Черт!..

— Споем?

Адамек начал, Винца подтянул не сразу.

Паренек чернявый,
тебя дома ждут,
вороным лошадкам
сена не дают.

Вороных лошадок
холил я и пас,
а мне, молодому,
кто на стол подаст?

■

В ярком сиянии солнца отчетливо вырисовывался черный цвет. В черной комнате белел гроб.

Цветы увяли.

Привели вороного. На глазах у него были шоры, в гриве — черные ленты. С одной стороны его вела под уздцы Марта, с другой —

тихо плачущая Марика. Маргита стояла перед домом в длинном белом платье с черной накидкой и держала в руке сломанную свечу, которая уже никогда и никому не осветит путь.

Вороной стоял перед открытой дверью. У него подрагивали ноздри и всего его била дрожь.

Ударили в колокол, потом заиграли трубы, им аккомпанировали барабан и чистые девичьи голоса.

Вороной вскинул голову.

К небу поплыл запах кадила.

Вынесли гроб.

Серебряный крест указывал дорогу.

Маргита. Белый гроб. Черный конь.

Футболисты, авиамоделисты, водолазы, клуб верховой езды — все это было с Олином, пока он не уехал на каникулы.

Тяжелые звуки музыки, тяжелая поступь.

Солнце.

На дорогу осыпаются белые цветы каштанов.

Винца вспомнил стихи:

> Продувают ветры дом на склоне,
> там, в тени дороги, ряд черешен
> лепестки цветов на раны сыплет,
> и Морава забирает души грешных.

■

Надежно пристегнутый к сиденью ненадежного автомобиля, Винца взял курс на север. На Высочине еще только зацветала сурепка. Чтобы ехать, надо было ехать быстро. Убежать, перепрыгнуть из горечи мрака в сияющий день.

Не самый лучший выход, Винцик.

Пусть лучше глупый, чем никакой, Винцик.

Все лучше, чем видеть пустую улицу, покрытую растоптанными веточками барвинка и каштанового цвета. Что угодно лучше свежезасыпанной раны в земле.

Колеса мягко шелестят по шоссе, впереди — булыжник.

Леса теряли колючки, становились мягче, льнули к людям.

■

Винца позвонил и стоял в ожидании. Мир вокруг еще покачивался и кружился перед глазами, когда он, прихрамывая, вылез из машины. Открыла дверь дама в дедероновом платье цвета морской волны, воздушном, нежном — только дунуть.

— Добрый день. Мария дома?

— Мм... — Дама уставилась на Винцу, словно он вел за собой на поводке козла. Винца невольно оглянулся: да нет же, он стоял у калитки палисадника один. Посмотрел на табличку с номером дома: все совпадало. Улица называлась К Блаженству. Уж такое название мудрено забыть. Единственное, что он мог перепутать, так это город или полушарие.

— Вы по делу?

— Я приехал просто так.

— Откуда, смею вас спросить?

— Издалека.

Кто готов очертя голову мчаться невесть куда, тот не придает значения бессмысленным мелочам. Весь предыдущий разговор Винца считал никчемушным.

— Ваше имя?

— Винценц Адамек. И я учусь на пана. — Винца улыбнулся, и уверенность дамы-охранительницы поколебалась. Она неопределенно скривила верхнюю губу. Ей могло быть как тридцать, так и пятьдесят. Все же скорее пятьдесят, если Мария — ее дочь.

Дама пошла в дом походкой, какой привыкла ходить смолоду. А Винца подумал, что козел — еще не самое большое несчастье в доме.

Мария прибежала запыхавшись, в дедероновом платье цвета морской волны, воздушном, нежном — только дунуть.

— Откуда ты взялся?!

— Да так... Уехать, что ли?

— Сумасшедшенький... Входи... или нет, погоди секунду. Пусть тебя как следует рассмотрят.

Винца окинул добродушным взглядом окна ближних домов. Занавески трепало сквознячком.

— Ты не забыла, что вечер у нас занят,— ласково напомнила Марии мать.

Мария досадливо отмахнулась и подмигнула Винце:

— Я вас познакомлю.

Винца мигнул в ответ. Еще несколько дней назад он тут же убежал бы, только волосы развевались бы.

— Это Винца Адамек. Мы дружим, ясно?

— Оч-чень приятно... Конечная.

Винце тоже было очень приятно.

Пан Конечный выразился несколько невнятно. Он сидел с рюмкой бехеровки в кресле перед телевизором и смотрел «Дикую Бару» [1]. Когда охотник наконец-то нежно поцеловал Бару перед пылающей часовней, пан Конечный спросил:

— Выпьете?

— Спасибо,— ответил Винца.

— Нет так нет.

— Видишь! — Пани Конечная показала на экран.

Охотник, красивым движением обняв Бару, уводил ее к сияющему горизонту. Рядом шла его лошадь.

— Для этого тебе понадобился бы охотник,— заметил пан Конечный. — И лошадь.

Мария щелкнула выключателем телевизора.

— Ну, рассказывай, что у вас нового. Кто умер, кто женился? Он как ни приедет из дому, всегда-то у них кто-то умер.

— Ну что ты! — Пани Конечная вежливо наклонила голову. — А вот в газетах пишут, что в деревне чистый воздух.

— Хлеб убрали... — вмешался пан Конечный.

— Еще и не начинали.

— Дорогие, нам пора идти. Пан... Пан...

— Винценц.

— Пан Винценц извинит нас.

— Чего ему извинять? Он пойдет с нами.

— Но, Мария...

— Мы с ним можем пойти и одни!

— Будь добра, зайди в ванную, поможешь мне привести в порядок прическу.

Воздушная пани Конечная отшуршала, Мария со строптивым видом скатывала ковер.

— Ужасно,— пробасил пан Конечный. — Не понимаю, как можно добровольно войти в этот дом.

Винца чувствовал себя настолько в гостях, что добродушно кивал и с неизменной улыбкой воспринимал все, что видел и слышал.

— Но получится страшно неловко, когда ему придется самому заплатить за себя,— шипела пани Конечная в ванной. — Почему ты меня не предупредила, что кого-то ждешь?! Я могла бы приготовить бутерброды.

— Мама, мне просто стыдно тебя слушать!

[1] «Дикая Бара» — фильм по одноименной повести чешской писательницы Божены Немцовой (1820—1862).

■

В фойе ресторана дамы отлучились, чтобы снова привести себя в порядок. Пан Конечный и Винца смущенно рассматривали друг друга.

— Может, нам лучше войти?

— Вы не хотите их подождать?

— Понимаете,— пан Конечный в растерянности озирался. Он держался как агент, обнаруженный на маскараде в доме своего смертельного врага. — Видите ли, у нас существует такой... такой, ну, вроде... уговор. Нет, скорее игра... Однако я как-то не чувствую себя вправе посвящать вас в наши домашние дела.

— Что ж, я смиряюсь.

Пан Конечный энергично встряхнул головой.

Они сели за столик, втиснутый в самый дальний угол, и пан Конечный заказал две порции сухого вина.

— Лучше чего-нибудь горячего.

— Принесите бутылку... Или даже две.

— Сначала одну, потом другую, да? — Официант говорил, словно держал во рту кусочки льда.

Винца не отважился ему перечить.

— У меня... всего... двадцать крон. — Пан Конечный покраснел.

Как ни странно, Винца тоже.

— Не стоит об этом говорить. Раз уж я свалился вам на голову, вы — мои гости.

— О-о-о,— пан Конечный даже захлебнулся. — Это надо сказать жене.

Пани Конечная бурно дебатировала с Марией. Судя по тому, как она размахивала руками, говорили они о чем-то важном. Мария упрямо мотала головой. Они шли через пустую еще площадку для танцев, и обе выглядели очень эффектно. В красноватом полумраке, в одинаковых платьях, они шли, как две сестры. Конечная села с краю, у самой площадки, Мария не обращая на нее внимания, прошла дальше, за столик, скрытый позади мраморной колонны.

Винца потянулся за стаканом.

Мария незаметно кивнула.

— Это... Это... Это явно вам. Ступайте, ступайте, Маруш вам все объяснит.

Маруш!!

Сперва Винца выпил вино. В городе он не всегда чувствовал себя в своей тарелке, сегодня же ему особенно было не по себе.

— Сядь скорее, чтоб я могла за тебя схватиться и не выпускать,— такими словами встретила его Мария. — Не то опять удерешь.

— Чего мне удирать? Мне ведь хорошо.

— Понимаешь, это все мамины штучки. Раз в месяц они с папой ходят в ресторан и делают вид, будто незнакомы... Папа должен ухаживать за ней, как когда-то. Если это происходит дома, я изображаю мамину младшую сестру... Ты понимаешь в этом что-нибудь?

Винца понимал. Не знал только — смешно ему это или нет?..

Пани Конечную вскоре обнаружил неотразимый седоватый франт; не раздумывая, он подсел к ней и еще задолго до полуночи дал волю своим рукам, предоставив им возможность выбора — куда себя деть.

Пану Конечному на этот раз по крайней мере было что пить. Он сидел, уставясь на гудящий вентилятор. Весело играла музыка, и отважно декольтированная певица с удовольствием кланялась публике.

Входной билет стоит двадцать пять крон.

■

Винца лежал на диване в гостиной, закутавшись в покрывало так, что еле дышал. Мария легла с матерью рядом в спальне; мило надравшийся пан Конечный ушел куда-то через ванную и больше не появлялся. Непохоже было, чтобы кто-нибудь еще, кроме Винцы, беспокоился о нем.

Непривычные ночные звуки в чужом доме.

Скрипнула кровать. Тишина. И голос пани Конечной:

— Я еще не сплю.

Винцу прошиб пот. Однако совсем не дышать он все-таки не мог.

Тишина. Скрип кровати. Тишина. Голос пани Конечной:

— Ты меня с ума сведешь.

Мария заплакала:

— Ну зачем ты так?!

— И это называется порядочный дом!

— Разве я хочу сделать что-то дурное?

— Ради бога, не говори мне, что ты *хочешь!* Моя дочь!

— Мне уже двадцать!

— Именно поэтому надо иметь голову на плечах... Есть у него по крайней мере какие-то деньги? Среди этой неотесанной деревенщины встречаются богатые. И трудолюбивые. Во всяком случае те, кого я знаю.

— Я ненавижу тебя!.. Я убегу из дому!

Тихий плач. Громкий всхлип:

— Не трогай меня!!

Тишина.

Скрип кровати. Тишина.

Сверкнула белым открываемая дверь. Осторожные шаги.

Мария дрожала, плакала и вся была страшно горячая. Двери остались приоткрытыми. Против светлого оконного пятна Винца видел черный силуэт на низкой табуретке, перенесенной от зеркала ближе к двери. Черная тень с хрустом в коленях осторожно села.

— Не сердись, пожалуйста, на меня... Я тебе не все рассказывала... Я боялась... Я не виновата.

— Я тоже сказал тебе еще не все.

Они гладили друг друга, и целовались, и под конец совсем запутались — где чья рука и чья слеза.

Когда Винца снова взглянул на дверь, она была закрыта.

■

— Это ваш автомобиль? — спросила утром пани Конечная и, едва дождавшись ответа, убежала на работу.

Завтракали чем бог послал — чай и кусок хлеба, намазанный плавленым сыром.

Хлеб успел зачерстветь, видимо, еще неделю назад. Прошлая ночь оттенила лицо Марии. Посмуглевшие щеки, бархатные карие глаза, сухие усталые губы. Короткие черные волосы — им бы развеваться на ветру либо разметаться по белой подушке.

— Не хочешь выкупаться?

— Неплохо бы.

— Я первая. У меня глаза слипаются.

Дверь в ванную она не закрыла. По радио передавали сводку погоды. Шумел душ, дышали жаром желтые плитки. Плеск воды, гладившей шелковистую кожу. Игра теней на белой стенке; в зеркале — головоломка разрезанной на кусочки фотографии. Выложенная ослепительно черным ониксом ванная на глазах изменяла свой облик...

Из белой пелены вышел вороной конь, вороной конь, пасущийся ранним утром на лугу, вороной — для поглаживания вытянутой ладонью, черный конь в катафалке.

— Что с тобой? — Мария стояла перед Винцей; мягкий белый халатик с короткими рукавами, не доходивший до колен.

Винца встряхнулся и попробовал улыбнуться. Но едва уголки его губ очнулись от неподвижности, только что виденное им одним, скрытое от посторонних глаз, чуть не стало явным и для них: эти образы выпорхнули, заколдованные и обжигающие, соскользнули легонько, будто капли по молодым листочкам. Винца продолжал улыбаться, страшась слов, которые сразу же выдали бы его. И он убежал в ванную, подставил лицо под маслянисто-желтую головку душа на хромированном стволе. Вода текла теплая и ласковая.

— Тебе неприятно из-за вчерашнего? — спросила Мария.

— У меня нет времени на вчерашнее.

— Тогда скажи, в чем дело... Не изводи...

— На меня порой находит что-то, и тогда я не знаю, как жить. Такие дела... Жизнь — то чересчур щедра, то жадная и ненасытная.

— А какая она сейчас?

— Я сгибаюсь под тяжестью ее даров.— Винца закрыл горячую воду, а холодной прибавил. Ледники таяли прямо в трубах.

Из ванной он вышел с тем же выражением лица, но другой.

— Хочешь, я покажу тебе наш альбом с фотографиями? Какая я была маленькой и когда у меня менялись зубы... Есть там фото, где я голышом... Показать? — Мария настороженно наблюдала за ним. Белый халатик — как снег на статуе, забытой в ледяной пустыне.

Белое и черное.

Все существующие на свете цвета и — один-единственный цвет.

Цвета, немыслимые друг без друга, как ладони, как глаза, как два человека.

— Хорошо, что ты есть у меня. — Других слов он не нашел. Винца гладил ее и слушал ее дыхание. Снег не остужал, но и не таял. Он просто упал на землю легко и тихо.

— Лучше я покажу тебе наш садик,— сказала Мария немного погодя.

Они засмеялись.

— Зря стараешься. Я нашел бы на тебе и садик, и пригорки, и ложбинки, и истоки реки... Все... Весь мир.

Мария погрозила ему.

Садик оказался не больше двух маленьких вазонов. Городское чудо. Одна яблоня, два кустика клубники, две-три вытаращившиеся из земли редиски. Все равно это чудо: наклониться к земле и найти что-нибудь, чем можно жить.

— Это единственное нормальное место в нашем доме. — Мария села на траву. Для двоих там места не было. — Если мы когда-нибудь построим дом... Чего ты смеешься?

Винца пожал плечами:

— Я подумал — откуда эта уверенность, что наш дом будет непохож на дом, в котором мы родились?

— Наверное, она в нас самих... Одинаковы только нежилые дома.

Большой город в ложбине боялся показаться солнцу. Закутанный сероватой мглой, он походил на усталое лицо.

— Я поеду домой.

— Тебе здесь не нравится...

— Нет, не из-за этого.

— Я бы хотела поехать с тобой.

— Поехали.

— Нет, я приеду сама. А то будет хуже... Палатка и спальный мешок, как я говорила.

— Лучше возьми вот это белое платье.

— Белое? В горы?

— Ты не поедешь в горы.

Старший Адамек морщил лоб, придирчиво осматривая бежевый капот, и ногтем большого пальца соскребывал с ветрового стекла налипших мошек.

— Что-то быстро ты воротился. Принимали тебя как полагается?

— Они приняли меня самым лучшим образом, на какой были способны.

В моторе сухо пощелкивало, пахло перегретым маслом. Из хлева в саду высовывал бородатую морду козел. Все, как было.

Все, как должно быть?

Иногда Винца задумывался — узнал бы он это место с завязанными глазами по звукам и запахам? Или его тяга возвращаться сюда — просто стремление идти вообще куда-нибудь!

— Ничего себе путешествие, а?

— Пять часов. Аж спину ломит.

— Охота была так изматывать себя. У нас, что ли, мало красивых девчат?

— Хм... Я изматывал себя вовсе не ради красивой девчонки.

— Она что ж, некрасивая, да?

— Нет, красивая. По-моему, красивая.

Адамек вздохнул с присвистом:

— Вот еще не хватало... Убогая, что ли, какая?

— Ты меня удивляешь.

— Ладно, ладно... В обед придет Людва Дворжачек. Мы уже кой о чем договорились. — Адамек сплюнул, сдвинул шапку на затылок.

Винца потер глаза.

— Лучше бы ты в это не вмешивался.

Адамек почесал заросшую грудь:

— Как не так! Это и мое дело, заруби себе!

— Не хочу я тут всем быть на посмешище.

— Я говорил тебе, что́ надо будет делать. А я помогу.

Адамкова поставила на стол курицу, тушенную в сметане, и тут же прикатился Людва Дворжачек, мокрый от пота и, как всегда, голодный. Под мышкой сверток в газете. Мать достала еще тарелку. Курицу в сметане можно есть и без вилки с ножом, но это зрелище не всегда приятно для других. Людва Дворжачек не видел себя со стороны и потому ел с огромным аппетитом.

— Вчера на генеральной у меня штаны лопнули. — Людва ткнул обсосанной косточкой в сверток, а затем и развернул его мизинцем. Красные облегающие штаны не просто лопнули, они раздвоились на заду. — Что делать?

— Посади заплатку.

— Заплатку! Моя тоже говорит: вставь клин. А где взять материи под цвет?!

— Можно поддеть красные трусы,— вмешался Винца.— Издали никто не заметит.

— А что! Красные трусы у меня найдутся, тренировочные, с лампасами, сбоку штаны целые, лампасов не будет видно.

— Ты, главное, сильно не надувайся,— сказал Адамек.

— Само собой... — И Людва подлил себе еще половник соуса и положил кнедлик чуть поменьше средней дыньки.

После обеда Людва в общих чертах обрисовал, насколько ответственна работа зоотехника. Адамек напряженно слушал. Мать мыла посуду, а Винца думал о Марии.

— Ничего, за две недели много напортачить не успеешь,— великодушно заключил Людва.

Адамеку кровь ударила в голову.

— Будь спокоен, Винца постарается.

— В случае чего пошлю телеграмму,— сказал Винца.

Людва громко икнул.

■

Винца шел по проходу коровника. Адамек — в пяти шагах позади. Винца остановился у загородки с телятами, отец внимательно смотрел под ноги коровам.

Чмокали пульсаторы дойных аппаратов, позвякивали цепи.

Адамек подбежал к сыну.

— Скажи им,— таинственно шепнул он,— скажи им, пусть как следует выдаивают, чтоб до конца. Особенно Дворжачкова. Она думает — ей все сойдет и никто ничего не посмеет сказать.

— Занимайся своим делом. Желоба вычистил?

— Полегче, полегче. Если на то пошло, мне тут вообще делать нечего. А ты старайся.

Из половинки Людвы Дворжачека вышло бы две его жены. Это, однако, не означало, что она позволяла пренебрегать собой.

— Чего пялитесь? — набросилась она на Адамека. — Делать вам нечего?

— Ну, ну... Я вот только смотрю, что вы доите кое-как. Вымя-то хорошо теплой водой вымыли?

Ничего подобного пани Дворжачкова отродясь не выслушивала. Людва заговаривал с ней в самых крайних случаях, наперед зная: что бы он ни сказал — будет невпопад.

— Вам-то что до этого? Что вы себе позволяете?

— Мне до этого такое дело, что мой сын тут зоотехник.

— Вот и пускай заботится о корме для коров и чтоб тут работали и языками попусту не трепали.

— Мы сами знаем, пани Дворжачкова, что нам делать. А если ты не знаешь, так мы тебе скажем!

— Гляньте-ка, это кто ж там голос подает?... Адамек! И откуда что взялось — сразу ума полная сума!

— Небось не сразу! Я на тебя всю жизнь смотрю, пани Дворжачкова. Привыкла, что Людва рот раскрыть боится, когда тебя дело касается! Но нигде не записано, что Людве тут век вековать! Найдутся и получше его!

Винца был на другом конце коровника. За спиной мычали коровы, а перед ним были широко распахнутые двери. Он с усилием заставил себя повернуть назад. Маргита, Марика и Марта ничего не видели и не слышали, справедливо полагая, что иначе себе дороже обойдется: им уже не раз доставалось.

Пани Дворжачкова надрывалась что было сил:

— Ничего себе, подарочек нам подбросили!! Привязался к несчастной женщине!

— Займитесь своим делом! — Винца едва переводил дух.

Адамек вошел в раж:

— Не больно-то замахивайся на родного отца!

— Об этом мы поговорим дома!

— Я тут двадцать лет работаю! Имею я право слово сказать!

— Лучше всего скажи его себе, и потихоньку.

— Ух, и влепил бы я тебе!

— Вот бы одолжение мне сделал.

■

В психиатрической больнице определили, что Храстек вполне здоров. Печень, правда, увеличена несколько, но люди живут на свете и с более опасными болезнями. И все же в Доброе Поле Храстек вернулся для всех психом. Ведь только псих может сжечь обстановку и станет спать в одной постели с неверной женой.

— У меня справка, что я нормальный,— сообщал он всем, кто хоть на минуту задерживался с ним при встрече, и затем извлекал из кармана плотную мелованную бумагу с круглой печатью и неразборчивой подписью. Он демонстрировал бумагу в корчме, перед костелом, на кладбище.

Жена не отходила от него ни на шаг, повсюду молча сопровождая его. Платья она носила все более просторные, но растущий живот они все равно не скрывали.

— У меня есть справка,— повторял Храстек и виновато усмехался, неуверенно оглядываясь вокруг, словно ждал, что написанное на красивой официальной бумаге кто-то подтвердит дополнительно. Неизвестно, правда, кто это будет и чем подтвердит. Когда Храстек смотрел на жену, по его взгляду не было заметно, что он действительно видит ее. Хотя вот и сейчас она была рядом с ним.

Солнце спряталось за высокий щипец белого амбара, и голуби слетались под крышу.

Винца шел через двор в конюшню. Храстек сидел у дверей на буковой колоде, жена чуть поодаль, перед колесной мастерской, на желтой тачке.

— Оставь моих лошадей в покое,— прогудел Храстек вместо приветствия. — Я хорошо запомнил тебя.

Вороной отворачивался от нежно-зеленой травы в яслях, до самой земли опуская тяжелую и печальную голову.

— Людва Дворжачек велел мне слушаться тебя, покуда он не вернется... Отец твой козла держит, а я чтоб тебя слушался?!

Вороной бил копытом по выщербленным половицам.

— Вот тебе казенная бумага, тут черным по белому сказано, что я не псих. Так и знай.

— Я знаю.

— Откуда?

— Просто я вас знаю.

— Черта с два!

Лошади Храстека были серые от покрывавшего их толстого слоя пыли, только на крупах как шрамы темнели полосы от кнута. Прежде Храстек никогда не трогал лошадей кнутом. А одному мужику, на его глазах ударившему коня, он свернул челюсть.

— Утром как следует почистите лошадей.

— Отец твой козла держит, а ты мне указывать будешь?

— Буду.

— Ну и дела, ну и дела. — Храстек аккуратно сложил бесценный документ, обернул носовым платком и убрал в задний карман.

— Завтра будете возить солому в коровник.

— Это можно... Если мне захочется.

И Храстек размашисто зашагал по мощеному двору. Жена — за ним, вперив взгляд под ноги на пять сантиметров перед носками своих красных сандалий.

Вороной смотрел на Винцу. В глазах его двоилось заходящее солнце. Он несколько дней не покидал конюшню и стал похож на тень усохшего дерева. Сперва его хотели пристрелить, но Винца сказал:

— Он сделал это на радостях.

И коня осудили печалиться. Не нашлось никого, кто захотел бы вычистить его скребницей. Вода в его поилке была постоянно, к траве он не притрагивался; оброка ему не давали, поскольку он не работал. Одного коня не запряжешь: один конь — ни то ни се, это тебе не канарейка.

Винца заговорил с вороным на том особенном языке, для которого пока что никто не придумал слов. На языке, с которым рождается все меньше и меньше людей, но он все же не вымер еще, потому что, родившись с ним, вы никогда его не забудете — и это никакая не привилегия и не благословение свыше.

Тихие и успокаивающие звуки голоса Винцы, видимо, напомнили вороному утраченный мир привольно раскинувшихся лугов. И сразу будто сняли тяжесть с резко очерченной, теперь такой поникшей головы. Вороной шевельнул ушами, насторожил кофейные глаза.

— Если сейчас лягнешь, старик, отправишься на гуляш. Гарантирую.

Вороной ударил копытом.

Подкова лязгнула по пустому ведру, оно вылетело в окошко и с грохотом покатилось по булыжному двору.

— Сволочь...

К лошади всегда можно подойти так, чтобы избежать удара. Иногда достаточно показать ей ручку от вил. Вороной приник к деревянной перегородке стойла, ощерил желтые зубы и прижал уши, так что они спрятались за гривой. Может, он боялся, а может, и вправду был такой бешеный. В конюшню люди вообще редко заглядывали, а похлопать лошадь просто так, только потому, что она лошадь, никому не приходило в голову.

— Ну, что с тобой?

Винца вышел во двор. Белые камни залиты лунным светом, в окнах черно, ворота на запоре. Винца вернулся в конюшню, подошел ближе к вороному, на всякий случай еще раз помахал вилами и загнал его в щель между желобом и стеной. Протиснувшись к его голове, Винца схватился за недоуздок и с силой задрал голову вороного к потолку. Зубы коня скрипели в сантиметре от сжатого кулака.

Отвязав цепь с деревянным ядром, прижавшись боком к упругой шее, он вывел вороного во двор. Бросив уздечку, Винца отскочил в сторону. Конь неподвижно стоял на месте. В лунном сиянии, отражавшемся в белых камнях, он снова стал похож на себя и напомнил обо всем том, чего ради нетерпеливой кобыле намазывали копыта глобином, надевали упряжь, подшитую зеленым войлоком, и вели через поле к жеребцу; и вороной кладрубской породы поднимался на дыбы и неуклюже махал синей дали, давая знак приблизиться. А потом, уже в сумерках, под колокольный перезвон лохматые мужики распивали за все это бутылку абрикосовой. Об этом напоминал и вороной, посеребренный лунным сиянием, живой.

Он побежал по кругу двора, и первые же его шаги, как по волшебству, вызвали в железе страстные вздохи.

А давно ли они мальчишками бросались головой вниз с обрывистого берега в Дыю, стремглав летели навстречу собственному отражению в зеркальной глади? Они доставали со дна желтоватые кремни, гладкие на ощупь, и где-нибудь в тени потаенных уголков ударяли ими друг о друга, с изумлением следя за зигзагами полета высекаемых искр, и благоговейно принюхивались затем к побелевшим в месте удара камням, пахнущим загадочно, как не пахло ничто на свете из вещей, известных им.

Кругом было множество точно таких же камней, но ни один из них не мог пахнуть так, как те, что были со дна Дыи.

Однажды летом в ней утонул единственный сын добродушного вдовца Кадержабека, а за много лет до этого здесь же, на реке, испугавшиеся лошади разбили паром и утонули школьники, поехавшие на экскурсию в конце учебного года.

А река по-прежнему течет себе дальше меж поросших вербами берегов мимо памятника погибшим школьникам. И кто не трус — прыгают в нее, сигают на голову своего отражения, чтобы вынырнуть и промытыми глазами снова увидеть мир, в который они вернулись.

Вороной остановился перед Винцей, шумно дыша и пофыркивая, в глазах — дважды выплывающая луна.

Седло висело в конюшне.

Если он не вернется в конюшню, я пойду и возьму седло.

Лошади сами знают, когда пора возвращаться к полному желобу, на чистую солому.

Вороной стоял.

Винца принес седло, уздечку. Он шел прямо на вороного, глядя ему в глаза. Вороной переступил, звякнул подковой, нагнул голову. Винца накинул узду, продвинул ее за уши, удила сами собой оказались между зубами. На спину — седло, одним движением затянул подпругу, чуть отпустил стремена. Безропотно сносить все эти манипуляции будет только лошадь, задумавшая подвох.

Лучше пускай поплачу́сь именно я, раз не дал отправить его на бойню...

Ухватясь за гриву, Винца вспрыгнул в седло.

Надо было подвести его к куче навоза! А теперь к навозу можно было только подъехать, но необходимости в этом не было: он тронул вороного коленом, и тот послушно направился к воротам.

С лаем выскочила собака. Винца покрылся холодным потом. Вороной копнул копытом, собака отбежала на почтительное расстояние, но продолжала хрипло облаивать вороного, пока из сторожки не вышел, ковыляя, старый Шпиготек. Он, видно, только проснулся: волосы на его голове торчали во все стороны, глаза как у лягушки.

— Ты в своем уме?

— Конь должен работать. Жаль было бы потерять такого.

— Жалко хорошего человека.

— А вы как-то метили в меня оглоблей.

— Сопляк!

— И вам очень хотелось попасть.

— Это уж беспременно.

— Открыли бы ворота.

— Куда едешь?

— Так... прокатиться.

— Смотри вернись... Вот психи! Ничего, стукнет и тебе семьдесят.

— Лежа на диване, до семидесяти здоровым тоже не доживешь.

— Погоди, завтра все отцу доложу, он тебя разукрасит в синий цвет.

Скрипнули ворота. Очнувшись от богатырского сна, кукарекнул петух. Шпиготек смачно сплюнул.

Винца направил уздой вороного на траву под акациями, чтоб не слышать скрипучего лязга подков по брусчатке шоссе.

■

Винца сказал себе, что даст коню самому выбирать, в какой стороне этой ночи цель ближе всего.

Винца разговаривал сам с собой, повторяя слова, и поднимал лицо к верхушкам тополей, устремленных к концу своего пути, концу своего пути над головами людей. Люди растут по-другому. Они перерастают деревья. Как ночь — это всего лишь половина земного шара, а о второй половине мы только знаем. Знаем о корнях деревьев, о сетчатке глаза, об извилистых тропинках под волосами. Знаем, знаем, понимаем. Четыре, пять книг — и кажется, жизнь принадлежит нам, но этого так же мало, как и всего на этом свете.

Три девушки шли к пруду.
Плакали лягушки, летучие мыши молчали.
Вороной почуял воду.

Винце стало не по себе от чужой страсти, которую он привез сюда, с месяцем за спиной, тень без лица. Вороной перестал слушаться и пошел по шуршащему песку.

Девушки молчали и втягивали головы в плечи.

Вороной пил воду.

— Хотите покататься?

В ответ он услышал кваканье лягушек, всплеск рыбы, крик разбуженной выпи.

— Ни за что...

Винца ударил вороного каблуками, словно можно было убежать от самого себя. Высоким фонтаном взметнулась вода, конь помчался длинными скачками, ветер до слез ударил в глаза. Тихое бегство мимо дозревающих подсолнухов, мимо заборов, далеко за владения бдительных собак.

Неотвратимое, как падение с колокольни или что-то вроде того, что так же нельзя остановить. Стыд, покорность, страх, крик ужаса. Дорога, озаренная пылающим ликом.

Конь несся галопом, длинными скачками кромсая бессилие раздумий, бессилие слов, сказанных некстати, бессилие превратно понятых поступков.

■

Ночной сторож Шпиготек никогда не спал на своем посту. Просто он поудобнее располагался в мягком зáмковом кресле, брал в руки «Сельскохозяйственную газету» и закрывал глаза, чтобы лучше слышать.

Зеленые ворота нараспашку, комета фонаря с хвостом обезумевших комаров и ночных мотыльков. Где-то во тьме двора собака подкарауливает крысу.

Винца напряженно щурил глаза, словно возвращаясь под утро с гулянки, пытался тихонько проскользнуть мимо спящей матери. Стук копыт по камням поднял бы и мертвого. К счастью, Шпиготек просто спал.

Вороной резво бежал к открытым дверям конюшни. Винца едва не отшиб себе голову о притолоку. Не успел Винца слезть, как вороной ухватил бархатными губами клок травы из яслей.

Седло — на ясеневый крюк, обтер соломой спину и шею лошади, подсохшую белую пену в паху. Вороной не замечал его. Винца сел на скамеечку и ревниво следил за конем; трава убывала.

Пора домой. Щелкнув выключателем, он вышел из конюшни и замер. На рубеже темноты и света от фонаря стоял отец, раздвоенный светом и тьмой, одна нога освещена, другая в темноте, и лицо тоже раздвоенное.

Сейчас он мне влепит...

Две-три затрещины у Адамеков никогда не воспринимались трагично («Меня папаша отлупил в день свадьбы за то, что я взял у него без спросу сигару»).

Адамек наклонился в полосу света, заглянул в сторожку. Шпиготек так и не сдвинулся с «Разговора по душам». Адамек пробежал по освещенной авансцене и остановился в темноте. Непохоже, чтоб он искал своего блудного сына. Винца отступил назад в конюшню.

Адамек шел подозрительно осторожно, направляясь к амбару. Звякнул ключ в замке, скрипнули петли. Адамек растворился в черном провале дверей, лишь изредка там вспыхивал свет карманного фонарика.

Они шли навстречу друг другу, оба ступая одинаково тяжело. Адамек нес мешок отрубей, Винца — только взгляд. Адамек тащил мешок на спине и видел небольшое пространство у себя под ногами.

— Воруешь, значит...

Адамек стоял, крепко расставив ноги. Наморщив лоб, глянул снизу вверх, сверкнул белками глаз.

— Ты чего тут болтаешься?!

— Вор!

— Не ори!

— А что мне делать? Милицию звать?

— Погоди, положу мешок, дам тебе по губам.— Адамек сделал два шага.— Отойди...

— Неси назад.

— Отойди, говорю.

Они столкнулись, Винца тяжело осел на белые камни. Адамек проследовал в коровник, шагая привычным, широким и решительным шагом.

Винца за ним.

— Я уеду от тебя... Верни, прошу тебя!.. Ни за что в жизни не стану больше говорить с тобой!

Адамек молчал. В подсобке перед ящиком для отрубей он встал поудобнее, расставил ноги, подкинул мешок на спину повыше, достал из кармана ключ, отпер замок на ящике, развязал мешок и наклонился. Отруби с легким шелестом высыпались в ящик; беловатое облачко, мучной запах.

Адамек обтер ладони о брюки и повернулся к Винце. Раздалась пощечина, затем вторая.

— Вот тебе, заработал.

— Твое счастье, что ты мой отец...

— Это твое счастье, что ты мой сын!.. Ты что, ничего не понимаешь?! Добавлю коровам муки — они дадут больше молока. А чья это будет заслуга?! Твоя... Утрем нос Дворжачеку.

— Плевал я на такую помощь!

— Ни черта ты не смыслишь.— Адамек даже расстроился и, махнув рукой, пошел к амбару.— Подсобил бы лучше.

Он прошел по двору туда и обратно еще два раза. Аккуратно запер ящик и амбар.

— Пошли.

— Когда я буду записывать выдачу, запишу тебе на три меры меньше.

— Попробуй только... Псих!! Ты имеешь представление, сколько я ждал этой минуты?! Сколько денег мне это стоило?! А сколько я надрывался! Сколько раз в мыслях я видел тебя паном! Ты, сын старого Адамека, того, что держит общинного козла!.. Ты непременно должен доказать, что лучше всех. А с людьми будь строгий. Отрезал — и все. Как бритва. Никому не спускай. Как мне не спускали... Чтоб все тебя боялись, иначе ни в грош ставить не будут, еще и посмеются. Был у нас приказчик один в экономии, его лошадь ударила промеж ног, и он охромел к тому же. Что ты думаешь — повесился ведь, потому что житья ему в деревне не стало. А бывалоча, покуда здоровый был, идет по улице, и мужики у себя дома на кухне дрожмя дрожат, у баб ноги от страха отнимаются! Люди такие!.. Дураки они, что ли, по своей воле в хомут лезть!..

Винца дышал уже спокойнее и перестал потеть.

— Ну где ты только живешь? «Приказчик в экономии»! «Пан»! А все, что вокруг,— это тебе только кажется, да?.. За эти три мешка я с тебя просто-напросто удержу. Вздумаешь кому жаловаться, слово только скажешь — я твоего козла зарежу и уеду отсюда навсегда! И ты уже не будешь Адамеком, который держит козла и у которого сын паном стал!

— Так... Это мне благодарность за все... Так-то на отца родного!..

— Как бритва... Не думай, что я начну с показухи!

— Ну что плохого в том, чтоб получше накормить скотину?

— Ничего. Но мы начнем с того, что ты им вымоешь хвосты.

— Накось!.. Да ежели...

— Или не получишь зарплату.

— Только попробуй!.. У нас, славу богу, профсоюзы есть!!

От сторожки важно плелся Шпиготек, голова в серебряном венчике.

— Чего разорался, будто павиан?

— Ну вот,— вздохнул Адамек.

Шпиготек настороженно усмехнулся:

— Ты что против профсоюзов имеешь?! На той неделе поедем в экскурсию на Кршивоклат [1]. Говорят, там есть зоопарк,— вокруг замка ров, где держат настоящих медведей.

— Настоящие медведи... — Адамек кулаком заколачивал торчащие из крышки ящика любопытные гвозди.— Тогда я не поеду.

— Ишь ты, тебе не угодишь... А что вы тут делаете-то?

— Корова телилась,— отозвался Винца.

— Быть не может, я бы знал!

— Дрыхнешь, как чурка,— прошипел Адамек.

— Я не сплю! — Шпиготек ткнул пальцем в переносицу.— Я просто закрываю глаза, чтоб лучше слышать. Услыхал же я вас...

— Само собой.

У сторожки на них с яростным лаем набросилась собака.

— Тихо, не дери глотку, это ж я,— уговаривал ее Шпиготек.

Собака не унялась, за что получила пинка.

— Красненького не пропустите по глоточку?

— Я еще жить хочу,— вежливо отказался Адамек.

Шпиготек оскорбился.

— Я пью чистую франковку [2], — он снова поднял палец к глазам.— Ну, подмешиваю чуток соку жевательного табака, так это ж для цвета.

— Разумеется... Выпей за наше здоровье. Ты-то привычный.

Шпиготек проводил Адамеков грустным взглядом. Он настроился рассказать им о скорняжной мастерской, которая досталась ему по наследству где-то в Гренландии.

■

Заговорили они, только придя домой.

— Ты мне не покрутишь точильный камень?

— Еще чего! — Адамек даже затрясся от возмущения.

— Нет так нет. Завтра попрошу маму.

— А разве я тебе сказал «нет»?

Винца вытащил из сарая точило — подставку с камнем на ручке, налил в жестяное корытце воды, принес из кухни полуметровый мясницкий нож.

Адамек крутнул рукоятью, словно вырывая себе зуб.

Лезвие ножа скрежетало, обретая коварный блеск.

— Ну как, хорош?

— Хорош он был, пока не попал тебе в руки.

Винца направился к хлеву в саду. Адамек судорожно сжимал ручку расшатанного точила.

— Подумай... Черт возьми!! Хорошенько подумай!

Острие сверкнуло в свете изумленной луны и на два пальца вошло в притолоку над дверцей. В углу белел козел — два зеленых огонька.

Адамкова высунулась в окно в длинной ночной сорочке.

— Что там?

— А ничего,— проворчал Адамек.— Винца осрамил меня как зоотехник.

— И правильно сделал. Где он?

— Пошел посмотреть на козла.

— На козла?! — Адамкова зевнула.— Ключ от погреба я теперь буду держать у себя.

Адамек страдальчески вздохнул. Одна несправедливость за другой. Ничего не остается, как забраться под перину.

---

[1] Кршивоклат — замок и музей неподалеку от Праги.

[2] Франковка — сорт красного винограда и вино из него.

■

Новый день начался тем же, чем кончился вчерашний. Они поругались. Адамеку нелегко было расставаться со своими мечтами. Он ходил по коровнику и распоряжался:

— Кончились ваши золотые денечки... Теперь проход будет посыпаться известью. А вы будете одеваться как полагается, бесстыдницы! Кому охота на вас смотреть?!

— Святая правда,— встряла Дворжачкова.— Тут вам нету никаких... никаких... Или как?

Адамек забеспокоился. Большинство новаторских распоряжений он отдавал главным образом потому, что они звучали для его слуха райской музыкой. Особенно вот это, последнее:

— Слушай, пани Дворжачкова, занимайся своим делом!

— Я-то занимаюсь! Это вам только бы глаза таращить, а работы вашей не видно.

— Как это «вам»? Кому это «вам»? Я тут один, и глаза у меня там, где им положено быть! А вот на что твой муженек сейчас пялится, еще неизвестно!

— Не трогайте Людву! Конечно, вам бы очень кстати было, если б он тут начал с которой крутить... С такой, которая... Со всякой такой...

— С вами и не то начнешь! Но уж поглазеть-то поглазеет. Я Людве и не удивлюсь.— Адамек посмотрел на Дворжачкову, как на бабочку, наколотую на черном плюше.

Винца слышал все это с другого конца коровника. Вчера спор с отцом закончился оплеухой, сегодня утром вчерашнее едва не повторилось. Да, беседовать с ним лучше наедине.

Винца посмотрел в открытую дверь. Над темным лесом, над желтым стогом, над отягощенным золотыми плодами абрикосовым садом занималась заря нового дня. И сварливые голоса, едва долетев сюда, послушно утихали, утонув в утреннем тумане. Им не было места в этом торжественно начинавшемся дне, пока что отмеченном лишь нерешительными лучами солнца.

Тут Винца увидел Храстека.

Он тащился со стороны деревни, согнувшись, словно вез тяжелую поклажу Следом семенила жена в халате поверх ночной рубашки, в черном платке на голове. В воротах Храстек остановился. Жена — тоже.

По двору бродили голуби, выбирая из щелей меж камнями зернышки, в открытые окна конюшни стремительно врывались ласточки, не промахиваясь ни на миллиметр.

— Ну вот, я наконец свихнулся,— тихо сказал Храстек.

Жена его плакала.

Храстек разжал кулаки: в одном клок волос, в другом лоскут ночной рубашки.

— Вызови кого, пускай меня заберут.

Винца вопросительно посмотрел на Божену. Она кивнула.

■

Винца сидел в конторе, тыча указательным пальцем в кнопки арифмометра. Перед ним на столе лежала еще целая гора неумолимых бумаг, с которыми предстояло разобраться.

Пыльная проселочная дорога за окном, начинавшаяся где-то далеко в лугах, притягивала его взгляд и мысли. Однако они никак не были связаны с фигурой плетущегося по дороге человека. Это Людва Дворжачек возвращался из странствий домой. Ободранный чемодан в пыли, новенькая соломенная шляпа сдвинута на затылок.

Он шумно ввалился в контору, с облегчением поставил чемодан на пол.

— Вот и я.

— Это хорошо.

— Управлялся? Как дела?

Винца взъерошил волосы пятерней, сморщил нос.

— Дела как дела. А что у тебя?

Людва блаженно закрыл глаза, вытер потный лоб. С таинственным видом отпер чемодан, зашуршал газетой, достал диплом величиной с половину квадратного метра с золотым обрамлением и орнаментом из замысловатых завитушек «*за сольный танец*».

— А...?!..

— Поздравляю. Как штаны, выдержали?

— Лопнули и спереди. Вот потеха была!.. А что нового у вас?..

По проселочной дороге к самому дому подъехала зеленая телега на резиновых шинах, ее везли белый и вороной кони. Открытые боковые стенки болтались на ходу и поскрипывали. Сзади сидела Мария и ела яблоко.

— Слышишь?

— Что?

— Что нового? — спрашиваю.

В двух метрах от окна телега свернула. Взгляд Марии был устремлен назад, туда, откуда она приехала.

— Я видел, как твоя жена подливала воду в молоко.

Людва ходил по конторе, прикидывая, куда повесить диплом. Обернувшись через плечо на Винцу, он даже рот приоткрыл.

— Воду?!

Винца кивнул.

— Не себе, Марте.

— Господи, почему Марте?!

— Видно, та пришлась ей не по душе. Знаешь почему?

Людва осторожно поставил диплом, прислонив его к стене. Красный от смущения, он не знал, куда деть руки.

— А что, если... выходит... понимаешь...

— Никто ничего не знает. Мы объяснились с ней один на один. Я как раз выписываю ей зарплату, сотню удерживаю. А в остальном разбирайся сам.

— Это ты... хорошо... сделал. Очень хорошо.— Людва провел ладонью по лбу, потом вытер ее о брюки. Хотел было улыбнуться, но вместо этого криво ухмыльнулся.— А еще какие новости?

— Храстек в больнице. На его лошадях ездит старый Мазал. Запрягаем и того вороного. Тянет нормально. Только кнута не переносит.

— Вороной, значит, тянет.

За окном звякнул велосипед, отброшенный к стене, в дверях появился запыхавшийся Адамек.

— Ты тут сидишь... а к тебе... невеста приехала!

— Невеста?

— У Адамеков посторонним девицам делать нечего! У нас может ночевать только невеста!! Это ты себе, черт побери, запиши на лбу!

— У нее случайно нет с собой палатки?

Адамек в сердцах так закатил глаза, что ему даже больно стало.

— Палатку я запер в сундук. Твой папаша еще в темечко не колочен, не думай! Как будто какая-то там палатка избавит тебя от ответственности.

Людва так горячо поддакивал, что Адамек не выдержал:

— А ты принимайся за работу! У нас теперь нет времени на всякую чушь!

Неожиданный визит стоил жизни злобному гусаку, который давно портил кровь Адамеку. В жареном виде он уже ничем не напоминал наглого властелина двора.

— Теперь я покажу тебе *наш* сад,— заявил Винца после обеда.

— Ну, стоит ли,— несмело вмешался Адамек.— После дороги Марушке не мешало бы отдохнуть.

— Сначала сад, потом отдых.

Мария смущенно улыбалась, совсем потеряв дар речи.

Они вышли в сад. На траве лежали перезрелые абрикосы, в бархатной виноградной листве проглядывали матово-желтые гроздья капель. Под орехом — мягкая нежная травка, на ноже, торчащем над дверцей в хлев, балансировало солнце.

— До чего красиво...— Мария потрогала листья, словно проверяя, не из жатой ли бумаги сделана вся эта красота.

Адамек смотрел на нее, как на икону.

— А какой воздух! — Она глубоко вдохнула.— Совсем не то, что у нас.

Адамеки искоса переглянулись. Старший перестал обкусывать мизинец, а Винца выдавил:

— Воздух у нас и в самом деле здоровый.

— Как и положено на каникулах,— добавил отец.

Винца не сразу поверил своим ушам. А когда поверил, сказал:

— Пойдем, что ли, искупаемся?

Адамек ласково улыбался.

Снова начинались каникулы. Последние каникулы.

Перевод с чешского И. ИВАНОВОЙ

АЛЕН БОСКЕ

Из цикла «Сонеты конца века»

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Имя Алена Боске хорошо известно во Франции: он один из авторитетнейших литературных критиков, часто выступающий на страницах периодической печати, автор многочисленных предисловий, эссе и монографий, посвященных французской и зарубежной поэзии, составитель и комментатор различных поэтических антологий и сборников, переводчик иноязычных поэтов, лектор, постоянно встречающийся со студенческой аудиторией во Франции и за границей. Нередко он сам удивляется: как ему удается находить время, чтобы писать свои романы и стихи? Особенно стихи, потому что Ален Боске прежде всего поэт, и, если говорить о его месте в литературе, один из ведущих поэтов Франции.

Писать он начал еще до войны, будучи студентом брюссельского университета. Война опрокинула все его надежды и планы. Он вступил в ряды бельгийской армии, потом, после оккупации Бельгии, стал солдатом французской армии. Когда Франция также была оккупирована, Боске с великими трудностями эмигрировал в США и уже в форме американского военнослужащего вернулся в Европу, чтобы продолжать борьбу с фашизмом.

Демобилизовался он только в 1951 году и навсегда поселился в Париже, где полностью смог отдаться своему призванию — литературе. Первые два сборника стихов Боске выпустил в Америке, до своего отъезда на европейский континент (один из них был иллюстрирован Фернаном Леже); третий сборник уже опубликован во Франции в 1945 году: он целиком посвящен французскому Сопротивлению и борьбе за освобождение. Последующие книги стихов увидели свет после демобилизации, некоторые из них были отмечены высокими литературными премиями.

Поэтический диапазон Алена Боске очень широк — от глубоких философских раздумий до стихов, обращенных к детям.

В предисловии к своей детской книге «Лошадь хлопает в ладоши» (1977) Боске говорит: «Обычно я пишу серьезные, грустные и сложные стихотворения... Но однажды мой друг и переводчик Михаил Кудинов попросил у меня детские стихи, которые собирался опубликовать один из московских журналов; его письмо пришло из России, моей родины, которую я покинул, когда мне еще не было шести месяцев. На конверте стояла дата: 28 марта 1969 года. В этот день мне исполнилось пятьдесят лет. Я вспомнил о русском мальчике, которым мог бы стать, и написал двадцать два стихотворения для этого далекого ребенка».

Читатель уже не раз встречался с переводами стихов Алена Боске — и на страницах наших журналов, и в поэтических антологиях.

Публикуемые ниже стихи из цикла «Сонеты конца века» — одна из последних работ поэта. Изданные в коллективном сборнике в прошлом году, они попали мне в руки почти одновременно с новейшей антологией современной французской поэзии, в которой особенно широко представлены стихи молодых поэтов. И хотя старшее поколение также не было обойдено вниманием, одного имени среди поэтов антологии

АЛЕН БОСКЕ — ALAIN BOSQUET (род. в 1919 г.).

Французский поэт, романист, эссеист. Основные его поэтические сборники последних лет: «Слово «народ» («Le Mot peuple», 1974), «Заметки о любви» («Notes pour un amour», 1977), «Книга сомнения и благодати» («Le Livre du doute et de la grâce», 1977), «Стихотворения (1945—1967)» («Poémes (1945—1967)», 1979). В переводах на русский язык его стихи печатались в сборниках «Из современной французской поэзии» (М., 1963), «Я пишу твое имя, Свобода» (М., 1968), «Западноевропейская поэзия XX века» (М., 1977) и в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемые стихи взяты из книги «12 терпеливых поэтов» («12 poètes sans impatience», Luneau-Ascot éditeurs, 1979).

я все же не встретил: имени Алена Боске. Объяснялось это просто: составителем, автором предисловия и комментариев был Ален Боске.

Я внимательно прочел обе книги и, рискуя быть обвиненным в дружеском пристрастии, все же позволю себе сказать, что молодым французским поэтам есть чему поучиться у автора «Сонетов конца века».

Пресыщенные

Балконы, выходящие на море. Россыпь
прибрежных островов. Кустарники. Цветы.
Повсюду женщины полуоткрытые. Друзья,
чтоб скуку оттонять, как оттоняют муху,

и запасной душой на случай обладать.
И теннис с королем (давно ли он в изгнанье?),
и покер с призраком (или с самим собою?),
неограниченный счет в банке, реки нефти

неиссякающие, словно реки слез...
Они расслаблены, они сентиментальны.
Но кто они? Куда идут? Для них весь мир —

поставщики или клиенты: вот вам звезды
по сниженной цене, вот солнце первый сорт...
А в собственной душе у них ни звезд, ни солнца.

Портрет юного аристократа

В начале века поселился здесь в отеле
один великий князь, чтобы проветрить душу,
наполненную скукой. Здесь его вдова
была погребена под бархатом смоковниц.

Здесь внук его теперь за небольшую мзду
к стареющим американцам водит в номер
швейцарок жирных, тощих англичанок;
зовут его Сергей, зовут Миша́, Иван:

не именами он гордится — униформой.
Его приятель тренер (Поль, Огюст, Мишель,
как приведется) обучает дам богатых

искусству плаванья. Однако он не с ними,
а с горничными спит... Луна демократична,
и не боится запятнать себя лазурь.

Съедобное стихотворение

Ребенок ловит бабочку: съедобно это.
Акула хочет съесть ребенка: он съедобен.
А бог акулу ловит, чтобы съесть
или из принципа ее поймать, кто знает?

© Alain Bosquet.

Но кем — вы спросите,— кем будет съеден бог,
чтоб цепь не порвалась и не застрял поэт
на середине своего стихотворенья?
Не беспокойтесь: вспять пойдет стихотворенье

затем, что бог боится рыбы длиннозубой,
которую весьма страшит гарпун ребенка,
боящегося ядовитого цветка,

похожего на бабочку,— все остаются
почти голодными, особенно читатель,
не понимающий, что и стихи съедобны.

Портрет мотоциклиста

Шлем, куртка, сапоги, перчатки, мотоцикл —
вот суть его души. Не потому ли стал он,
одетый в кожу весь, царить над тротуаром?
Застежки-молнии забрызгивают грязью

его партнерш в минуту ласки. Есть слова,
застрявшие в его гортани. Он все глубже
в даль погружается, глотая километры
и думая порой о пересадке сердца,

которая могла б ему вернуть способность
кого-нибудь любить. Раздавит старика —
своих родителей винит, их воспитанье

излишне мягкое; и поджигает лавки
во имя красоты деянья, ради дрожи,
что, проникая вглубь, в нем пробуждает секс.

Шантаж

Все это старый трюк: поэт, когда он молод,
пускает локти в ход, готов перевернуть
весь мир, что гению мешает развернуться.
Все это старый трюк: став зрелым человеком,

сéбе внушает он, что лишь один способен
любить народ и дать ему способен счастье,
силком свои стихи его читать заставив.
Все это старый трюк: никто их не читает,

не слушает его. В отместку за презренье
поэт становится таинственно-невнятным,
он обращается к неведомым потомкам,

о смерти говорит, считает, что понятен
кометам в небесах, лягушкам в тихой речке,—
все это старый трюк: его стихи — шантаж.

Групповой портрет

Они — всего лишь плоть, откуда в час вечерний
одно-два слова выползают как улитки.
Они боятся звезд, деревьев сторонятся
и никогда не чтут ни красоты природы,

ни лета жаркого, ни зеркала реки.
Их нервы — на замке, глаза у них — бойницы:
внутри самих себя они живут в осаде,
и весь их горизонт — их плевра и слюна.

Быть может, ждут они, что вдруг метаморфоза
их анатомию изменит, и тогда
срастутся ноги их; из поясницы руки

начнут расти; глаза в желудке поместятся;
на месте зада голова расположится;
а сердце будет там, где биться ни к чему.

Крик

Во мне трагично все; позволите ли вы,
чтоб стал я кораблем и к островам причалил,
где мог бы выгрузить неведомые звезды?
Во мне трагично все... Смогу ли быть я понят?

Сегодня вечером я — старый вяз, и дети
рассказывают мне, о чем они мечтают.
Во мне трагично все; семью мне заменили
(я вам не помешал?) предметы обстановки:

стол, хромоногий стул, две жесткие кровати.
Во мне трагично все; тетрадь я раскрываю
(я вас не рассердил?) и становлюсь поэмой.

Во мне трагично все; теперь уж ваш черед
судьбу мне выбирать — разбитого предмета,
или растения, иль мошки безымянной.

Портрет потребителя

Одно усвоил он: жить — значит потреблять
с желаньем или без желанья. Сердце — сервис,
душа — товар: он продает их, покупает
или обменивает на другие вещи.

«Рабочий во сто крат дешевле, чем машина»,—
провозглашает он, мечтая о больнице,
где стали бы лечить народ от всякой мысли,
от этой худшей и опаснейшей болезни.

Избавиться от конкурентов, дать рабочим
(дать или силой навязать, коль будет надо)
возможность радоваться минимуму благ —

все это разве не достойно? Точный разум
порою выгодней, чем целый склад товаров...
Для совести своей открыл он филиал.

Обыкновенная смерть

Сегодня утром я спокойно пил мой кофе,
когда, газету развернув, прочел пять строчек
о том, что умер я. Наудивлявшись вдоволь,
подумал я тогда, что дали право мне

стать, наконец, никем. Теперь могу свободно
идти куда хочу, любить кого угодно,
и действовать, об этикете не заботясь:
вполне для старого писателя подходит

посмертное существованье в этом мире.
И тут я вдруг сообразил: а почему бы
на собственные похороны не пойти?

Увижу там цветы. Услышу, как актриса
прочтет мои стихи. Скажу своим друзьям,
что счастлив был и рад их вовремя покинуть.

Литература

Дождя размеренная проза: строчка к строчке;
поэзия снегов: страницы без помарок;
деревьев рукопись: там, за листком листок,
все кроны трижды перечитаны грозою;

течение реки — роман: от порта к порту,
как переход от персонажа к персонажу;
грусть, исходящая от мемуаров моря;
посмертно изданный дневник гряды холмов,

написанный в эпоху бедствий; подпись
скатившегося валуна или ручья;
и старый черновик, затерянный в пространстве,

забытый черновик одной шальной кометы,
чье имя в памяти не сохранилось... Для меня
мир открывается в его литературе.

Моцарт

Со мною Моцарт был... Я говорил с цветами,
рассказывали скарабеи мне о прошлом,
я Рильке и Рембо по памяти читал.
И в честь мою снега растаяли на склонах,

и у меня в душе была такая свежесть,
как возле родника. Расстался я с привычкой
негодовать на жизнь. Бродила в поле лошадь
и бога, может быть, искала, а лазурь

была покорною под пальцами моими,
и продолжался я и в камне, и в растенье,
и снова улица надела для меня

наряд свой праздничный. Мое стихотворенье
само с ресниц своих смахнуло слезы... Моцарт
был рядом... Я забыл о старости моей.

■

ГЕРД ФУКС

Мужчина на всю жизнь

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Н. ЛИТВИНЕЦ

Однажды в понедельник, в апреле 1976 года, тридцатидевятилетний токарь Хайнц Маттек получил извещение об увольнении.

Спускаясь из отдела кадров вниз по лестнице и держа в руке конверт со злополучным приказом, он вдруг отчетливо вспомнил один из первых своих боксерских матчей, в ту пору он еще был учеником на производстве и выступал за команду «Гамбургские соколы». Едва начался второй раунд, как он оказался на ковре. Он даже не почувствовал боли и только позже узнал, что удар пришелся слева. Он был абсолютно уверен, что выиграет этот бой. Но уже к концу первого раунда понял, что ему так ни разу и не удалось по-настоящему блокировать противника.

Над ним открыли счет, голос рефери доносился откуда-то издалека, и в этом полузабытьи он внезапно осознал, что теперь-то обязательно вспомнит все, чему успел научиться. При счете «семь» он вскочил на ноги, принял стойку, ни на секунду не забывая о защите, по всем правилам начал наносить встречные удары, и дело пошло на лад. Но на большее его уже не хватило, он проиграл по очкам.

Маттек вернулся на свое рабочее место, сунул конверт с извещением в нагрудный карман комбинезона и запустил станок. Он вытачивал поршневые цилиндры для «муравьишки», миниатюрного автопогрузчика, самого маленького из всех, что они выпускали. Нехитрая работа, приносившая, однако, хорошие деньги. В соревнованиях по боксу последний раз он участвовал девять лет назад. Сейчас он весил ровно сто девяносто шесть фунтов (у него сохранилась привычка ежедневно проверять свой вес) — не так уж много при росте метр восемьдесят девять. Большой раздвижной калибр казался в его руках игрушкой.

Он снова вспомнил о конверте, когда вешал комбинезон в шкаф и в складках его нащупал бумагу. Он переложил конверт в боковой карман куртки. Уходя в тот раз с ринга, он был уверен, что теперь его выгонят из команды. Но Джонни Яблонский отвел его в сторону

© Verlagsgruppe Bertelsmann/Verlag Autoren Edition, München, 1978.

ГЕРД ФУКС — GERD FUCHS (род. в 1932 г.).

Немецкий писатель (ФРГ). Работал редактором в газете «Ди вельт» и в еженедельнике «Шпигель». Живет в Гамбурге. Активный сотрудник объединения прогрессивных авторов «Autoren Edition».

Основные произведения Герда Фукса: сборник рассказов «Ландру и другие» («Landru und andere», 1966), роман «Беринger и давний гнев» («Beringer und die lange Wut», 1973) и предлагаемая вниманию читателей повесть «Мужчина на всю жизнь» («Ein Mann fürs Leben». München, Bertelsmann/Autoren Edition, 1978).

В издательстве «Прогресс» повесть выйдет отдельным изданием.

и предложил начать тренироваться в команде группы «А», а это было уже нечто большее чем просто выигранный матч.

По дороге домой он чуть не попал в аварию. Перестроился в левый ряд — там было посвободнее — и сразу набрал скорость, как вдруг шедший впереди автомобиль показал левый поворот. Поневоле Маттек тоже остановился, и теперь все, кто ехал в правом ряду, обгоняли его. Высмотрев просвет между машинами, он круто вырулил вправо, но то ли просвет был не так уж велик, то ли он попросту не заметил нагонявшую его малолитражку — оба одновременно нажали на тормоза и замерли буквально в нескольких миллиметрах друг от друга. В следующую секунду он резко дал газ, так что шины взвизгнули, и, послав всех к черту, удрал через перекресток на желтый свет.

Снова пришло на ум предстоящее увольнение. Ну и ладно, подумал он, здесь тоже есть свои хорошие стороны: в кои-то веки можно отоспаться, вдоволь поваляться в постели. Впрочем, Маттек был уверен, что еще до увольнения сумеет подыскать новую работу. А значит, Марион с детьми не стоит и тревожить. Только вот куда бы запрятать письмо? Как назло, ни одно место не казалось ему достаточно надежным. В конце концов он под каким-то предлогом спустился вниз к автомобилю и сунул конверт под коврик для ног.

Уже восемь лет отработал он на этом предприятии и, когда его спрашивали, чем он занимается, как правило, отвечал: «Мы выпускаем автопогрузчики». Под этим «мы» он подразумевал и себя самого, и еще тысячу с лишком других людей, работавших с ним бок о бок. Всех вместе. Фирма, думал он, это все они, вместе взятые. И то обстоятельство, что владельцем ее был адвокат, чью роскошную виллу он непременно демонстрировал Марион и детям, когда они проезжали мимо, на его взгляд, ничуть не противоречило подобному идеальному единению.

Ведь что ни говори, а сам заместитель начальника отдела кадров лично предупредил его об увольнении. Мы крайне сожалеем. Многолетнее сотрудничество. Трудности со сбытом. Конъюнктура. Заместитель — человек молодой, обходительный. Маттеку никогда бы и в голову не пришло съездить ему, к примеру, разок по физиономии.

Смысл случившегося полностью дошел до него лишь наутро, когда он распахнул дверь в раздевалку и, как всегда, увидел перед шкафчиками со спецодеждой товарищей по работе — веселые, поддразнивают друг друга, рассказывают свежие анекдоты. Они остаются, а он должен уйти. Между ними пропасть, раз и навсегда. Значит, можно просто выбросить человека за ворота, выгнать прочь да еще пригрозить: смотри, а то хуже будет! И против этого бессильны и профсоюз, и закон. Нельзя сказать, будто прежде он ничего этого не знал. Знал, конечно, но все-таки как будто и не знал.

Но почему, почему именно он, а не кто-то другой? Токарь он был опытный, с начальством всегда ладил — в чем же он провинился? Мысли, что его уволили за плохую работу, Хайнц Маттек не допускал, тут он был в себе уверен. И все же уволили его, а не кого-то другого. Он поймал себя на том, что боится, как бы товарищи не узнали о его предстоящем увольнении.

В последние дни ему все время было не по себе. «Заботы, заботы, ничего нет хуже забот»,— говаривал Джонни Яблонский и требовал от своих парней, чтобы у них были постоянные подружки, а еще лучше, чтобы они женились. Он учил их контролировать вес, пищеварение, рационально питаться. Неукоснительно следил, достаточно ли они потеют, и время от времени проверял шейную мускулатуру. «Ты вот что, загляни-ка с этим к массажисту».

Джонни уже тогда был стар, и лицо его походило на сморщенную ягоду. Но иной раз он еще боксировал с ними, и тогда они понимали, что значит правильно отразить удар. Его левая всегда до-

ставала противника неожиданно, «всухую», хотя, конечно, сам удар уже не имел прежней силы.

Хайнц Маттек нисколько не сомневался, что сразу найдет работу, и все же где-то внутри росло неприятное ощущение, будто каждый его мускул судорожно напряжен. Куда девались прежняя свобода и раскованность, умение выполнять любую операцию с минимальной затратой усилий? После смены его охватывала страшная усталость, никогда прежде он не испытывал ничего подобного.

Он с каждым днем все сильнее боялся, что товарищи вот-вот узнают об увольнении, и однажды, собравшись с духом, решил покончить с этим унизительным состоянием.

— Первого я работаю последний день,— сказал он в столовой за обедом.

— Что?

— Как же так?

— А есть у тебя уже что-нибудь на примете?

— Осмотрюсь не спеша. Для начала сделаю дома ремонт.

И, глядя, как он сидит среди них, большой, спокойный и совершенно невозмутимый, они верили его словам. Он и сам себе в ту минуту верил.

Все-таки каким-то образом вышло наружу, что уходит он вовсе не по собственному желанию. Тогда он стал выискивать всевозможные предлоги, чтобы являться в столовую раньше или, наоборот, позже остальных; нередко он сидел теперь там в одиночестве, среди турецких рабочих с кирпичного завода. Прощаясь с товарищами после своей последней смены, он был рад, что это мучение кончилось. Нового места он пока не нашел.

Только сейчас он сообщил о случившемся Марион, и оказалось, что по-человечески это вполне можно объяснить: ввиду неблагоприятного положения с заказами фирма предложила ему уйти, но, разумеется, он тут же найдет новую работу. Со временем все уладится, а стало быть, и беспокоиться нечего. Он ни словом не обмолвился, почему до сих пор молчал. Сидел напротив нее, а она смотрела на него широко раскрытыми глазами, не в состоянии хоть как-то отреагировать на его слова.

Молчала она и на следующее утро, когда он встал в привычное время, будто собираясь на работу. Она слышала, как он поднимался, но ни о чем спрашивать не стала. Притворилась спящей. И когда после обеда в привычное время он вернулся домой, тоже не произнесла ни слова.

Он встал на учет по безработице. Биржа труда находилась на Курт-Шумахер-аллее, между Домом профсоюзов и городским отделением СДПГ, здание из красного кирпича, в котором он еще ни разу не бывал. Работу они начинали в восемь; ему пришлось дожидаться на улице. Незадолго до восьми он уже стоял в плотной людской толпе, насчитывавшей, как он прикинул, человек двести — триста, она вынесла его к дверям, будто на гребне огромной волны. В вестибюле ему удалось вырваться из общего потока. Он прислонился к стеклянной стенке и закурил. С ума сойти. Да где мы находимся, в конце концов? Ведь это немыслимо. В голове у него не укладывалось, что теперь он поставлен на одну доску со всеми этими турками, греками и югославами (как будто между ними совсем не было немцев). С этим стадом, которое ведет себя так, словно вот-вот подохнет с голоду. Они продают себя как рабочий скот.

Когда он наконец нашел нужную комнату и внес свою фамилию в список, по которому вызывали, на скамье перед дверью свободных мест не было, пришлось стоять. Узкий длинный коридор был забит людьми, через считанные минуты воздух стал сизым от сигаретного дыма. Почти никто не разговаривал. И как это я здесь стою, подумал он. Ведь быть такого не может, чтобы в наше время чело-

век стоял под дверью, как последнее дерьмо, и ждал, когда ему швырнут кусок.

Скоро на скамье освободилось место, и он сел, но ощущение собственного бессилия стало только острее. Скамья подсудимых, подумал он, скамья смертников. Все сидели впритирку друг к другу. Он сдвинул колени, прижал руки к телу. Стоило ему хоть немного расслабиться, опереться на соседей — и сидеть стало бы удобнее. Но он не шевелился, будто скованный по рукам и ногам, а в душе тем временем поднялась буря, целый ураган воображаемых движений, стремительное бегство, сокрушающее все на своем пути. Все ближе минута, когда выкликнут его имя.

И все же ему стало легче, когда он вошел в кабинет и ситуация обрела четкие контуры, сосредоточилась в человеческом лице по ту сторону стола, румяном и обнадеживающем лице. Уже почти совсем спокойно он назвал свое имя, возраст, специальность, общий трудовой стаж, фирму, категорию заработной платы. По мере того как он перечислял все это, что-то у него внутри как бы распрямлялось, набирало силу. Однако, к его глубочайшему изумлению, чиновник (господин Кремер) только покачал головой. Для него у них ничего нет, господину Кремеру даже нет нужды лишний раз справляться в картотеке.

То есть как это для него ничего нет?

При случае, конечно, пусть заходит. Время от времени вакансии все же появляются. Правда, их тут же расхватывают те, что дожидаются в коридоре. Но как бы то ни было, он непременно известит господина Маттека, если появится что-нибудь подходящее.

Да ведь такого просто не может быть!

У Дома профсоюзов он еще раз оглянулся. Позади биржи труда, на слегка выступающем вперед фасаде, сияли буквы — СДПГ.

Ему страшно захотелось выпить пива и большую рюмку водки. Почувствовать себя платежеспособным.

Почти две недели он уходил по утрам из дома, словно на работу, и возвращался уже после обеда, как будто и в самом деле отстоял смену за станком. Почти две недели Марион ни о чем его не спрашивала — ни куда он собирается, ни откуда приходит. Она не говорила ни слова. Он тоже. Вообще-то они разговаривали друг с другом, только не о главном. И это было все равно как если бы они вдруг лишились дара речи.

Мысленно возвращаясь к той минуте, когда он объявил свою новость, она не могла найти более подходящих слов, чем «гром среди ясного неба». Впрочем, небо это давно уже не было ясным. Число людей, потерявших работу, было им известно. Вот уже сколько лет по телевизору сообщали, что цифры эти растут. И о чем они только думали, слушая все это? — спрашивала она себя теперь. Да ни о чем!

Ведь этого просто не может быть — вот что они думали.

Они не верили цифрам. Она вдруг поняла, что внушенные им представления об окружающем мире исключали такие понятия, как трудности сбыта, безработица, нищета. Западногерманская модель. И представления эти были настолько прочными, устойчивыми, что все цифры, связанные с безработицей, вроде и не существовали. То есть на самом деле они существовали и в то же время их как бы не было. С течением времени, однако, все больше информации, данных, фактов просачивалось в их сознание, все дольше маячили перед глазами тревожные цифры. Как летней порой небо иногда незаметно подергивается легкой дымкой, которая потом исподволь начинает окрашиваться в серый цвет, так в их дом исподволь закралось какое-то смутное беспокойство, тревога. Предгрозовая атмосфера действовала и на него, Марион подмечала, например, что он делался нарочито рассеянным, едва речь на экране заходила о цифрах; обычно о них рассуждал толстый, явно низкорослый комментатор с одутло-

ватым бульдожьим лицом. Тогда Хайнц тянулся за сигаретой, или хватался за иллюстрированный еженедельник, или просто начинал разговор. Она подмечала, что он все чаще разглагольствует о положении со сбытом на своем предприятии, отчаянно стараясь сохранить при этом маску самодовольного спокойствия. От нее не укрылось, как он нервничал, когда в телевизионной программе всплывало слово «рационализация». Но ведь этого просто не может быть. На их глазах чему-то приходил конец.

На самом же деле они оба ждали. Больше даже она, чем он, он ведь годами изо дня в день воочию видел происходившее на предприятии. Она точно рассчитала, сколько еще предстоит выплатить за вещи, купленные в кредит, и какую сумму составляют постоянные расходы. И для них теперь тоже что-то кончилось. После стольких лет устойчивой, обеспеченной жизни они вдруг вступили в период ожидания. Почва под ногами, которая всегда казалась такой надежной, вдруг заколебалась. Сумеют ли они удержаться?

Они не разговаривали друг с другом. Собственно, обсуждать-то было нечего. Все без толку. Программы разумного регулирования конъюнктуры не выполнялись, число безработных росло.

Вот о чем размышляла она, после того как он сообщил ей об увольнении. Когда смысл его слов наконец-то дошел до нее, она похолодела от страха. А он все говорил, говорил, и страх сменился яростью. С каким видом он прежде восседал перед ней? Меня, дескать, все это не касается. Со мной ничего плохого случиться не может.

Ну, а что реально они оба сумели бы предпринять?

В подобных делах у них не было никакого опыта. О безработице оба знали лишь по рассказам родителей, наводившим дикую скуку, и считали ее чем-то безобидным и неопасным, принадлежащим прошедшим временам.

И вот однажды утром она застала его в кухне. Заслышав ее шаги, он было вскочил, но поздно: она вошла. Он был уже в куртке и шапке. Она быстро включила все конфорки, поставила на плиту чайник и кастрюльки.

— Сейчас дети прибегут,— сказала она.

Он не двигался с места.

— Сними в таком случае куртку,— сказала она.

«Я будто во сне. Не могу пошевельнуться. Не могу остаться здесь и не могу уйти. Внутри меня будто что-то оборвалось. Решай, не тяни. Ну, вот и решил».

Карстен и Рита влетели одновременно.

— А, ты еще здесь,— сказал Карстен.— Проспал?

— Нет.

— Ты плохо себя чувствуешь? Заболел? — спросила Рита.

— Нет.

— Тогда почему ты не идешь на работу? — удивился Карстен.

— Потому что работы у меня больше нет.

— И давно? — спросила Рита.

— Уже две недели.

— А куда ж ты ходил каждое утро все это время?

— На биржу труда.

— Ну и что, есть у них работа? — спросил Карстен.

— Нет.

— Тогда зачем ты ходил туда каждый день?

Он не ответил.

— А почему ты нам ничего не сказал?

— Я сказал матери.

— Но ведь не нам же,— вставила Рита.

— Вы оба ничего нам не сказали,— добавил Карстен.

— Пойдем.— Марион взяла у него рабочую сумку, стянула с него куртку, сняла шапку.— Сейчас тебе нужно прилечь.

И вывела его из кухни.

Около десяти он проснулся. Квартира была пуста. В комнатах было прибрано, на кухонном столе его ждал завтрак, возле термоса с горячим кофе лежала свежая газета, но он к ней не притронулся. Еще ни разу он не видел квартиру такой. Казалось, будто у каждой вещи, даже самой маленькой, есть свое, только ей предназначенное место. Когда Марион вернулась из магазина, он все еще сидел за кухонным столом.

Она взяла чашку и села рядом.

— На заводе сейчас тоже завтракают.

— Не думай об этом,— сказала она.— Все уладится.

Она изо всех сил старалась утешить его, понимая, что отныне это тоже входит в ее роль. А ведь и ей самой так нужна поддержка, хотя бы изредка. Он уставился прямо перед собой, и тут впервые она заметила, как он переменился: спина сгорбилась, плечи опустились; пока это еще почти не бросалось в глаза, но ей стало страшно.

— Ты должен взять себя в руки,— сказала она неожиданно резко.

Он должен взять себя в руки. Что ж, он достал бумагу, карандаш, линейку и принялся измерять ширину дверей, высоту потолка, промежутки между шкафами. Сразу после обеда он уехал, а вернувшись вечером, кликнул всех вниз, к автомобилю, и нагрузил Карстена и Риту плинтусами, карнизами, банками с краской, дюбелями. Деревянные панели нес он сам. Он объяснил, что намеревается сделать, и все обрадовались, будто им предстояло мастерить рождественские подарки. Если верить его словам, через неделю квартиру будет не узнать.

В гостиной все еще висели его фотографии времен занятий боксом и несколько дипломов. Незадолго до женитьбы он признался Марион, что тренируется в секции бокса, и пригласил ее на соревнования. Она ничего не сказала по этому поводу, должно быть плохо представляя себе, что это такое, но когда после поединка, приняв душ и переодевшись в обычный костюм, он уселся рядом с ней, она все еще была бледна.

«Какой ужас»,— сказала она, и он, польщенный, рассмеялся.

Это был один из лучших его матчей. Тогда он выступал еще в полусреднем весе и славился не только блестящим ударом, но и техникой, которую весьма усовершенствовал благодаря Джонни, да и вообще он был в отличной форме. Его считали опасным противником. И не без оснований. Ему мало было просто победить, он хотел видеть соперника сраженным окончательно. И как можно быстрее.

С годами, по мере того как он набирал вес и одновременно стаж супружеской жизни, это стремление исчезло. Но и потом еще что-то изредка накатывало на него, тогда он навязывал противнику ближний бой и легко добивался победы.

— Но ведь это отвратительно,— говорила Марион.— И как только люди могут избивать друг друга, да к тому же на глазах у всех. Нет, мне это непонятно.

Он смеялся. Разве ей объяснишь?

Глухой шум от ударов по мешку с песком, запах пота, отрывистые указания Джонни обоим партнерам, тренирующимся в углу зала, щелчки скакалок, шорох ног, тяжелое, прерывистое дыхание тех, кто ведет бой с отражением в зеркале,— и вот в первом раунде ты выходишь из своего угла, и весь зал вскрикивает, а потом ты снова уходишь в свой угол, и Джонни подставляет тебе табуретку, вытирает пот с лица, обмахивает полотенцем, отдавая последние указания,—

ну разве объяснишь это ей, женщине. Ведь все это исключительно мужское дело. Собственно, так думала и она сама, но по роли ей полагалось во время соревнований находиться в третьем ряду.

Прежде всего он намеревался обшить панелями стену в коридоре. Шпонки загоняются в пазы — натуральная сосна, в стиле деревенского дома, под старину. Настоящая работа, а к работе он привык относиться серьезно. Пришлось Марион переступать через разные планки и мириться с тем, что кухонный стол был завален инструментом, а опилки разносились на ногах по всей квартире.

Стенка, как и следовало ожидать, вышла потрясающая, но дальше этого дело не пошло.

— А как насчет теплового экрана для кухни?

Конечно, Марион вполне обошлась бы без этого экрана между плитой и шкафом, но он не имел права расслабляться и сидеть сложа руки. Однажды утром она застала его в кухне, на столе стоял телефон, рядом лежал карандаш, бумага и телефонные справочники. Она ни о чем его не спросила, но через открытую дверь ей все было слышно. Она сидела в гостиной и слушала, как он ищет работу. Слушала, как он пытается говорить униженно, как в голосе его появляются угодливые нотки. Слушала, как он швырял трубку, набирал новый номер, узнавал телефон отдела кадров,— слушала, как он продает свою рабочую силу.

Она всегда гордилась его спокойной, надежной уверенностью в себе. С учителями Карстена и Риты он разговаривал на равных. Не подлаживаясь под них, но и не заискивая. Все эти штудиенраты и доктора способны были произвести на него впечатление только одним — своим трудом, не степенями и званиями. Он стремился, чтобы и его самого оценивали так же, только по труду.

В одном месте его обнадеживали и что-то неопределенно обещали, в другом грубо отшивали, в третьем просто вешали трубку. Тем не менее он звонил снова и снова, и это упорство испугало Марион. Она вошла в кухню. Положила руку на рычаг телефона.

— Хватит на сегодня.

Марион попыталась обнять мужа. Он оттолкнул ее — она поняла и не обиделась.

— Прими снотворное и ляг поспи.

Она по-прежнему твердила, что ей необходим тепловой экран.

До сих пор утренние часы принадлежали только ей. В это время она оставалась в квартире одна, наедине с собой. Теперь же дома постоянно находился еще один человек, он сидел, уткнувшись в газету, вставал из-за кухонного стола, когда ей надо было прибрать кухню, или, наоборот, перебирался на кухню, когда она начинала убираться в гостиной. Она слышала, как он кашляет, затягиваясь сигаретой, как он разворачивает газету, как он отправляется в уборную.

Раздражение ее все возрастало. Она убеждала себя, что несправедлива, что нельзя винить его в том, что он торчит дома, но эти доводы не успокаивали, раздражение не проходило, оно росло, не подвластное любым доводам рассудка.

И с детьми было точно так же. Квартира словно стала меньше. Рите исполнилось четырнадцать лет, у нее была своя комната, и ей доставалось меньше других: она могла уединиться. Но восьмилетний Карстен ютился в каморке, где помещалась всего лишь его постель и немного игрушек. Уроки он готовил на кухонном столе, за которым отец теперь читал газету.

И все же особенно нервничала Марион не во второй половине дня и не вечерами, когда дети были дома и квартира казалась тесной,— больше всего ее изматывали именно утренние часы, когда они оставались вдвоем.

— Соседка сверху, должно быть, свихнулась. Идиотка. Весь день носится по квартире как угорелая. Я слышу каждый шаг. Интересно, что она делает? Ну с какой стати все время метаться туда-сюда? Или, может, это я схожу с ума?

— Нет,— сказала Марион и вышла из комнаты.

— У малыша за стенкой, видимо, режутся зубы. Неужели и наши орали с утра до вечера?

— Наши орали точно так же,— сказала Марион.

— Внизу, у подрядчика, скандалы начинаются теперь уже прямо с обеда. Он тоже сидит без работы.

— Если в этом доме кто-то идет в сортир, то слышно еще на три этажа. А до ближайшей пивной четверть часа ходу. Архитектора, который это строил, следовало бы расстрелять публично. Ну, а теперь куда мне перейти? В спальню? А может, в ванную или в детскую?

— Это не кухня, а прямо какое-то машинное отделение.

— Семь лет я торчу в этой квартире двадцать четыре часа в сутки,— вскипела Марион.— Это мое рабочее место. Я не могу его изменить, не могу сделать его лучше. Иди ты со своими претензиями куда подальше! Я приучила себя не слышать все эти звуки, понял? И мне наплевать, что там слышишь ты. Не желаю я слушать все это снова!

Из-за чего они поссорились, в чем было дело?

Спустя два часа они уже забыли обо всем. А ведь наговорили друг другу гадостей, нашумели, хотя вовсе не желали этого.

Однажды вечером он захотел ее, но ничего не получилось.

Она вышла вслед за ним на кухню.

— Хайнц!

Он достал из холодильника бутылку пива.

— Нужно избавиться от автомобиля.

— Не расстраивайся,— сказала она.— С каждым может случиться.

— Думаю, что три с половиной за него еще дадут.

— Господи, ну что тут такого,— сказала она.

— Я тут уже кое с кем поговорил.

Она неловко погладила его по волосам.

— Не принимай близко к сердцу.

— Выходит, для тебя это ничего не значит?

Она промолчала.

— Выходит, тебе все равно, сплю я с тобой или нет?

Она опять промолчала.

— Выходит, ты рада, когда я тебя не трогаю.

Она помедлила, потом сказала:

— Да.

Он хотел уйти в спальню, но Марион удержала его. Ей было страшно.

— Машину мы продавать не будем,— сказала она.

— Автомобиль будет продан.

— Но тогда все поймут, что у нас что-то произошло,— сказала она.

— А потом продадим посудомоечную машину.

— Нет, ее мы не продадим. Мы вообще ничего не будем продавать.

— Теперь я дома. Я буду посудомоечной машиной.

— Пойдем выпьем еще по рюмке,— сказала она.— Там осталось немного водки.

Она смертельно устала. Давно уже она ровным счетом ничего не испытывала, когда он спал с нею. Но тем не менее следила, чтобы он делал это регулярно. Выходит, теперь это уже не имеет для нее никакой цены? Может, потому, что сам он не имеет больше

никакой цены? Она поняла, что призналась себе сейчас в чем-то таком, в чем признаваться нельзя. Поняла, что произнесла слова, которых не прощают. И в тот же миг ей стало ясно, что слова эти будут произнесены еще не раз.

Внезапно в ней проснулся дух противоречия.

Она потащила его в кино. Оба старательно изучили по газете весь репертуар, но в итоге все равно очутились на каком-то вестерне. В следующий раз это был детектив, потом снова вестерн. Когда такие фильмы показывали по телевизору, Марион скучала, и он это знал. Теперь же ей вдруг стало противно до тошноты. Ее тошнило от всех этих суперменов. С каким удовольствием она посмотрела бы картину о потерянной чести и вообще о женской судьбе. Но даже заикаться об этом было без толку.

— Мне кажется, с мордобоем тут явно хватили через край.

Он расхохотался. Польщенно, как мужчина над глупой женщиной.

— Такова жизнь,— сказал он.

«Боже мой,— подумала она,— если бы жизнь и в самом деле была такова. Может быть, тогда ты со своими кулаками прекрасно сумел бы выпутаться из этой истории и даже двинул бы пару раз своему боссу».

Хождение в кино требовало денег. Две марки стоил билет на метро, итого, туда и обратно — восемь марок, двенадцать марок — билеты, и два больших кофе — это пять марок, два пирожных — еще три марки, и специально для него одно пиво — все вместе выходило самое меньшее тридцать марок.

— Давай как-нибудь просто прогуляемся.

Они поехали в центр и прошлись от Главного вокзала вниз по Мёнкебергштрассе до городской ратуши, затем по Юнгфернштиг до рынка. Стояли жаркие летние дни, и женщины были одеты совершенно немыслимо. У него глаза разбегались.

Колышущиеся груди, подведенные помадой рты, ноги, талии, туго обтянутые материей бедра. Какая же, должно быть, властная сила, какой неутоленный голод заставляет его оборачиваться на каждую расфуфыренную бабенку. Она попыталась представить себе, как бы это выглядело со стороны, если бы она тоже начала таращиться вслед проходящим мужчинам, глазеть на каждую задницу, толстую ли, тощую, узкую или, наоборот, широкую.

Когда он закрывает глаза, думала она, он, должно быть, видит одни только женские тела. Свалку бюстов, задниц и бедер.

Она сочла возможным отнестись к этому даже с некоторым юмором. Вот только зачем ей, его старухе, слегка располневшей с годами, тащиться рядом.

Теперь она все чаще говорила ему: «Пройдись сегодня один, у меня еще много дел».

Раньше было не так, раньше он не пялился на женщин таким голодным и пустым взглядом, взглядом, который становился все более голодным и пустым, по мере того как он на них пялился. Прежде он пользовался успехом у женщин, отчасти, наверное, и потому, что никогда не смотрел на них так, как сейчас. Ей вспомнилось, что однажды в гостях он пригласил танцевать сестру Инги, желчную старую деву, весьма бойкую и злую на язык. Он о чем-то заспорил с ней, поддразнил, но она в долгу не осталась. Язык у нее был явно подвешен лучше, тем не менее после каждой колкости в свой адрес он только смеялся, и все начиналось сначала — ему определенно нравились и ее находчивость, и ее шпильки. Их дуэт веселил всех сидевших за столом, да и сам он испытывал такое искреннее удовольствие от этой игры, что мало-помалу колкости Ингиной сестры утратили заряд злости и стали просто смешными. И между прочим, он до того раззадорил ехидную старую деву, что она буквально похо-

рошела на глазах. На прощание Инга даже поцеловала его в щеку, а это уже кое-что значило.

У него было безошибочное чутье во всем, что касалось одежды. И галстуки он подбирал себе сам. А в смысле белья он был просто чистоплюем, тщательно ухаживал за руками, за волосами, и от него всегда приятно пахло. Время от времени они с Гюнтером устраивали настоящие кутежи. Он хорошо знал окрестные рестораны, понимал толк в напитках. Из дома они никогда не выходили вовремя, ей вечно приходилось поторапливать его. Он нравился женщинам и знал об этом. Ни с того ни с сего мог взять и подмигнуть девушке за соседним столиком. Та заливалась краской, но, как правило, не обижалась.

Марион была рада остаться дома — так легче. С работой по хозяйству она теперь не управлялась, появилась ведь дополнительная обуза, а ему это, конечно, и в голову не приходило.

В своих четырех стенах она чувствовала себя в безопасности. Здесь ее ни с кем не сравнивали. Впрочем, а кто и с кем ее сравнивал? Уж во всяком случае не он, это точно. Он вообще ее больше не замечал. Сравнивала она сама.

Да-да, сама. Чтобы мужчины сравнивали себя друг с другом — такое вряд ли возможно. Они еще и гордятся своим жиром, думала она, самодовольно похлопывают себя по животу, и, скажем, отвислый зад нисколько не огорчает даже самого невзрачного из них, нисколько не уязвляет его чувство собственного достоинства. Для женщины он еще вполне привлекателен.

И снова этот дух противоречия. Лучше бы, конечно, отбросить подобные мысли, заставить его поверить, что нет для нее на свете большего счастья, чем принадлежать ему. Ему, и только ему. Лучше бы хоть как-то поддержать его сейчас. Но вместо того чтобы стать ближе, они все дальше отдалялись друг от друга, и в этом нараставшем взаимном отчуждении она все больше ощущала свое одиночество и одновременно все больше осознавала себя.

Почему все-таки женщины сравнивают себя с другими? Наверное, потому, что так или иначе смотрят на себя глазами мужчин.

И вот о чем еще она подумала. Такие, как она, привлекают в семнадцать лет своей упругой грудью и миловидным, нежным лицом. Потом они идут работать на фабрику, заводят детей, и вскоре ничего не остается ни от упругой груди, ни от крепких бедер, ни от хорошенького личика.

По-настоящему красивые женщины не чета их сестре — у этих всегда свежий, отдохнувший вид. И одеты они совсем по-другому. То, что носит она и ей подобные, лишь слабое подражание нарядам тех, других.

Нередко он теперь приходил домой поздно. К тому времени кухня была уже свободна, и он мог спокойно приготовить себе поесть, а потом перейти в гостиную и усесться вместе со всеми перед телевизором. И можно не бояться долгих разговоров — их не будет.

Пусть Марион думает, что он ходит в кино. На самом же деле он по большей части торчал всего лишь в закусочной на углу.

Сидя на высоком табурете и уставясь через окно на улицу, он зачастую впадал в странную рассеянность. Как долго это длилось, он не знал. Временами у него было такое чувство, будто он только что проснулся и не может вспомнить, где находится. Жуткий, панический страх охватывал его. Он озирался по сторонам, но все казалось чужим, незнакомым. Он утрачивал связь с самим собой, оставался только этот смутный, безликий страх, страх и ничего больше.

А затем все снова возвращалось на свои места: часы показывали половину пятого, было десятое июня, и он сидел в закусочной на углу.

Надо что-то предпринять, надо взять себя в руки, уговаривал он себя. Что, в конце концов, произошло? Квартира, мебель, жена, дети, стереоустановка, домашний бар, автомобиль — все это пока при нем. Полицейские патрулировали улицы, в судах шли заседания, дети ходили в школу, политики произносили свои речи, рабочие работали. Все на своих местах.

Он снова принялся мастерить.

— Ну вот, опять все сначала,— сказала Рита, вернувшись вместе с Карстеном из школы.

— Быстро, быстро мыть руки, только по очереди. Рита, тебе сегодня накрывать на стол! — крикнула Марион, устанавливая все конфорки плиты в положение «три».

— А ты убирай со стола.

— Что это будет? — спросил Карстен.— Можно посмотреть?

— Только осторожно.

Карстен, сгорая от любопытства, вертелся возле отца. Марион отправила сына мыть руки, от греха подальше. И без того Хайнц утром несколько раз готов был в сердцах бросить все. Настроение у него было скверное, у нее тоже. Мысленно проклиная все на свете, она переступала через рейки и разложенный на полу инструмент.

— Пора варить обед. Я в самом деле не могу больше ждать.

— О господи, ну неужели нельзя подождать одну минуту? — заорал он.

А теперь Рита стояла у него над душой с тарелками.

— Я сойду с ума,— сказал он.— Не загораживай свет.

— Мы хотим есть,— сказала Рита.

— Я же тебе говорила, этот джемпер пора стирать! — воскликнула Марион, стараясь предупредить скандал.— Немедленно переоденься.

Рита поставила тарелки на холодильник и вышла из кухни. Вместо нее вошел Карстен.

— А что это будет? Дай-ка мне попробовать. Я же умею.

Он выхватил у отца отвертку и попробовал вогнать в дерево шуруп, который наполовину был уже закреплен. Хайнц молча посмотрел на мальчишку, и теперь уже Марион почувствовала острое желание выйти из кухни.

— Глаза б мои не глядели.

Но тут отвертка соскочила, и Карстен оцарапал себе руку.

— Не руки, а крюки.

Карстен уселся на лавку возле стены.

В эту минуту вместе с Ритой вошла Марион; увидев, что Карстен неловко держит руку и вот-вот заплачет, она решительно смела все со стола.

— А сейчас мы будем есть.

На следующее утро он еще продолжал мастерить, но когда она вернулась из магазина, в квартире никого не было. Незаконченная панель была прислонена к стене, на столе в беспорядке валялся инструмент, на полу — стружки и обломки дерева. Он пришел лишь после обеда, слегка навеселе.

Что-то с ним произошло. Он не отвечал на вопросы, сидел уткнувшись в газету. Она вышла в прихожую, туда, где висела его куртка. В боковом кармане лежала бумажка с названиями и адресами фирм. Значит, он искал работу. Марион достала бутылку водки и две рюмки.

— Ты только погляди,— сказал он, положив газету на стол и ударив по ней кулаком.— Выходит, это я лентяй и сам уклоняюсь от работы.

Он разорвал газету и скомкал обрывки.

— Расскажи по порядку,— сказала она.

Водку он между тем выпил. Она налила еще.

— «Расскажи по порядку»! — передразнил он.— Что рассказывать-то? Как сам себя продаешь? И каково это — предлагать себя? А потом узнавать, что спроса на тебя нет? Будто можно рассказать об этом по порядку.

После третьей рюмки он немного успокоился. Видно, уже изрядно подвыпил. Около семи он плюхнулся в постель.

Пройдет время, и он оправится от этого удара. Она уговаривала Карстена и Риту быть с отцом поделикатнее. Совсем недавно Карстен предложил ему сбегать в магазин за чистыми тетрадками, у него самого, мол, и без того дел по горло. «Я сейчас принесу»,— сказала она и быстро вышла из квартиры. Слава богу, Хайнц, кажется, ничего не слышал.

И еще она просила детей не заводить разговоров об отпуске.

«Отпуска не будет»,— сказал он, когда Карстен в первый раз заикнулся об этом. Карстен попробовал было возразить, но мать оборвала его на полуслове:

«Мы обсудим все это в другой раз».

Карстен понял, и «другой раз» наступил тогда, когда отец облицовывал стену в коридоре и был явно в хорошем настроении. Конечно, он сразу получил желаемый ответ. Да, они поедут. У них ведь заказаны билеты в Югославию, три недели в летнем домике на Хваре.

Он заметил, как мало знает своих детей. В сущности, он всегда был всего лишь «отцом по вечерам», отцом, который, побоксировав немного с сыном и раз-другой подшутив над дочерью, тут же снова прячется за газетой. Однажды зашел разговор о каком-то парне по прозвищу Счастливчик. Рита просила купить ей сапоги, непременно желтые, и Карстен съязвил по этому поводу, что Счастливчик, должно быть, предпочитает сапоги именно желтого цвета. Рита разразилась слезами, а Марион, выпроводив Карстена из комнаты, принялась утешать ее: дескать, со Счастливчиком все снова образуется. Хайнц понятия не имел, кто такой этот Счастливчик.

Однажды Хайнц заглянул в их учебники (они ходили уже в среднюю школу). Сначала он постарался сосредоточиться и вникнуть в прочитанное, потом оставил эти попытки.

«Не для такого работяги, как я»,— подумал он.

Он даже не представлял себе, сколько им задавали на дом.

— А когда, собственно, вы играете? — спросил он. Оба взглянули на него с явным недоумением. Он заметил, что о многих домашних делах попросту не имеет ни малейшего понятия. А вот Марион знала, кто такой Счастливчик или как его там зовут. Знала, к какому дню необходимо сделать те или иные задания, когда нужно сменить джемпер, что приготовить на обед. Она была нужна, он — нет.

Он спрашивал себя, были ли его дети и прежде такими, или он просто только теперь разглядел их как следует. Его четырнадцатилетняя дочь могла часами сидеть в ванной с транзистором. Рита то и дело что-то разыскивала, казалось, она не в состоянии хоть как-то упорядочить собственные действия, она бесконечно перекладывала какие-то вещи с места на место, по прошествии двух минут она уже не помнила, что ей минуту назад поручили или что она намеревалась сделать сама, она непрерывно что-то теребила на себе или одергивала пуловер, то поправляла прическу, то подновляла косметику на лице, и все это с отсутствующим видом, дергаясь в этом немыслимом музыкальном вареве.

Мальчишка совершенно обнаглел и все время привередничал, раньше он за ним такого не замечал. Все ему было не по нраву, вечно он «так и знал», вечно его что-то не устраивало. А самое главное — этот негодяй прямо-таки помешался на чистоте. Заставить его что-нибудь съесть — для этого требовались сложнейшие дипломатические ухищрения, которые завершались успехом лишь в том случае,

если ему не попадались в тарелке капельки жира, лук, «несъедобные» куски и прочая, с его точки зрения, гадость. Но сперва он еще должен был признать блюдо вообще съедобным.

Спрятавшись за газетой, Хайнц учился улавливать полутона. Дети взяли себя в руки, но не настолько, чтобы этого можно было не замечать. Он видел, как старалась Марион избегать острых ситуаций, как она боролась с собственной нервозностью.

Как-то раз, расположившись в гостиной, он услышал, как Марион пробирает Риту за то, что, намереваясь засесть за уроки, она выпроводила его из кухни. Они спорили вполголоса, но он все слышал. Он был лишним. Он всем только мешал.

Впрочем, к этому времени он настолько поддался апатии, что был уже не в состоянии отлучаться из дома надолго. Без дела слонялся он по комнатам или валялся в постели до тех пор, пока Марион не возвращалась из магазина. Тогда она тут же принималась убирать спальню, шумно раздвигала портьеры.

— И тебе не стыдно? Это же немыслимо.

Он больше не ощущал своего тела. Прежде он подолгу и с удовольствием мылся в ванной. Отношение к собственному телу до сих пор определялось у него боксерскими привычками. Контроль за весом, контроль за пищеварением, регулярное питание, здоровый сон, борьба с лишними килограммами, разумное потение, водные процедуры. Полуголый, он носился по квартире, приготовляя себе свежее белье, разыскивая фен, который Рита, как всегда, утащила в свою комнату, подолгу лежал в ванне, обстоятельно и с наслаждением намыливался, покрякивая, мыл душистым шампунем голову, насвистывая, растирался досуха полотенцем, пользовался хорошим кремом — это был ритуал, неотъемлемой частью которого был визит в ванную Марион, которая призывалась обычно для освидетельствования какого-нибудь прыщика, вскочившего на спине, и отсылалась потом за чем-то срочно понадобившимся.

Теперь он лишь принимал душ, да и то впопыхах, не раздумывая, исключительно ради гигиены.

Марион между тем выполняла свои обязанности. Уборка, стирка, магазин, приготовление еды, проверка домашних заданий — дел у нее было по горло. Она не могла думать о нем одном. И вернулась к текущим делам.

Порой ему казалось, будто он здесь в гостях, и, возможно, именно это ощущение, которое с недавних пор укрепляла в нем Марион, заставило его однажды сказать:

— Я отказался от автомобиля.

— Что-что?

Она была поражена.

— Ты что, с ума спятил? А как же мы поедем в отпуск? Выходит, мы совсем на мели. И по воскресеньям теперь мы не сможем выбраться за город. Разве ты не знаешь, сколько стоит автобус на четверых? Да за эти деньги на автомобиле сто километров проедешь... Не могу я тут сидеть,— сказала она.— Схожу в кино. Мне надо отвлечься.

А спустя несколько дней он явился с тем пакетом.

Он прихватил еще две бутылки шампанского. После первой, когда Марион была уже слегка навеселе, он достал сверток.

— Вот. Это тебе.

Предмет был завернут в белую бумагу, и разрешение развернуть она получила, только когда и вторая бутылка была наполовину опорожнена. Под белой бумагой оказался еще один пакет, на этот раз золотой, перевязанный черной шелковой ленточкой. Вверху, где ленточка была присобрана наподобие цветка, торчала роза, настоящая красная роза на длинной ножке.

— Это мне? — спросила Марион.

— Иди в спальню и разверни это там.

Когда он вошел в спальню, э т о было уже на ней.

Красные прозрачные трусики с черными кружевами и бюстгальтер того же цвета, с большим вырезом, так что видна была почти вся грудь. Выглядело это весьма двусмысленно.

Она была высокая, сильная женщина, но детей дома не было, а здесь ее крика все равно никто бы не услышал. Она смирилась, и все кончилось быстро. Потом, когда он уже храпел, она пошла на кухню, достала бутылку водки и стакан.

Подпускай к себе, только если он женится. Для того, чтобы он женился. Вот и вся мудрость, которую Марион выудила у своей матери, когда у нее в первый раз случились месячные. Этим нехитрым багажом она и должна была обходиться впредь.

Когда он навалился на нее, она спряталась далеко в глубь себя. И сидела там маленькая, съежившаяся, но укрытая своим телом как надежной стеной.

Под халатом на ней все еще было это белье.

Уже слегка осоловевшими глазами она смотрела на съехавшие трусики, на складки жира на животе.

— Даже если мужик ходит без работы, жена все равно будет трястись от страха, как бы он ее не бросил.

Она произнесла это вслух и повторила еще раз, пока добрела до спальни.

Благие намерения считаться друг с другом мало-помалу забывались. И вспоминали о них реже и реже. Все четверо перестали себя сдерживать, не сразу, правда, но шаг за шагом.

С Карстеном совсем сладу не было. Иной раз он демонстративно выходил из комнаты, как только там появлялся отец. Или терял терпение за столом, когда отец накладывал себе еду, а ему приходилось ждать: «Слушай, что ты так долго копаешься?»

Этот человек, целыми днями болтающийся по квартире, никак не соответствовал его представлениям об отце.

Однажды вечером Хайнц не пустил его во двор играть в футбол, потому что было уже поздно.

— Нечего тут командовать! — крикнул Карстен.

В следующую секунду Хайнц был уже возле сына, но Марион встала между ними.

— Сегодня ты больше не пойдешь на улицу,— сказала она.

— А чего ты его слушаешь?! Кто он тут такой?! — завопил Карстен.

Она влепила ему затрещину.

— Ты еще будешь мне указывать, кого слушать, а кого нет. Марш в постель, и чтобы я тебя до утра не видела.

Хайнц был в другой комнате. Она подошла к нему, села рядом.

— Нет, ну ты подумай.

— А, отстань,— сказал он.— Чему тут удивляться.

Рита теперь почти не выходила из своей комнаты. Она попросту отгораживалась от них, бродила, словно в тумане, в своей музыке.

А потом как-то утром Хайнц Маттек застал свою жену возле открытого холодильника. Она наливала себе водку.

Он попытался скрыть испуг.

— А мне можно?

Раньше алкоголь для нее ровным счетом ничего не значил. Конечно, когда они бывали в гостях или приглашали друзей к себе, она выпивала рюмочку-другую, но не больше. Крепкое спиртное, да к тому же с утра — прежде это было немыслимо.

Теперь же, сидя в гостиной, он все чаще слышал тихое позвякивание посуды да короткий глухой щелчок, когда она осторожно закрывала дверцу холодильника.

Однажды утром он вошел в кухню и тоже налил себе стопку.

— Твое здоровье,— с облегчением сказала она.

Они выпили по второй, достали сигареты, а после третьей и вовсе не стали убирать бутылку в холодильник, и, когда дети пришли из школы, оба уже здорово набрались и обеда не было.

— Как это так? — спросил Карстен.

— Я приготовлю вам бутерброды,— воскликнула Марион и вскочила. Но тут же передумала.— Почему бы вам не сделать это самим.— Она повернулась, прошла в спальню, разделась и бросилась на кровать. Так и проспала до следующего утра.

— Я приготовлю вам что-нибудь,— сказал Хайнц Маттек после того, как она вышла. Но Карстену уже расхотелось есть. Он внимательно посмотрел на сына: личико у него стало вдруг совсем прозрачным.

Автомобиль все еще стоял внизу. Время от времени Маттек перегонял его на другую стоянку. Иногда подолгу неподвижно сидел в машине, просто сидел и глядел прямо перед собой.

Однажды вечером, сразу после телевизионных новостей, в дверь позвонили.

— Привет, соседи. Добрый вечер, можно войти? Мы живем под вами, слева. Ну, вот видите, теперь вы меня узнали.

Жена безработного строительного подрядчика. В желтом брючном костюме, светловолосая, с высоко взбитой прической. Хайнц вынужден был уступить ей дорогу, она все равно оттеснила бы его от двери, такое у него было ощущение. Марион вышла из кухни. Дорис (гостья тем временем представилась) устремилась в гостиную.

— Надо же как у вас уютно! — воскликнула Дорис.— И пока еще вполне прилично... Спасибо, с удовольствием,— снова воскликнула она, когда Хайнц направился к шкафчику, где стояли бутылки.— Коньяк, пожалуйста, если можно. Я, наверное, веду себя неприлично?

Прошло полчаса, а они по-прежнему не могли понять, что означает этот визит. Раздался звонок. Дорис быстро допила коньяк и закурила еще одну сигарету.

— А, вот где она,— с порога закричал подрядчик.— Так просто ты от меня не отделаешься.

— И все же,— сказала Дорис,— в один прекрасный день мне еще повезет.

Подрядчик тоже предпочитал коньяк.

Он буквально измучился со своим автомобилем, это какой-то ужас. Но зато он навел блеск в своей мастерской и только потом пригласил клиента. Сейчас у него есть два предложения на крупные стройки, одна — в Южной Африке, атомная электростанция, другая во Франции. Какое из них принять, он пока не решил. Марион вдруг вспомнила, где она видела эту женщину: в универсаме. Та предлагала покупателям разные вина на выставке-продаже.

— Ну, пожалуй, нам пора,— сказал подрядчик и схватил Дорис за руку.

— Ах, я, как назло, только что закурила! — воскликнула она, показывая дымящуюся сигарету.

Хайнц еще подлил подрядчику.

— А вы что же, ничего не пьете?

— Я лучше водку,— сказал Хайнц.

— В Германии больше не на что рассчитывать,— сказал подрядчик, опять усаживаясь в кресло.— У кого есть голова на плечах, тот отправляется за границу.

— Ну и как, автомобиль теперь снова в порядке? — спросил Хайнц. Он знал, конечно, что автомобиль подрядчика давным-давно продан, что на днях у них побывал судебный исполнитель, весь дом об этом судачил.

— Да нет, пока чинят,— сказал подрядчик.— Ну, мышка, пойдем?

— Сокровище мое, здесь так уютно! — воскликнула Дорис.— Не правда ли? Вы не находите?

Хайнц нашел.

— Господи, до чего же он милый,— сказала Дорис Марион.

Хайнц сходил на кухню за новой бутылкой водки, а пустую вынес. Он налил себе. Марион искоса взглянула на него.

— Так, а теперь ваше здоровье,— сказал он.

— Вот сейчас становится по-настоящему весело! — вскричала Дорис.— По-моему, надо выпить на брудершафт. Как тебя зовут?

Дорис заботилась о настроении. Дорис из кожи вон лезла.

— Мышка, нам пора.

— Не сейчас,— протянула Дорис.— Неужели у вас нет музыки?

Вместе с Хайнцем она подошла к проигрывателю, разыскала пластинку Джеймса Ласта, и они пошли танцевать. Хайнц смеялся и посматривал на Марион. Дорис что-то шептала ему на ухо.

Подрядчик уставился прямо перед собой. Марион налила ему еще. Вдруг он встал и схватил Дорис за руку.

— Хватит.

— Ну-ну,— сказал Хайнц, отвел подрядчика к столу и втиснул в кресло.

— Дело в том, что мне сегодня еще должны позвонить.

— Ой, насмешил до смерти. Что тебе должны?

— Я бы принял предложение в Южную Африку,— сказал Хайнц.

— Где у вас туалет? — спросила Дорис.

— Здесь, в Германии, больше не на что рассчитывать,— сказал подрядчик.— Профсоюзы все изгадили. На них не напасешься.

— По-настоящему никто не работает,— сказал Хайнц Маттек.

— Именно,— согласился подрядчик. Язык у него уже заплетался.

Хайнц опять долил ему. Вернулась Дорис.

— Не был ты в моей шкуре! Попробуй заставь этих типов работать,— сказал он.— Тогда поймешь, что здесь происходит. Турки — вот кто меня всегда устраивал.

Марион пошла на кухню и обнаружила за дверью два чемодана.

— И немецкий рабочий уже не тот, что раньше,— сказал Хайнц, подмигивая Марион, которая вернулась в комнату и уже готова была задать вопрос.

— Если рассчитывать только на немецкую рабочую силу, нипочем не составишь разумной сметы.

— Я бы поехал в Южную Африку, к сборщикам бананов.

— Черномазые пока любой работе рады.

— Может, пойдем, а? — сказала Дорис.

Подрядчик встал. Он пошатывался.

— Еще по одной на прощанье. Я провожу вас вниз, мне все равно надо к машине.

— Идите вперед,— крикнула Дорис у самых дверей.— Я должна еще сказать кое-что фрау Маттек... Можно я быстро закажу такси? — сказала она.

Между тем лифт снова пошел вверх. Она быстро выволокла свои чемоданы из кухни.

— Извините меня и большое спасибо.

Пришел Хайнц.

— Сейчас я тебе все объясню. Сначала вызови полицию и скажи, что у нас скандалит пьяный. Он вот-вот появится. Держи номер. Звони.

Когда все осталось позади: крики, легкая потасовка, нашествие соседей, когда полицейские наконец-то удалились, уводя с собой беснующегося подрядчика, и они снова сидели в гостиной, Хайнц рассказал ей, что произошло.

Дорис уже сложила чемоданы и хотела смыться, когда подрядчик ее застукал. Вот она и прибежала сюда. От квартиры им отка-

зали, завтра отключили бы газ, электричество и воду. Большая часть вещей у них заложена, а им самим прямая дорога в ночлежку. Он уже два года сидел без работы — с печенью, отравленной алкоголем, и без малейшей надежды на будущее. Только долги — почти тридцать тысяч марок.

— Он избил бы ее до смерти,— сказал Хайнц.

— А с чего это ты вдруг такой трезвый?

— У меня в бутылке была вода,— объяснил он.

— Сколько, ты говоришь, он был без работы? — Она подсела к нему.— Обними меня.

— Но почему она пришла именно к нам?

Позже, в постели, она сама захотела его обнять. Чтобы инициатива исходила от нее — такого в их теперешней супружеской жизни не бывало. От изумления он смутился, застеснялся, и в конце концов в нем поднялось глухое раздражение. Так ничего и не получилось.

— Подожди, я принесу то белье,— сказала она.

— Я его выбросил.

Это ее тронуло, она крепко прижалась к нему, и сразу все стало как прежде.

Но с отпуском до сих пор не решено.

Он: Сейчас это невозможно.

Она: Пусть даже мы займем денег.

Карстен: Вот именно!

Рита: Ну пожалуйста, папочка!

Пока еще можно было отказаться от забронированного летнего домика, но срок этот все сокращался.

И до сих пор не решено, когда пригласить к себе Курта и Ингу.

— Я знаю, почему ты не хочешь,— сказала она.— Строишь из себя тяжелобольного.

— Ведь все будет как обычно,— пробурчал он.

Но не все было как обычно. Курт отрастил бороду.

— Слушай, у тебя такой солидный вид. Можно мне потрогать? Инга, расскажи, какое это ощущение? Будто целуешься со щеткой, да? Что, теперь у вас там все носят бороды? И скажи, пожалуйста, Куртхен, почему вы опять подняли нам квартирную плату.

Курт работал в бухгалтерии и, как выяснилось, не имел никакого отношения к тому, что в принадлежащем социал-демократам жилищно-строительном кооперативе снова подняли квартирную плату.

— В общем, дела у меня сейчас идут хорошо. Есть человек, который постоянно меня опекает, именно меня, и это на работе, вы только представьте себе. Чуть что — иду к господину Кремеру. Господин Кремер спрашивает: «Ну, что нас сегодня тревожит, господин Маттек?» У него двое детей, примерно того же возраста, что Карстен и Рита. У мальчика хромает английский, приходится заниматься дополнительно. У девочки трудности с математикой. Теперь, правда, дело пошло на лад. А недавно у господина Кремера полетел в машине поршень. Но, к счастью, гарантия еще не кончилась.

— Неужели мы пришли в этот дом, чтобы нас здесь оскорбляли? — сказала Инга.

Подбородок у нее дрожал.

— Думаю, мы видели их в последний раз,— сказала Марион, когда гости с шумом удалились.

— Ты можешь объяснить, зачем мы с ними общаемся? Только честно.

— Нет, не могу,— сказала Марион.

Оба невольно рассмеялись.

— Отращивает бородку, чтобы продемонстрировать свою прогрессивность, и в то же время повышает нам квартирную плату. С бородой. Без бороды просто невозможно.

А потом как-то во время ужина Марион сказала:

— Послезавтра я начинаю работать в «Карштадте» [1].

Он дождался, пока все поели и дети вышли из кухни, потом сказал:

— Моего мнения можно больше уже не спрашивать?

Она встала и начала складывать посуду в мойку. Когда они поженились, она была секретарем-стенографисткой. Теперь ей дали место на складе.

— Я сидела дома из-за детей. Сейчас они подросли, и я могу делать что хочу. Кстати, деньги нам тоже не помешают.

— Но если бы не наши теперешние обстоятельства, до этого бы не дошло,— сказал он.

— Сейчас начнется фильм.

Она вышла из кухни.

«Но если бы не наши теперешние обстоятельства, до этого бы не дошло»,— сказал он сам себе.

У него появилось кое-что на примете.

Очень вовремя.

Это поможет папочке снова оказаться в седле.

Но — тс-с! — это большой секрет. Я буду нем как могила, мой мальчик.

Вальтер из его команды, тоже «Гамбургский сокол». Случайно встретились на улице. Радостно кинулись друг к другу, столько лет не виделись. Вальтер как раз вернулся из Неаполя с монтажных работ. Да, неладно с тобой получилось. Но теперь слушай внимательно. Все к лучшему. «Скоч» или «Бурбон»[2]? (Ильза, принеси-ка лед.) Сигареты из «Дьюти-фри-шоп»[3]. Через неделю ему снова ехать, на этот раз в Хаммерфорс.

«Верю я, однажды будет чудо»[4].

Он смывал с себя мыльную пену. И пел во весь голос. Квартира была пуста, и в этом тоже было нечто новое, необычное. Наконец-то побыть одному.

Вальтер, старая лошадь. Как они тогда держались друг за друга.

Джонни, мудрая старая обезьяна.

Девушка, подсядьте-ка на минуту к старику Яблонскому, нужно кое о чем потолковать.

Каждый раз Джонни верно настраивал не только его самого, но и Марион. Внушал ей, какого на редкость талантливого мужа она подцепила, как на него рассчитывает спортивный клуб и как о нем надо заботиться. В этом смысле жены его парней тоже становились членами команды.

Однажды — ему было тогда лет пятнадцать — Хайнц увидел своего отца спящим на диване в кухне. Они были одни в квартире, близился вечер. Слабый свет, проникавший со двора, похожего на колодец, угасал. Старик дышал шумно, с трудом. Седые волосы на крупной голове уже начали редеть. Он смотрел на лицо, изборожденное глубокими морщинами, на руки, лежавшие на груди словно тяжелый, тянущий к земле инструмент. Четверть века в пароходных трюмах, скрючившись на спине или на животе, четверть века только пламя сварки и тяжко гудящая, темная сталь. В дождь и в мокрый снег. В августовскую жару. На сыром ветру с Эльбы.

Не хочу я лежать вот так же, когда придет мой срок, подумал он. До сих пор он хорошо помнит тот миг и решение, которое принял тогда: не будешь ты так лежать в конце жизни.

---

[1] «Карштадт» — система крупных универсальных магазинов. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Сорта виски.

[3] Система магазинов беспошлинной торговли (в аэропортах, на вокзалах и т. д.).

[4] Слова популярной песенки.

Скорее вырваться с Ферайнштрассе, вырваться из Аймсбюттеля, беднейшего гамбургского квартала, над которым вечно облаком стоят крик и брань. Вырваться из квартиры, которая делалась все теснее по мере того, как подрастали дети. Старшим братьям давно уже пора было покинуть родительский дом. Но один из них угнал автомобиль и попал за решетку. Из исправительного заведения в Нойенгамме он вернулся отпетым прохвостом, с длинными сальными космами и татуировкой на обеих руках; в первый же день он с ухмылкой объявил домашним, что уже во второй-то раз так легко они его не зацапают. Работы он не нашел. Старший брат работу нашел, только из-за своих куриных мозгов и хамских повадок так и не смог найти жены. Сестра была девица нахальная, веселая, вечно охотилась за мужиками, но подолгу никто ее не выдерживал. В конце концов она забеременела, а после сидела в супермаркете за кассой, толстая, злющая, языкастая, всегда в дурном расположении духа. Вечерами она в одиночестве торчала в пивнушках, но мужики на горизонте не появлялись. За ребенком ухаживала мать; девочка была тоненькая, худая до прозрачности, в шесть лет она еще мочилась в постель. Мать почти не раскрывала рта. Единственное, на что она еще надеялась, это годик-другой пожить на склоне лет для себя, когда она наконец-то останется одна.

Только бы вырваться отсюда. Ведь другие тоже как-то начинали, Хайн тен Хофф, Буби Шольц, Макс Шмелинг, Джин Танни, да мало ли кто еще. Он-то чем хуже? Они росли в таких же квартирах. Конечно же, дело было не только в спорте. Была мечта, что их заметят. Мечта о больших победах. Мечта о больших деньгах. Не о тех ничтожных пустяках, насчет которых так много рассуждал его старик — ну там повышение заработной платы, или забастовка, или стычки из-за тарифов, или протесты против атомного оружия, или работа в СДПГ.

Нечего удивляться, что спортивное общество заменило им семью, а Джонни стал чем-то вроде матери. Тренер Джонни, который гонял их до изнеможения, боксировал с ними, держал их в хорошей спортивной форме, давал правильную установку и точно знал, кто и когда выложился полностью. Но к нему можно было прийти со своими заботами, он нутром чувствовал, если у тебя неприятности, внимательно выслушивал и порой даже трепал рассказывающего по щеке. Джонни, который говорил: «Вы можете пить и курить и все такое, но только не скрывайте этого от меня». И, поскольку никому не хотелось признаваться Джонни в чем-то подобном, никто из них не пил и не курил.

Впервые в жизни получив отпуск, они с приятелем отправились на велосипедах в Гольштейн. Возле небольшого озерца они наконец-то разбили палатку, на клочке зеленого луга среди прибрежного кустарника. Кроме них здесь обосновались еще какой-то старик и семья с тремя детьми. Через два дня семейство отбыло на своем «фольксвагене».

Сперва они рыскали по окрестностям и, должно быть, изрядно галдели. Им было скучно. На старика они поначалу совсем не обращали внимания, быть может, оттого, что он мало двигался и редко разговаривал. Обычно он просто сидел, глядя на воду.

Но в один прекрасный день Хайнц вдруг как бы взглянул на него другими глазами и тотчас спросил себя, что интересного можно увидеть в воде. И тоже посмотрел в воду. И у в и д е л воду.

Почувствовал ее запах. Узнал, как она выглядит в жаркий полдень и как — вечером. Чем она пахнет по утрам, в полдень или ближе к сумеркам. Увидел лес, небо, камыши. Увидел небо на закате и перед восходом.

Они остались там до конца отпуска. Больше ничего не произошло. Они все реже разговаривали друг с другом, и впервые в жизни он совсем не испытывал страха. Только благоговение перед самим собой, перед другом, перед стариком, перед человечеством вообще.

В нем никогда не было ненависти к противникам. Кроме разве что одного. Он забыл его имя. Адольф Как-его-там. Из Пиннеберга. Маляр. Пьяница и в то же время чудо спортивной формы. Удар, как у чемпиона мира. Они снова и снова встречались на ринге. У парня была гнусная манера: боксируя, попросту избивать противника, он действовал точно вышибала в пивной, но и у Хайнца левая работала быстро и мощно, как кувалда. Как он ненавидел эту дремучую физиономию, вообще этого парня с засаленными светлыми патлами! Вот чем хорош бокс — можно выплеснуть свою злость в открытом бою. Видеть перед собой противника. Не все ведь в мире делается исподтишка.

Хотя Марион работала, в доме по-прежнему царил полный порядок. Она уходила вместе с детьми, но, когда он поднимался с постели, завтрак стоял на столе. Обед Марион готовила с вечера, им оставалось только разогреть. Она много рассказывала о работницах на складе в «Карштадте», о мастере, о шоферах. В ее обязанности входило распаковывать товар. Он не прерывал ее, но и не вникал в ее рассказы. Ну что интересного может быть в такой работе?

От Вальтера до сих пор не было вестей. Он долго боролся с собой, потом позвонил.

— Слушай, как хорошо, что ты мне напомнил. Все на мази. Не волнуйся. Можешь на меня рассчитывать.

Он был не в силах сидеть сложа руки. Надо хоть что-то делать, пусть даже пылесосить квартиру, мыть ванную, готовить еду, стирать белье. Он сгорал от нетерпения, ожидая известий, чем дальше, тем больше, и вскоре уже садился около одиннадцати с сигаретой и чашкой кофе за кухонный стол, как когда-то Марион, устраивал себе первый перерыв.

А в один из дней достал из чулана и приладил на место обещанный тепловой экран.

— Гляди-ка,— сказал Карстен.

— Практично,— сказала Рита.

Марион тоже похвалила его. И не только за экран. Она вообще как раз собиралась ему сказать, что он ведет себя великолепно, прямо образцово.

— Ну, а что вы натворили сегодня у себя в магазине? — спросил он смущенно, чтобы отвлечь ее от этой темы.

— То есть?

— Мне кажется, у вас всегда весело. Как там поживает эта ваша толстуха, сто килограммов чистого усердия... Маркварт, что ли?

— А, ты имеешь в виду Райсмюллершу,— догадалась Марион.

— Да не все ли равно...

Имена работниц, даже тех, о ком она рассказывала постоянно, до сих пор ничего ему не говорили.

Ее определили на центральный склад, в секцию, где распаковывали главным образом ткани и галантерею, здесь все это регистрировали, а после распределяли по другим складским помещениям. Вначале она помогала за разными столами, потом нашла себе постоянное место рядом с фрау Райсмюллер и Иреной. Мастер и трое грузчиков, в чьи обязанности входило вскрывать ящики и контейнеры, то есть выполнять тяжелую физическую работу, были единственными мужчинами среди без малого трех десятков женщин. Добровольно никто из мужчин к ним зайти не отваживался.

Здесь, внизу, мужчины производили смешное впечатление. В их адрес тут сыпались только колкости. И действительно, любой мужчина, забредавший сюда по ошибке (за исключением мастера и тех трех, державшихся особняком), выглядел глупо. Большинство пыталось весело отшучиваться, но женщин было слишком много, и подобные состязания всегда оканчивались для сильного пола плачевно. Иные, случалось, затевали перебранку — как правило, молодые шоферы в ко-

жаных куртках, с татуировкой на руках и на груди. Нередко дело едва не доходило до рукоприкладства.

— Нормально они себя вести не умеют. Так, что ли? — сказала Марион в один из своих первых рабочих дней.

— Мы тоже ведем себя ненормально,— сказала Ирена. Она была разведена, у нее были две дочки, примерно возраста Карстена и Риты.

— Мужикам нужно постоянно давать отмазку. Это единственное, что они понимают,— вставила Райсмюллерша.

— А может быть, это единственное, что понимаешь ты,— тихонько пробормотала Ирена, так, чтобы Райсмюллерша не услышала.

Сколько пакетов попадало к ним на стол, определял мастер. И темп он задавал бешеный. Марион не понимала, как Ирена при ее-то хрупкости выдерживает такое. У нее самой, во всяком случае после двух часов работы, руки и плечи словно наливались свинцом. А уж ноги и подавно.

— У тебя неудобная обувь,— сказала Ирена.

Как бы то ни было, работа на складе — это нечто совсем новое, вовсе не похожее на хлопоты по дому. На первых порах кажущаяся неразбериха подействовала на Марион оглушающе. Она даже подумала, что никогда не сможет здесь разобраться. Но другие работницы пришли на помощь, они оставляли ей самые простые операции, так что она имела время осмотреться. Удержится ли она на этом месте — зависело от того, насколько быстро она сумеет приспособиться. Ей казалось, что остальные работают с невероятной ловкостью и в полном молчаливом единении. Все делалось как будто сообща, одна она ничегошеньки не понимала. А иногда даже мешала. У мастера, мрачноватого пожилого мужчины, дел и так было по горло, где уж тут думать о ней. И опять же не стоит мозолить ему глаза. В конце концов Ирена сжалилась над нею и многое объяснила.

— Стресс большей частью возникает как результат приспособления к новым условиям,— сказала Ирена.— Ничего, постепенно разберешься, что к чему, войдешь в ритм и все наладится. Тогда тебе не придется так перенапрягаться.

На обратном пути, в метро, Марион нередко засыпала. Она все-таки думала, что будет иначе. Но дома держалась так, будто только что вернулась с приятной прогулки по магазинам.

Хайнц забрал себе в голову научить их наконец играть в скат. Глупо ведь: все играют, а они сидят разиня рот.

Хочешь не хочешь — торчи теперь по вечерам за картами.

— С двумя, играю три. Ноль, большой шлем, без четырех, игра сделана.

— Ты должна раскрыть карты! — кричал он.

— Ну как ты можешь играть на пиках! Вот этим, конечно, и еще раз черви. Видишь, теперь их карта бита.

Выйдя сам из игры, он бегал вокруг стола и всем подсказывал.

В конце концов он не выдержал и позвонил Вальтеру. Тот снова уехал, на этот раз в Хаммерфорс. «Он просил меня передать, чтобы вы попытали счастья в отделе кадров»,— ответила Вальтерова жена. Швырнув трубку, он подумал, что должен взять себя в руки. Любой ценой. Чтоб никто ничего не заметил.

— Ну как ты только можешь с такой картой предлагать игру на трефах? Да для чего ты здесь сидишь? У тебя же на руках ничего приличного нет. Сплошная мелочь.

Сначала Карстен взялся за дело с превеликим усердием. Но мало-помалу сник и заскучал.

— Ну карта, ну разномасть.

— Крести, все на месте.

— Короткий путь, долгая масть.

— Хайнц, я больше не могу,— сказала в конце концов Марион.—

По-моему, сегодня мы уже ничему не научимся. Да и детям пора спать. Нам нужно выспаться.

И все же вешать нос они не собирались. У них в доме сейчас и вправду царило удивительное настроение. Получив свое первое жалованье, Марион каждый день приходила домой со все более туго набитыми разноцветными пакетами.

Теперь они без конца что-то варили, жарили, парили. Вместе с детьми Марион изучала поваренные книги. Они пекли пироги по русским рецептам. Вечерами на скорую руку делались еще и блинчики с вареньем, шипел на сковородке натуральный бифштекс. Хайнц отказывался от всего этого, говорил, что нет аппетита.

— Кстати, вчера я возобновила выплаты за автомобиль,— сказала она как-то вечером.

Он притворился, будто не слышит, но на следующий день ключи от машины висели на привычном месте.

Никто не должен ничего заметить. Он взял себя в руки.

К сожалению, заявил он детям, он не мог раньше уделять им достаточно времени, но теперь все будет по-другому. И подсел к Карстену за кухонный стол.

— Не обращай на меня внимания, продолжай.

Карстен уставился на чистый лист бумаги. Помедлил, собрался с духом и написал половину предложения.

— Почему же ты не пишешь дальше?

Карстен опять помедлил, еще раз собрался с духом, быстро дописал предложение, настрочил еще одно и захлопнул тетрадь.

— Как, и это все?

— Да,— сказал Карстен.— Осталось прочитать текст по обществоведению.

— Ну-ка, дай сюда.

На другой день Карстен заявил, что им ничего не задано.

— А как у тебя дела, Рита? Уроки приготовила?

— Ах, папочка, об этом тебе незачем беспокоиться,— сказала она и чмокнула его в щеку.

— Тогда пойдем, я угощу тебя мороженым.

В кафе ей пришлось дать подробный отчет о своих успехах в школе. Предметы, по которым она успевала неважно, Рита попросту опустила. Он этого не заметил.

Посреди рассказа она вдруг покраснела. Он оглянулся. В углу сидела компания подростков.

— Ты с ними знакома?

— Чуть-чуть.

Когда он снова повернулся к ней, за спиной захихикали, а потом дружно заржали.

— Хочешь еще мороженого?

— Нет, мне надо еще кое-что прочесть к завтрашнему дню. Ты ведь не обижаешься, нет?

На другой день Карстену опять ничего не было задано. Как, впрочем, и во все последующие дни. Бросалась в глаза явная поспешность, с какой он выполнял задания по математике.

— Скажи, пожалуйста, а почему ты все время заглядываешь в другую тетрадь?

Усевшись рядом с сыном, он поставил на стол бутылку колы. И тут же ее откупорил.

У Риты больше не было желания лакомиться мороженым.

— Говорят, в кино идет потрясающий вестерн.

— Нет, ты только полюбуйся,— вскричала Марион. Она протянула ему письмо.— Учитель пишет, что вот уже неделю он не готовит домашних заданий. Скажи, пожалуйста, о чем ты только думаешь? Как такое вообще могло прийти тебе в голову? Что молчишь?

Карстен не отвечал.

— Я теперь буду делать уроки,— выдавил он наконец.

Выходя, он встретился взглядом с отцом. Тот ничего не сказал.

Ключи от машины по-прежнему висели на своем месте. Хайнц Маттек снова часами сидел перед телевизором. Марион с детьми возилась на кухне, время от времени приносила ему что-нибудь попробовать.

— Поставь на стол,— говорил он, однако к тарелке не притрагивался. А в один из вечеров, когда его позвали ужинать, он сказал: — Мне в высшей степени все равно, как называется эта гадость — «кускус» или как-то иначе. Я пошел есть обычную вареную свинину.

Несколько раз в неделю он играл в скат вместе с Гюнтером и одним его приятелем. Собирались они в пивной под названием «Астра». Обычно после этого он возвращался в два, в половине третьего ночи, и Марион всякий раз просыпалась, когда он в потемках ощупью добирался до спальни, распространяя запах табака и перегара, а потом валился на постель и тут же начинал храпеть.

Ее тело мало-помалу привыкло к работе. Во всяком случае, в метро она больше не спала. Каждый день она предвкушала встречу с другими работницами, с Ireной, с Райсмюллершей, предвкушала обеденный перерыв, разговоры, шутки. Ей по-прежнему была интересна любая из тридцати женщин, и порой ее неожиданно захлестывало теплое чувство общности с ними. Естественно, Ирена была куда трезвее ее. Она проработала здесь уже достаточно долго, знала наперечет все мелкие и не очень мелкие недостатки своих коллег, успела привыкнуть к их поговоркам и шуткам.

Анекдоты были по большей части сальные. Дома, услышав что-либо подобное от Хайнца, она всегда возмущалась. А здесь хохотала вместе со всеми, правда, не над самой шуткой. Она хохотала просто так, от избытка задора и бодрости; это просыпалось в ней, как только она выходила утром из дому, шла в метро, втискивалась в битком набитый вагон и, сдавленная со всех сторон совершенно незнакомыми людьми, ехала в город.

Мастер временно приставил к их столу одного студента, и однажды утром во время перерыва, когда они опять принялись с наслаждением нести непристойный вздор, студент, который до тех пор почти не раскрывал рта и к тому же был слишком слаб и тщедушен, чтобы стать объектом их шуток и игривых намеков, вдруг сказал:

— И все-то вы лжете. Все ваши шутки построены по одной и той же схеме: у кого из мужиков аппаратура лучше. А сами вы отлично понимаете, что дело совсем не в этом. Над чем же вы в таком случае смеетесь? Над собой? Потому что все эти шутки придумали мужчины.

— А уж у тебя-то там, должно быть, вообще ничего нет,— взвизгнула Райсмюллерша. Все так и покатились со смеху, самое время перейти к следующему анекдоту.

Он был чем-то похож на жаворонка, этот студент, не так чтобы уж очень маленький, но хрупкого сложения. «Да на нем вообще нет мяса»,— заорала Райсмюллерша, заключив его однажды в объятия. Свои длинные волосы он перехватывал на затылке резинкой. Работал он в паре с Марион, и время от времени, когда парню приходилось совсем туго, она вскрывала вместо него очередную коробку. И хотя у нее самой работы было по горло, она всегда тотчас замечала, когда ему было особенно невмоготу. Ирена работала напротив и всякий раз, когда близился завтрак или обед, втягивала его в общий разговор, и они все вместе, вчетвером, шли в столовую и усаживались за один столик.

Ирена задавала вопрос («а почему вы бунтуете?»), Райсмюллерша вставляла свои замечания («вы бы лучше поработали»), а Марион слушала («но разве вы не хотите, чтобы у ваших детей были по-настоящему образованные учителя?»). Когда он говорил, тихо, спокойно и отнюдь не робко, она глядела только на него, и время от времени Ирена

толкала ее в бок («а ты что думаешь по этому поводу?») только для того, чтобы она хоть на минутку отвела глаза в сторону. Горластая Райсмюллерша тоже была полноправным членом их сообщества. В таких случаях ее было не узнать. Куда девалась бойкая баба, у которой всегда имелось в запасе подходящее соленое словцо,— она сидела слегка растерянная и молчаливая. Иной раз Ирена обнимала студента за плечи и громко кричала, так, чтобы за соседними столиками слышали:

— Ну, так что же мы делаем сегодня вечером?

Уже с неделю как установилась настоящая летняя погода. Можно было выйти на улицу без тяжелого пальто, без куртки, с ощущением легкости и свободы. Это было прекрасно, хотя и чуточку тревожило.

В один из воскресных дней Марион предложила съездить куда-нибудь после обеда. Просто взять и сняться с места. Отправиться куда глаза глядят.

Дети пришли в восторг и начали было собираться. Но вдруг заметили, с каким видом отец наблюдает за ними.

— Ну, идем же,— сказала Марион и взяла его за руку. Он закурил сигарету, а руку отнял.

— Папочка,— воскликнула Рита, обнимая его за шею.

— Отстань.— Он отбросил ее руки.

— Нет так нет,— сказала Марион и принялась убирать посуду.

— Мы можем после сходить в кафе на углу.

— Да ладно,— сказала она.

Считалось, что только он может вести машину. Ключи до сих пор висели в прихожей.

Когда снова зарядили дожди, она поняла, что тревожилась не из-за погоды. Она постоянно заставляла его то сходить с нею в кино, то просто зайти выпить кружку пива. И тем самым вынуждала в коитo веки прилично одеться. Она сомневалась, моется ли он теперь как следует. Он стал неряшлив. Марион находила под кроватью грязные носки, кругом были разбросаны несвежие рубашки. В ресторанах он вел себя неуклюже, робел, заказ и тот не мог сделать, на обратном пути цеплялся за ее локоть, а однажды у него не оказалось при себе денег.

Но из дому она стремилась вовсе не ради него. Ей, ей самой хотелось выбраться куда угодно, лишь бы подальше от неподвижных глаз, которые словно рассматривали что-то за ее спиной. Ей хотелось увидеть людей.

Однажды вечером она скользнула к нему в постель. Желание ощутить рядом другое тело было столь велико, что каждая клеточка кожи, казалось, причиняла боль. Но обнявшая ее рука была такая тяжелая, такая неживая, что она вернулась назад в свою постель.

— Кстати, я аннулировал заказ на летний домик.

Они сидели за ужином.

— Но ты же не можешь решать один,— сказала она.

— Могу,— ответил он.

— Так ведь вопрос вовсе не в деньгах. Доход-то у нас теперь больше прежнего.

— И все-таки очень даже в деньгах.

Он продолжал спокойно есть, и они поняли, что тут уж ничего не поделаешь. Ей вдруг стало невмоготу. Она разрыдалась.

Надо же такое сделать.

Все они сволочи.

Чего ж от них ждать.

Дети пытались ее успокоить. Он вышел из кухни. Когда она наконец поднялась, тело у нее было словно налито свинцом.

— Не понимаю, зачем ему это понадобилось,— сказала Рита.

Отпускные проспекты все еще лежали на буфете.

— Я тоже не понимаю,— сказала Марион и швырнула их в помойное ведро.

На прощание студент выставил бутылку шампанского. Они пили из пластмассовых стаканчиков в помещении столовой. Все были уже в плащах, собираясь уходить.

— Ты еще вернешься? — спросила Ирена.

— А куда же я денусь,— ответил он.

— Мы сохраним для тебя местечко,— сказала Райсмюллерша.— Правда, Марион?

Марион только улыбнулась. На том они и распрощались.

Я больше не выдержу, думала она теперь временами. По субботам и воскресеньям она спала до десяти-одиннадцати часов, вставала разбитая, подолгу сидела в халате на кухне, а входя туда, первым делом хваталась за сигарету. Около половины двенадцатого она принималась за стряпню. Сама она в обед почти ничего не ела, поскольку недавно завтракала, Рита тоже, только Хайнц и Карстен что-то лениво жевали, разумеется, если Карстен вообще находил пищу съедобной. Вслед за тем дети исчезали: мальчишка запирался в своей комнате, Рита уходила из дому, должно быть, в какое-нибудь кафе, молочный бар, дискотеку. Хайнц отсылал Марион назад в постель, а сам составлял посуду в мойку, прибирался в кухне, закладывал белье в стиральную машину, потом развешивал выстиранное, снимал его с веревок, складывал и убирал. Он работал с явной неохотой, даже не пытаясь скрывать раздражение и усталость.

Как-то раз в субботу днем в дверь позвонили. Карстен отворил, и в кухню, весело размахивая ключами от автомашины, промаршировал Гюнтер.

— Доброе утро. Погодка нынче хоть куда. Добрый дядя Гюнтер приготовил вам сюрприз. Он подал вам автомобиль. Чтобы вы тоже разок выбрались на природу. Ну, что скажете?

И тут Гюнтер увидел, как одет Хайнц. Тот как раз собирался вынуть белье из стиральной машины и повязал фартук.

— Слушай, что это у тебя за вид?

В самом деле, что это у него за вид?

— Хайнц, дружище, ой, не могу! Сейчас лопну от смеха.

Хайнц Маттек оглядел себя с головы до ног и тоже расхохотался. Теперь смеялись оба Оба держались за животы. Оба весело гоготали.

А Марион стояла рядом.

И тут она завопила.

«Осточертело», «осатанело», «опротивело до омерзения», «обрыдло», «засело в печенках» — целая очередь проклятий в адрес мужской половины человечества; при этом она выставила Гюнтера за дверь.

Затем, выпалив разом еще одну обойму: «олух», «кретин», «идиот», «простофиля», «тряпка», «бревно», «мерзавец», «босяк», «шпана», «мразь», «слюнтяй», «голодранец» — на этот раз по адресу супруга, она сорвала с него передник.

И наконец, объявив, будто всю работу по дому он делает только ради того, чтобы лишний раз ее попрекнуть, что все его действия — это один сплошной попрек и пусть он только попробует расправиться с ней, если, конечно, посмеет, она швырнула ему вслед Гюнтеровы ключи.

Уже на кухне, задыхаясь от нехватки воздуха точно так же, как и от нехватки подходящих слов, она огляделась и, заметив ни в чем не повинную миску с розовым пудингом, не раздумывая, запустила ею в стенку. Потом принесла ведро с водой и половую тряпку и, стоя на коленях, долго мыла пол, мешая слезы с водой.

При этом она отлично слышала, как хлопнула входная дверь.

Всхлипывая, шмыгая носом и протирая пол, она подумала: все равно он никуда не денется. И была права. Он действительно скоро вернулся и даже выглядел несколько смущенным.

Она была худущим долговязым существом, когда выходила за него замуж.

Долговязая, худущая, и лицо все еще слегка угреватое, а все-таки к тому времени у нее было уже три поклонника.

Один из них учился на почтового инспектора, ее мать находила его сногсшибательным. Отец стоял за Хайнца. Сама она была ни за того, ни за другого; была ли она за третьего, Кудделя, тоже было не очень ясно. Куддель работал электриком и по вечерам готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Уже слегка располневший, он был ей чуть ли не по плечо, но зато умел танцевать рок-н-ролл с перекидкой. Она считала его «невозможным человеком».

Так прямо и сообщала каждому, у кого была охота это слушать. По ее словам, можно со смеху помереть с этим Кудделем — он просто невозможен. С ним нигде нельзя появиться. Какой смысл она вкладывала в эти слова, сказать трудно, поскольку сама частенько появлялась с Кудделем в окрестных ресторанчиках, вернее, она появлялась там так часто, как только могла, точнее же, как мог Куддель. Ему не нужно было долго ее упрашивать. Двум другим поклонникам это давалось куда тяжелее.

Куддель ходил слушать лекции по истории Ганзейского союза. Родители его умерли, и жил он у сестры. После получения аттестата зрелости он собирался поступать на юридический факультет. До экзаменов оставался еще год.

Ей становилось чуточку не по себе, когда она думала о том, сколько разных наук он изучает в школе, а потом еще будет учиться в университете. Но так было лишь в мыслях. В действительности же он отнюдь не внушал ей трепета, она поддразнивала его, подшучивала над ним, а стоило ему произнести что-нибудь, начинала хохотать. Ибо у Кудделя был дар подражания. Поразительно, кого он только не изображал — при его-то круглом лице, всклокоченных волосах и маленьких смеющихся глазках. То вдруг принимался есть суп точь-в-точь как сидящий напротив господин со шрамом, то отщипывал малюсенькие кусочки торта, в точности как пожилая дама за соседним столиком. В его присутствии Марион приходилось постоянно сдерживать смех, а иной раз она внезапно фыркала или громко, по-детски хохотала. Все это было невозможно.

Иногда она звала его Куртхен, хотя он был на пять лет старше. К тому же Куртхен умел печь пироги. Собственно говоря, ему бы следовало стать кондитером. Тогда он перестал бы носиться со своими экзаменами на аттестат зрелости. Иногда он приглашал ее к себе домой. Сестра его тоже была далеко не грустного нрава, да и муж ее понимал толк в жизни, так что вечера эти всегда оказывались очень милыми, с непременным глоточком ликера и кофе, с игрой в скат и спортивными новостями по телевизору. Пироги и торты у Кудделя были отменные, а высшим его достижением считался ореховый торт с марципаном.

Вот это номер, ну нет, Куддель совершенно невозможен, постоянно твердила она подругам, нет-нет, ничего серьезного, абсолютно ничего, но при этом начинала улыбаться от одних только воспоминаний.

— Послушай, да ты ведь втрескалась в него по уши,— в конце концов сказала ей одна из подруг.

— Что? Это я втрескалась? Ну уж нет, и вот уж не в него.— Она никак не могла успокоиться.

Теперь мать стирала ей белье, гладила юбки, чистила обувь, а перед каждым свиданием заставляла дочь хотя бы на полчаса прилечь.

— Сон сохраняет красоту,— говорила она.

Марион училась на секретаря-стенографистку. Ей исполнилось девятнадцать, учение подходило к концу, да и в самом деле, не могла же она вечно спать на кушетке в гостиной. Возвращаясь домой, она находила на столе бумажки, на которых мать старательно записывала, кто из поклонников звонил. Отец ее работал шофером в одной солидной фирме.

— Пусть делает что хочет,— говорил он время от времени своей жене,— она ведь у нас единственная дочь.

У нее никогда не было брата, но ей казалось, что у них с Кудделем все было как у брата с сестрой. Танцевал он фантастически, правда обливаясь потом, но зато с диким азартом, заражавшим окружающих. Впрочем, она с удовольствием танцевала и в обнимку, и, когда замечала, что с ним в эти минуты что-то происходит, ей было совсем не противно, не как с другими парнями. Она и не думала отстраняться от него, но продолжала прижиматься в точности как и раньше, только время от времени хихикала и легонько дула ему за воротник, туда, где — она это знала — ему всегда было щекотно. Он ни разу не пытался залезть к ней под юбку.

У него была совсем особенная привычка сидеть в кино полулежа, склонив голову ей на плечо. Время от времени, когда смотреть было скучно, она наклонялась к нему и они шептались, то и дело целуясь. Это было совсем не то, что с другими парнями, там она чувствовала, как в рот лезет чужой язык и лязгают друг о друга зубы. «Поцелуй братика» — так называла она свою манеру целоваться с Кудделем, и ей ни разу не пришло в голову, что Куддель, быть может, попросту застенчив.

Ее матери Куддель не нравился. Не пара он тебе. В голове ветер. Бродяга. Мать методично записывала телефонные звонки двух других ее поклонников, клала записки с их именами на видное место и неукоснительно требовала соблюдения приличий, то есть хотя бы ответных звонков с ее стороны. Фактически же она вынуждала дочь встречаться и с ними тоже.

Никто об этом не говорил, но, когда Марион закончила учебу, кончилось и кое-что еще. Если, вернувшись с работы, она находила на стуле свою юбку в складку или какую-нибудь из пышных нижних юбок, это означало только одно: в этот вечер очередь была либо за будущим инспектором, либо за тем, вторым. Но раз что-то заканчивалось, то, значит, должно было начаться что-то другое. Только что? В любом случае дольше оставаться на кушетке в гостиной она не могла.

А потом наступило то воскресенье. Они с Кудделем отправились загорать на Эльбу. Улеглись на одеяле, которое он принес с собой, и разговаривали друг с другом так, будто каждый лежал в своей постели. Как перед сном. После она не могла припомнить, сказала ли в тот день что-нибудь особенное.

Вдруг она выпрямилась. Взглянула на него сверху вниз.

— Да ты не в своем уме,— сказала она.

Небо вдруг потемнело.

— Чего ты, собственно, от меня хочешь?

И все кончилось.

Что он ей ответил, она уже не слышала. Они отвернулись друг от друга. Стало прохладно, они оделись.

— Пойдем все-таки поедим,— сказал он.

В ресторанчике она снова повеселела. После того как у них приняли заказ, она взяла сумочку и пошла в туалет. Их столик был неподалеку от лестницы, которая вела к туалетным комнатам, и Куддель вдруг услышал ее крик. Он бросился по лестнице вниз. Она колотила изнутри кулаками по двери и кричала:

— Отоприте! Отоприте!

Сбежался народ, один из кельнеров помчался за инструментом. Куддель подтянулся на двери, перелез через переборку и спрыгнул вниз. Она видела, как он устремился к ней сверху, но уже не сознавала, что это он. Она кричала.

Он открыл дверь и вытащил ее оттуда. С таким же успехом она могла сделать это сама. Дверь не была заперта.

Один из кельнеров заказал такси, Куддель расплатился, усадил ее в машину. Она все еще плакала. Плакала всю дорогу, но уже с облег-

чением. И, плача, гладила его по лицу. Он должен простить ее, он не может сердиться, пусть он пообещает, что простит ее. В тот же вечер она написала ему прощальное письмо.

Будущего почтового инспектора она отшила на следующий день, с Хайнцем же они быстро нашли общий язык.

У нее будто гора свалилась с плеч. Она сияла. Было совершенно ясно, чего хотел этот молчаливый парень: ему надоело скитаться по чужим углам, он хотел вырваться оттуда. И так же ясно было, чего хотела она — избавиться от кушетки в гостиной, вырваться из этой стандартной двухкомнатной квартиры. Они были гармоничной парой.

Они были красивой парой. Он выше ее ровно настолько, насколько надо, мускулистый парень, всегда тщательно и скромно одетый, никакого сравнения с Кудделем — тот вечно потел, и время от времени приходилось подбирать ему галстуки.

— Дело ваше,— сказала мать.— По крайней мере наконец-то определенность в отношениях.

У нее были и другие основания быть довольной. Дочку по вечерам пунктуально препровождали домой. Будущий зять вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, рано ложился спать. Порой это даже вселяло в нее недоверие и раздражительность. Против него нельзя было абсолютно ничего возразить. Дочь, правда, слегка огорчалась из-за столь нетерпимого отношения к алкоголю. Он мог бы спокойно выпить разок что-нибудь. Выйти из своей скорлупы, как говорится.

В конце концов он признался, что занимается боксом у «Гамбургских соколов». К его глубочайшему разочарованию, это не произвело на нее мало-мальски заметного впечатления. Он пригласил ее вместе с подругой Лорой на соревнования.

Поначалу она находила все это разве что забавным. Как двое парней расселись там, наверху, по своим углам и как их со всех сторон обхаживали. Как лысый пузатый мужчина подозвал их к себе, о чем-то пошептался с ними в центре ринга, как потом оба молодцевато поклонились сидящим в зале (сначала в одну, потом в другую сторону), как затем ударил гонг и они бросились друг на друга, как потрясали затянутыми в перчатки кулаками, а потом — бац! — смазали друг друга по физиономии.

Но уже чуть позже, когда зал взревел и до нее донеслось тяжелое дыхание, топот ног и дробь первых падений, желание смеяться исчезло. Лоре пришлось удерживать ее, это же абсурд, это безумие, твердила она. Марион бы тут же выбежала прочь, если б не его выступление.

Это был один из лучших его боев. Он показал, на что способен, он был в блестящей спортивной форме. У противника шансов не было никаких, и Хайнц покончил с ним уже в начале второго раунда.

Позже все собрались в «Уголке спортсменов» за стаканами с яблочным соком, парни снова переоделись в выходные костюмы и производили впечатление людей милых и безобидных, а ведь совсем недавно — так по крайней мере казалось ей — избивали друг друга до полусмерти. Страх еще сидел в ней. Все это было нелепо и ужасно по-детски, от этого она его со временем отучит, но что ее по-настоящему испугало, это жестокость, которая вдруг вырвалась на поверхность, особенно у него. Она то и дело невольно косилась на Хайнца.

Что ж, думала она, теперь понятно, почему он не предпринял ни одной серьезной попытки переспать с ней. Видимо, по каким-то туманным для нее соображениям, это считалось нездоровым, расслабляющим. Но она отучит его от этого бокса.

А потом была свадьба. А потом они остались наедине.

А вечером появилась эта рука.

Выключив свет и лежа в постели, они еще продолжали начатый разговор, и вот тут-то появилась рука. Рука ощупывала ее. Рука не

хотела ничего говорить. Рука хотела что-то выведать. Она не была слишком назойливой, скорее холодной и любопытной.

Марион лежала не шевелясь. Внушала себе, что рука е г о, а вовсе не чья-то чужая, лишенная тела, отрубленная, но живая, которая ползла на пальцах все дальше, проскальзывала под одеяло, под ее ночную рубашку, с холодным любопытством кралась по ее телу.

Еще секунда, и она бы закричала, но удержалась и в последний момент судорожно выдавила: «Иди ко мне». Что за этим последовало, было больно, это было нечто, в чем она сама, пожалуй, совершенно не участвовала. И все же сильное мускулистое тело мужа было явью, как и мимолетное ощущение, будто ее пронзили насквозь. Когда он заскрежетал зубами, она тоже откинула голову вбок.

Скоро она поняла, что беременна.

Во время беременности она отталкивала тянущуюся руку.

Сдав экзамены на стенографистку, она осталась на том же предприятии. Но когда она была на третьем месяце, Хайнц настоял, чтобы она бросила работу. По утрам, съев приготовленный ею завтрак, он уходил на работу, а она теперь подолгу, уставясь в одну точку, сидела на кухне, куда с заднего двора, похожего на колодец, с трудом проникал серый утренний свет.

Сразу после свадьбы они стали вести себя по образу и подобию своих родителей. Он: отпереть своим ключом входную дверь, оставить на вешалке куртку и шапку, снять ботинки, вымыть руки, потом пройти с сумкой на кухню и громко сказать «добрый вечер», затем проглядеть почту, уже приготовленную для него на столе, схватить газету, подвинуть к столу стул и наконец-то углубиться в газету как следует.

Она: все время в хлопотах, ужин сейчас будет готов, на ней свежая блузка. Короткие вопросы, обращенные к нему, но только такие, на которые можно ответить «да» или «нет». Потом накрыть стол, но не слишком быстро, так, чтобы он успел просмотреть наиболее важные новости, прежде чем она скажет: ну, а теперь отложи-ка газету, еда на столе. Пищи для разговоров было пока в избытке. Им досталась страшно запущенная квартира в старом доме, на первом этаже, с печным отоплением, работы здесь хватит еще на долгие месяцы. Кроме того, надо было обсудить очередные покупки, взносы за кредит и возможности получить скидку.

Будто одеялом, укрылись они этими накатанными стереотипами поведения, мышления и речи. А она еще постаралась натянуть на себя это одеяло с головой, укрыться так, чтобы не оставалось ни малейшего просвета.

Он говорил мало, как правило коротко, всегда с оттенком превосходства, без тени юмора, в лучшем случае насмешливо улыбаясь, а то и вовсе резко и язвительно. Она заметила, что он очень раним. Не подпускает близко к себе. Этот человек был чужим не только для нее, он был чужим и для самого себя.

У нее развилась обычная в таких случаях маниакальная страсть к чистоте и порядку. Одна-единственная пылинка уже действовала ей на нервы. В конце концов хоть чем-то она должна оправдывать свое существование. Дрессировку по поводу чистоты он сносил безропотно. Ему это даже льстило. Все шло как надо.

А потом внутри у нее что-то стало расти. Живот округлился. Теперь она уже стеснялась появляться на улице. Ему приходилось самому покупать все необходимое. Случалось, она неделями не выходила из квартиры. Самочувствие было скверное, ее тошнило, она с отвращением глотала еду, но то, что пряталось внутри, сидело в ней прочно, росло, непрерывно увеличиваясь в размерах. Она чувствовала, как сама все больше и больше отступает на второй план, становится лишь сосудом, оболочкой для этого чего-то. Чувствовала, как существо, живущее у нее внутри, постепенно завладевает ею.

Хотя она могла в любой момент выйти на улицу, ей постоянно казалось, будто она заперта в четырех стенах. У нее даже возникло подозрение, что она сходит с ума. И тем не менее она бы не поверила, если бы ей сказали, что она точно описывает наиболее характерные признаки своего состояния.

Нередко она часами сидела на одном месте, тупо уставясь в одну точку.

— Хайнц,— спрашивала она время от времени,— ты уже здесь?

А потом пришел день, когда она ринулась вон из квартиры.

О том, что за этим последовало, у нее сохранились лишь самые смутные воспоминания, сплошная неразбериха и путаница, опомнилась она только в такси, которое везло ее домой, к матери.

— Что случилось? — спросила мать.— Перестань реветь и скажи, что случилось. Тебе нужно выговориться... Все точно, так всегда и бывает, когда ждешь ребенка.

Наконец она резко схватила ее за руку.

— Ну вот что, с меня довольно. Ты снова отправишься туда, откуда сбежала и где твое настоящее место. К своему мужу.

Она вызвала такси и отвезла ее обратно. Хорошо, хоть позвонила Хайнцу на работу и до его прихода оставалась у дочери.

В последний месяц ее беременности он взял очередной отпуск, потом добавил к нему еще один, за свой счет. Он ходил в магазин, убирал квартиру, помогал готовить еду.

Но дело было даже не в его помощи. Главное — он был рядом и не уходил в другую комнату, а если и уходил, то так, что оставался у нее на глазах. Постепенно она успокоилась. Он не задавал никаких вопросов, и это связывало их гораздо сильнее любых жестов и слов.

Он изменился. Беззащитность Марион вызывала в нем особенную нежность, ему хотелось прикоснуться к ней, приласкать — просто так, без всякой задней мысли. Молча, с помощью им одним понятных знаков. Теперь он и ей позволял дотрагиваться до себя. Как бы в награду, в благодарность, которую он заслужил и от которой не вправе отказываться. Однажды вечером, когда оба сидели на тахте перед телевизором, она обняла его и положила его голову к себе на колени. Теперь по вечерам она частенько забиралась к нему в постель. Поворачивалась к Хайнцу спиной, он прижимался к ней, обнимал рукой ее живот, и так они засыпали. Она впала в состояние ленивой мечтательности, ей хотелось, чтобы так было всегда.

Роды походили на пробуждение, болезненное пробуждение, сопровождаемое пронзительным криком. На третий день она разразилась слезами. Медсестра объяснила, что это связано с гормональной перестройкой организма и поэтому вполне естественно, но она продолжала плакать целыми днями.

Из больницы ее забирали торжественно: муж, отец, свекор, мать. Были цветы и дома шампанское. Ребенка несла ее мать. Она же в первый раз выкупала его, в первый раз сменила пеленки, в первый раз дала соску. А потом наконец-то все разошлись, Хайнц отправился на работу, и она осталась один на один с этим маленьким кусочком мяса, посапывавшим среди подушек. Она сидела и не могла шевельнуться. Давно пора было развернуть ребенка, перепеленать, покормить. Но она не решалась к нему прикоснуться. Ей казалось, что она непременно его уронит. Лишь когда младенец проснулся и зашелся от истошного плача, она заставила себя взять его на руки.

Разумеется, со временем она стала такой же примерной матерью, как и домохозяйкой. К тому же теперь она кое-что значила и сама по себе. Она ощущала это дома, в магазинах, на улице. Она уже не иждивенка, она расплатилась за все сполна, расплачивалась изо дня в день. И в сравнении с Хайнцем она тоже кое-что значила. В доме распоряжалась теперь только она и больше никто. В то время она

сильно прибавила в весе и за год превратилась в крупную пышную женщину с открытым и уверенным выражением лица.

Хайнц прямо с ума сходил по младенцу и гордился буквально до смешного. Не отец, а прямо любовник: он домогался внимания малышки, ревновал, обижался, таял от восторга, если ребенок соизволял принять его поклонение, надолго погружался в мрачное раздумье, когда тщеславный и непостоянный младенец отдавал предпочтение другим. В нем вдруг открылся совсем иной человек, жаждущий заботы и любви не меньше, чем ребенок. Подчас это выглядело весьма по-детски, но за всем этим угадывалась такая естественная человеческая потребность, что Марион остерегалась иронизировать по этому поводу. Ведь тем самым лишний раз подтверждалось и ее материнское достоинство. В результате кое-что перепадало ей и как женщине. Бесконечные разговоры о Рите, о ее болезнях, о ее первых успехах и трудностях, прежде всего, конечно, о ее полнейшей исключительности и совершенно потрясающем очаровании, продолжались и в постели, и нередко именно после подобных разговоров он приходил к ней (больше он уже не посылал вперед себя руку). Ей тоже перепадало от той нежности и бережной заботливости, что он в избытке припас для Риты. Мало-помалу эти «детские разговоры» обернулись своего рода прелюдией, которая создавала определенное настроение и облегчала ему приход к ней. Физическая близость как таковая постепенно перестала пугать ее, она даже начала испытывать смутное удовольствие, да-да, и порой, когда они лежали рядом, ловила себя на мысли, что ждет его.

Однако она была весьма далека от того, чтобы придавать сексуальным проблемам какое-то исключительное значение. Существовали куда более важные вещи: у него была работа, его там уважали, он прилично зарабатывал, квартира у них содержалась в полном порядке, и они были в состоянии регулярно выплачивать рассрочку. Вот то главное, что она ценила в муже, а весь этот секс — в конце концов сугубо мужская забота. Хотя и здесь все могло бы измениться, прояви он чуть больше терпения и настойчивости.

И еще одно: она не имела права говорить «нет». В постели она должна быть всегда к его услугам точно так же, как обед всегда должен к его приходу стоять на столе. Поскольку он не разрешил ей вернуться на работу (Рите необходим хороший уход), это тоже вошло в круг домашних обязанностей, да в сущности их было не так уж и много. И вообще, разве она не была прекрасно устроена? По мере того как Рита становилась старше и хлопот оставалось все меньше, Марион все чаще и отчетливее сознавала, что Хайнц содержит ее как некую роскошь, которую вполне может себе позволить.

Ибо он гордился, что его жена не работала. Он раздался в плечах, стал массивнее. Усердие и педантичность Курта он воспринимал с юмором: дескать, какая ерунда, я лично выше этого; хвастовство Гюнтера вызывало у него сдержанную насмешку, к Инге он относился галантно и в то же время по-товарищески, к своей жене — дружески, но не без твердости. Мужчина, уверенный в своих силах и в себе самом, из тех, что с удовольствием прогуливаются по воскресеньям после обеда в обществе собственной жены и ребенка.

Он любил ходить в гости с женой. И Марион замечала, что он гордится ею. Иногда, сидя за столом и разговаривая с другими, он невзначай клал руку ей на плечо. При этом она чувствовала только одно: рука была тяжелой. Ей все завидовали. Если бы она задалась целью извлечь выгоду из этой ситуации, она могла бы поздравить себя с успехом. Но она думала лишь о том, что у нее чересчур много свободного времени, и, когда по вечерам радостно встречала его, разговор их невольно приобретал оттенок соревнования: что сделал сегодня он, что сделала сегодня она. На фоне этих ложных отношений любое проявление чувства к нему мало-помалу превратилось в эта-

кую ответную услугу. Время от времени, переодеваясь вечером к его приходу, она ловила себя на мысли, что во всем этом есть что-то непристойное, продажное.

Чувство вины, как плесень, разъедало любую мысль, касавшуюся непосредственно ее самой. Красиво одеваться, тратить на себя деньги — все чаще она находила этому одно-единственное объяснение: ему так хочется видеть свою жену хорошо одетой. Когда они шли куда-нибудь с Куртом, Ингой и Гюнтером, она делалась еще более молчаливой, в точности как Инга, которая теперь говорила, только если к ней обращались. И когда Хайнц обнимал ее за плечи, она продолжала сидеть, потупив взгляд, со скромной, глуповатой улыбкой на лице.

Когда Рите исполнилось четыре года, они впервые отправились в отпуск. Купили в туристском агентстве «Неккерман» путевку в Малагу — три недели с полным пансионом. Всю первую неделю они, как по обязанности, сновали туда-сюда между пляжем, отелем и баром, наживали солнечные ожоги, залечивали их, становились, как и положено, день ото дня все смуглее и точно так же, как и супруги из соседнего номера, с чьими детьми подружилась Рита, были убеждены, что отпуск начался изумительно.

Но однажды утром — пора было спускаться к завтраку, и Рита давно убежала к своим новым друзьям — они остались в постели. Нечто вроде попытки встать они все же предприняли: слегка оторвали головы от подушек, с трудом разлепили опухшие веки, опять эта проклятая жарища, и тут со словами «а пошли вы все» Хайнц улегся снова. Когда соседи прокричали из-за стены: «Мы пошли, Рита с нами», они уже опять заснули.

Проснулись они около одиннадцати. В щель между портьерами светило раскаленное солнце. В комнате, однако, царил зеленоватый сумрак.

— На завтрак мы все равно опоздали,— сказала Марион.

— Ты что, хочешь есть?

— Не-ет,— ответила она.

Смеясь, они повернулись лицом друг к другу. И взглянули друг другу в глаза.

— Приготовить кофе? — сказала она, смутившись.

— Лежи, я сам,— ответил он, достал из-под кровати маленький чемодан и направился в ванную с котелком для воды, кипятильником и чашками.

Они взяли с собой уйму разного снаряжения (ведь, что ни говори, в Испанию едем), будто собрались по крайней мере в Африку, на сафари. Каково же было их удивление, когда прямо из аэропорта автобус марки «мерседес» доставил их к двенадцатиэтажному отелю из стекла и бетона, который внутри выглядел в точности как на рекламных проспектах.

— Да здесь все как по расписанию,— сказала она в первый день слегка разочарованно.

Держа в руках наполненный котелок, кипятильник и две вымытые чашки, он вышел из ванной, и тут она тихо засмеялась. Сидела в постели, зажав под мышками полотенце, и смеялась. Он остановился. В одной руке он держал котелок и кипятильник, в другой чашки и тут вдруг сообразил, что совершенно раздет. Глянул вниз.

— Это все от переизбытка жидкости,— сказал он решительно.

— От переизбытка чего?

— Это когда утром нужно кое-куда,— сказал он и двинулся дальше: поставил котелок на тарелку, стоявшую на комоде, включил в сеть кипятильник и, наконец, повернулся к ней спиной.

Потом торопливо скрылся в ванной и притворил за собой дверь. Вышел он, однако, без купального халата, все еще голый. И скользнул под простыню.

— Теперь этого нет,— сказал он.

— Переизбытка жидкости,— уточнила она.

Оба едва сдерживали смех, сами не зная почему. Когда вода закипела, он заварил растворимый кофе, положил на постель пачку Ритиного печенья и подал Марион чашку, ей оставалось только повернуться к нему и протянуть руку. Так она и сделала, а взгляд ее между тем скользнул по нему, она оперлась на другую руку, и полотенце тут же съехало у нее с груди.

Они не только были наедине, они вдруг отчетливо осознали свою наготу.

Самым холодным помещением в их доме была спальня. У кого дома печное отопление, тот легко утешается мыслью, что спать в прохладе полезно. Но здесь вся ее коллекция уютных фланелевых пижам так и осталась лежать на дне чемодана. Здесь и простыня была не нужна.

— Принеси мне расческу,— сказала она.

Он вышел, зная, что она провожает его взглядом.

Она причесывалась. Счесывала всю свою «химию». Груди ее при этом колыхались вверх и вниз маленькими встречными толчками. Она расчесала волосы так, что они легли на плечи.

— Поди-ка сюда,— позвала она.

Она причесала и его. Перед глазами у нее были его волосы, время от времени она поворачивала его к себе лицом и заглядывала ему в глаза. С длинными волосами она выглядела совсем по-другому. Иногда они касались друг друга. Кончики ее грудей стали твердыми.

— Пойду побреюсь,— сказал он.

— Ну сколько можно,— крикнула она.— Иди же наконец!

Но потом сама пришла в ванную и слегка отодвинула его бедром в сторону от умывальника.

— Дай мне местечко, я тоже хочу почистить зубы.

Он принял душ. С таким же успехом можно было вытереться полотенцем в ванной, но он прошел в комнату, где она убирала чашки, кипятильник, пачку печенья. И она, приняв душ, тоже могла бы обсушиться в ванной, но точно так же вернулась в комнату, где он как раз закурил первую сигарету и теперь осторожно выглядывал через щель между портьерами наружу, в жарищу, рассматривая двенадцатиэтажный отель напротив. Стоя рядом с ним, она обтерлась полотенцем со всей тщательностью — грудь, руки, бедра.

Они словно заново учились ходить обнаженными под взглядами друг друга. И изобретали для этого всевозможные предлоги, вроде уборки комнаты или постели. В открытую балконную дверь врывался сухой горячий ветер. Их пуританские сомнения, можно ли считать красивым обнаженное человеческое тело, улетучились. Когда они, наконец, спустились вниз, оба были в легком изнеможении, как будто долго любили друг друга.

Соседи с малышами были благословением небес.

— Не беспокойтесь,— говорила женщина.— С тех пор как появилась Рита, наши не дерутся. А это блаженство, скажу я вам.

У нее был бойкий взгляд, который схватывал все на лету.

К завтраку они теперь не спускались. Уже чуть ли не перед самым обедом они покидали зеленые сумерки своей комнаты, поспешно пересекали раскаленную бетонную площадку гостиничного комплекса и погружались в отдающую затхлостью прохладу старого города. На пляж они приходили теперь, когда жара начинала спадать и первые пары устало тащились назад в отель. От солнца кожа у них стала сухой и шелковистой, и теперь, когда они появлялись на пляже, Рита с восторгом кидалась на них не только от радости встречи. Пока девчушка кувыркалась на Хайнце, а он слегка щекотал ее, отталкивая и в то же время крепко прижимая, пока он ощущал на себе ее маленькое тельце, а иногда и плотное тело Марион, которую Рита

звала на помощь, пока они с визгом катались все вместе по песку, он спрашивал себя: интересно, а что чувствует ребенок, так вот зарывшись в их теплые тела.

Может быть, ощущение это сравнимо с тем, какое он испытал, купаясь нагишом? Марион испробовала это первая. Пляж уже почти опустел. Плавая, она вдруг издала короткие, ликующие крики и вытащила из воды какой-то предмет, как ему показалось — какую-то непонятную находку. А когда он встал и прошлепал по воде к ней поближе, на отмель упал черный комочек — ее купальный костюм.

Она барахталась, кричала, плавала вокруг него маленькими кругами. Он сходил за купальным полотенцем, вытащил ее из воды. Она купалась слишком долго. Ее бил озноб; он отвел ее на пляж и растер досуха, от холода у нее зуб на зуб не попадал.

Одна картина того лета навсегда осталась у него в памяти: легкая волна бежит по воде, подкатывается все ближе, растет, образуя гребень, гребень выгибается, еще секунда — и волна с шумом и брызгами разобьется о берег; вот в этот-то краткий миг он замечает на самой верхушке гребня скользнувшую в светло-зеленой пронизанной солнцем воде серебряную рыбку.

Вечерами они обычно отправлялись куда-нибудь вместе с соседями. Тогда Риту укладывали спать с их детьми, а вернувшись, переносили к себе. У него еще сохранилась привычка, разговаривая с другими, обнимать Марион за плечи. Она взяла с собой много разных тряпок, но каждый раз, когда они вечером сидели в полумраке бара, где все ткани приобретали зеленоватый оттенок, на ней было одно и то же платье, с большим вырезом на спине. Его рука покоилась на ее обнаженном плече, ее рука — у него на колене.

Когда пришло время укладываться, у всех стоял комок в горле. Они завидовали Рите, она-то хоть могла реветь вдоволь. А потом, как во сне, Марион уныло оглядывала свою квартиру. Рита опять расплакалась, и на миг они совсем растерялись.

Надо было взять себя в руки. То есть поставить на плиту воду, распаковать чемоданы, просмотреть почту. Это и был тот самый толчок, который все вернул на привычные рельсы. Им хотелось поскорее проявить диапозитивы. Они продемонстрировали их Курту, Инге и Гюнтеру, а иной раз по вечерам смотрели их и вдвоем и видели Риту, себя самих на пляже, в отеле, в автобусе, на мулах и снова на пляже. Но им-то хотелось увидеть совсем другое, а это другое уходило все дальше и дальше, и в конце концов у них просто остались слайды, которые есть почти у всех,— у одних с видами Бадена или Балтийского моря, у других с купанием в бассейне или на Плонском озере.

Они надеялись на следующий отпуск, но так, как в тот единственный, первый, больше никогда не было. Когда Рите исполнилось шесть лет, Марион снова забеременела. Она забыла принять противозачаточную таблетку. По крайней мере так она это объяснила и, к полнейшему изумлению Хайнца, сохранила беременность. Но и тут все было по-другому. Видимо, в точности ничто никогда не повторяется. Как все сложилось у них потом, так и осталось. Семь однообразных, похожих друг на друга лет, различаемых разве что по возрасту детей.

До того момента, как он потерял работу.

— Это бесполезно,— сказала девушка.

— Но я хочу сам поговорить в отделе кадров,— сказал он.

— Это бесполезно, поверьте мне.

Хайнц Маттек снова искал работу. Но теперь все обстояло чуть иначе, чем в прошлый раз: он сидел на кухне не с бутылкой водки, а с чашкой кофе.

Оглядывая посудомойку, стиральную машину и холодильник, он размышлял о том, почему, собственно, для их брата это считается роскошью. С пятнадцати лет пошел он в обучение на производство, и вот перед ним все, с чем он остался после долгих лет труда. Да и этого в любую минуту судебный исполнитель может лишить его.

Дурацкие, подержанные машины — и тем не менее они так гордились ими, ведь приобретение их потребовало стольких усилий. На заводе он имел дело со станками, которые оценивались в сотни тысяч марок. Но неужели весь его труд стоил не больше той суммы, которой только и хватало на мало-мальски приличную жизнь для него, Марион и детей?

Ей было, наверное, лет двадцать пять, этой девице из приемной с кукольным личиком, и она уже вправе не пропустить его.

«Мы не нанимаем токарей. Мы сейчас вообще никого не нанимаем. Это бесполезно».

Он не двинулся с места; тогда она взялась за телефонную трубку.

И Хайнц Маттек ушел. Одно движение этой руки, и он ушел.

В самом деле, разве он умирал с голоду? Работа... день за днем грохот и пыль, день за днем из тебя выжимают все соки, так что на обратном пути, когда ждешь перед светофором зеленого сигнала, глаза закрываются сами собой — неужто без этого нельзя прожить и что тут хорошего?

И лишь когда он шел из приемной к заводским воротам — человек, которому не просто указали на дверь, но буквально вышвырнули вон,— ему открылась простая истина: иметь работу — это значит иметь еще и право входа куда-нибудь. И если у него не было права на труд, то, значит, не было и права заботиться о себе, быть ответственным за себя, быть самим собой, быть человеком.

И пока у него не было права отвечать за себя, ответственность за него несли другие, а точнее — никто.

Ему вспомнилось: когда Марион сообщила, что начинает работать в «Карштадте»,— ей просто невмоготу, подчиняясь его требованиям, сидеть дома,— он сказал:

«Но если бы не наши теперешние обстоятельства, до этого бы не дошло».

В действительности же «до этого все равно бы дошло». Ведь если бы рядом не было этой женщины, которая с точностью до минуты ставила перед ним на стол завтрак и ужин, приготовляла ему чистое белье, заботливо убирала в холодильник пиво и вставала с места, чтобы по его желанию переключить телевизор на другую программу, если бы рядом не было женщины, которая не позволяла детям мешать отцу и всегда была к его услугам перед сном, чаще, правда, по субботам после обеда, если бы рядом не было этой женщины, которая теперь просматривала газеты разве что на предмет сообщений о дешевых распродажах, если бы эта женщина не отказалась от своей профессии, если бы она не позволила запереть себя в четырех стенах, если бы она не допустила, чтобы ее содержал он, а заботилась бы о себе сама — если бы действительно не было всего этого, тогда по утрам у станка не стоял бы хорошо отдохнувший, всем довольный и гордый собой мужчина, способный, казалось, вынести любую нагрузку и день за днем успешно демонстрировавший высшее свое достижение.

Ему вдруг открылось, в какой огромной мере все, что он считал сугубо личным своим достоянием, было нацелено на то, чтобы он это демонстрировал всегда. Что все было лишь подготовкой, натаскиванием его на это высшее достижение, а по сути, собственной жизни он не имел. Когда рабочий день кончался, он уходил с завода, но это была иллюзия. Иллюзия, потому что дом его, в сущности, был придатком завода. Как обеденный перерыв на заводе имел к работе са-

мое непосредственное отношение, так и все, что было дома, тоже имело самое непосредственное отношение к работе, просто получался более длинный перерыв. Хайнц гордился своей квартирой в новом доме, своим автомобилем, своими детьми, посещавшими среднюю школу, своим домашним баром, стереоустановкой. Он верил, что все это он заработал своим трудом. Теперь, однако, его не оставляло ощущение, будто все это ему швырнули из милости. Его, правда, заставили поверить, что все это он заработал своим трудом, но на самом деле всучили исподтишка, как милостыню. Потому что, если бы он получал то, что в действительности заработал, он был бы сейчас, наверное, очень богатым человеком. Эта мысль сводила на нет все его достижения. Раз уж его можно так провести, тогда все, что ему оставили, и впрямь подачка.

Ведь ясно: он управлялся со сложными станками, с какими нипочем бы не управился, если бы был голоден, имел жалкую конуру вместо квартиры, ходил в лохмотьях, не обладал бы самосознанием и не знал из телевизора, как выглядит мир вокруг. Он вдруг отчетливо понял, что, будь их воля, они добились бы, чтоб у рабочих не было телевизоров, чтоб жили они в норах, а не в нормальных квартирах и стояли бы у станков в жалких лохмотьях. И они бы сумели очень ловко это проделать, подумал он.

Девушка в приемной была, конечно, права: в отдел кадров обращаться бесполезно. И все же он хотел попасть в отдел кадров, в ту минуту он никак не желал признать, что это и в самом деле бесполезно, что и там он не получил бы иного ответа. Теперь он стыдился устроенной сцены, стыдился, что мог позволить так легко от себя отделаться, и еще стыдился того, что тем не менее его с легкостью спровадили. Стыдился и сейчас.

В последние месяцы у него было сколько угодно свободного времени, только он не знал, что с этим временем делать. Не мог придумать, как употребить свои профессиональные знания, как употребить свою добросовестность и усердие. Он сам не мог найти этому применение, хотя и воспринимал как неотъемлемую часть собственной личности. Применение тому мог найти предприниматель, но он в настоящий момент не был в нем заинтересован.

Слоняясь по комнатам, он вдруг осознал, что его квартира, в сущности, не приспособлена для жилья. Кухня все равно что машинный зал, гостиная — отдающий химикалиями уголок мебельной выставки. Квартиру проектировали с расчетом на то, что муж и дети всю первую половину дня находятся вне дома, а жена тем временем занимается домашним хозяйством, вечером здесь можно спокойно вымыться, поесть, немного посмотреть телевизор, а потом — и это было самое главное — улечься спать. Проект не предусматривал, что кому-то захочется в такой квартире ж и т ь.

По вечерам в теленовостях ползли вверх цифры — число безработных. Но те, у кого еще были рабочие места, все как один работали сверхурочно — еще и еще. Никто не говорил об этом открыто, но каждый в душе надеялся сохранить таким образом за собой рабочее место. Да, все они видели, что строилось новое складское помещение. Видели, как освобождали место для новых станков, видели и сами станки — автоматы с электронным управлением. А затем однажды утром возле него остановился мастер: «Я попрошу вас зайти в отдел кадров».

Проходя через гостиную, он бросил взгляд на мебельную стенку. Внимательно пригляделся к этой стилизованной под старину зазнайке. Внимательно пригляделся к иллюзии. К своей собственной иллюзии.

Отца своего он всегда воспринимал как явный анахронизм, фигуру девятнадцатого столетия, оставшуюся с тех времен, когда в отношениях между рабочими и предпринимателями не было ни права,

ни законности. К этому неотесанному, шумному и неуемному верзиле Марион сразу же прониклась непонятной симпатией. Ее отец был водителем автобуса, тоже социал-демократ. Им приходилось все время держать обоих родителей на расстоянии друг от друга. Точнее, удерживать приходилось его отца, который то и дело порывался затеять спор с отцом Марион.

Когда гостиная была обставлена и повешена портьера, они пригласили к себе Курта и Ингу, с остальными знакомыми они тем временем перестали общаться, да и с Куртом и Ингой виделись все реже. В лучших своих нарядах сидели они в этой комнате и были уверены, что вот так же живут судьи и врачи, коммерческие директора предприятий и крупные землевладельцы.

Неужели они тогда действительно верили, что от всех этих людей их отделяет разве что несколько марок в доходе, несколько квадратных метров жилья, несколько лошадиных сил в мощности автомобиля?

«Скоч» или «Бурбон»? Соленые палочки или печенье с сыром? Вино или пиво? Двое спокойных солидных мужчин сидели за этим столом, двое мужчин, считавших себя незаменимыми, двое мужчин, считавших себя безупречными партнерами администрации на своем предприятии, двое мужчин, считавших себя вполне независимыми.

Несмотря на зычный голос и неукротимый нрав, его отец всегда проигрывал в сравнении с водителем автобуса. Ну к чему сегодня опять ворошить прошлое, когда-то ведь необходимо подвести черту. А вы только поглядите, что творится в Восточной зоне. Откуда же еще мы должны получить голоса, если не справа? Сейчас все далеко не так просто, как прежде. Обстоятельства давят на предпринимателей ничуть не меньше, чем на всех остальных. И разве мы не движемся вперед? Где мы были десять лет назад? Пять лет назад? Оно все делает правильно, наше партийное руководство в Бонне.

Вкрадчиво, отнюдь не агрессивно, взывая то и дело к разуму, этот тощий человек почему-то всегда брал верх в споре с горячившимся сварщиком с металлургических заводов Блома и Фосса.

Хайнц уставился на стенку. Этот леденящий холод, который стал расползаться по всему телу, когда мастер вдруг остановился рядом с ним, эта леденящая душу догадка, когда он поднялся в отдел кадров и получил конверт. Он тогда воочию убедился, что они могут отнять у него все.

Работу они у него отняли, а теперь отнимали жену. Он же не слепой. Марион теперь почти не бывала дома. И с недавних пор это была уже не только работа. После конца рабочего дня назначалось профсоюзное собрание, потом был поход в кино с другими работницами, немного пива с Ирено. Все чаще и все более надолго она исчезала в том мире, куда ему не было доступа, куда он не мог даже заглянуть. Она будто заперлась в другой комнате, и не было двери, через которую он мог бы туда войти.

Порой он сидел в квартире и мучился от бессильной злости. Как она смеет так поступать? И почему он не в состоянии помешать ей? Еще сильнее, чем ее физическое отсутствие, задевала его происшедшая в ней перемена. Переживания, о которых он ничего не знал, люди, с которыми он не был знаком: почему она ни о чем ему не рассказывала? Какой она была там, с другими? Еще ни разу не повидав этой Ирены, он уже ненавидел ее.

Тем не менее он дал согласие, когда Марион захотела их познакомить. Ей так хотелось, чтобы Ирена ему понравилась. Так хотелось, чтобы он понравился Ирене. Почти весь вечер Марион одна поддерживала разговор. Марион старалась. Старалась изо всех сил. Они встретились в кафе в центре города, так сказать на нейтральной территории. Очень скоро у Марион на щеках выступили красные пятна, и тем не менее, когда кто-то из двоих говорил, он обращался

только к ней. Между Хайнцем и Ireной выросла стена молчания. Порой их взгляды встречались, но смотрели оба холодно и недоверчиво.

— Пошли,— сказал в конце концов Хайнц Маттек,— нам пора домой.— И, не дожидаясь ответа: — Кельнер, счет.

После этого замолчали все трое, и до выхода не было произнесено больше ни слова. На улице Ирена и Марион попрощались. Хайнц стоял в нескольких шагах. Он ждал. С Ireной он не попрощался. Когда ему надоело ждать, он повернулся и пошел прочь: если Марион собирается его догонять, пусть поторопится.

Мало того, она совершила еще один поступок, который вконец все испортил. Но дело было сделано и стоило немалых денег, а значит, умолчать об этом было нельзя. Как-то в воскресенье она предложила съездить за город, а когда он, как и следовало ожидать, не проявил никакого энтузиазма, достала из сумочки удостоверение — свои водительские права.

— Ну, тогда я вам больше не нужен,— сказал он.

Так оно и было, и она вместе с детьми отправилась за город.

Он начал сторониться их. По вечерам, как обычно, приходил в гостиную к телевизору, но затем шел в ванную, а потом на кухню. Читал там газету. Время от времени она к нему заходила: «Хайнц, ну будь же благоразумен».

Или подсаживалась к нему и просто начинала рассказывать. Однажды она упомянула одного из секретарей профсоюза.

— Я знаю, потрясающий парень.

— Откуда? Ты его никак не можешь знать.

— Почему же,— сказал он и налил себе пива,— таких везде хватает. То они учителя, то страховые чиновники, то полицейские, то мастера, то домовладельцы, то начальники отдела кадров, то судьи. Они печатаются в газетах, выступают по радио, по телевидению.

Он достал сигареты.

— Собственно, в них нет ничего плохого. Они общительны, у них прекрасные манеры, есть даже чувство юмора. И главное, они чрезвычайно благоразумны. Прямо-таки зловеще благоразумны.

Он не спеша закури.

— «Минуточку,— говорит такой тип.— Главное — спокойствие. Ну вот, теперь мы вполне благоразумны...» — «Благоразумие никогда не повредит,— отвечаешь ты,— что может быть лучше? Я готов тебя выслушать».— «Ну и хорошо»,— говорит он, а ты глядишь ему в рот, и вот тут-то ты и получаешь единицу, тебя оставляют с носом, ты проваливаешься на экзамене, ты уволен.

Он выпил.

— «Только спокойно,— говорит теперь этот тип.— Давай-ка трезво разберемся во всем. По-твоему, это хорошее сочинение? Или, может, этот брак допустил не ты? И разве это не ты заехал тому парню в нос?..» В тюрьме и в школе такие типы встречаются особенно часто. Они чрезвычайно озабочены твоей судьбой, они и в самом деле желают тебе только добра, из кожи вон лезут, чтобы довести это до твоего сознания. А ты, со своей стороны, тоже стараешься, чтобы они в этом преуспели. Тебе становится их по-настоящему жалко, ведь они так о тебе заботятся. Ты напрягаешь свои мозги, и чем больше ты их напрягаешь, тем больше ты всех их понимаешь, и вот ты уже прямо-таки убежден в том, что в общем-то они правы, признаешь, что ты и впрямь чуть глупее остальных, что среднее образование тебе в общем-то ни к чему, что эта девушка для тебя тоже слишком хороша, что ты всегда пропускал в учебнике все напечатанное мелким шрифтом и что в конце концов пусть и в самом деле они теперь думают за тебя. А в итоге признаешь, что ты всего-навсего простой работяга.

— Что мне теперь делать? — спросила Марион.

— Ничего,— сказала Ирена.— Он должен сам справиться.

Марион видела его разочарование, ожесточенность, гнев и беспомощность, нередко она была близка к тому, чтобы сказать: хорошо, ты победил, завтра я увольняюсь. Но потом она вспоминала то, что сказала ей однажды Ирена: «Ты никогда себе этого не простишь».

И еще она думала о том, как это здорово — иметь право купить себе что-то, не спрашивая, ни перед кем не отчитываясь. Просто взять и купить себе вот эту блузку, или желтые сапоги Рите, или маленький флакончик духов «Каламари», или наконец-то меховой воротник. Разумеется, она покупала при этом и массу совершенно лишних вещей, к примеру, птицу из цветного стекла или настенную тарелку из Испании. Просто ради удовольствия покупать, радоваться вещам и еще немножко от тоски. И почему он такой простофиля?

— Он не простофиля,— сказала Ирена.— Держи себя в руках.

Потом Марион припомнилось то ощущение, когда — она только начинала брать уроки вождения — автомобиль вдруг тронулся с места, повинуясь едва уловимому ее движению. Как будто у нее впервые в жизни оказалось в руках нечто такое, на что до сих пор имели право лишь мужчины. Особенно когда она в первый раз села за руль своего «сирокко».

А потом пришла минута, когда она почти поверила, что теперь все у них станет по-прежнему. Она вернулась домой, а он пододвинул ей письмо.

Господин Кремер из отдела трудоустройства предлагал ему место штамповщика.

Она тут же сказала «нет». И заметила, что он облегченно вздохнул. Она знала: именно такого ответа он и ждал. Но разве она сказала «нет» только поэтому? — мысленно спросила она себя. Или, может быть, потому, что жест, каким он пододвинул ей конверт, тронул ее как проявление, казалось бы, давно утраченного доверия и общности?

Но разве штамповка не была все-таки лучше, чем ничего?

И, будто намереваясь отговорить себя от этой мысли, они снова и снова доказывали друг другу, что из этой низкооплачиваемой тарифной группы практически невозможно вернуться со временем в его прежнюю и что у него есть право на работу, равноценную той, которую он выполнял раньше.

Впервые после очень долгого перерыва они опять разговаривали, разговаривали, а не кричали друг на друга — пусть даже в этот момент они обсуждали только эту проблему и ни слова не говорили о самих себе. У них по большей части всегда было так, общность рождалась, если речь шла не о ком-то одном, а разговор касался обоих, их общих дел.

Когда на следующее утро Хайнц пришел на биржу труда, господин Кремер уже приготовился скромно противостоять бурным изъявлениям благодарности. Известие, что Хайнц Маттек продолжает настаивать на равноценной работе, а стало быть на своих правах, застало господина Кремера в тот самый момент, когда его зад приподнялся над креслом сантиметров на двадцать. Господин Кремер плюхнулся в кресло, будто его ударили. Он не ослышался? Господин Кремер был глубоко разочарован. По-человечески разочарован. Господин Кремер смог лишний раз воочию убедиться в тщетности своих усилий. Вот вам наглядный пример того, как разумное социальное начало терпит поражение в борьбе с закоснелым эгоизмом отдельного индивидуума. Не говоря уже о его личном разочаровании, ведь он принял такое живое участие в судьбе этого господина Маттека, которого до сих пор считал добропорядочным гражданином, а никак не строптивым крючкотвором.

— Будь у меня такое жалованье, как у вас, я рассуждал бы точно так же,— сказал Хайнц Маттек.

Между тем студент появился снова. Ирена тотчас позаботилась о том, чтобы он опять попал за их стол.

— Мог бы черкнуть нам открытку,— сказала она, когда он пригласил всех отметить начало его работы,— но студенты все таковы.

Я по меньшей мере фунтов на сорок тяжелее его, подумала Марион, глядя на студента, сидевшего рядом: она впервые установила между ним и собой какую-то физическую связь. За это время она поняла, почему здесь без конца рассказывают непристойности. От голода. Подобная работа начисто отключала в человеке духовное, оставляла только тело, так что и все прочее возникало в сознании лишь опосредованно, через тело. По утрам, когда она входила в метро, ее словно током ударяло: со всех сторон чужие тела, она чувствовала прикосновение чужих бедер, спин, рук, и даже не без удовольствия. А это уже было нечто большее, чем просто не отстраняться. Раз она даже позволила чьей-то руке пошарить по своему телу. И поняла, что ничего не имеет против. Ей было безразлично, кому принадлежит эта рука.

Еще за это время она узнала, что трое мужчин в их секции вовсе не так уж стойко держались в стороне, как могло показаться на первый взгляд. Кто из них, когда и с которой из тридцати собирался поработать отдельно на складе, не было теперь тайной и для нее. Перенасыщенный солеными шутками язык, на котором все они изъяснялись, как бы подчеркивал их общую принадлежность к некоему союзу. Они весело подмигивали друг другу.

Хотя у них и в самом деле ощущалась явная нехватка мужчин, на студента глаз никто не положил. И дело было даже не в том, что через неделю-другую его все равно и след простынет. Шоферы бывали с ними и того меньше. И не в том было дело, что он учился в университете. С тех пор как складом стал заведовать доктор каких-то там наук, на стенке в уборной появилась надпись: «Все ученые — свиньи».

Студентом никто не пожелал заниматься просто из-за его вида: казалось, будто он намеревается потащить одну из них вовсе не на склад, а к себе в студенческую каморку. А вот это было бы и впрямь безнравственно.

Конечно, сыграло свою роль то, что он был на сорок фунтов легче ее, не говоря уже о разнице в возрасте. Он был такой худенький. Совершенно немыслимо, чтобы кто-нибудь из этих битюгов-шоферов был способен вызвать в ней такие же эмоции, какие вызывали в ней узкие, обтянутые джинсами мальчишеские бедра и худые, высокие плечи студента. Именно его худоба и рождала в ней тайное желание хоть однажды попробовать не отдавать, но брать самой.

Марион весила на сорок фунтов больше, чем он, существенное основание, чтобы не испытывать перед ним страха. Она так и норовила дотронуться до него, пусть на секунду, но дотронуться. То просила его показать ей что-нибудь в газете и слегка касалась при этом грудью его руки. То в столовой позволяла напиравшей очереди притиснуть себя к нему. Подсаживалась во время перерыва на ту же скамью, клала руку на спинку, к которой он прислонялся. И таким образом она чуть ли не обнимала его. Он делал вид, что ничего не замечает, но она чувствовала ответное прикосновение его бедра; когда никто не видел, он прижимался к ее руке, но сам инициативы не проявлял. В его молчаливой пассивности была некая двусмысленность, и это возбуждало ее сильнее всего.

В конце концов ей удалось устроить, чтобы их вдвоем отправили на склад с коробками галантереи. Приближался обеденный перерыв, и они не застали человека, в чьи обязанности входил прием товара. Подождав немного, они поставили коробки на стол одного из рас-

порядителей и двинулись назад, но сразу заплутались в веренице длинных стеллажей по три-четыре метра высотой. И остановились, вспоминая, каким путем сюда пришли; вот тут-то ее лицо стало медленно приближаться к его лицу. Они поцеловались, и все ее тело медленно повернулось к нему. Их губы почти касались.

Она могла бы стоять так бесконечно долго, ощущая в себе нарастающую тяжелую волну, ей казалось, что эта волна подхватила ее и понесла куда-то далеко вверх.

Марион очнулась, когда он начал теребить ее халат (из-за жары под ним почти ничего не было надето), секунду спустя они оказались на груде одеял, за пирамидой каких-то коробок, и халата на ней уже не было. Она сдула с лица прядь волос. И вдруг совсем рядом послышались шаги.

Она удержала его, иначе бы он вскочил. Они лежали очень тихо. Вновь вошедший — мужчина, судя по всему — чем-то шуршал неподалеку. Одна ее рука лежала у студента на спине, и вдруг она начала легонько прижиматься к нему. Она еще услышала, как удалялись шаги, и тут это пришло, впервые с мужчиной она испытала нечто подобное, и когда она вновь смогла различать окружающие предметы, он тоже поспел за нею и лежал теперь расслабленный.

Глаза у нее наполнились слезами. Она вдруг почувствовала, как на самом деле одинока. Уже сейчас она знала, что не захочет повторения. Не захочет вновь испытать такое одиночество.

Когда опрокинулась тележка с хрустальными бокалами для шампанского, она уже почти забыла происшествие на складе. Огромная коробка с дорогими хрустальными бокалами была на полу.

— Кто это сделал? — заорал мастер.

Никто не ответил.

— В таком случае платить будете все вместе.

— Об этом не может быть и речи,— сказала Ирена.

К Марион подошла Эхтернахша.

— С того места, где вы стояли, вы наверняка видели, кто это сделал.

Конечно же, Марион видела, кто опрокинул тележку.

— Понятия не имею,— сказала она.

— Какой вам смысл покрывать виновного? По слухам, предстоят увольнения, а ведь известно, что вас приняли последней.

— Какая наглость.

— Вы, безусловно, видели, кто это был,— сказал мастер, который подошел тем временем.

— Я вообще ничего не видела.

— Я не верю вам,— сказал он.— Даю вам время на размышление. Даю вам всем время на размышление.

— Тебе решать,— сказала Ирена.— Тебе одной.

Между тем начались школьные каникулы.

— Почему ты не выйдешь поиграть в футбол,— сказал Хайнц.— Или не сходишь в бассейн. Будто в городе так уж ничем нельзя заняться.

— А с кем?! — крикнул Карстен.— Все ведь разъехались.

Об этом он действительно не подумал. Все друзья Карстена отправились с родителями отдыхать. И Ритины тоже.

В свое время они протестовали против его решения, умоляли, пытались что-то предпринять и теперь, когда уже ничего нельзя было изменить, не стесняясь, демонстрировали, как он действует им на нервы. В квартире теснота. Они не знали, куда себя деть. Слонялись без дела. Огрызались друг на друга («с этой коровищей я в бассейн не пойду»). Стояла жара, потом пошли дожди, и они без конца что-то жевали, сосали, слушали музыку, смотрели телевизор, пили,— словом, предавались радостям потребления, стоившим денег.

И требовали денег, точно он обязан был хоть как-то загладить нанесенную им обиду.

Когда он входил в комнату, оба с тоской возводили глаза к потолку. С другой стороны, ему тоже давно не приходило в голову ничего, кроме всевозможных запретов.

— Опять ты торчишь у телевизора. Да оденься же, наконец. Убавь громкость... Ты ведь только что выпил бутылку колы.

Временами он был уверен, что при желании легко поймал бы их с поличным: они хотели отомстить ему и потому нарочно включали музыку на полную громкость, нарочно с самого утра торчали перед телевизором, для того только, чтобы он разозлился и сделал им замечание. Они вели себя в квартире так, будто она принадлежала им одним, а он был гостем, который никак не хочет понять, что его визит затянулся. Он даже ловил себя на том, что ему не хочется идти в гостиную за книгой, потому что Карстен и Рита смотрят там телевизор. Теперь он почти безвылазно сидел на кухне. Выходя из кухни с бутылкой колы в руках, Карстен демонстративно захлопывал за собой дверь.

Лишь перед самым приходом Марион дети наконец-то шли на улицу и возвращались с таким видом, будто провели там весь день. Они нарочно создавали впечатление, будто им пришлось болтаться на улице с утра, дескать, чтобы лишний раз не беспокоить его. При этом оба отлично знали, что из-за нечистой совести у него недостанет мужества сказать Марион, что они вытворяли на самом деле и следы чего он поспешил молча уничтожить. Ведь когда они наконец-то выкатывались, квартира была похожа на свинарник: повсюду бутылки из-под кока-колы, на полу конфетные обертки и бумажки от жевательной резинки.

Ему предложили стать водителем грузового такси, понятно, речь шла о перевозках «левых» грузов. Марион не поверила своим ушам, услышав, что он согласился. Отказаться от места штамповщика, чтобы согласиться на такую вот дрянную работу. Выходит, они тогда обсуждали это весь вечер только ради того, чтобы теперь он дал согласие, даже не посоветовавшись с нею. Он обманул ее доверие, уничтожил последние крохи близости, а ведь после того вечера она вообразила, что эта близость еще существует. И дети теперь оказались полностью предоставлены самим себе. Безусловно, это тоже был один из способов убежать, вырваться из круга привычных обязанностей, снять с себя ответственность. Вот и исчезла последняя возможность спросить у него совета, обсудить с ним решение, которое она должна была принять в самое ближайшее время. И, наконец, где-то глубоко внутри у нее зародился страх: неужели он настолько опустился, что вынужден браться за такую работу, как эта, работу по случаю.

С него тоже было довольно. Как бы он ни поступал, они все дальше отдалялись друг от друга, и, когда он захлопнул за собой дверь и, не замечая подоспевшего лифта, бросился вниз по лестнице, он на миг пожалел себя; однако это продолжалось недолго, вскоре он чувствовал уже только огромное облегчение.

Они ездили в паре. На «мерседесе» грузоподъемностью в две с половиной тонны. То перевозили на новое место различные конторы, то доставляли какой-нибудь дедовский секретер в стиле «бидермейер» с набережной Фалькенштайнер, то освобождали от хлама квартиру после смерти ее престарелой владелицы.

Торговцам антиквариатом они доставляли шкафы, букинистам — чьи-то библиотеки и архивы. Перевозили на новое место жительства стюардесс, редакторш, агентов по рекламе. Словом, мотались по городу.

Ротенбаумшоссе, Клостерштерн, Эппендорфер-Ландштрассе. По дороге на Харвестехуде вдоль Альстера, Даммтор, от телевизионной башни вниз к гавани и по шоссе вдоль Эльбы. От моста Круг-Коппельбрюкке через Альстер на городскую окраину. Выставочные помещения, бойня и разрушающийся, пропитанный запахом гнили квартал Каролиненфиртель. Бьющая в глаза пышность трех дворцов юстиции, расположенных вблизи друг от друга, и следственная тюрьма. Вокзал Альтона и ярко освещенная толпа у пирсов. Он видел город в такие часы, в какие ни разу не видел его прежде: по утрам в солнечной дымке, под дождем около полудня; он попадал в кварталы, где не бывал годами или не бывал никогда.

До чего же здорово стоять в какой-нибудь закусочной и глазеть в окно на прохожих. До чего же здорово быть всегда в пути. Всегда на колесах. Всегда в движении. Всегда на самых оживленных магистралях. Проскакивать на зеленую волну. Наконец-то он снова за рулем.

Он заметил, что плохо знает свой город. Шпрингеровская вечерняя газетенка, причмокивая от восторга, твердила, что это его город. Но его город — это стандартные многоэтажные дома в Бильштедте, где он жил, это дешевые закусочные на углах, это квартал-трудяга Аймсбюттель, рабочие бараки, построенные на рубеже веков, теперь уже покосившиеся, медленно разрушающиеся халупы. А все остальное, все, что лежало ближе к воде, кварталы у Альстера и вдоль Эльбы — все это была незнакомая страна, чужой город. Он попадал теперь в кварталы, которые ему и во сне не снились, здесь такое богатство форм, столько возможностей удовлетворить любую свою прихоть — прежде он не поверил бы, что такое бывает. И еще он видел, насколько все здесь непохоже на то, что дома у него самого.

Лучше всего было, когда сразу после звонка в дверном проеме возникало жестковатое неприветливое лицо старика из тех, что обязательно требуют снимать обувь в передней, хозяин тут же проходил вперед и, показывая на шкаф или напольные часы, говорил: «Только осторожнее, пожалуйста».

От других клиентов его тошнило. «Давайте выпьем сначала бутылочку пива, тогда дело пойдет лучше. Дать вам стаканы? О, только, пожалуйста, не смотрите, у меня такой беспорядок». После чего они действительно начинали осматриваться, как в той роскошной квартире на Варбургштрассе, где балконом служила плоская крыша соседнего многоэтажного дома. Третьи сами помогали паковать вещи, разыгрывая «своих парней». Как, например, художник из рекламного агентства в своей шестикомнатной квартире на Изесштрассе, чокавшийся с ними пивной бутылкой под плакатом с Че Геварой и то и дело вытиравший пот со лба. Были еще стеснительные, те всегда стояли над душой: «Ах, неужели вы это тоже поднимете?»

При появлении грузчиков обитатели квартир начинали суетиться, всячески показывая свое радушие и какое-то необычное дружелюбие, так что временами его так и подмывало съездить кому-нибудь по роже.

Какие же у них должны быть доходы, думал он, чтобы оплачивать эти огромные квартиры, эту мебель, этот антикварный хлам, эти роскошные автомобили. И ведь, если судить по их цветущему виду, они особенно не напрягались.

Пауль, его напарник, созерцал все эти частные парки, анфилады комнат, студии и салоны с полным равнодушием. Пауль был строителем, сейчас тоже без работы, маленького роста, но зато очень выносливый. Не то чтобы Паулю все это было не в диковинку. Но поломанное сцепление в собственном «фольксвагене» занимало его гораздо больше. С другими проблемами он, казалось, покончил давно

и раз навсегда. Хайнц не мог взять в толк, каким образом он это сделал, в сравнении с Паулем он сам себе представлялся наивным.

Поскольку Хайнц всегда молчал как рыба, Паулю приходилось и беседу поддерживать, и принимать чаевые.

«Я как рабочий»,— сказал Пауль художнику по рекламе. «Кто хочет работать, тот работу всегда найдет»,— сказал Пауль генеральской вдове. Смотря по тому, кого они обслуживали — директора фирмы или обычную студентку, профсоюзы у него требовали либо слишком много, либо слишком мало. «За свободу тоже надо платить. Что толку не бояться безработицы, если нельзя говорить все, что думаешь. Вы только поглядите на этих, в Восточной зоне. А у нас каждый получает, что заслуживает. Каждый имеет шанс».

Обычное кривлянье, рассчитанное на то, чтобы вытянуть из этих людей чаевые. Но больше всего смущало Хайнца Маттека другое: среди подобных высказываний встречались и такие, в которые он сам верил. «А у нас каждый получает, что заслуживает. Каждый имеет шанс». Выходит, он разделял взгляды людей, которых ненавидел, с которыми у него не было ничего общего. Он вдруг обнаружил, что повторяет заученные фразы, противоречащие его личному опыту, фразы, пригодные разве что для такого вот кривлянья.

Но что, собственно, за человек этот Пауль? И каковы его взгляды? Смутное раздражение поднималось в нем, когда он замечал, как Пауль сглаживает его промахи, как берет на себя инициативу там, где он беспомощен. В тех случаях, когда Хайнца Маттека душила ненависть, Пауль умудрялся проявлять добродушие. Видимо, парень отлично изучил взгляды всех этих людей, он воспроизводил их с легкостью и без запинки, но какие же взгляды были у него самого?

Пауль не открывал свои карты. А может, и говорил-то все специально для него, кривляясь перед разными председателями земельных судов, фотомоделями и начальниками отделений? Может, Пауль хотел ему что-то внушить? Довести до его сознания такими окольными путями?

Он заметил, что Пауль присматривается к нему. Слабачок Пауль. Хитро ухмыляющийся Пауль. Пауль со скошенным подбородком.

Они стояли в закусочной, куда заходили довольно часто, на углу Эппендорфер-Ландштрассе и Гёрнештрассе. Тремя ступеньками выше, на улице, шли по тротуару люди, собаки, напротив был парфюмерный магазин.

Хайнц Маттек расплатился. Им осталось сделать еще одну поездку.

В домашнем баре снова был прекрасный набор напитков. Сальный тип на заднем дворе в Эппендорфе каждый вечер выдавал заработанное наличными, и Хайнц возвращался теперь домой не с пустыми руками: то приносил Карстену детали строительного конструктора, то пластинку Рите, то клипсы Марион. В выходные дни они теперь почти всегда выезжали за город, прихватив с собой сумку-холодильник, полную колы, лимонада и пива, да еще корзинку с бутербродами и фруктами, хотя большую часть снеди, независимо от того, с чем были бутерброды, вечером приходилось вываливать в помойное ведро, ведь в обед они, как правило, ели горячее и чаще всего в одном из тех отелей, где у входа висела эмалированная табличка «ОКА» [1], где автостоянка была посыпана гравием, полы застланы коврами и в любое время можно было найти свободный столик.

— Сюда-то нам и нужно,— кричал Хайнц Маттек, и они, создавая изрядный шум, дружно вышагивали через весь ресторан, громко болтали, привлекая к себе всеобщее внимание, обсуждали, какой же столик им занять, наконец усаживались, тоже долго и обстоятельно, располагаясь со всеми удобствами, а Карстен и Рита еще разок-другой менялись местами. Так, а теперь меню.

[1] Общегерманский клуб автомобилистов.

Однако официант все не появлялся.

— Что это тут за лавочка? Придется их немножко подстегнуть.

— Ну что ж, в таком случае вызывайте полицию.

Пока сам директор не приносил им меню.

— Пожалуйста, сию минуту.— А затем все шло как по маслу.

— Ну вот. Как видишь, все устраивается.

Дети язвительно ухмылялись, а Марион молча вертела в руках подставку для пива.

Раз на стоянке он перед самым носом у «мерседеса» занял свободное место. Владелец «мерседеса» как ужаленный выскочил из машины.

— Ну давай, давай подходи,— сказал Хайнц Маттек.

— Да ты только взгляни на них,— сказала сидевшая в «мерседесе» женщина, и тогда этот тип снова уселся в свой автомобиль.

Да, хорошенькое мы производим впечатление, думала Марион.

Каникулы продолжались. Они давно уже перестали выбирать для своих прогулок какую-то определенную цель и просто мотались по окрестностям. Нужно же как-то возместить детям несостоявшийся отпуск. Однако такая езда без цели и смысла была, в сущности, самым настоящим праздным шатанием, с таким же успехом можно было слоняться по квартире или часами просиживать в кафе за мороженым. Невозможно представить, сколько они проматывали во время этих уик-эндов. Хайнц тратил деньги с той же легкостью, с какой они ему доставались. Деньги для него ничего не стоили.

Однажды вечером, когда он поздно вернулся домой, Марион еще сидела на кухне.

Риты до сих пор не было дома.

— Это уже в третий раз,— сказала Марион.

Явилась Рита в половине второго.

— Где ты была?

— А почему, собственно, вы так жаждете узнать это ночью в половине второго, а не вечером в половине пятого?

Она была слегка пьяна.

— Ну, а если я вам скажу, где была, что изменится? Вы же ничего не понимаете. Неужели еще не заметили? Вы не понимаете ничегошеньки. Даже самих себя. И что вы мне скажете, если узнаете, где я была? Умные фразы, в которые сами больше не верите? Вам нечего сказать. Вам мне нечего сказать. Ясно?

И уже в дверях:

— Думаете, я не вижу, что здесь происходит? Вам даже притворяться лень. Вы конченые люди. Конченые. Ложитесь спать.

Дверь в ее комнату захлопнулась.

Хайнц было открыл рот, но Марион вдруг крикнула:

— Бога ради, помолчи сейчас!

Он все позже возвращался домой. Иногда не было Риты, иногда Марион, а как-то вечером не было обеих. Квартира была пуста, только Карстен спал, свернувшись клубочком в своей постели. Он стоял посреди пустой квартиры. И вдруг почувствовал, что задыхается. Скорее прочь отсюда на свежий воздух. Что-то должно случиться. Так не может продолжаться дальше. Он выскочил на улицу и быстро зашагал к центру города. Что-то должно случиться.

Примерно через час он был в районе скотобоен, у стойки какого-то бара.

Первую большую рюмку водки он выпил залпом, и еще прежде, чем подали вторую вкупе с большой кружкой пива, к нему уже подсела какая-то девица, довольно объемистая, Карола.

Мало-помалу способность дышать возвращалась. Ощущение удушья исчезло после второй большой рюмки водки.

— Закажи себе что-нибудь,— сказал он.— А потом пойдем наверх.

— Какой шустрый,— сказала Карола, впрочем польщенная. Она придвинулась ближе.— Наверх — плата особая.

— Так,— сказал он, осушив кружку, и встал. Она влила в себя «перно», и они пошли.

— Живо раздевайся!

Когда она попробовала раскрыть рот, он сказал:

— Кто тут платит, ты или я?

Они спустились назад в пивную, и тут она сделала попытку от него отвязаться.

— Ты останешься здесь,— сказал он и притянул ее к себе.

— Эй, убери лапы. Терпеть не могу таких мужиков, сперва полаются со своими бабами, а потом ищут развлечений.

Какой-то тип за стойкой, которого Хайнц поначалу совсем не заметил, сказал девице:

— Делай, что тебе говорят,— и пихнул ее на высокую табуретку рядом с Хайнцем.

— То же самое повторить,— бросил Хайнц хозяину и обернулся к ней: — Это и к тебе относится, мы потом еще раз поднимемся наверх.— Он протянул хозяину сотенную купюру: — Разменяй, мне нужны сигареты.— При этом он нарочно держал кошелек так, чтобы хозяин мог видеть и другие сотенные.

Вернувшись с пачкой сигарет, он увидел на своем табурете какого-то парня, собственно, тот даже не сидел, а лишь, разговаривая, изредка на него облокачивался. Хайнц некоторое время наблюдал за ним, а затем, когда парень снова собрался облокотиться, стремительным движением вытянул из-под него табурет. Парень грохнулся на пол возле стойки. Хайнц Маттек уселся.

— Что он тебе сделал?! — закричала Карола.

Парень сыпал ему в спину ругательства:

— Устроил комедию перед бабами, тоже мне петух.

Хайнц не оборачивался, и парень совсем рассвирепел.

Маттек заказал виски себе, хозяину, этому верзиле и девице, а кроме того, велел принести игральные кости.

— Да успокойся ты наконец,— сказал хозяин парню.

Проигравший должен был угостить всю компанию виски. Подошел взглянуть один из приблудных бродяг, довольно пожилой человек. Не глядя, легким движением вытянутой руки Хайнц отодвинул его в сторону.

— Давай отсюда, старик.

— Ну и грубая же ты скотина,— сказала Карола.

— Пойдем-ка наверх,— сказал Хайнц.

— Не с тобой.

— Ты что-то сказала? — спросил сутенер.

— Ну,— сказал Хайнц,— пошли... Раздевайся.

— Но здесь так холодно.

— Давай, давай, живо.— И минутой позже: — Скажи-ка, у тебя нет какого-нибудь такого белья?

Она выдвинула ящик, но он оттолкнул ее в сторону и стал рыться сам, пока не нашел подходящего.

— Давай.

После этого они снова спустились вниз. Хайнц Маттек опять взялся за кости.

— Так на чем мы остановились?

Народ расходился по домам, и они пересели за освободившийся столик. Он заказал для всех водку; ближе к утру зал снова наполнился. Педерасты, проститутки, бродяги. Хозяин задернул шторы, на улице занимался рассвет. Одна из проституток выставила водку, на столе появились кофе и коньяк, и постепенно они снова вошли в раж. Хозяин подбил общий итог в игре. Влить в себя подряд несколько кружек пива, за десять марок явиться во всей красе, ра-

зыграть по жребию девочек, показательный секс-номер — с этим, правда, ничего не получилось. Зато устроили танцы.

— Как насчет нас? — сказала Карола.

— Пошла ты,— сказал Хайнц Маттек. В сортире валялся пьяный, за соседним столиком сутенеры подсчитывали выручку.

— Ну, на дорогу,— сказал хозяин.

Когда пришел Пауль, он уже сидел в машине.

— Ну и ну,— сказал Пауль,— вот это погуляли.— Он опустил оба стекла. Дома никто не спросил Хайнца Маттека, где он был.

Марион все еще не пришла к решению. Райсмюллерша знала, конечно, что Марион видела, как она опрокинула тележку с бокалами. Об этом знали уже все. Райсмюллершу никто особенно не любил. Не любили за языкастость, к тому же она много болела и другим приходилось отрабатывать за нее. Мастер дал им время на размышление. А потом сумму нанесенного ущерба начнут высчитывать у всех из жалованья.

Признайся она, и Райсмюллерша вылетит. Промолчи, и вылетит она сама. Но, может быть, есть еще один вариант?

Обратимся в профсоюзный комитет. Его председателем была женщина, которая прежде работала в секции белья.

— У нас перевернулась тележка с хрустальными бокалами,— сказала Ирена.— И теперь за это у нас должны высчитывать из жалованья.

— А кто это сделал?

— Неизвестно, но одну из работниц подозревают в том, что она видела, кто опрокинул коробку. Доказать они ничего не сумеют, но зато могут выбросить ее на улицу.

— Понятно. Значит, никто ничего не видел. А как зовут мастера? Когда это произошло? Иногда ведь что-то падает и само по себе.

Эхтернахша ходила от одной работницы к другой. Но чем больше она их подзуживала, тем сердечнее они относились к Марион. Для нее занимали место в столовой, ее угощали сигаретами, ей тут же подносили зажигалку. Профсоюзная уполномоченная из соседней упаковочной секции подошла к столу Ирены и Марион.

— Ну, как дела?

— По-моему, хорошо,— сказала Ирена.

— Если не будете выступать сообща, проиграете.

— Три-четыре человека держат сторону начальства,— сказала Ирена.

— Такие всегда найдутся.

В тот день, когда они должны были получить расчетные листки, Райсмюллерша села в столовой отдельно от всех, в гордом одиночестве.

— Вот дурная голова,— сказала Ирена,— теперь нам придется пересаживаться к ней.

Следом за ними потянулись другие работницы; чтобы все уместились рядом, пришлось составить несколько столов; в противоположном конце осталась только Эхтернахша и еще трое.

Они все уже слегка подзавелись, пока переходили на новое место в столовой, и, когда оказались на своих рабочих местах, кто-то запел:

В леща, что молод и строен был, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
и плавал у морских глубин, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
вдруг втрескалась старуха камбала, камбала,
вдруг втрескалась старуха камбала.

Последнюю фразу подтянуло еще несколько человек, а когда мастер закричал:

— Тихо! Вы, крикухи! Я сказал, тихо,— тут уж подтянули все:

Ей лещ сказал, сошла с ума, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
ты слишком для меня стара, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
давай-ка ты отсюда прочь, старуха камбала,
прочь, прочь, ты, камбала.

Теперь уже пели с наслаждением.

И камбала ушла на дно, раз, два, три,
трам-там, тиралляля.
И там ей страшно повезло, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
нашла монетку она в песке, вот это везение камбале.
монета — везение камбале.

С приданым нынче наша карга, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
и тот же лещ опять в женихах, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
ведь лещ-то — он совсем не простак,
наш лещ-то совсем не простак.

Мораль истории проста, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
такого бойся жениха, раз, два, три,
трам-там, тиралляля,
ведь лещ-то — он совсем не простак,
наш лещ-то совсем не простак.

Песня подняла у всех настроение.

Пришла старуха из бухгалтерии. Они вскрыли конверты, и тотчас раздался общий ликующий крик. Они танцевали с расчетными листками вокруг столов.

Давай-ка ты отсюда прочь, старуха камбала.
прочь, прочь, ты камбала-а.

Это нужно было отметить.

Вот почему, когда Марион пришла домой, она не так уж прямо стояла в дверном проеме. Он сидел на кухне и читал газету. На носу у него были очки. Совсем недавно он заказал себе очки для чтения.

— Хайнци,— сказала она,— Хайнци, дружище.

Она не могла удержаться от смеха.

— Хайнци, что у тебя за вид?

Он взглянул на нее поверх очков.

— Ой, мне плохо,— стонала она.— Ой, не могу.

— Посмотри на себя, что у тебя за вид.

В постели на нее снова напал смех. Не в силах удержаться, она накрылась одеялом с головой. Он лежал рядом с крайне оскорбленным видом.

Она долго не могла заснуть. Снова и снова вспоминала весь этот день. Хотела запомнить его во всех подробностях. Даже самых незначительных.

Между тем Рита давно уже сказала ей, где она бывает по вечерам. Правда, с условием, что отец ничего не узнает. Марион долго раздумывала, потом решила так ему это и объявить.

— Она не хочет, чтобы я тебе говорила. И я ничего не скажу. Оставь ее в покое. Ты ничего не добьешься. Во всяком случае, повода для беспокойства здесь нет.

Как-то вечером Риты и Марион снова не было дома, и Хайнц прошел в комнату дочери. На стенах яркие плакаты — Элвис Пресли, «Роллинги», Дженис Джоплин, обнаженная девица на мотоцикле, лес, буковые деревья в лучах солнца, дешевые издания для подростков, некоторые явно дурного пошиба, коллекция маленьких стеклянных зверей.

Он взял с полки пластинку, включил проигрыватель и тотчас же опять выключил. Первые же звуки заставили его содрогнуться.

Он огляделся. Конечно, за всем этим кроется связь с парнем. Где-то она наверняка прячет его письма.

И тут в дверях появилась Рита.

Оба испугались.

Он подыскивал слова. Слова, которые сумели бы все объяснить, исправить, но скоро понял, что исправить ничего уже нельзя.

Он все же пытался найти какие-то слова, но Рита с рыданиями кинулась на постель.

Он постоял еще немного, а потом внутри у него словно что-то оборвалось, он вышел из комнаты и захлопнул дверь.

Чертовы бабы.

Не поймешь, рассказала она об этом Марион или нет. Девчонка делала вид, будто ничего не случилось, но между ними возникло легкое отчуждение, заметное только ему. Он избегал оставаться с глазу на глаз как с той, так и с другой.

— Давай-ка, Карстен, организуем что-нибудь вдвоем, только для мужчин. Куда пойдем? В городской парк, на Эльбу или в Ниндорфский заповедник? Тебе чего — мороженого, кока-колы или шоколада? — Карстен смущенно выбирал.— Говори честно, чего тебе хочется, сегодня мы делаем только то, что хотим.

Впрочем, это было не совсем так. Хотел в основном один Карстен.

— Папа, можно мне открыть окно? Папа, мы пойдем сейчас направо? Папа, сколько тебе было лет, когда была война? Кто твой любимый вратарь? Почему на небе полосы от самолетов?

— Послушай, что у тебя за манера вечно спрашивать?

Карстен замолчал.

— Ну, ударь же разок по мячу. Для чего мы тогда его брали?

Карстен послушно ударил по мячу, побежал за ним, налетел на пожилого мужчину и плюхнулся на землю.

Отец скрипнул зубами.

— Не забудь по крайней мере захватить мяч.

— Папа, можно мне пройти по стенке?

— Слушай, у меня сейчас лопнет терпение.

Подбородок у Карстена задрожал.

Теперь он еще и расхнычется. Карстен и в самом деле расплакался.

— Все, пошли домой.

Наконец-то на горизонте забрезжили школьные занятия. На последний уик-энд Ирена пригласила к себе Марион с детьми, пригласила она для проформы и Хайнца, но никто не стал возражать, когда он отказался.

Навьюченные хозяйственными сумками и надувными матрацами, складным стулом и купальными костюмами, подстилками и пакетами с едой, они тащились к автобусной остановке. Пусть он катится со своим автомобилем куда хочет. Было еще прохладно, но на небе ни облачка, и день обещал быть жарким. Когда они добрались до Ирены, все окна у нее в доме уже стояли настежь. Старшие девочки уединились в шезлонгах на балконе, Лиза показывала Карстену свою комнату. Внизу, в дворовом сквере, сидели люди в шортах и бикини, с папками для рисования. Почти на всех балконах тоже были люди, визжали дети, орали радиоприемники.

— Ирена, дай-ка я тебя обниму.

Лиза и Карстен что-то притихли, матери заглянули к ним и обнаружили, что ребята меняются джинсами и рубашками. Марион и Ирена принялись не спеша готовить обед. Становилось жарко. Бикини давно уже стали им маловаты, но все равно так приятно ощущать кожей теплый воздух.

— Мы старые обозные клячи,— воскликнула Марион и похлопала себя по животу.

Они готовили chili con carne [1]. По рецепту из иллюстрированного еженедельника. Торопиться было некуда, они болтали, курили, уже разок приложились к вину, ни разу в жизни они еще не ели такого блюда. Обе прямо-таки сгорали от любопытства, чем дальше, тем больше, а еда в кастрюле становилась все более острой и отменной.

Потом все сидели на кухне вокруг стола, от перца все внутри горело огнем и во рту творилось что-то несусветное. Ирена сидела между Лизой и Карстеном, равно опекая и ту, и другую сторону, Марион обращалась по-сестрински с обеими смышлеными юными дамами.

Потом они отправились в городской парк и, поскольку было еще довольно рано, сумели захватить местечко под деревьями с видом на широкий зеленый луг и небо. Они распаковали вещи и установили шезлонги, переоделись, натерлись кремом для загара и снова смыли его, а в конце концов просто разлеглись на траве, прикрыв глаза листочками и подставив лицо солнечным лучам.

Они всем телом ощущали этот день, сытый и ленивый, как они сами, и еще бесконечный, как небо. Около шести они стали собираться в обратный путь; разомлевшие от жары и усталые, обливаясь потом, они терпеливо дожидались автобуса, который все не подходил, потом, зажатые в толпе, задыхались от недостатка воздуха, цеплялись, чтобы не упасть, за липкие поручни, то и дело выскальзывавшие из рук. Бессильно бросившись в кресла и на диван, с наслаждением погрузились они в прохладу квартиры; прежде всего принять душ.

И вдруг ужасный шум, крики. Ирена, которая была на кухне, бросилась в ванную и с силой распахнула дверь. Она притащила Марион в комнату и изо всех сил встряхнула ее.

— Я здесь, здесь, вот она я.

И постепенно Марион пришла в себя и узнала ее.

— Мне показалось, будто меня заперли.

Потом, когда Карстен и Лиза уже спали, вместе на одной кровати, а девочки еще не пришли из кафе-мороженого, Марион и Ирена сидели на балконе. Фиолетовое небо над четырехугольником жилых домов, теплое пламя свечей в окнах и на балконах, тихие голоса. Лица обеих женщин не видны, только красные точки сигарет.

— Как-то все еще сложится,— сказала Марион.

Долго было тихо.

— Все это быстро пройдет,— откликнулась наконец Ирена.— А ты делай то, что считаешь для себя правильным.

Начало занятий в школе все восприняли как облегчение. Жизнь вернулась в привычную колею. Марион с вечера готовила еду. Рита после школы ее разогревала, она же следила, чтобы Карстен поел и сделал домашние задания, а поскольку один бы он ничего не стал делать, они садились за уроки вместе. Марион приходила около половины пятого, проверяла их тетради, шла в магазин, готовила; мало-помалу заведенный порядок приобрел стабильность и надежность.

Хайнц же, напротив, возвращался в самое разное время и в разном настроении. Они от него не зависели. Его никто не ждал. Карстен при нем робел, а может быть, просто стал осторожнее. Рита вела себя так, будто никогда не заставала его в своей комнате.

Это, однако, тревожило его куда больше, чем открытая неприязнь или обида. Он искал возможности поговорить с ней. Она заметила это — ведь он буквально ходил за ней по пятам — и приложила все усилия, чтобы разговор не состоялся. То она бегала по своей комнате в трусиках и лифчике, то начинала в его присутствии натягивать другой джемпер, то приносила ему в ванную фен, то забывала закрыть дверь, когда принимала душ сама.

[1] Мясо с острым перцем *(исп.)*.

Марион видела, что происходит, и жалела его. И вместе с тем ей было стыдно перед Ритой. Стыдно за него. Иногда она старалась не смотреть в их сторону или выходила из комнаты. Что-то должно было случиться. Однажды, когда Рита была в ванной, а он в который раз что-то там позабыл, она, будто что-то разыскивая, нагрянула туда с озабоченным и пылающим от смущения лицом. Он тотчас все понял, поднялся (он сидел на краю ванны) и вышел, тоже смутившись. Схватив в коридоре куртку, он выскочил из квартиры.

Рита вышла из ванной и скрылась в своей комнате. Она тоже поняла.

Лишь через некоторое время он опомнился и сообразил, где находится — в конце следующего квартала. Здесь все дома были похожи друг на друга, и он пошел дальше. Перед витринами с телевизорами, транзисторами и стереоустановками толпились подростки, у перекрестков тоже собиралась молодежь на мотоциклах, с железными крестами на черных кожаных куртках. Ветер гнал по асфальту обрывки газет и бумажные стаканчики. Тот, кому нужно было в такое время здесь пройти, старался проскочить отрезок от станции метро до своего дома как можно быстрее. Стекло, бетон и сырость, грязь и ветер. И только вещи, которые одни имели здесь какую-то ценность, были устроены хорошо: на бархатной обивке, в теплом освещении, любовно расставленные по местам, красиво сочетающиеся друг с другом, они демонстрировали людям свою стоимость.

Разговаривая с Ритой, Хайнц вернулся к отечески-дружескому тону, а она снова стала той маленькой девочкой, которая приносит своему папуле бутылку пива. Но, когда по вечерам она уходила, его мучило беспокойство, он места себе не находил и, рыская по кварталу, заглядывал во все забегаловки. Ведь он так и не знал, где она пропадает по вечерам.

Дискотеку он обнаружил совершенно случайно. Два парня и девушка поднимались вверх по лестнице из подвала, и из приоткрывшейся на миг двери вырвалась музыка. Только теперь ему бросилась в глаза витрина, сплошь замазанная черной краской. Он спустился по лестнице и отворил дверь.

Музыка, точно густой, вибрирующий чад, висела в низком помещении, она как бы медленно вращалась вокруг собственной оси, и аккорды басовой гитары били словно туго натянутые тросы. На танцевальном пятачке лишь несколько пар. По ту сторону светового конуса, освещавшего крохотное пространство, все тонуло в темноте. На полу пустые банки из-под пива, окурки, бумажные стаканчики. Краска на стенах местами казалась чем-то разъеденной. Большие, с виду рыхлые пятна будто фосфоресцировали на темном фоне стен.

Музыка оборвалась, послышались удары, как в кино, когда противника бьют кулаком в живот, бьют быстро, механически равномерно, но здесь это было в немыслимом темпе — соло на барабане, хроматический каскад звуков, а затем дребезжащая гитара как бы раздвинула занавес в другое пространство, где между ярко освещенными зеркалами кружились хромированные осколки снарядов.

От стойки прямо к нему направился высокий худой мужчина. Музыка смолкла. Мужчина шел, слегка наклонившись и выдвинув вперед узкое бледное лицо, которое залысины на лбу делали неестественно длинным. Он был одет в кожаную куртку с меховым воротником, казавшуюся слишком ему короткой, на руках у него были гоночные перчатки, закрывавшие лишь три четверти кисти, с прорезями на костяшках пальцев.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я только хотел...

— Вашей дочери здесь нет,— сказал мужчина.

За его спиной выросли несколько типов в джинсах и черных кожаных куртках.

— Но вы же ее не знаете.

— Разумеется, я ее знаю,— сказал мужчина серьезно.— Ее в самом деле здесь нет.

— Мы все ее знаем,— сказал один из типов. Прямо на голое тело у него была надета черная кожаная жилетка. Он был наиболее низкорослым из них, светловолосый и какой-то квадратный с виду. Он улыбался. На груди у него красовалась татуировка — красно-синий дракон, на руках — змеи.

— Вали отсюда, старикан,— сказал один из этих типов, зло и сухо.

Человек в гоночных перчатках быстро кивнул ему и улыбнулся Хайнцу.

— Ее в самом деле нет,— сказал он дружелюбно.

— Да, конечно,— сказал Хайнц и повернулся к выходу. Он искал дверную ручку не с той стороны. Мужчина сам открыл ему дверь.

На улице он глубоко вздохнул. Дверь у него за спиной опять хлопнула. Двое парней вывели под руки какого-то подростка, оттащили его подальше, потом прислонили к стене дома и кинулись назад в подвал. Юноша продержался еще несколько секунд, а затем, неестественно вывернувшись, рухнул на землю.

Хайнц подождал, стоя на другой стороне улицы. Подросток не шевелился. Тогда он повернулся и быстро пошел вниз по улице.

Парень сказал, будто знает Риту, но это, конечно, всего лишь трюк. И все-таки от мысли, что он вполне мог ее там застать, у него появилось такое ощущение, будто он стремительно падал вниз в скоростном лифте.

Несколько дней спустя ему пришла в голову простая идея, напрашивавшаяся сама собой. Вместо того чтобы разыскивать ее, он подождет внизу, подождет, пока хахаль не доставит ее домой. Тут-то он и зацапает парня.

Однажды вечером в одиннадцать ее еще не было дома, и он, схватив с вешалки куртку, спустился на лифте вниз. Примерно через час послышался треск, и возле дома остановился мотоцикл. Когда Рита спрыгнула с седла, он выступил из тени подъезда. Она тихо вскрикнула и проскользнула в двери. Он подошел к мотоциклу.

— Я подумал, не пора ли нам познакомиться,— сказал он.

Парень на мотоцикле молчал. Он сидел на тяжелом японском «судзуки», весь в черной коже, на голове красный защитный шлем. Разглядеть его лицо было невозможно.

— Я подумал, что приличия, пожалуй, требуют как-то представиться и рассказать о себе.

Парень на мотоцикле откинул забрало шлема. Его лицо и сейчас нельзя было разглядеть.

Хайнц Маттек глубоко вздохнул.

— Подонок,— сказал он.

— Я представился по всем правилам,— сказал парень.— Вашей жене.

Стало очень тихо.

— Глубоко сожалею,— донесся голос из-под шлема.

— Сопляк.

— Глубоко сожалею.

— Сопляк.

— Можно понять, почему ваша собственная жена ничем с вами не делится.

— Я тебе все кости переломаю.

— Лучше не надо, шеф.

Мотоцикл вдруг сделал рывок вперед, так что Хайнцу пришлось отпрыгнуть в сторону.

— У вас очень милая жена.

— Дерьмо.

— Ну и, конечно же, дочка. Когда она так вот разляжется в ванне, как вы ее находите, а, шеф? — Он повернул руль так, что свет фары ударил Хайнцу в лицо.— Великий кормилец.

Сделав немыслимый разворот и одновременно отключив свет, он загрохотал вниз по улице и лишь на углу снова включил фары, но Хайнц все равно не смог бы разобрать номер.

К этому времени большим достижением для него было уже и то, что он вообще более или менее регулярно появлялся на заднем дворе в Эппендорфе. Обычно Паулю достаточно было только взглянуть на него, чтобы, не говоря ни слова, сесть за руль и первые три-четыре часа вести машину самому.

Хайнц Маттек никогда не был ни особенно разговорчивым, ни молчаливым; он всегда обдумывал свои слова и иной раз довольно долго. Но теперь Хайнц Маттек стал говоруном. Жажда общения обуревала его все сильнее. Он болтал не закрывая рта. А это был весьма опасный путь: ответы собеседника не имели больше никакого значения, пустой и бессмысленный поток слов несся сам по себе помимо воли Хайнца.

А Пауль молчал. Но даже в разгар своей болтовни Хайнц слышал это молчание.

Теперь он приставал с разговорами и к клиентам. Чаевых они уже почти не получали.

Однажды, когда они обедали в какой-то закусочной, Хайнц вытащил из кармана пачку фотографий.

— Посмотри внимательно, сейчас ты кое-что увидишь. Ну как? Хороша баба, а? Вот это на тиммендорфском пляже. А это мы в Малаге. Теперь ты понимаешь, почему у меня иногда по утрам заспанные глаза? Все при ней, скажи? Ну ведь правда же баба что надо?

— Правда, правда,— сказал Пауль, разглядывая фотографии Марион.

— Так уж и быть. Смотри, какой бюст, а? И как ты думаешь, сколько лет? Ну, скажи, скажи. Ладно, я скажу тебе сам. Это Рита... А это Карстен. Смотришь на них и понимаешь, ради чего вкалываешь. Ему в жизни будет легче, чем мне. За родительской-то спиной. Ну, если серьезно, ему уже сейчас палец в рот не клади.

Он не замечал, что показывает Паулю эти фотографии уже в третий или четвертый раз.

А потом однажды Хайнц Маттек сказал:

— Я тебе все врал.

Фотографии снова лежали на столе.

— У меня дома сплошное дерьмо. Все кончено. Это я только перед тобой хорохорился.

«Да и то без толку»,— хотел сказать Пауль, но промолчал.

— Что ты так на меня смотришь? Ты что-то сказал?

— Нет,— сказал Пауль.

— Кельнер! — крикнул Хайнц Маттек.— Счет.

— Здесь расплачиваются в кассе,— сказал Пауль.

По отношению к клиентам он становился все враждебнее. С самыми дорогими антикварными вещами обходился так, будто это ящики из-под апельсинов. Паулю все труднее было заглаживать его промахи.

— Люди на нас жалуются,— сказал Пауль.

— Они жалуются на меня.

— Нет,— сказал Пауль,— они жалуются на нас.

— Да пошли они...

Таскать с ним шкафы вниз по лестнице было непросто. Он больше не старался приноровиться к товарищу. Паулю требовалось все больше усилий, чтобы хоть как-то сдерживать его нетерпение, его с трудом подавляемую злобу, его презрение к такой работе. Он всякий раз облегченно вздыхал, когда вещи более или менее невредимыми водворялись по месту назначения.

— У тебя еще силенок достанет, Пауль,— говорил Хайнц Маттек, не замечая, что Паулю приходится работать вдвое больше, чем ему самому. И по его, Хайнца, вине.

Но в один прекрасный день силенок Паулю все-таки недостало. Они почти подняли шкаф на четвертый этаж и собирались водрузить его на последнюю лестничную площадку, но тут у Пауля подвернулась нога. Хайнц уже твердо стоял на площадке, ему надо было сделать лишь несколько шажков, чтобы дать Паулю подтянуться. Но он рванул так, будто Пауль уже стоял рядом.

Шкаф поехал назад и опрокинулся на Пауля.

— Вот задница,— сказал Хайнц Маттек.

Пауля зажало между стеной и шкафом.

— Да не стой ты так,—сказал Пауль.

— Ну, великий провидец, что ты теперь скажешь?

— Быстрее же,— сказал Пауль.

— А ты просто сбрось это дерьмо вниз по лестнице,— посоветовал Хайнц.— Спихни его к чертовой матери.

Пауль тяжело хрипел, придавленный шкафом. Свет на лестничной клетке погас.

— Этакий умник,— сказал Хайнц.— Ты даже не представляешь, как действовал мне на нервы этим своим умничаньем, своей вечной болтовней.

Он включил свет, спустился на три ступеньки вниз, приподнял шкаф, который наполовину уже стоял на площадке, и с силой задвинул его на площадку.

Пауль скорчился. Он сидел на лестнице и, тяжело переводя дыхание, растирал грудь.

Хайнц ждал. Свет на лестнице еще раз погас, он снова включил его.

— Ну и черт с тобой,— сказал он вдруг и прошел мимо Пауля вниз по лестнице.

Спускался он долго. Свет на лестнице опять погас, затем хлопнула дверь.

На следующее утро он на работу не вышел.

Деньги, заработанные в последний день, ему прислали по почте на дом. Клиент сам помог Паулю дотащить шкаф до квартиры.

А потом у него снова появилась работа.

Уже вынимая конверт из почтового ящика, он знал, что в нем будет: предложение по трудоустройству, что же еще. И действительно не удивился, когда вскрыл и прочел письмо. Не теряя времени, но без спешки он оделся, поехал в фирму «Мерк-и-Зоммер» и был зачислен на работу. После этого он купил себе новую рубашку.

— Взгляни-ка, что лежит на столе,— крикнул он из ванной.— Здорово, правда? Вот видишь.

Так что ей, собственно, уже нечего было сказать, даже обнять его она не могла. А с какой радостью она бы бросилась ему на шею.

Он сообщил, что на вечер заказал столик в «Балкан-гриль». Разумеется, если у нее нет других планов. Инга и Курт тоже пришли. Он договорился с ними сразу после обеда. Пусть тогда он вел себя по-детски, но еще более по-детски было бы из-за одного такого срыва позволить разрушиться многолетней дружбе.

Он почти целый час провел в ванной и вышел оттуда в синем костюме и новой рубашке. Синий костюм он не надевал с весны.

«Вот скотина»,— подумала она.

Он по-прежнему понимал толк в еде. Сначала аперитив, потом внимательно пройтись по всему меню вплоть до мороженого с подогретой малиной и «эспрессо» с кальвадосом.

Хотя Инга и Курт пытались уйти от этого разговора, он еще раз вернулся к тому вечеру и к своему тогдашнему поведению. Теперь,

оглядываясь назад, конечно, легко говорить, что он вел себя по-детски. Но все это было не так просто. Когда он работал на грузовом такси, напарник однажды задал хитрый вопрос: считает ли он, Хайнц Маттек, себя виноватым в том, что остался без работы.

И Хайнц со всеми подробностями рассказал, как чуть было не уверовал в то, что действительно виноват. Чувство неполноценности, неуверенности в себе, сомнения: не слишком ли медленно ты работал, не слишком ли много уходило у тебя в брак и так далее. Конечно же, он знал, что его вины тут быть не может, и тем не менее реагировал именно так. Короче говоря, в то, что он знал наверняка, он не мог поверить, а то, что интуитивно чувствовал, не было подкреплено знанием. От этой раздвоенности и шла раздражительность, агрессивность.

Он снова описал тот вечер. Как его вдруг начала раздражать Куртова борода, поза Инги, как он рассказывал об автомобиле господина Кремера и как у Инги вдруг задрожал подбородок.

Он говорил с юмором, и теперь можно было весело посмеяться над этим — смеялась даже Инга. И хотя Марион тоже смеялась, ее не оставляло ощущение, что здесь что-то не так.

Но она и тут себе не поверила. Сообразив, что̀ означает бумажка на кухонном столе, она в первую минуту почувствовала не радость, а разочарование. Разочарование, страх — и лишь потом всепоглощающее облегчение. Ведь не может быть, чтобы она испытывала разочарование по поводу того, что он снова получил работу.

Так и теперь. Ведь не может быть, чтобы он лгал, говоря сейчас о себе, что он неверно анализировал свой опыт, да и описывал он все это вполне логично. И тем не менее ее тревожила манера, с какой он рассуждал о том вечере. Тревожила его манера говорить о себе. Получалось, что он был кругом неправ.

Она попыталась отвлечь его от этой темы, но поняла, что если чего и добьется, то лишь ценой испорченного настроения. Ему доставляло необъяснимое удовольствие высмеивать тогдашнего себя. Ведь теперь, когда все благополучно кончилось, его вновь следовало принимать только всерьез. И опять она спросила себя: а почему бы и нет? Чего ей еще надо? Что вообще она может возразить против этого,— да, он действительно не хочет ничего забывать и тем не менее радуется жизни, хотя и без прежней восторженности. Что она может возразить против его желания наладить отношения с Куртом и Ингой, они и в самом деле вполне безобидные люди. И вообще сегодняшний вечер прошел так удачно. Прямо как по писаному.

Он до неприличия хорошо выглядит в своем синем костюме, решила она.

И только когда они были дома, он по-настоящему сломался. Едва успел швырнуть свою одежду на стул и тут же рухнул в постель. Когда она вернулась из ванной, он уже спал.

И опять все пошло по-старому. Как и раньше, они вместе ужинали. Как и раньше, покончив с едой, он вставал и уходил в гостиную, как и раньше, кричал ей, не отрываясь от телевизора: «Захвати мне бутылку пива, Марион!»

И, как раньше, она оставалась одна у стола с грязной посудой, делала ему бутерброды на следующий день, накрывала стол к завтраку, засыпала кофе в кофеварку, так что утром ему нужно было только нажать кнопку, приготавливала ему чистое белье, переключала по его желанию телевизор на другую программу, прогоняла Карстена с его уроками из гостиной, чтобы ничто не мешало отцу спокойно наслаждаться телевизионной рекламой.

Хайнц достал бумагу и карандаш. «Сколько мы платим сейчас за электричество? Сколько стоят проездные билеты для детей, сколько мы платим за водопровод и канализацию, сколько мусорщику? А то я как-то потерял чувство реальности».

— Нам необходима новая посудомойка,— сказала Марион.

— Пока сгодится старая,— сказал он, продолжая свои подсчеты.
— Она вообще больше никуда не годится.
— И тем не менее,— сказал он, что-то вычисляя.
Это звучало как приказ.
Она бросила взгляд на его записи. Ее денег он в расчет не принимал. И ее самое тоже.
С работы они приходили примерно в одно время. Но если он тут же ложился, задрав ноги кверху, то для нее начиналась вторая смена.
«Я не выдержу»,— думала она.
— Хайнц, так дальше не пойдет,— сказала она.
— Именно,— сказал он,— ты должна бросить работу.
Ей следовало предвидеть, что однажды он это скажет.
— Ты не можешь этого требовать.
— Могу. Тогда все у нас станет как раньше.
Она вышла из комнаты. Надо спокойно все обдумать.
— Я его еще уговорю,— сказала она Ирене. Но прозвучало это не слишком уверенно.
Она ждала, но больше он к этой теме не возвращался. Работа, домашнее хозяйство, короткий сон — как белка крутилась она в этом колесе, чувствуя, что тело все больше наливается свинцом. Даже от приглашений Ирены она начала отказываться.
— Я попросту умираю,— сказала она Ирене.— Даже объяснить не могу. Постоянно темнеет в глазах.
И наконец в один прекрасный день ее осенило: он ждет. Сидит в кресле перед телевизором и ждет, когда она сломается. Все очень несложно. Вопрос ее выдержки: вопрос времени. Она встала и подошла к двери в гостиную. Ей нужно было воочию увидеть, как он сидит.
«Ну уж нет, дружок»,— подумала она.
Когда в следующий раз он крикнул из ванной:
— Где мое чистое белье? — она ответила:
— Ты и сам знаешь.
Потом как-то утром на столе не оказалось завтрака.
Он молчал.
Молчала и она.
— Мама, почему ты ничего не говоришь? — спросил Карстен.
— Ваша мать со мной не разговаривает.
— Карстен спросил меня, а не тебя.
Она по-прежнему готовила ему бутерброды, которые он уносил на работу в старой, погнутой алюминиевой коробке. Однажды вечером ей пришла в голову замечательная мысль.
Когда следующим утром Хайнц Маттек в столовой фирмы «Мерки-Зоммер» на глазах примерно двадцати товарищей по работе достал свои бутерброды, они были завернуты в тот самый соблазнительный гарнитур, который он однажды преподнес жене.
Детей она отправила ночевать к Ирене. Ей же было дано указание позвонить ровно в половине восьмого. Если никто не ответит, приехать. Если никто не откроет дверь, вызвать полицию. Она дожидалась его в кухне.
В половине восьмого позвонила Ирена.
— Ну и как, с какой стороны у тебя фонарь под глазом, с правой или с левой?
— С левой,— сказала Марион, невольно улыбнувшись.
— Я уже предвкушаю завтрашний рассказ Нойбергерши о том, какое у него было лицо, когда он достал завтрак. Ну, я пошла заниматься делами.— Муж Нойбергерши работал у «Мерка-и-Зоммера», в том же цехе.
Марион сидела на кухне и слышала, как он вошел. Ключ в замок, сумку на шкаф, шапку на вешалку, потом туда же куртку. По идее, он должен был бы сейчас пройти на кухню, но он прошел мимо, в ванную. Потом она услышала его шаги в гостиной.

— Иди же сюда! — крикнула она.

— Ты в самом деле этого хочешь?

— Да,— сказала она.

И тут он ее ударил.

— Ты должен наконец поговорить со мной! — крикнула она.

Этот вечер весь дом запомнил надолго. Разлетались на мелкие кусочки тарелки, опрокидывались стулья, хлопали двери.

— Значит, я должна уволиться?! — кричала она.— Я должна снова вернуться на кухню? Нет, ты докажи, что это надо!

Она выдернула вилку телевизора из розетки.

— Хозяин желает, и кончено? И либо я беспрекословно повинуюсь, либо валюсь с ног от усталости? Да кто ты такой? Говоришь, все должно стать как прежде? Держи карман шире. Что нас теперь связывает? Я даже не смогла тебе сказать, с кем встречается твоя дочь, потому что ты бы ни черта не понял, дубина стоеросовая!

Когда он снова вставил вилку телевизора в розетку, она сбегала на кухню и вернулась с ножом.

— Ты должен меня выслушать! — крикнула она, опять выдернула вилку и на этот раз обрезала провод.— Разве с тобой можно было поговорить? После той истории с Райсмюллершей, когда все сходилось так, что либо я заложу ее, либо меня вышвырнут, разве тогда я могла поговорить с тобой? И я должна забыть это?

Одним движением он смел с комода вазу и птицу из цветного стекла.

— Ты вынюхиваешь что-то в Ритиной комнате! — кричала она.— А как ты ведешь себя на работе? Вкалываешь сверхурочно, когда все давно уже разошлись по домам, лижешь мастеру задницу, ты просто отъявленный штрейкбрехер.

Он пошел в спальню и начал собирать чемодан.

— Ты должен меня выслушать! — кричала она.— Я не могу позвать в гости свою лучшую подругу! Хозяин, видите ли, имеет что-то против нее. И почему я должна стирать тебе белье? Почему ты сам не стираешь? Почему ты не стираешь белье мне? Почему? Почему?

Она с силой пнула чемодан, так что он упал с кровати.

— Товарищи хотят выбрать меня профсоюзным уполномоченным, а ты хочешь, чтобы я бросила работу. Да ты понимаешь, чего от меня требуешь?

Она сняла с плиты кастрюлю с супом.

— Пойди, подойди поближе, я тебя окрещу... Бросил меня одну со всеми моими заботами Ведь то, что было важно для меня, по-твоему гроша ломаного не стоило. А как ты разговаривал со Счастливчиком?

Она загородила ему выход из кухни.

— Нет, ты отсюда не уйдешь. Значит, все должно стать как раньше! — кричала она.— А что это значит, «как раньше»? Будь любезен, объясни.

Он отбросил ее от двери. Она налетела на шкаф.

— Ты должен считаться со мной,— кричала она.— Я — живой человек! Я существую!

В прихожей она оттолкнула его в сторону и выдернула ключ из замка.

— Дай сюда ключ,— сказал он.

— И почему ты не спишь со мной? — выкрикнула она.

Он взглянул на нее, и тут она ударила его по лицу.

— Прекрати Марион,— сказал он.— Я больше не могу.

Оба они уже больше не могли В одиннадцать оба лежали в постели, он в своей, она — в Ритиной Заснула она как убитая.

Несколько дней не происходило ничего особенного, потом как-то вечером он сказал:

— Я беру назад свои слова о том, что ты должна бросить работу. Больше я на этом не настаиваю.

Она подождала, но продолжения не последовало. Он вышел.

— Так,— сказала она спустя несколько дней: этот срок ей понадобился, чтобы сделать следующий шаг,— значит, ты согласен, что я остаюсь на работе. Ты даешь мне такое разрешение. Весьма благородный жест. И наверное, он тебе дорого стоил. Но мне-то что толку от этого?

Он недоуменно смотрел на нее.

— Чего же еще ты хочешь?

— Мы работаем оба. Только ты работаешь одну смену, а я две. Потому что, приходя домой, я отрабатываю вторую. Ты великодушно позволяешь мне отрабатывать две смены, но этого еще недостаточно.

— А чего же тебе надо?

— По полторы смены каждый.

— И что я должен делать?

— Готовить утром завтрак,— сухо сказала она.— В холодильнике есть все что нужно.

При желании он умел замечательно готовить. И теперь занялся этим всерьез. Приходя домой, он первым делом повязывал себе передник. Вскоре они прекрасно сработались. Ей стало чуть легче с домашними делами, но важно было не это. И не работа на складе с ее отупляющим однообразием. И даже не заработок. Важнее всего были женщины, ее товарищи по работе.

Теперь ее занимали уже не столько соленые шутки Райсмюллерши, сколько ее лицо в тот момент, когда она работала и думала, что никто за ней не наблюдает, ее рот, делавшийся маленьким и капризным. Изящную малютку Райхман Марион отнюдь не считала серой мышкой, какой та слыла или хотела слыть,— слишком уж хлесткими были реплики, которые пигалица выпаливала своим тоненьким детским голоском. Не хотела бы она быть ее мужем. А вот на толстуху Грюнхаупт, наоборот, можно было положиться, она сразу внушала симпатию, возможно из-за очков с толстыми, двухфокусными стеклами. Мистельская с виду здорово смахивала на потаскуху — из-за манеры одеваться все так ее и воспринимали, и в общем-то совершенно безосновательно.

В упаковочной секции часто возникали ссоры, они бывали двух категорий: споры на почве работы и споры, идущие извне. Марион любили еще и за то, что она умела четко их различать. Когда Мистельская жаловалась на плохую работу Дуббы, необходимо было иметь в виду, что именно сейчас от нее опять удрал очередной любовник, а когда Грюнхауптша обзывала тощую Кникремшу «старой жирной задницей», это значило одно: пора отправить Кникремшу за другой стол.

Большей частью Марион просто выслушивала. Обычно этого было достаточно. В крайнем случае она задавала два-три наводящих вопроса. Иногда волей-неволей говорила то, что думала. Мастеру, секретарю профсоюзной организации на общем собрании профсоюза, начальнику отдела на производственном собрании — этим она говорила то, что думала, всегда. Прежде она и представить себе такое не могла: встать на общем производственном собрании и выступить против начальства. Упаковочный отдел присутствовал почти в полном составе, одна только их секция занимала целых три ряда, и вдруг со всех сторон она услышала шепот: «Марион, скажи же что-нибудь, Марион, дай им прикурить». И тогда она попросила слова и встала. Руки у нее дрожали, голос срывался, но она стояла, окруженная своими коллегами, такими же работницами, как она; когда она села, они захлопали как безумные, а представитель администрации начал рисовать на бумажке человечков.

Она пользовалась популярностью и авторитетом у подруг, даже и

мастер стал относиться к ней подчеркнуто дружелюбно. Ее выдвинули в профсоюзные уполномоченные. В ней росло самосознание.

Не потому, что так говорили о ней другие, просто теперь она знала, чего хочет. А хотела она — выслушивать пожелания коллег. И еще отстаивать интересы подруг, не давать спуску мастеру и начальнику отдела. До тех пор, пока в упаковочной секции не установят вентилятор. Пока не улучшатся санитарные условия. Пока не перестанет возрастать изо дня в день общий вес распакованного товара. Пока администрация не прекратит грозить им увольнениями, и это несмотря на сверхприбыль, которую концерн опять получил в этом году.

Естественно, все руководящие посты были заняты мужчинами, и это обстоятельство немало способствовало резкости производственных споров, подогревало их требования.

В ней и правда проснулось самосознание, она стала лучше понимать себя. Она проштудировала положение о правах и обязанностях предпринимателей и производственного совета. И сумела в нем разобраться. С помощью популярного комментария, но разобралась. Какова структура профсоюза? Что означает принцип единого профсоюза? По какому принципу строятся объединения предпринимателей? Что такое тарифные переговоры? Что такое борьба рабочих за свои права?

Марион обнаружила, что может положиться на свою голову.

Газету она читала теперь, начиная с первой полосы.

И все же она чувствовала себя одинокой. Хайнц явно не одобрял происходящего, не поддерживал ее. До сих пор она всегда воспринимала семью как целое, а себя как ее часть. Сама по себе она была не так уж и важна. И Хайнц сам по себе был не так уж важен. Каждый сам по себе был не так уж важен. Оттого-то, например, и сексуальные проблемы не были столь уж важны. Удовлетворение приносило только целое — семья. Семья как некий самостоятельный мир, маленький мир внутри большого.

Материалы профсоюзной учебы она читала, когда его не было дома, или же прятала их в иллюстрированном журнале. В конце концов она стала читать в открытую, но к тому времени он уже не спрашивал, что она читает. Догадывался, конечно, но тем более не спрашивал. А ей так хотелось, чтобы он спросил.

Теперь он почти не замечал ее. Зато она внимательно наблюдала за ним.

Он в своем темно-синем костюме.

Который ему слегка узковат в плечах.

В котором он держался прямее, чем в других своих костюмах.

Он не чувствовал, что она наблюдает за ним. Он примерял костюм. Как в нем ходить, как поворачиваться, как в нем держаться. Хотя она за ним наблюдала, он был один на один с собой. Сейчас она смотрела на него иначе, чем обычно. Не с тайным бессознательным обожанием, не возводя его на пьедестал, но трезвым критическим взглядом. И все же смысл этого взгляда стал ей вдруг совершенно ясен: она хотела быть с ним. Но для этого его предстояло завоевать.

И она преисполнилась решимости завоевать своего собственного мужа.

Весь тот вечер с Куртом и Ингой она пыталась обратить на себя его внимание. Она соглашалась с ним, она с ним спорила, она прижималась к нему так тесно, как только можно,— он ничего не замечал. Ей было наплевать, что сначала Инга, а потом Курт все чаще с трудом сдерживали улыбку, что они тоже пытались помогать ей в ее усилиях. Временами это становилось даже неприлично, но он ничего не замечал.

Потому что все, о чем он говорил, было неправда. Чувство неполноценности, неуверенности в себе — это правда, только не вся. Он ведь не в одночасье стал другим — запуганным, затравленным, слабеньким человечком. В своем рассказе он принижал себя нарочно,

заставлял себя презирать, и ей это было больно. В действительности он не такой, и не таким она хотела его видеть. Разве их жизнь тогда складывалась сплошь из жалоб и ощущения собственной беспомощности? Ведь именно в то время у них кое на что раскрылись глаза, в том числе на таких вот людей, с бородками, демонстрирующими их прогрессивные убеждения. И они все-таки сумели тогда разобраться, как мало общего у них может быть с такими вот «прогрессистами».

Но потом она поняла, что и это был всего-навсего ловкий трюк. Объявляя себя, безработного, невменяемым, он тем самым снимал с себя ответственность за все, что произошло за это время. Он мог спокойно признаваться в любых грехах, не делая, однако, никаких выводов. Потому что теперь все опять было хорошо. Все как прежде.

Возвращаясь домой, она в глубине души надеялась перед сном еще выпить с ним пива и выкурить по последней сигарете. Но когда вышла из ванной, он уже спал. Она даже заплакала от разочарования. Злыми слезами.

Она злилась, что он так скоро капитулировал и принял ее ультиматум. Злилась, что он и в самом деле работал по дому так, как она требовала: каждый по полторы смены. Ее раздражал этот идиотский передник — настоящий медведь с тряпкой на животе! В то же время она злилась и на себя самое. Чего же, собственно, она хотела?

Когда в дверь позвонили, Хайнц драил ванну. Он выглянул в коридор.

— Это Ирена,— сказала она.

Он спрятал голову и закрыл за собой дверь.

Она провела Ирену в гостиную, затем отправилась к нему. Ванная была заперта.

— Открой,— сказала она.

— В сортире не дадут спокойно посидеть,— огрызнулся он.

Но все-таки открыл.

— Сними по крайней мере эту тряпку.— Она сорвала с него передник и повела в гостиную.— Нам надо с тобой поговорить... Садись.— И она закрыла за ним дверь.

— В чем дело? — спросил он.

— Сейчас узнаешь,— сказала Ирена.

Но сначала он должен сесть.

— Тут пиво и водка, сигареты тоже есть. И пожалуйста, не ори, помни, что дети спят.

— Дело вот в чем,— сказала Ирена.

— Сперва,— сказал Хайнц Маттек,— условие было такое: либо она продолжает работать, либо мы разводимся. Ладно, работай, сказал я в конце концов. Но этого оказалось недостаточно. Я работаю две смены, объяснила она, а ты одну. Хорошо, сказал я, каждый по полторы.

— Этого тоже недостаточно,— сказала Ирена.

От удивления он раскрыл рот.

— Твоя жена тебя любит.

Он рассмеялся.

— Ты простофиля! — крикнула Ирена.

— Сиди, не вставай.

И тут ему объяснили, что, оказывается, недостаточно примириться с тем, что жена тратит свои силы, распаковывая товар. Оказывается, недостаточно смириться с отсутствием в их доме настоящей семейной жизни., И недостаточно, оказывается, и того, что он, потворствуя ей в этом, тем самым подогревает создавшуюся нетерпимую ситуацию. И совершенно недостаточно, что сам он при этом становится комической фигурой. Оказывается, он ее за это должен еще и любить. И мало, что всего этого недостаточно, вдобавок это, оказывается, еще и неправильно. Видите ли, он ведет себя как турецкий паша. Он, каждый вечер подвязывающий себе передник, видите ли, использует свою

жену как прислугу. Он. уже много месяцев не спавший со своей женой, видите ли, использует ее как «сексуальный объект».

— Что это за слова? Где только ты их нахватала?

— Прекрати, Ирена,— сказала Марион.

— Брось сантименты,— сказала Ирена.— Высказывать — так уж разом.

Оказывается, все, что он делал до сих пор, и то, как он это делал, было неверно. Оказывается, что работа на складе для женщины — единственная возможность возвыситься от состояния прислуги, или рабыни, до состояния человека. Хотя, к сожалению, еще далеко не всем женщинам дозволено распаковывать товары. И что вдобавок женщины, которые распаковывают товар, получают за свой труд меньше, чем мужчины, занятые той же работой. И чтобы изменить это положение, поучали его, нужно изменить и все остальное. Только в отдаленном будущем, когда он уже будет ходить с палочкой, когда он будет долгие годы на пенсии и на горизонте будет маячить второй инфаркт, вот тогда, наверно, сложатся такие отношения между мужчиной и женщиной, которые женщину устроят. А пока, сказали ему, надо пытаться, чтобы сложились отношения, которые устроят ее хотя бы частично, и следовательно, мужчина должен включиться в борьбу за право женщины распаковывать товары. Только когда он начнет воспринимать эту проблему серьезно, он станет серьезно воспринимать и женщину вообще.

— Ну, в таком случае желаю вам приятно провести вечер,— сказал Хайнц Маттек.— Я пошел пить наше мужское пиво.

Уже в дверях он сказал Ирене:

— Теперь понятно, почему от тебя муж сбежал.

Когда на другой день Марион вернулась домой, на вешалке ее ждал конверт с запиской: «Я уехал. Буду звонить».

Хайнц Маттек представлял себе все это иначе. Еще вчера в гостиничном номере с двумя бутылками пива на ночном столике, созерцая большой подтек на потолке, он переживал небывалый подъем, наслаждался богатством вдруг раскрывшихся перед ним возможностей. Но уже на следующий день — погруженный в свои мысли, он почти доехал до дома — он стоял перед табличкой с гостиничными расценками, что висела возле его двери, и размышлял, идти обедать или нет. Он испытывал волчий голод (на этот раз ему нечем было перекусить в перерыве), однако в конце концов все-таки решил отыскать супермаркет и там купить себе что-нибудь поесть. Украдкой прошмыгнув с пакетом мимо женщины-портье в свой номер, он начал торопливо заглатывать еду прямо с бумаги. Потом пересчитал оставшиеся деньги.

Он занялся просмотром газетных объявлений о сдаче комнат. Поначалу он звонил Но, должно быть, что-то было не так в его голосе или манере говорить, потому что все меблированные комнаты в тот же миг оказывались уже сданными. Насторожился он лишь после того, как однажды его спросили, чем он занимается, и только потом отказали. С этого момента он принялся ездить по адресам. Звонил. В приоткрытые двери он видел халаты, увядшие лица, в глазах ничего, кроме спеси. Холодные, злые глаза, мерившие его с головы до ног. Он явно не принадлежал к тому сорту людей, которым с готовностью сдают комнаты.

Он все больше терял самообладание, грубил, прямо-таки нарывался на отказы и наконец отправился в район победнее. В Бармбеке ему отворила старая женщина, почти совершенно глухая. На его счастье. Она стала звать мужа. А он тем временем подавил свою злость. Когда появился муж — из таких же, как он сам, это было вид-

но с первого взгляда,— Хайнц сумел даже улыбнуться. И получил комнату.

В квартире воняло. Тошнотворно-сладковатый запах, от которого он задыхался. Как будто к его лицу прижимали старухино белье. Отворяя входную дверь, он всякий раз стискивал зубы и, стараясь не дышать, шел по коридору в свою комнату. Телевизор работал, не переставая, с пяти часов вечера и до окончания программы. Из-за того что хозяйка плохо слышала, он был включен на полную мощность, и это при открытых дверях. Под окнами его комнаты был перекресток. Стекла дрожали от проезжавших мимо тяжелых грузовиков.

Всякий раз, когда после работы он попадал в свою комнату, его охватывал жуткий страх, исчезавший лишь после того, как он выпивал три-четыре рюмки водки и бутылку пива. Так что он немедля направлялся в ближайшую пивную.

Принадлежала она некоей Рамоне Дикхут, которую все звали Мони. Около половины пятого возле стойки уже толпилась масса людей, которые возвращались с работы. Ближе к шести пивная пустела и появлялись господа в пальто из верблюжьей шерсти, с седеющими висками, с крупными перстнями и в обтрепанных брюках. Примерно в половине девятого за столиками рассаживались пожилые пары, сегодня одни, завтра другие — в зависимости от того, какая передача шла по телевизору.

Вообще-то страх жил в нем постоянно, менялась лишь интенсивность ощущения — смотря где он находился и сколько выпил. Этот страх будто засасывал его все глубже и глубже.

Слегка излечивало от этого простаивание за стойкой у Мони, ну и работа тоже. Он хватался за любые сверхурочные. И благодаря этому был у мастера на хорошем счету, товарищи же почти не замечали его, впрочем, он и сам не слишком стремился к дружеским контактам. Конни Нойбергер дважды пытался вручить ему письма от Марион, но он их не брал. У Мони он всегда сидел в углу между стеной и стойкой. Прислушивался к разговорам, а если Мони наклонялась, заглядывал в вырез ее платья; около двух, когда Мони уже готовилась закрывать свое заведение, он принимался угощать всех подряд. По субботам он отсыпался. А вечером опять шел к Мони.

Как-то утром он попал в аварию. Левое крыло, обе фары и подфарники — в лепешку. Денег на ремонт больше не было. Он снял для себя со счета ровно столько, сколько Марион зарабатывала за целый месяц. Работать становилось все труднее, процент брака возрастал, и дважды уже к нему подходил по этому поводу мастер. Теперь он не стесняясь просиживал вечерами с бутылкой пива в угловой прачечной самообслуживания. Женщины с детьми, пожилые мужчины, педерасты — их стесняться незачем. Он тупо смотрел в маленькое окошко, за которым крутилось его белье. Мони все чаще ласково похлопывала его по руке. Ганс (седеющие виски, пальто из верблюжьей шерсти, кольцо с печаткой, великий стратег) угощал его водкой. Но в разговоры его теперь втягивали все реже. Каждый раз, когда Мони поглаживала его по руке, он допивал что у него было и снова заказывал кружку пива и две рюмки водки, одну для нее. Время от времени он возвращался с работы пешком, прогулка занимала больше часа, зато для разнообразия можно было объявиться у Мони чуть позже: пусть не думает, будто у него нет выбора.

А затем Хайнц впервые в жизни совершил прогул. Произошло это во вторник. Когда он сел в постели, у него закружилась голова. Он позволил себе снова улечься. Что-то в нем стало поддаваться, он окончательно раскис. Мало-помалу он даже привык к своей комнате, к квартире, к обоим старикам. И уже совершенно спокойно пользовался тем же ножом, которым до него пользовался старик, или чашкой, из которой только что пила старуха.

Он почти ничего не ел. Одежда на нем болталась. С ним случилось самое страшное: время за работой перестало двигаться. Так было с ним уже три или четыре раза. Время будто замирало. Каждый работающий на производстве испытал хоть однажды подобное состояние. У одних оно продолжалось часами, у него стало регулярным. Это было мучительно.

Все чаще он появлялся на работе в тяжелом похмелье, и, понятно, мастер на него орал. Другое дело, что еще ни разу в жизни на Хайнца Маттека так не орали.

— По утрам у вас нужно кровь брать на алкоголь.

В таком положении Хайнц Маттек еще никогда не стоял перед начальством.

Большинство товарищей по работе считало, что тут уж ничего не поделаешь. По дороге в столовую несколько человек заслоняли его собой. Особенно заботился о нем Конни Нойбергер. Он каждый день заходил за Хайнцем.

— Пошли, бросай работу, обед.

Конни поговорил также с его сменщиком и мастером.

— Что я, не человек, что ли,— сказал мастер, увидев, что товарищи заботятся о Хайнце Маттеке.

А тот даже не заметил, что кричали на него теперь уже не так злобно. Впервые ему пришлось просить Мони записать выпивку в счет будущей получки. Он как почувствовал. Заглянул в кошелек и, к ужасу своему, обнаружил там всего одну бумажку в десять марок и немного мелочи. Это после того, как он уже выпил пять кружек пива и три рюмки водки.

— Ах вот как,— сказала Мони.— Ну-ка, давай сюда. Сколько у тебя там еще осталось?

Пришлось показать ей кошелек.

Она все еще не сказала «да».

Он высыпал содержимое кошелька на стойку.

— О'кей,— сказал он.— Ты получишь от меня еще одну марку, а десять я отдам тебе завтра.

— Оставь свои деньги при себе,— сказала Мони.

Она вернула ему кошелек.

— Нет, правда,— сказала она. И улыбнулась.— Порядок. Все ясно.

Пальто из верблюжьей шерсти во время этой процедуры стояло к нему спиной.

— Я здесь оставил не одну сотню,— сказал Хайнц.

— Успокойся,— сказала Мони.

— Все вы тут пили за мой счет,— сказал он.

— А ты за наш,— сказало верблюжье пальто, глядя на Мони.

— Не о деньгах речь,— сказал Хайнц.

— Не кипятись,— сказала Мони.— Чего тебе еще надо?

— Да мы вообще беседуем о погоде,— сказал кто-то.

— По морде, а не о погоде,— сказало верблюжье пальто.

Хайнц резко повернул его к себе.

— А ну, повтори. О чем мы беседуем?

Мони уже была возле телефона.

— Подонок,— сказал Хайнц Маттек.— Бездельник. Все вы сволочи! — заорал он.— Знаете ли вы, как я зарабатываю свои деньги? Знаете ли вы, что такое работа, мозгляки поганые? Кто вас кормит и поит? Мы ведь и за вас вкалываем. Вы же за наш счет кормитесь!

— Полиция сейчас приедет,— сказала Мони кому-то из гостей.

Хайнц Маттек вышел. На улице он расхохотался.

Через четыре дня, получив жалованье, он решил устроить себе настоящий пир. В действительности же он просто робел вернуться назад к Мони. Из упрямства он зашел в одно из тех заведений, где пол устлан коврами. Не успел он осмотреться, как подошел кельнер.

— Все занято.

— Так ведь полно свободных столиков.

Одежда его совсем обтрепалась. Только в спецовке у него еще был приличный вид.

Как-то он встретил Мони на улице.

— Хайнц, послушай, где ты пропадаешь?

Через час он снова сидел у нее.

— Представь себе, у нас чуть было не случился пожар. Из-за вентилятора. Если бы занавески были задернуты как обычно, здесь бы сейчас ничего не осталось.

— А ты бы нагрела руки.

Она взглянула ему в глаза.

— У нас на заводе тоже недавно вентилятор задымился.

— А он еще действует? — спросила Мони.

— Электрик установил новый, но старый все еще валяется.

— Мне нужен еще один,— сказала она, внимательно разглядывая кран пивной бочки.— Я застрахована на восемьдесят тысяч. Принесешь его мне?

— О'кей,— сказал он.

— За это мы сейчас выпьем,— сказала она. Она принесла две рюмки кальвадоса.— За дружбу. Забудем то, что было.

И она потерлась кончиком носа об его нос.

Теперь пивнушка наполнилась людьми, но Мони время от времени поглядывала на него.

— Съешь чего-нибудь.— Она пододвинула ему две котлеты с горчицей. А когда ушли последние клиенты, поставила перед ним еще одну кружку пива.— Ты ведь не спешишь?

Она отнесла свою и его рюмку на столик. Заперла дверь, выключила большой свет. Воздух накатывал на него медленными, ленивыми волнами, и сквозь этот воздух он видел Мони, поверхность стола тоже стала волнистой и даже контуры рюмок, голос Мони доносился откуда-то со стороны, и словно со стороны он увидел в расстегнутой блузке ее грудь, а потом словно со стороны увидел, как его подталкивают к двери.

На следующий день в обед опять зашел Конни.

— Послушай, у меня есть для тебя квартира. Теща переезжает в дом для престарелых. Это в Эппендорфе. Кегельхофштрассе.

Он воспринял это равнодушно, но Конни был полон решимости.

— Собирайся, съездим туда не откладывая,— сказал он после смены. Ключи от квартиры были у него с собой.

Это были две маленькие комнатки с кухней, туалетом и душем. Сто восемьдесят марок. Конни потащил его к старому брюзге-домовладельцу, который жил рядом. Конни знал его еще с юности. Тот дал согласие.

— Ну вот, а сейчас мы заберем твои вещи.

— Надо же,— сказал он, стоя в комнате Хайнца Маттека и озираясь по сторонам. Он помог упаковать вещи, расплатился за две недели, подтолкнул его в коридор.— Где у тебя машина? Я ее перегоню.

Он доставил его в Эппендорф на Кегельхофштрассе, проводил до самой квартиры.

Уличные фонари светили в первую комнату. Продырявленную кушетку хозяйка оставила. В шкафу Хайнц Маттек обнаружил старое стеганое одеяло. Он ляжет на кушетку прямо в одежде, снял только ботинки, натянул на себя одеяло и заснул.

В его машине лежал завернутый в старую спецовку негодный мотор от вентилятора. Через две недели после того, как он выехал из своей бармбекской комнатушки, пивная Мони сгорела, а еще через день Мони арестовали вместе с «верблюжьим пальто».

Когда Марион обнаружила на вешалке конверт с запиской, она поначалу вела себя так, будто ничего не произошло. Сняла пальто, по-

весила его на плечики (чего прежде никогда не делала), прошла на кухню, убрала в холодильник продукты, почистила овощи, приготовила ужин. И лишь за ужином сообщила новость детям.

— Кстати, отец от нас уехал.— Она рассмеялась.— Да, просто так. Забрал вещи и уехал. Куда — он не сообщил.

Она снова рассмеялась.

Но потом вдруг перешла на крик:

— Ну что вы на меня уставились? Чем я виновата? Что он делал для вас как отец? А для меня?

Карстен быстро скрылся в своей комнате, потом Рита медленно поднялась и тоже вышла.

«Надо было сказать им об этом после ужина,— подумала она, сидя за кухонным столом.— А теперь получилось, что я зря готовила».

Когда на следующее утро она рассказывала об этом Ирене (найдя конверт, она не кинулась тут же к телефону), ее опять одолел этот судорожный смех. Не нужны ей никакие утешения. Если она и смеялась, то вовсе не от огорчения — ведь этот нелепый отъезд просто смешон. Даже не верится. Быть такого не может.

— Он пишет, что позвонит,— сказала она детям.— Значит, подождем.

Но однажды вечером, когда она вернулась домой и не застала ни Карстена, ни Риты, у нее вдруг возникло ощущение, что кто-то побывал в квартире.

Она не подумала, что здесь был Хайнц (ключи ведь были только у него), она подумала: кто-то побывал в квартире.

Впрочем, горстка пепла в пустой блестящей пепельнице с таким же успехом могла быть и от ее сигареты, и сдвинуть стул могла тоже она сама. Она была, правда, уверена, что вчера вечером убрала журналы на место, но, конечно же, могла и ошибиться.

Она стояла посреди квартиры и озиралась по сторонам. Кто-то здесь побывал, думала она, и ей вдруг почудилось, что этот неведомый «кто-то» все еще тут. Она прошлась по комнатам. Осмотрела всю мебель, каждую вещь. Выдвигала ящики, открывала шкафы и комоды. Но ничего не трогала. Как будто осматривала чужую квартиру. Ей хотелось, чтоб дети скорее вернулись. И внезапно ни с того ни с сего ей представилось, что она снова сидит в совершенно темном чулане, куда ее заперла мать Ей было тогда тринадцать лет.

Наконец пришел Карстен.

Если к моменту ее возвращения дети были дома, ей бывало спокойно. По крайней мере в первый момент. Потом, глядя на них, она думала: если б вы только знали.

— Что это с тобой? — спросил ее однажды Карстен.

Кривая улыбка прочно застыла у нее на лице. Когда детей не было дома, она старалась не заходить в комнаты и сидела на кухне. Сначала она подыскивала себе занятия, устраивала стирку, готовила впрок, но потом уже просто сидела, прислушиваясь к домашним звукам. В конце концов она вообще перестала подниматься к себе в квартиру, пока в окнах не зажигался свет: бродила по улицам или просиживала в кафе-мороженом на углу.

Она поставила новый замок.

Ирена обещала никому не говорить ни слова. Но и без того люди стали что-то замечать: «Марион, да что случилось? Скажи же наконец». Потом это прекратилось. Наверное, Нойбергерша проболталась. (Или Ирена?) В молчании ее сквозило полное безразличие. Вокруг образовалась пустота. На выборах профсоюзных уполномоченных она отвела свою кандидатуру. Ее пытались уговорить, но она, казалось, ничего не слышала.

Когда она пришла в банк — вскоре после того, как установила новый замок,— ее текущий счет был закрыт.

Чек исчез в кассовом компьютере и благополучно вернулся назад, но потом чиновник вдруг насторожился, покинул свою кабину из пуленепробиваемого стекла и начал о чем-то шептаться с другой сотрудницей.

— Фрау Маттек? — Служащая отвела ее в сторону.

Когда она поняла, что случилось, внутри у нее все оборвалось. Она видела шевелящиеся губы молодой женщины, но ничего уже не слышала. Словно кто-то выключил звук, оставив на экране только изображение.

Марион видела, как молодая женщина принесла формуляры, как заполнила их и выписала чек на те последние деньги, что еще оставались у нее на счету,— постепенно слух к ней вернулся.

— Распишитесь вот здесь,— услышала она,— и здесь.

Марион указала адрес своего предприятия; женщина обещала проследить, чтобы отныне ее жалованье переводили на другой счет. Она сама подошла с чеком к кассе и получила для нее деньги, пересчитала их у нее на глазах, а на прощанье даже пожала ей руку.

Карстен больше близко ее к себе не подпускал. От малейшего упрека он ударялся в слезы. Рита теперь регулярно помогала ему готовить домашние задания. А иногда даже брала его с собой в кафе-мороженое. Марион перестала интересоваться ее собственными уроками. Она чувствовала, что дети наблюдают за ней.

Она стала ходить в другой магазин, после того как торговка овощами из угловой лавки спросила ее однажды:

— А что поделывает ваш супруг? Я так давно его не видела.

После ухода Хайнца она не убирала белье с его постели. Как-то вечером она нашла под подушкой его пижаму. Прижалась к ней лицом. И долго так сидела.

Конечно, Карстен и Рита мало-помалу привыкли к новому положению. Приспособились по мере возможности, а это значило, что время от времени, забыв обо всем, они смеялись, слушали пластинки, дурачились. Марион казалось, будто они издеваются над ней. Теперь над ней издевались уже собственные дети.

Когда вечерами они подолгу не являлись домой, она спрашивала себя, где они могут быть. Потом допытывалась у них. Но все меньше им верила. Они лгали. В конце концов она убедила себя — другого объяснения просто не могло быть,— что они встречались с ним. Это было решение загадки. Они тайно встречались с отцом.

Приглашений Ирены она давно стала избегать. Когда Ирена попыталась настаивать, она сказала:

— Только не надо ничего изображать.

А когда Ирена не поняла, добавила:

— Не трать понапрасну силы. Я не так глупа, как вы думаете. Ты можешь передать ему большой привет, и детям тоже. И бросьте ломать комедию.

Из головы у нее не шло детское воспоминание о том, как она сидела под замком в чулане. Она уже не помнила, почему мать ее заперла, запомнились почему-то лишь коричневые вельветовые брюки, которые были на ней в тот день. Тогда она почти все время носила брюки, а эти коричневые вельветовые были ее любимыми, в них она впервые ощутила себя настоящей женщиной. Должно быть, она натворила тогда что-то ужасное, вот ее и заперли.

А потом начались телефонные звонки.

Она снимала трубку, называла себя, но никто не отвечал. А через некоторое время раздавались гудки.

Телефон звонил большей частью по вечерам, после девяти, иногда даже ночью. Она не бросала трубки, хотя никто не отвечал. Она прислушивалась. Кто-то ведь был на другом конце провода. Они будто выслеживали друг друга.

— Передай ему, чтобы он это прекратил,— сказала она в конце концов Ирене.— Иначе я обращусь в полицию. И еще он должен бросить ходить за мной по пятам.

Теперь, когда звонил телефон, она не снимала трубки. Тогда на улице у нее стало возникать ощущение, будто кто-то ее преследует. Однажды ей показалось, что она его поймала. Он делал вид, что внимательно изучает витрину. Она схватила его за руку, но это оказался незнакомый человек.

Теперь она почти не выходила из квартиры, в магазины посылала Риту или Карстена. А как-то утром дети не застали ее в кухне. Марион заперлась в спальне.

Они стучали, но она только повторяла:

— Оставьте меня в покое.

В конце концов Карстену пришла в голову хорошая мысль: нужно позвонить бабушке.

Бабушка приехала вечером, из Зольтау, где она жила у своей сестры с тех пор, как овдовела. Она выслушала все подробности, потом подошла к спальне.

— Сию же минуту отопри, Марион.

Она ждала, не повторяя приказания. Наконец дверь была отперта. Она вошла и включила свет. Марион, натянув одеяло до подбородка, съежившись, сидела в изголовье.

— Теперь давай-ка ложись,— сказала мать.— У тебя озноб. Я приготовлю тебе грелку.

Она велела дочери вытянуться на постели, укрыла ее, приготовила ей грелку, а затем куриный бульон, и Марион беспрекословно позволила укрыть себя одеялом, согреть, накормить; расслабленная, обессиленная, измотанная, она была не в состоянии говорить, но уже могла улыбаться, пусть даже сквозь слезы, только теперь они текли сами собой, главное же было, что мать не отталкивала ее руку. Она могла бы лежать так долго-долго.

Пока в дверях не появился врач.

Марион приподнялась на постели. Но, поняв в чем дело, она откинула одеяло, встала и начала одеваться.

— От меня ушел муж,— сказала она врачу.— Вот и все. А вообще я вполне здорова.

Она повернулась было к матери спиной, и в эту минуту позади раздался стон. Врач оттолкнул ее в сторону. Мать с посиневшими губами свешивалась со стула.

— Помогите мне,— сказал врач.

— Это астма,— сказала Марион.

Врач пощупал пульс, измерил давление, потом достал шприц и ампулы. Марион застегивала платье. Мать тяжело дышала.

— Два дня ей нельзя вставать с постели,— сказал врач, выписывая рецепт. И уже на ходу: — А вы в самом деле себя хорошо чувствуете?

— Мне бы нужно немного отдохнуть,— сказала Марион,— и чтобы при этом кто-нибудь обо мне заботился. А теперь она лежит в постели на моем месте. И так было всегда.

Она говорила, не понижая голоса. Ей было все равно, слышит мать или нет. Потом проводила врача до двери. Молодой парень с быстрым, изучающим взглядом.

— Я сейчас приготовлю ужин,— сказала она, проходя мимо Карстена и Риты, которые молча сидели в гостиной.

Потом она прошла к матери. Раздела ее, натянула на нее ночную рубашку, уложила в постель и накрыла одеялом; дыхание у больной стало ровнее и спокойнее. Марион обращалась с ней как с деревянной куклой.

— Можно понять, почему от тебя сбежал муж,— сказала вдруг старуха.

Марион наклонилась, лицо матери было совсем рядом. Женщины поглядели друг другу в глаза.

— Я знала, что ты это скажешь,— произнесла Марион и вышла из комнаты.

После ее замужества взаимоотношения с родителями становились все более натянутыми. Когда умер отец и мать переселилась к своей сестре, эти отношения — если не считать редких праздничных визитов — практически свелись к нулю. Вот уже пятнадцать лет, как она покинула родительский дом, но, оказывается, ничего не забыла. Обида, нахлынувшая на нее при виде врача, снова пробудила ощущения той давней поры, да и сама обида эта была чем-то очень знакомым, это чувство всегда доминировало в ее взаимоотношениях с матерью и через пятнадцать лет не утратило своей горечи. Когда она вошла к матери с чашкой крепкого мясного бульона, та лежала словно в забытьи. Как часто в детстве Марион вот так же подолгу стояла перед ней, пока ее услуга не принималась наконец из милости. И теперь тоже. С чувством облегчения Марион помогла матери сесть на постели. Благодарно подложила ей под спину еще одну подушку.

Но, вернувшись на кухню, в бессильной ярости скомкала носовой платок. И почему она не могла просто рассмеяться старухе в лицо? Почему не могла просто оставить ее лежать до тех пор, пока та сама не поднимется? Однако уже в тот момент, когда Марион клялась не идти у матери на поводу, она знала, что все равно тут же побежит к ней в комнату, и так оно и случилось.

Тем временем старуха повеселела.

— Девочка моя, я снова причинила тебе столько хлопот, но ты выглядишь великолепно, поди-ка сюда, мне нужно кое-что тебе рассказать.

И Марион подошла, села рядом, улыбнулась, послушно разрешила похлопать себя по руке, она снова была хорошей девочкой из своего детства, маленькой девочкой в плиссированной юбочке, гордостью своей мамули, ее опорой и единственным утешением.

Внезапно Марион поднялась.

— Скажи, пожалуйста, ты еще не забыла, зачем сюда приехала?

Конечно, она не ждала ответа. Взгляд матери сказал ей достаточно.

Она вышла. Ее душили слезы. Как она ненавидела эти плиссированные юбочки! И как презирала тогда своих школьных подруг в их разноцветных юбках и блузках, с прическами, похожими на лошадиные хвосты, весь этот шумный хихикающий курятник, среди которого она так выделялась — в вельветовых брюках, худая, коротко подстриженная, с вечно поцарапанными грязными руками, карманы битком набиты какими-то бечевками, винтиками, перочинными ножичками и другими необходимыми вещами.

Она решила лечь спать. И, долго борясь с собой, размышляла, заходить к матери или нет, наконец сдалась и вошла в спальню. У матери был как раз новый приступ астмы.

— Ах, оставь,— услышала она.— Все образуется. Когда-нибудь это ведь должно случиться в последний раз.

Она перенесла свою постель на кушетку в гостиную.

«Все верно, когда-нибудь это и в самом деле должно случиться в последний раз»,— с ожесточением подумала она.

Астма началась, когда Марион было лет тринадцать. Это было время, которое ей после еще долго ставили в упрек. В иные минуты у матери хватало совести связывать свою астму с тогдашним поведением дочери. Однако даже врач не принимал эти измышления всерьез. Впрочем, если поступки близких могли вызвать у человека астму, то следовало бы — так считала Марион — на всякий случай проанализировать и поведение отца, который в ту пору нередко возвращался домой очень поздно, а несколько раз не приходил совсем.

Она так и не узнала, что именно происходило тогда в семье, в любом случае не понимала, что конкретно можно было поставить ей, Марион, в вину.

Жили они тогда возле станции метро Латтенкамп. Напротив был городской пляж, рядом Хайнпарк, где Альстер, еще не соединившись с главным своим притоком, разливался озером. За пляжем был расположен большой дровяной склад, неподалеку находились причалы и лодочные верфи, позади — мельничный пруд, питаемый Тарпенбеком, устремлявшимся после Борстеля к морю сквозь путаницу мелких садовых участков,— огромная, многоликая городская окраина, которую они всей ватагой излазили вдоль и поперек, всякий раз открывая для себя заново. Было бы преувеличением сказать, что она была вожаком, им был, конечно, один из парней, но она принадлежала к самому избранному кругу. Ее школьные подруги — многие в то время уже делали химическую завивку — посмеивались над ней. Она же, в свою очередь, смеялась над теми, кто не способен был разобрать велосипедную передачу, промыть как следует все детали и собрать снова. Мать считала Марион умственно отсталой. Но сама Марион не сомневалась, что намного опережает в развитии своих подруг.

Было время, она даже заткнула за пояс Данни и Бернда, вожаков их шайки. Собственно, на почве того, как лучше прочистить карбюратор мотоцикла, она и познакомилась тогда с Антоном. Антон — это значило бесплатные билеты на игры футбольной команды «Винтерхуде», прогулки на каноэ по каналам в верховьях Альстера и еще пневматическое ружье. Антон — это значило стратегический рывок вперед по сравнению со всей борстельской шайкой. В то время как Бернд и Данни уже не могли придумать ничего нового, Марион вынашивала головокружительные планы: обход с флангов основных соединений противника (используя каноэ), лишение противника свободы маневра в районе шоколадной фабрики «Пеа» и одновременно захват его опорного пункта (лесной хижины) в районе Большого Борстеля (на мотоцикле), непрерывное наращивание огневой мощи (с помощью рогаток, серийное производство которых Антон наладил из бетонной арматуры). А кроме того, Антон еще умел пришить оторванную подметку, залатать кожаные шорты и решить уравнение на тройное правило.

Антон Павелчик был каменщик, он играл защитником во втором составе команды «Винтерхуде», обладал наряду со множеством почти немыслимых талантов такими уже упомянутыми сокровищами, как мотоцикл, каноэ и пневматическое ружье, к тому же он еще выращивал кроликов на небольшом садовом участке, примыкавшем к его расположенной на первом этаже старого дома двухкомнатной квартирке. Марион Антон Павелчик казался пожилым мужчиной, на самом же деле ему было двадцать четыре года. Антон был довольно неповоротлив как на футбольном поле (там он компенсировал это необычайно сильным ударом), так и на традиционных спортивных праздниках. Коротконогий, с необычайно развитым торсом и сметливыми поросячьими глазками на толстом краснощеком лице, он ничем не мог отразить насмешки девушек или глупые шутки товарищей, разве только улыбкой, всегда добродушной и слегка смущенной, так что никто не мог сказать наверняка, смеется ли он над самим собой или же над теми, кто его поддразнивал.

Марион не знала этой улыбки. Зато она хорошо знала тот сосредоточенный жест, каким он откладывал на край стола наполовину выкуренную сигарету (он крутил их себе сам), и то выражение лица, с каким он склонялся над схемой радиоприемника, который должен был починить. Она не замечала, как его отодвигали на задний план на групповых фотографиях спортивного общества, зато замечала его умение быстро выхватить из клетки кролика, да так, чтобы среди животных не поднялась паника, его руки с известкой под ногтями. Она

бы не поняла хихикания девушек в его адрес. В ее глазах это был настоящий мужчина — пахнущий потом, бензином и машинным маслом, неотделимый от бесшумного скольжения каноэ, от возбуждения игры и отчаянных криков болельщиков, от бьющего в лицо ветра, быстрой езды и сладковатого запаха крольчатины.

Она бы не поняла, если бы ей сказали, что такой человек есть, как правило, в каждом квартале, он проводит больше времени с детьми, нежели со сверстниками, он как будто бы и не собирается взрослеть, и, когда обнаруживается, что кто-то приставал к двенадцатилетней девочке или поступают жалобы на эксгибициониста в городском парке, полицейский комиссар первым делом вспоминает о нем. Она видела лишь ту сосредоточенность, с какой он налаживал рогатку или прибивал сломанный каблук, его улыбку, когда он придерживал каноэ, чтобы она могла туда прыгнуть.

Она, как и все, видела, что он очень одинок, в ее глазах это возвышало его над другими. Он ни от кого не зависел. Он был Робинзоном. Он сам гладил себе рубашки и даже умел готовить.

Она приходила к нему, когда хотела, и уходила, когда хотела. Иногда он открывал ей дверь, иногда нет (может, его в это время действительно не было дома). Говорил он так, как говорят в Рурской области — быстро и слегка нараспев. Но иногда, глядя, как он стоит у кухонного стола с дымящейся сигаретой на нижней губе, прищурив глаза, и мелко крошит лук, она спрашивала себя, сознает ли Антон Павелчик вообще, что она девушка. Его всегдашняя готовность отвезти в Грос-Борстель кого угодно — Данни, Бернда, ее — стала раздражать Марион.

Родители Марион даже не подозревали о существовании некоего Антона Павелчика. Знали только, что ее алиби зачастую не выдерживало внимательной проверки. И все же это не могло быть истинной причиной того, что случилось однажды вечером. Отец читал за кухонным столом газету, она подошла к нему сзади и обняла за шею, чтобы читать вместе. Они часто так читали газету. Как вдруг ее схватили за плечо и отшвырнули в сторону. Она налетела на кухонный шкаф.

— Отмой прежде свои лапы. И оденься в конце концов приличнo. — И к отцу: — А с твоей стороны я тоже этого дольше не потерплю.

Она еще никогда не видела свою мать такой. Мать буквально задыхалась от злости.

— Оставь ребенка в покое,— закричал отец. — Какое она имеет к этому отношение?

Он вскочил. В первый раз она слышала, как отец кричит.

Ее отправили спать. Она не понимала, в чем провинилась. Но куда больше занимал ее вопрос, что же произошло между родителями. Ведь что-то явно происходило. И уже давно. А она ничего не замечала. Она попыталась заснуть. В ней зрел смутный, неопределенный страх.

К ней придирались из-за мелочей. Грязные туфли, состояние ногтей, волос. Поздно пришла домой. Начнешь следить за обувью — цепляются к пятну на брюках. Примешься чаще мыть руки — отругают за дырку на чулке. Мать раздражали не столько отдельные ее прегрешения, сколько она сама вообще.

Но бывало и так, что после очередной придирки мать кидалась ей на шею. Как правило, это случалось в присутствии отца. Тогда она привлекала дочь к себе с таким видом, будто вырывала ее из его объятий. То, что она при этом говорила, относилось в первую очередь к отцу.

А он упорно отмалчивался, погруженный в чтение газеты или сосредоточенно поглощая отбивную. Вот тогда-то и начались приступы астмы. Мать была высокая, сухопарая женщина. Когда начина-

лись приступы, Марион держала ее за руку, сначала просто из страха, потом оцепенев от беспомощности. Она научилась ненавидеть этот огромный умоляющий рот, жадно хватающий воздух, эту вечно алчущую разверстую дыру.

Надзор за Марион усилился. Дело было уже не в оторванных пуговицах, дело было в вопросе «где ты была?». Она научилась придумывать себе алиби, сперва в ходе игры, затем впрок и наконец заготовила их на любой случай. Все чаще она отказывалась выходить на улицу: это становилось слишком сложно.

Как-то раз мать снова набросилась на нее:

— Где ты была?

Марион продемонстрировала ей продуктовую сумку:

— Ты же сама послала меня в магазин.

Она увидела, как мать испугалась.

Главной мишенью для нападок были ее брюки. Ей, дескать, гораздо больше подходит юбка. Временами она подчинялась. Но юбка сидела на ней так нелепо, как будто она напялила ее ради маскарада.

Отец смущенно отмалчивался. Он старался не подходить к ней в присутствии матери. Однажды, когда она по привычке обняла его сзади за шею и стала читать вместе с ним газету, он, заслышав шаги жены, быстро снял с плеч ее руки.

Забежать к Антону — поначалу это было для нее все равно что глотнуть свежего воздуха, увидеть солнечный свет после долгих сумерек.

Тем не менее она стала теперь все чаще уклоняться от этих визитов, хотя потом, вернувшись домой, так и не могла понять, почему не зашла. Ребят из своей шайки она тоже стала избегать. Бродила по окрестностям одна. Раз вечером она заблудилась. Был уже восьмой час, и вдруг она обнаружила, что не знает, где находится. Улицы были пустынны, а те немногие прохожие, что попадались навстречу, приобретали все более угрожающий вид. Вместо того чтобы спросить у них дорогу, она перебегала на другую сторону улицы. Телефона у родителей тогда еще не было. Все дальше углублялась она в район Бармбека. Только около десяти добралась до дому, насквозь промокшая и забрызганная грязью.

Лежа наконец-то в постели и дрожа от холода, она дала себе зарок молчания. Но выдержала лишь до следующего вечера. А потом вдруг спросила у матери, что ей надеть завтра утром. И уже надев злополучную юбку, горько заплакала от унижения.

А вот мать могла не разговаривать с нею неделями.

— Скажи же хоть что-нибудь. Пожалуйста. Ну, чем я виновата?

В такие минуты она презирала себя, но мученье было слишком велико.

Зная, что мать не выносит короткой стрижки, она отпустила волосы. Но потом, когда волосы уже были до плеч, зашла в парикмахерскую и опять коротко подстриглась. После этого мать не разговаривала с ней четыре дня.

Теперь, когда она встречалась с Берндом и Данни, им было больше не о чем говорить. Все смущались. И смущение день ото дня росло. Она решила официально объявить обоим о своем выходе из шайки. Но в общем-то это было уже ни к чему и показалось бы просто смешно. Она вдруг вспомнила, как оба они временами ухмылялись, когда она рассказывала об Антоне. И теперь только начала понимать, что означала эта ухмылка.

Антон Павелчик тоже изменился. На лице у него все чаще появлялась смущенная кривая усмешка, какой прежде Марион не знала. Антон Павелчик суетился возле мотоцикла, тщательно протирая его. Раньше она бы предложила ему свою помощь, теперь же только наблюдала. Паузы в разговоре становились все длиннее. Он бестолково драил свой мотоцикл. Его улыбка делалась все беспомощнее. Она

резко повернулась и пошла прочь. Она не могла понять, что с ним происходит. Казалось, все сошли с ума.

Ненависть к школьным подружкам росла, особенно к Эльке и Сигрид. У Эльке уже был перманент. Марион готова была заорать во весь голос, замечая улыбку, которой они обменивались при ее появлении в классе. Она больше не отваживалась на короткую мальчишескую стрижку. Волосы отрастали, и она не могла больше сопротивляться этому.

Как-то раз она зашла к Антону уже зимой. Он собирался забить кролика, и она заставила себя присутствовать при этом. Она видела, как Антон перенес кролика на летний столик во дворе, видела, как животное вздрогнуло от удара по затылку, видела, как Антон приставил нож к кроличьей шее и как кровь текла у него по рукам, видела, как он повесил кроличью тушку за задние лапы на двух проволочных петлях, укрепленных на поперечной балке ворот, видела, как он освежевал голубоватую тушку. Тушка казалась какой-то чужой, ничего общего не имеющей с убитым кроликом, разве только черные глаза-бусинки, уже подернутые матовой пленкой, глаза, которые Антон быстрым движением вынул из глазниц. Он взмахнул ножом, и внутренности, голубые и красные, выскользнули ему на руку, а потом шлепнулись в ведро. Выпотрошенная, полая тушка покачивалась на проволоке, и только задние лапы, с которых еще не была содрана шкура, слабо напоминали что-то, но этого воспоминания было уже недостаточно, чтобы увидеть того кролика, которым все это когда-то было,— тут уж не могла помочь ни шкура, походившая на вывернутую наизнанку муфту, ни дымящаяся красно-голубая кожа.

Она сама удивилась, насколько все это оставило ее равнодушной, даже страха не вызвало. Дело было еще и в спокойной деловитости Антона, придававшей самому процессу убийства нечто от ласковой неизбежности. Над промерзшим двором стояло маленькое белое солнце. На Марион было новое зимнее пальто, и из-за этого она вынуждена была держаться на расстоянии. Антон не смел подать ей руку. Оба они знали, что больше она не придет.

Весной она в первый раз завила волосы, да и во всем остальном она была теперь педантичной, чистенькой девушкой. Правда, по-прежнему много гуляла одна. И как-то раз у мельничного пруда снова повстречала Антона. Она сидела на берегу, глядя на воду, когда Антон бесшумно, как во сне, вдруг появился перед ней в своем каноэ.

— Прыгай сюда,— сказал Антон.

Он был голый по пояс, плечи уже слегка загорели. Ей бросились в глаза набухшие вены у него на руках. Она вскочила. Антон рассмеялся.

Марион прошла несколько шагов вдоль берега, но одним сильным ударом весла он снова нагнал ее.

— Прыгай.

Повисшие над самой водой ветви прибрежной ивы отливали серебром, и с другого берега это, наверное, выглядело красиво: мужчина в лодке преследует девушку в светлом платье, она останавливается, он что-то говорит ей, она, мотнув головой, идет дальше, а он продолжает плыть рядом с нею, вдруг она резко сворачивает в сторону и начинает карабкаться вверх по склону. И он долго смотрит ей вслед, а потом сильными ударами весла отгоняет лодку на середину озера.

Летом она была уже лучшей подругой Эльке и Сигрид, подхихикивала вместе с ними над Берндом и Данни, над другими рохлями из их класса и вместе с остальными девчонками торчала на углу возле кафе-мороженого. А напротив, на другой стороне улицы,— молодые люди с мотороллерами марки «веспа», с прическами под Элвиса Пресли.

Между родителями, похоже, все как-то утряслось, и, если бы ее сейчас спросили, кто у нее лучшая подруга, она бы ответила точно так же, как многие ее одноклассницы: моя мать. Она очень нуждалась в дружеской поддержке и, не отдавая себе в этом отчета, была даже рада, что приступы астмы давали ей возможность выразить чувства, которые она к матери испытывала.

— В старости ты будешь за мной ухаживать,— часто повторяла мать.

С отцом у нее установились теперь отношения шутливой нежности. Они будто бы то и дело подмигивали друг другу, большей частью, разумеется, при виде матери. Так Марион было проще добиваться всего, чего она хотела. Если же он говорил «нет», возвращаться к просьбе не имело смысла. У мужчин всегда так. Основания для недовольства у матери появились лишь тогда, когда она уже пошла учиться на стенографистку.

И все же Марион так и не смогла объяснить себе, за что ее заперли тогда в темной каморке, среди старого хлама, в ее любимых вельветовых джинсах.

Мать приехала в пятницу, в воскресенье поздно вечером Марион положила ей на ночной столик записку. «Мне нужно идти на работу, детям в школу. Еда на плите. Мы будем около четырех».

Когда она вернулась домой, старухи не было. Она не оставила даже записки.

В квартире у Ирены тоже стали раздаваться телефонные звонки. Естественно, она сразу поняла, кто это молчит, а потом вешает трубку. У Нойбергерши она раздобыла адрес и отправилась туда. Открыла ей маленькая девочка лет пяти. Она вошла вслед за ней в квартиру. Хайнц Маттек стоял у плиты и готовил себе еду.

— Мириам,— сказал он,— выйди-ка в другую комнату. Нам нужно поговорить.

Он предложил Ирене сесть, смахнув со стула какой-то хлам. Ирена оглядела кухню и соседнюю комнату, увидела беспорядок, грязь, убожество оставшейся случайной мебели, и все, что она собиралась ему сказать, вдруг показалось ей бессмысленным и глупым.

Они взглянули друг на друга. Он ждал.

— Послушай, мне лучше уйти,— проговорила она. — То, что я хотела сказать, не так уж важно. Позволь мне уйти.

Он понял. Проводил ее в коридор.

У входной двери стояла Мириам.

— Теперь ты можешь снова зайти,— сказал он.

Мириам жила в квартире напротив, у своей бабушки. Отца у нее не было, а мать была любовницей владельца аттракциона «американские горы». Ее мишку звали Рац.

Вынимая на следующее утро почту, Хайнц Маттек обнаружил в ящике записку, которую Ирена, должно быть, опустила туда вчера вечером: «На всякий случай мой номер телефона. Позвони, если я смогу чем-нибудь тебе помочь».

Мало-помалу он начал понимать, что помочь ему должен не кто-то посторонний, а он сам. И однажды вечером, заметив на другой стороне улицы телефонную будку, он тут же направился туда и зашел в пивную, которая оказалась рядом.

В пивной никого не было, кроме хозяина и двух мужчин, сидевших возле стойки. Тот, что пониже ростом, рассказывал что-то насчет ящика, который его теща отправила багажом из Бад-Швартау и который они с другом получили и только что отволокли по лестнице домой,— огромный деревянный ящик.

— Кружку пива,— сказал Хайнц Маттек. — И рюмку водки.

Коротышка взглянул в его сторону.

— Ну и как же с ящиком? — спросил другой.

— Большую рюмку, пожалуйста,— сказал Хайнц Маттек.

Хозяин поставил рюмку на место и достал побольше.

— Значит, дотащили мы эту штуку аккурат до первой лестничной площадки,— сказал коротышка.

— Еще что-нибудь? — спросил хозяин.

Хайнц Маттек снова положил руки на стойку.

— Вот ваши сигареты,— сказал хозяин, поставил кружку пива рядом с рюмкой водки и снова отошел к тем двоим.

— Из Бад-Швартау, стало быть, ящик,— сказал коротышка.

— У вас не найдется мелочи позвонить по телефону? — спросил Хайнц Маттек.

Хозяин снова поднялся, подошел к кассе и принес две монетки.

— Ну, значит, втащили вы его по лестнице,— сказал длинный.

— Во-во. И тут он как вырвется у него из рук!

Хайнц Маттек вышел.

Когда он вошел, в пивной было тихо.

— У меня пропали монеты,— сказал он.

Хозяин встал и принес ему из кассы еще две.

Хайнц Маттек допил свою водку и вышел.

Когда он снова вошел, все трое уставились на него.

Он улыбнулся.

— Занято,— сказал он. — Чертова погода, а?

И тут он увидел две монеты, которые все еще лежали возле его кружки пива.

— Стало быть, ящик вырвался у него из рук и поехал вниз по лестнице.

Хайнц Маттек взял монеты и вышел.

— Ну и как? — спросил хозяин, когда он опять вошел.

Хайнц Маттек положил монеты на стойку.

— Не получается,— сказал он.

— Давай я ей позвоню,— сказал хозяин.

Хайнц Маттек покачал головой.

— Мне такое не впервой делать,— продолжал тот.

— Ну, стало быть, ящик сорвался и поехал по лестнице вниз.

— Слушай,— сказал длинный,— скажи нам, что было внутри, и конец. Я больше не вынесу.

— Получите с меня,— сказал Хайнц Маттек.

Через несколько дней Ирене позвонили. Но это был не Хайнц, звонили из полицейского участка возле рынка в Винтерхуде.

— Тут у нас один в бессознательном состоянии. Единственное, что мы у него обнаружили, это записка с вашим телефоном.

Потом последовали приметы.

— Я сейчас приеду,— сказала Ирена.

Хайнц Маттек лежал на нарах лицом вниз. Полицейский остался в дверях, внутрь он заходить не пожелал, из-за вони. Переведя две пачки бумажных носовых платков, Ирена кое-как вытерла Хайнцу Маттеку с лица и одежды остатки рвоты.

Ей повезло. Шофер такси, заказанного ею по телефону, не уехал тут же, когда увидел, как она вместе с полицейским тащит Хайнца Маттека вниз по лестнице. Молодой человек даже помог ей потом довести его до квартиры. Посреди комнаты они осторожно отпустили его. Хайнц Маттек стоял на ногах.

— Садитесь,— сказала Ирена. Она искала в сумочке деньги.— Хотите выпить?.. За ваше здоровье, спасибо, что довезли. Не каждый бы это сделал.

— У меня это все равно была последняя поездка,— сказал молодой человек.

— А вы совсем не похожи на таксиста,— сказала Ирена.

— Я защищался по проблемам физики плазмы,— сказал молодой человек.

Ирена сняла пальто и налила еще.

— А ваш муж так и будет стоять?

— Что ж, он стоит достаточно твердо,— сказала Ирена. — Кстати, это муж моей подруги.

Хайнц Маттек ничего не слышал, ничего не видел, но он стоял. Если бы кто-то дотронулся до него хоть мизинцем, он бы тут же рухнул. А так ему не оставалось ничего другого, только стоять. И он стоял со всей сосредоточенностью, на какую только был способен. Время от времени его сотрясала жестокая дрожь. Но он стоял. И улыбался.

— Маленькая сучка,— сказал он, чем-то довольный.

— Ну вот видите,— сказала Ирена.

Полицейский ухмыльнулся, передавая ей записку с телефоном. Бумажка была сплошь покрыта скабрезными рисунками.

Вдруг Хайнц Маттек начал раскачиваться. Взад и вперед. Сначала незаметно, а потом все сильнее. Улыбка с его лица исчезла. Он выглядел озабоченно. И чем сильнее он раскачивался, тем озабоченнее становилось выражение его лица. При этом он еще ухитрялся извергать непристойности.

Молодой человек сидел на краешке кресла, в любую минуту готовый к прыжку.

— О ком это он тут говорил? — спросил он.

— Обо мне,— сказала Ирена.

Хайнц Маттек потел от натуги. Амплитуда его колебаний приняла уже угрожающий характер. Он работал. Потом, достигнув высшей точки, колебания вдруг пошли на спад. И по мере того как они уменьшались, улыбка возвращалась на лицо Хайнца Маттека. В конце концов он снова стоял спокойно. Довольный, он громко икнул.

Физик-таксист внимательно разглядывал свою сигарету.

— Как жаль, что это муж моей лучшей подруги,— мечтательно сказала Ирена.

— Да вы только послушайте, что он несет,— сказал кандидат наук.

— Ты ничего в этом не понимаешь,— сказала Ирена.

Хайнц Маттек был вполне доволен собой. Он стоял. Стоял почти что без усилий. Стоял прямо-таки виртуозно. Легкие колебания тела он небрежно корректировал рукой.

— Они навалились со всех сторон. Повисли на мне все сразу. Кусались. Кругом облепили.

— С этим ты справишься, Хайнц,— сказала Ирена.

Вдруг его снова повело. Он улыбнулся на голос Ирены.

— С этим я справлюсь,— сказал он.

И бешено замахал руками.

— С этим я справлюсь,— сказал Хайнц Маттек.

Внезапно он стал серьезен. Будто увидел, как что-то на него надвигается. И, выпрямившись, словно оловянный солдатик, и уже совершенно не управляя своим телом, он с грохотом рухнул вперед.

Они попытались втащить его на кушетку. Но у физика-таксиста сил оказалось примерно столько же, сколько у Ирены. Тогда они просто отволокли Хайнца Маттека в угол комнаты и прикрыли его одеялом. Таксист собрался уходить.

— А может, выпьете еще со мной? — предложила Ирена.

— С удовольствием,— ответил физик-таксист.

Она снова встретила Хайнца Маттека через неделю, когда возвращалась от Марион. Он стоял на площадке для автомашин и смотрел вверх, на три освещенных окна. Ее он заметил, лишь когда она схватила его за руку.

— Хайнц,— сказала она. — Ты не должен этого делать. — Она отвела его в сторону и продолжала: — Мы все-таки выдвинули Марион в уполномоченные. А еще она купила себе машину. Одно время ей казалось, что между мной и тобой что-то есть. Но теперь она с этим разделалась. Ты понял? Она с этим разделалась. Она ждет тебя.

Как-то в субботу вечером Хайнц Маттек позвонил в дверь к Паулю. Открыла его жена. Он назвался. Нельзя ли ему поговорить с Паулем? Она оглядела его с ног до головы, потом до нее дошло.

— Убирайтесь,— сказала она. — Я же вам говорю, убирайтесь.

Но Хайнц Маттек не двигался с места. Когда она хотела захлопнуть дверь, он поставил на порог ногу. В конце коридора появился Пауль.

— Можно мне войти? — сказал Хайнц Маттек.

Пауль не отвечал.

— Впусти его,— сказал он наконец.

— Но он же отравит нам весь вечер.

— Впусти его,— повторил Пауль.

— Впустить эту скотину к себе в дом? Вы слышали, это я о вас сказала.

— Да,— кивнул Хайнц Маттек.

— Кристель,— сказал Пауль,— прекрати.

Секунду она помедлила; и Хайнц Маттек, воспользовавшись ее нерешительностью, вошел в коридор.

— Вон отсюда,— прошипела она.

— Закрой дверь,— сказал Пауль. — Совсем незачем, чтобы это слышал весь дом.

Хайнц Маттек ждал.

— Я вызову полицию.

Пауль прошел мимо нее и сам закрыл дверь.

— Чего вы от нас хотите? — взвизгнула женщина.

— Так разговаривать я не могу,— сказал Хайнц Маттек.

Пауль повел его в гостиную.

— А мне, значит, отправиться погулять с детьми?

— Нет,— сказал Хайнц Маттек.

— Что?

— Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали.

Пауль рассмеялся.

— Ну тогда присядь, Кристель.

На улице уже стемнело, когда Хайнц Маттек от них ушел, но идти домой ему совсем не хотелось. Была уже поздняя ночь, когда где-то далеко в Бармбеке он, пошатываясь, вышел из пивной и прислонился к фонарю. С большим душевным подъемом он двинулся к дому, сказав (фонарным столбам, а также прохожим, а может быть, просто в воздух, скоплению облаков, тихо или громко, вслух или про себя):

— Ох и хитер!

Укрыться от всех, ох и хитер! Она не говорит, где же он спрятался, она ищет его в своих мыслях. Но не находит, тут она пугается. Но уже не в силах остановиться, все ищет его в мыслях, хотя и хочет забыть о нем — и тут она становится совсем маленькой. Ох и хитер же ты! Хуже ты ей ничего не можешь сделать. Ну и дерьмо же ты.

А кем же он себя видит? Одиноким Волком!

Старуха на автобусной остановке в ужасе прижала к себе сумку.

— Одинокий Волк, бабуля. Одиноко рыскающий по округе, окруженный ореолом тайны: страсть как интересно.

— Я позову полицию! — крикнула старуха.

— У Одинокого Волка неважно с адресом. Его имени нет в теле-

фонной книге. Одинокий Волк одинок. И желает, чтобы все знали, как Волк одинок.

— Ты ведь тоже дитя господне! — воскликнула старуха.

— Потому что когда все знают, что Одинокий Волк одинок, тогда Одинокий Волк уже больше не одинок.

— У меня в самом деле нечего взять,— сказала старуха.

— Одинокий Волк — это довольно странная птица.

— А вот этого не может быть,— сказал чей-то голос.

— Почему? — удивился Хайнц Маттек.

— Волк — это не птица.

Хайнц Маттек задумался.

— Логично,— сказал Хайнц Маттек. — А ты кем хочешь быть, волком или птицей? — спросил Хайнц Маттек у голоса.

— Птицей,— ответил голос.

— Я тоже,— сказал Хайнц Маттек.

— Что это? — спросила Мириам, зайдя к нему как-то поиграть.

Хайнц Маттек купил себе рыболовные снасти. Еще мальчишкой он мечтал о спиннинге и, когда пошел в ученье, мог бы сто раз уже накопить нужную сумму, но всякий раз что-то другое оказывалось важнее и полезнее. А сейчас, после обеда, он встал с постели, снова оделся, поехал в город и купил себе спиннинговые снасти.

Когда в магазине увидели, что он ничего не смыслит в рыбной ловле, ему попытались всучить так называемый «комплект отпускника», набор для ловли спиннингом и сеть для ловли на глубине, где попадается и более крупная рыба. В таком случае он стал бы обладателем пластмассового удилища, инерционной катушки, блесны, двух поплавков, коробки свинцовых грузил, десятка крючков и ста метров лески, все упаковано в специальную сумку, общая стоимость пятьдесят девять марок пятьдесят пфеннигов.

Он, однако, упорно отстаивал более прочное, цельное удилище с тонкими стальными кольцами, с ручкой из прессованной пробки, с отвинчивающимся металлическим креплением для зажима катушки, с пластмассовым тюльпаном вверху и соединительной металлической втулкой — надежное удилище для всех способов рыбной ловли, универсальное в употреблении. Длина — двести сорок сантиметров. Вес — пятьсот пятьдесят граммов. Вес блесны — от тридцати до шестидесяти граммов. Тридцать марок пятьдесят пфеннигов.

И еще катушка «Бальцер-Митчелл-900», отличный механизм с переключением на быстрый ход, с трещоткой холостого хода, с запасной шпулькой для быстрого перехода на другой вид блесны, хромированный держатель для лески, крутящийся сердечник для намотки лески, тоже весь хромированный, рукоятку можно было отвинчивать и складывать при транспортировке, основная шпулька с тонко отрегулированным тормозом, передаточное отношение 1 : 5, вес 390 граммов. Рекомендуемая длина лески — двести — двести восемьдесят пять метров сечением 0,3 мм. Благодаря гибкой системе переключения особенно подходит для ловли крупной рыбы. Отделка серая с серебром. С футляром, смазкой и протиркой для катушки всего сто двадцать четыре марки.

Он взял еще чехол для удилища, садок для мелкой рыбешки и только тогда поспешил домой.

— Можно мне тоже потрогать? — сказала Мириам.

Сначала покрутила катушку. Она так красиво трещит. Потом подержала все вместе. Обеими руками. И помахала. Как кнутом. Хайнц Маттек смеялся. Как сумасшедший. Он потянул на себя леску, позволил схватившей блесну рыбе снова отплыть в сторону, потом еще раз подсек добычу. У них на крючке была крупная рыбина. Щука, старая, хитрющая разбойница. Это было серьезное сражение. И все же в конце концов она шлепнулась в воду у их ног, блеснув на солнце белым брюхом. Мириам подхватила ее в подсачек.

Еще ни разу в жизни он не ходил на рыбалку.

Он стал часто проводить время у Мириам и ее бабушки. Муж старухи умер три года назад, и теперь она наслаждалась счастьем наконец-то быть одной, хоть напоследок. С Мириам она обращалась почти как с младшей сестрой. Время от времени, когда Мириам боялась взобраться на стул, потому что там сидел черт или привидение, старуха вручала ей ложку:

— Дай ему как следует.

Беседуя со своим мишкой, Мириам сама же и отвечала вместо него. Рац весьма критически отзывался о полиции, об их домохозяине («Его зовут Руперт, и он держит нас в дерьме»), о финансовом управлении, о фрау Залат, сотруднице отдела социальной помощи, об универсальном магазине «Карштадт». Иной раз Мириам обеими ногами наступала Рацу на живот, и тогда он становился, в зависимости от настроения хозяйки, то бургомистром Вайдеманом, то Францем Йозефом Штраусом, то Шмидтхеном.

О своих собственных детях — их было четверо — старуха держалась невысокого мнения.

— Все они немногого стоят. Гнут спину в три погибели, лживые и трусливые. От страха каждые полчаса бегают в сортир.

Разве что о своей младшей она говорила теплее, о той, что моталась повсюду вместе со своим владельцем качелей.

— Американских гор,— кричала Мириам.

— Качелей,— кричала в ответ старуха.— И хватит об этом. Из нее по крайней мере мог бы выйти толк.

— А ты старая, у тебя голова не держится,— кричала в ответ Мириам.

Чуть ли не с первого дня старуха начала говорить Хайнцу Маттеку «ты». Ловко задавая ему вопросы, она быстро выведала, что с ним приключилось. Впрочем, он и не сопротивлялся ее любопытству. Он уже примирился с этим.

Однажды она привела его в свою спальню. От изумления у Хайнца Маттека перехватило дыхание.

— Для сумасшедшего дома я стара,— сказала она,— и отказать от квартиры мне тоже уже никто не вправе. А что еще может со мной стрястись?

На комоде, на ночных столиках, на полках — всюду флаконы с духами, серебряные туалетные зеркальца в самой изысканной оправе, дорогое мыло, тушь для ресниц, лак для ногтей, тени для век, одеколон. Самые лучшие махровые простыни, лосьоны после бритья, серебряные мыльницы, футляры для губной помады, душистая соль для ванны, кремы — здесь не было флакона, который стоил бы меньше сотни марок.

Она ходила только в самые дорогие парфюмерные магазины, заказывая, к полному восторгу продавщиц, такие немыслимые вещи, как ядровое мыло или порошок для чистки зубных протезов.

«Живенши», «Герлен», «Диор» — старуха знала в этом толк.

— Хочешь понюхать?

Она сняла искусно сделанную, огромную хрустальную пробку с гигантского флакона. Темно-коричневая жидкость внутри казалась каким-то чужеродным шарообразным телом. Еще она протянула ему крохотный флакон с духами янтарного цвета.

— Нужно чуть-чуть капнуть на кожу.

Она нагрузила его стопкой нежнейших махровых простынь. А сверху положила флакон лосьона после бритья и два куска мыла, один светло-зеленый, другой темно-коричневый. У нее были зеленые глаза, испещренные темными точечками.

— Ну до чего же вы трусливые псы,— сказала она как-то.— И что только вы с собой делаете?

На заводе Хайнц Маттек теперь ничем особенно не выделялся, разве что молчаливостью. Тем больше удивились все, когда однажды он тоже нечто произнес, да еще в тот момент, когда вокруг пересказывали непристойные анекдоты. У многих в рабочих шкафах или где-нибудь в углу на рабочем месте висели картинки с голыми девушками, и некоторые из них были довольно-таки впечатляющими. Они все вместе возвращались с обеда, и речь уже в который раз зашла о том, когда, где и каким способом этим заниматься лучше всего. И тут Хайнц Маттек изрек, что лучше всего — это когда ты уже вообще не в состоянии различить, где находишься.

На мгновение они запнулись, потом расхохотались, но и тогда еще он не был уверен, что его шутку оценили. Конни ударил его по спине.

— Ну вот, он понемногу снова приходит в себя.

Он пихнул Конни в грудь.

— Что же, прикажешь мне лизать вам всем пятки? — проревел Хайнц Маттек. Он был и впрямь очень зол в тот момент.

— Конечно! — вскричал Конни смеясь и с силой толкнул его в ответ. Он упал на Юргена, тот проорал: «Пятки лизать!» — и толкнул его к Вернеру, а тот толкнул его к Пабло.

— Пятки лизать, пятки лизать! — кричали они.

— Что здесь происходит? — спросил Каммерер, мастер.

— Идиот набитый, — сказал Хайнц Конни, когда Каммерер уже не мог его услышать, и помчался прочь. Конни и остальные бросились за ним. Загнали его на склад материалов, на одну из трехъярусных полок, на самый верх.

— Прекратите сейчас же! — заорал Каммерер.

Возвращаясь однажды вечером домой, Хайнц чуть было не налетел на подростка. Парень остановился как вкопанный.

— Привет, — сказал он и надел мотоциклетный шлем. — Теперь вы меня узнаете?

— А, это ты, — сказал Хайнц Маттек.

Оба были смущены.

— У меня приятель здесь живет, — сказал Счастливчик.

— Я тоже здесь живу, — сказал Хайнц Маттек.

— Вот как, — сказал Счастливчик.

— Знаешь что, — вдруг быстро произнес Хайнц Маттек. — Ты не прокатишь меня на своем «судзуки»? Только пару кругов.

— Прямо сейчас?

И они с грохотом рванули вперед вверх по Кегельхофштрассе, да так, что у Хайнца затряслись поджилки, потом, резко затормозив («Держись крепче!» — крикнул Счастливчик), они в изящном вираже свернули на Фриккештрассе, домчались до угла, понеслись по Локштедтскому шоссе, пулей проскочили отлогий участок дороги до перекрестка, вырулили влево к Тарпенбеку, а затем Счастливчик, свернув возле железнодорожного моста, полетел прямо к аэропорту, а Хайнц Маттек только выкрикивал навстречу ветру «здорово», «сдохнуть можно», «жуть» или же, крепко уцепившись за Счастливчика, просто издавал дикие вопли.

Когда полчаса спустя они снова затормозили у подъезда на Кегельхофштрассе и Хайнц Маттек сошел с мотоцикла, ноги у него дрожали. Вот это да.

— А теперь пойдем пропустим по одной.

Счастливчик снял шлем.

— Не могу. У меня свидание с твоей дочкой.

— Ну, в таком случае... — сказал Хайнц Маттек и запнулся.

— Да я ничего никому не скажу, — заверил Счастливчик.

В воскресенье он отправился на рыбалку. Он приобрел уже все необходимые снасти, разрешение на ловлю рыбы и даже почитал кое-какую литературу. Но, очутившись наконец у воды, он никак не мог решиться распаковать свои сокровища. Просто стоял и смотрел на

озеро. То самое озеро, возле которого он однажды еще учеником провел в палатке весь отпуск. Двадцать лет назад. Там, где был палаточный городок, теперь снова расстилался луг. Но вид на озеро остался прежним. Хайнц обнаружил, что эта картина все двадцать лет хранилась в его памяти.

В те времена он собирался в ближайший отпуск двинуть автостопом в Париж. Или в Лапландию. Закончив учение, он был намерен уехать в Англию, или на какую-нибудь стройку в Нью-Йорк, или податься куда-нибудь в Индию монтажником. Может, какое-то время поработать на железной дороге в Австралии. Выращивать виноград в Бургундии, грузить ящики с апельсинами в Марселе. А после мечты приводили его в Бостон, где он работал помощником стюарда. Он шел на запад через Аппалачи, потом на север в Канаду. Бурил нефтяные скважины на Аляске, ловил тунца вблизи Огненной Земли.

Ночью подморозило. Высокая желтая трава стояла в инее, сухая и ломкая от холода. Затерянное среди лесов озеро отражало бледное небо, небо, которое не менялось.

Он заехал к отцу. «Все мы живем как в оковах,— размышлял он, поднимаясь по лестнице.— Мы скованы той единственной способностью, тем навыком, который нам позволили приобрести». Он не видел своего старика почти год.

Когда дверь открылась, он бросил взгляд на отца и сразу понял, что тот долго не протянет. Никогда прежде не видел он, чтобы у человека столь внезапно иссякли все жизненные силы. Судя по всему, это случилось совсем недавно,— кожа на лице старика казалась тонкой, как у женщины.

Старик обрадовался и мелкими шажками на негнущихся ногах проковылял к креслу. Хотел пододвинуть Хайнцу стул, но сын его опередил.

Еду он получал из передвижной столовой, принадлежащей благотворительной рабочей организации, раз или два в день к нему заглядывала соседка, и раз в неделю приходила Марион. Хайнц Маттек ничего об этом не знал.

— У тебя хорошая жена. Если хочешь, в холодильнике есть пиво.

По числу бутылок можно было догадаться, что гости здесь бывали редко. Друзья, товарищи — все либо умерли, либо вроде него сидели затворниками в своих квартирах.

Как же так, думал Хайнц Маттек, почему на склоне лет человек оказывается одиноким, вот как его отец?

Пятьдесят лет в одной и той же квартире. Дом состарился вместе с ним. Темные узкие комнаты, смутно ожившие в давнем, похожем на сон воспоминании, были такими же, как и прежде, только будто лишились своей сути и стали похожи на декорации давно уже сыгранного спектакля. Неужели так будет продолжаться всегда?

Он не слушал, о чем рассказывал старик. Его переполняли собственные мысли, он верил, что свою жизнь устроит совсем иначе. До чего же по-стариковски звучали все эти отцовы рассуждения о том, как выглядел город сразу после войны. Было в этом что-то хвастливое и неприятное, потому что подобные рассказы у старика неизбежно кончались выводом, как, дескать, следует ценить то, что мы имеем сегодня, в сравнении с тогдашними временами. Он не слушал, когда отец толковал о великом времени после войны, о том, как они восстанавливали порт, фабрики, город, о том, как они тогда хотели устроить все по-другому. Он не слушал рассказы о голоде, об энтузиазме, о борьбе за восстановление Германии, о крупных забастовках, о выступлениях против милитаризма. И тем более не слушал, когда эти рассказы перешли в обычное стариковское брюзжание,— сведение счетов с партией, склоки, все более умильные воспоминания о добром старом времени и колкости по адресу коммунистов из числа его друзей, которые были

его беспокойной совестью и вместе с тем единственными, с кем у него сохранились нормальные человеческие отношения.

В этом лице все еще угадывались следы необузданности, резкости и величия. Его товарищи социал-демократы давно уже сидели в Бонне в правительстве. Кое-кого из них он еще помнил, вообще же он теперь не старался запоминать фамилии. Старик давно чуял грозу. Предвидел забастовки, демонстрации, классовые бои. И одновременно видел товарищей по партии, сидящих в правительстве. Да уж, он не из тех, кто почиет в мире.

Хайнц не рассказал отцу, что остался без работы, ничего не сказал ему и об остальном. Только обещал в ближайшее время зайти еще раз. Он и в самом деле собирался выполнить обещание.

Конечно же, Мириам была ужасно разочарована, когда выяснилось, что в то воскресенье он ничего не поймал, и в следующую субботу Хайнц Маттек купил три свежезамороженные форели из холодильников фирмы «Сэйфвэй» и пригласил бабушку и внучку в воскресенье на обед.

Когда он распаковывал продукты, он вдруг кое-что надумал и еще раз отправился в магазин. Но опять позабыл что-то, и пришлось выйти в третий раз. Магазины уже закрывались.

В воскресенье он спозаранку принялся вынимать из холодильника снедь. Лук, петрушка, форели, светло-розовая, поблескивающая телятина, ветчина, малина. Первым делом он разложил все на столе. Даже две бутылки вина поставил тут же, две бутылки сухого белого вина из Италии.

Приступив, наконец, к готовке, Хайнц обнаружил, что у него слишком мало посуды. И позвонил к соседям. Около одиннадцати он позвонил снова — попросил майоран, теперь уже весь в поту и явно нервничая. Нет, Мириам нельзя пойти вместе с ним. В двенадцать он выяснил, что у него не хватает тарелок, в половине первого — что ему необходима скатерть.

И вот, наконец, он позвонил к ним в квартиру в последний раз и повел обеих к столу.

— Ты что-то празднуешь? — спросила старуха.— Или это прощальный обед?

— Ни то, ни другое,— смущенно ответил Хайнц Маттек.— Просто так.

Был солнечный зимний день. Снежные узоры на окнах растаяли лишь наполовину; стекла блестели и искрились.

— Я был недавно у отца,— сказал Хайнц Маттек.

Она задавала обычные вопросы: возраст, состояние здоровья, кто ухаживает, но на самом деле ждала, когда он по-настоящему разговорится.

— Хотел бы я знать, как надо жить, чтобы не пришлось вот так умирать.

Он стал похож на своего отца. Похудел, вокруг глаз и рта залегли глубокие морщины.

— Может, чаще заниматься готовкой,— сказала старуха.

Оба рассмеялись, глядя друг на друга. Мириам наконец позволили встать из-за стола.

На заводе шла забастовка. Профсоюз призвал бойкотировать сверхурочные. Пусть сначала восстановят на работе уволенных товарищей. Производственный совет потребовал по этому поводу переговоров с администрацией. Чтобы придать своим требованиям весомость, все должны были на полчаса прекратить работу. Хайнц Маттек бросал работу впервые в жизни.

Один за другим рабочие останавливали свои станки. В цехе внезапно стало тихо. Несколько шутников заулюлюкали. Хайнц встретился в углу с Конни. Закурили.

— Что это у тебя такое свирепое лицо? — сказал Конни смеясь.

— Разве? — спросил Хайнц Маттек.

Должно быть, так оно и было и, наверное, вполне соответствовало его ощущениям. Он прислушался к необычной тишине.

Бригадиры в серых комбинезонах суетились вокруг. Там и сям мелькали мастера в коричневых спецовках. Была объявлена превентивная забастовка, все шло по плану. Рабочие собирались группами, стояли, прислонившись к стенкам, покуривая, расслабившись. Больше ничего не происходило.

А потом как-то после полудня Хайнц Маттек пересек Тарпенбекштрассе и подошел к телефонным будкам на углу.

Был солнечный зимний день, на улице царила обычная суета. Мимо проходили люди, дети играли, высоко в небе плыли светлые облака.

Если она дома, то сейчас идет из кухни к телефону. Внезапно он снова повесил трубку на рычаг. С шумом выкатились возвращенные монетки.

Однажды ему приснилось, будто она разыскала его. Она сидела за столом в пальто, а он лежал в постели. Потом она встала, взглянула на него и пошла к двери. Но вдруг вернулась, сняла с себя шелковый шарф и положила его на стол. А после ушла совсем. Проснувшись, он кинулся к столу, но стол был пуст.

Хайнц опять набрал номер.

Он видел, как она выходит из кухни, как идет к телефону, видел жест, каким она сейчас снимет трубку и поднесет ее к уху, слегка откинув волосы в сторону. Видел ее глаза, когда она произнесет свое имя.

Но едва она ответила, он понял, что теперь все не так. Они условились о встрече. Говорили только о самом необходимом. Он вдруг даже подумал, что у нее кто-то может быть. Но если надо, он готов ходить перед ней на задних лапках. На Тарпенбекштрассе вспыхнул зеленый светофор. Колонна автомашин тронулась.

Выбор места встречи был ему совершенно непонятен. Она захотела встретиться с ним на берегу Эльбы. Автобусная остановка «Чертов мост».

Как будто им предстояла прогулка.

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА.

Советский критик, литературовед, переводчик, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам литератур стран немецкого языка. В ее переводе в «Иностранной литературе» опубликованы рассказы Габриэлы Воман (ФРГ) и Рут Вернер (ГДР).

Вместо послесловия

Летом 1976 года — именно в это время развертывается действие повести Герда Фукса «Мужчина на всю жизнь», которую только что прочел читатель,— в ФРГ началась подготовка к очередным выборам в бундестаг. Обращаясь к избирателям в ходе ожесточенной предвыборной полемики, как правящая социал-либеральная коалиция — СДПГ и СвДП, так и ее консервативная оппозиция — блок ХДС/ХСС испытывали немалые трудности в поисках убедительных аргументов.

И не удивительно: уже тогда, четыре с половиной года назад, было ясно, что времена хваленого «экономического чуда» с его столь отрадными для западногерманского обывателя приметами (благоприятная конъюнктура, высокие темпы роста производства, устойчивая валюта и практически полная занятость) безвозвратно ушли в прошлое. В это время энергетический кризис уже цепко держал западногерманскую экономику в своих когтях. К энергетическому присоединился еще и кризис так называемый «структурный» — все более ожесточенная конкуренция на мировых рынках вынуждала западногерманских предпринимателей ускоренными темпами проводить рационализацию производства. А такая рационализация в условиях капитализма неизбежно превращается в угрозу для сотен тысяч тружеников, пополняющих собой резервную армию безработных — ту самую, которая, по заверениям западногерманских экономистов, «растаяла в ФРГ еще в 60-е годы», чтобы не возродиться якобы никогда.

Стрелка на шкале безработицы заколебалась у миллионной отметки, все время норовя подскочить еще выше; первыми ощутили это на себе иностранные рабочие — «гастарбайтеры», как зовут их здесь, парии западногерманского «общества потребления». А вскоре «синие конверты» — уведомления о предстоящем увольнении стали получать и квалифицированные кадровые рабочие-немцы; ряды безработных начали пополняться и за счет дипломированных специалистов.

Под тяжестью миллионной безработицы стала давать сбои и, казалось бы, так хорошо отлаженная в ФРГ система социальных амортизаторов: выплата разного рода льгот и пособий — итог многолетней борьбы трудящихся. Забуксовала даже машина прогрессивного пенсионного обеспечения — гордость социал-демократов. Все с большим трудом в ходе длительных забастовок трудящимся удавалось добиваться реального увеличения заработной платы — рост ее все чаще ограничивался в ряде отраслей лишь явно недостаточной «поправкой на дороговизну и инфляцию».

Но самое главное: многие западногерманские труженики, и в первую очередь представители послевоенного поколения, не пережившие нацизм, войну и разруху, вдруг со всей очевидностью поняли, что одно из главнейших прав человека — право на труд — не обеспечено в ФРГ решительно ничем. В те дни все громче стали раздаваться голоса предпринимателей и их политиков, которые требовали перевести безработных в полном соответствии с беспощадными законами классического «свободного капитализма» на режим социального призрения, а значит — обречь на нищенское существование. Где же тут хваленая «социально-рыночная экономика»?

Да, нелегко было в ту избирательную кампанию социал-демократам. С трудом одержали они тогда победу в союзе со своим младшим партнером — свободными демократами, и одержали главным образом благодаря своей реалистической внешней политике. В самом деле, с одной стороны, СДПГ, пришедшая к власти под лозунгом социальных реформ при мощной поддержке профсоюзов, не могла не учитывать нужды и заботы трудящихся, многие из которых по-прежнему отдавали ей свои голоса. С другой — социал-демократы, разумеется, и не помышляли о радикальном перераспределении национального дохода в пользу работающих по найму. Их можно уподобить «ремонтной бригаде», которой хозяева поручили чинить здание капиталистической экономики, замазывая трещины «социальной штукатуркой». Когда же обнаружилось, что даже на подобный «ремонт» не хватает средств — не в последнюю очередь из-за стремительно растущих военных расходов,— стоявшим у кормила правления не осталось ничего другого, как уговаривать жильцов потерпеть, поджаться и так далее, поскольку-де в соседних домах труженикам живется еще хуже.

К этому нехитрому трюку социал-демократические политики то и дело прибегали в своих предвыборных выступлениях, кивая на соседей и повторяя, что, например, в Италии или в Англии и безработных намного больше, и инфляция гораздо выше, и с пенсиями обстоит дело куда хуже. Понятно, при этом они больше всего опасались, что по мере нарастания кризисных явлений в экономике ФРГ рабочие и служащие, которых они привыкли видеть преуспевающими «мелкими буржуа у станка или за конторкой», которых они привыкли видеть наслаждающимися благами избыточного потребления, вдруг вспомнят о своей классовой природе и начнут все больше прислушиваться к голосу коммунистов, поскольку влияние коммунистов в западногерманских профсоюзах постоянно растет.

Страх, как известно, плохой советчик — иначе социал-демократические лидеры едва ли стали бы пускать в ход множество сомнительных и весьма уязвимых аргументов, с восторгом подхваченных и разнесенных западногерманскими средствами массовой информации. «Безработному в ФРГ живется совсем недурно»,— твердили тогда избирателям социал-демократы. Рассчитывая на потребительскую психологию, на низкий уровень классового самосознания, социал-демократы всячески замалчивали достижения реального социализма в Советском Союзе, которые могли бы показаться фантастическими рабочему человеку в ФРГ, такие, скажем, как низкая квартплата или бесплатная медицинская помощь. С упорством, достойным лучшего применения, западногерманские социал-демократы твердили и твердят о том, что уровень инди-

видуального потребления в социалистических странах по ряду показателей пока ниже западного. При этом они старательно избегали говорить о том, что это временное отставание, которым мы обязаны прежде всего империализму Запада — чудовищной войне с гитлеровской Германией и гонке вооружений, навязанной нам США,— уже сейчас с лихвой компенсируется удовлетворением — общедоступным и по минимальной цене — коллективных потребностей социалистического общества.

Где уж там подойти к вопросу поглубже — поразмыслив в более широком плане о тех сложных, чтобы не сказать опаснейших, последствиях, которыми грозит обществу насаждаемая капитализмом «наркомания индивидуального потребления», навязывание труженику все более изощренных и, в сущности, ненужных товаров. Или о том, чему следует отдать приоритет в обществе: проблеме появления на рынке и соответственно сбыта нового «потрясающего» товара или, скажем, снабжению населения высококачественной питьевой водой? Капитализм с его законами рынка всегда изберет прибыли ради первое, отмахнувшись от охраны среды и оставив в рейнских водопроводах отдающую тухлятиной воду. Социализм, безусловно, предпочтет второе.

Небольшая повесть прогрессивного западногерманского писателя Герда Фукса «Мужчина на всю жизнь» — повесть о недолгой безработице гамбургского токаря Хайнца Маттека и вызванном ею глубоком кризисе в его жизни — тем и ценна, что рисует конкретные приметы бытия сегодняшнего западногерманского рабочего.

Герой повести — квалифицированный рабочий-токарь Хайнц Маттек, 39 лет, житель «вольного ганзейского города Гамбурга», женат, двое детей школьного возраста, жена-«домохозяйка». Автор мастерски, используя свой богатый запас жизненных наблюдений, рисует облик носителя этих ничем особо не примечательных «объективных данных». Маттек на первых страницах книги предстает как своего рода «идеальный» для западногерманского капитализма рабочий: он доволен своим достатком; живет в приличной квартире, уставленной обычными аксессуарами потребительского общества, ездит на добротной машине, как-то провел отпуск на берегах теплых морей. Примерный по собственным понятиям семьянин-кормилец; внутренний мир, мысли и чувства Марион, жены, его не занимают — она, как и дети, для него лишь приложение к призрачному его благополучию. Считает, что выбился в люди: с отцом своим, старым сварщиком судостроительной верфи, доживающим век в «жилой казарме на рабочей окраине», общего языка не находит. Отец, старый социал-демократ, свидетель фашизма и войны, по-прежнему мыслит классовыми категориями, презирает былых товарищей, пробившихся к теплым местечкам с приходом СДПГ к власти, и может по душам говорить теперь только с коммунистами, с которыми яростно спорил когда-то, но с которыми его объединила борьба за рабочее дело.

Все это Хайнцу не по нутру, политикой он не интересуется, профсоюзов чурается, в забастовках никогда не участвует, солидарность — для него не понятие. Почти ничего не читает — телевизор вполне удовлетворяет его духовные запросы. Смолоду стремился к достатку, хотел выйти в люди, считал, что благополучие рабочего зависит только от его заработка, работал без устали да для здоровья занимался спортом. Богатырь, великан, косая сажень в плечах, он был подающим надежды боксером, но, женившись, покинул ринг. Работа его не интересует — только заработок; токарь первой руки, он обтачивает всегда одну и ту же несложную деталь — не для души работа, зато доходная. Воистину процветает Маттек лишь как потребитель: понимает толк в одежде, в еде и напитках, гордится тем, что в ресторане по праздникам никто не примет его за «работягу». Достоинство рабочего человека Хайнц променял на мещанское преуспевание, живет прямо по рекламному лозунгу: «Hast du was — bist du was!» («Что имеешь — столько и стоишь!»). Считает себя, в сущности, ничуть не хуже богатых и власть имущих, но не из гордости труженика, а потому, что может, дескать, позволить себе в жизни «почти то же, что и они» — разве что «на пару марок и на несколько квадратных метров жилья меньше». Так он думает до поры до времени.

Но вот весной 1976 года Маттек теряет работу. Фирма проводит рационализацию, избавляется от рабочих старших возрастов (Маттеку под сорок, а это уже многовато). На первый взгляд ему в дальнейшем, можно сказать, повезло: без работы он ходил сравнительно недолго — всего несколько месяцев. Больших материальных лишений испытать не успел, подрабатывал грузчиком «налево», то есть без регистрации и страховых взносов — за такую работу, «шабашку», неплохо платят темные дельцы. А потом вновь устроился по специальности. Казалось бы, безработица должна была остаться лишь мимолетным неприятным эпизодом в жизни Маттека, который смог вернуться в свой потребительский мирок с уютом и достатком. Но на самом деле все произошло иначе — мирок этот рухнул навсегда, рухнула вся прежняя жизнь Маттека, его былые представления о счастье, успехе, человеческом достоинстве. За недолгие месяцы безработицы понял Маттек, что все его благополучие, материальное и семейное, зависело только от воли хозяев, для которых он всего лишь живая машина для извлечения прибыли. Износилась машина — на свалку! Понял, что все его благоприобретенные привычки мелкого буржуа-потребителя, включая и мещанское чванство — лишь хитрая ловушка, заставляющая его, рабочего человека, гнуть спину и исправно работать на хозяев до тех пор, пока те дают ему работу. Понял, что даже безоблачная как будто бы семейная жизнь его унизительна для жены и детей, которых капиталистическое производство тоже низвело до роли придатка к рабочей машине, на этот раз к той машине, в которую превратился он сам. Пошла работать жена, и стал лишним в своей семье безработный Маттек. А когда опять получил работу, от семейного лада ничего не осталось. Не захотела больше Марион, жена Хайнца, оставаться как бы главным предметом его домашнего обихода — замыкаться навсегда на кухне и в детской, подносить мужу, сидящему у телевизора, пиво, стирать и стряпать и ви-

деть цель жизни только в мелочном накопительстве да в том, чтобы поддерживать рабочую силу мужа. Попав в упаковочный цех крупного универмага, Марион, вышедшая, как и Хайнц, из потомственной рабочей семьи, в отличие от мужа быстро распознала вкус солидарности тружеников и разобралась в том, что никакой «общности между рабочими и предпринимателями» нет и не может быть. Марион приобщилась к борьбе за права рабочих и нашла свое новое место в жизни.

Проснулось классовое сознание и у Хайнца — теперь-то, после унизительных поисков работы, ему стало ясно, что не «пара марок и пара лишних квадратных метров жилья» отделяют его от хозяев и их привилегированных слуг, а непроходимая, непреодолимая пропасть. Трудно было Маттеку на первых порах преодолеть крушение своего привычного мира, всей своей системы жизненных ценностей, к которой больше не было возврата. Поначалу, казалось, сломался человек — не подняться бывшему боксеру от нокаута, в который отправили его «общество благоденствия» и «социально-рыночная экономика». Маттек стал опускаться, слоняться по «злачным местам», потом даже ушел из дому, не найдя в себе силы посмотреть на покорную еще недавно жену новыми глазами, увидеть в ней равноправного человека.

Но рабочая кость под конец берет верх. Хайнц встает на ноги и готовится продолжать бой — теперь он уже будет сознательно бороться за свои права, за рабочее дело. Маттек-потребитель, живущий по образу и подобию мелкого буржуа, исчез — вместо него расправил могучие плечи Маттек-рабочий, почувствовавший наконец, после того как впервые в жизни принял участие в забастовке, свою истинную силу, свое подлинное достоинство, хорошо знающий теперь, где его место. На последних страницах повести он принимает твердое решение вернуться в семью, к своей Марион и стать для нее настоящим «мужчиной на всю жизнь», делить с ней не только нажитой достаток, но все мысли и чувства, заботы и чаяния рабочего человека.

В послесловии, естественно, нет нужды подробно излагать содержание повести Фукса, одного из тех прогрессивных авторов ФРГ, которые как бы заново открыли для себя жизнь западногерманских рабочих, их труд и прежде всего их борьбу за свои права, классовое их сознание, которое пробивается с неодолимой силой сквозь все наслоения «потребительской идеологии» и вопреки всем ухищрениям мощного аппарата буржуазной пропаганды.

Фукс пишет в традициях немецкой литературы о рабочем классе: точно воспроизводя быт и язык сегодняшних гамбургских рабочих, их будни и досуг, он подробно рассказывает и о производственных процессах. Обилие этих наблюдений подчас граничит у автора с натурализмом, но, отмечая это, не следует забывать и того, что передовые западногерманские писатели, в последние годы воскресившие рабочую тему в художественной литературе ФРГ, выступают одновременно и как первооткрыватели, и как борцы против литературы формального поиска, против «искусства для искусства». Поэтому они и стремятся отразить на страницах своих книг жизнь трудового народа во всей ее полноте.

Со времени выхода в свет повести минуло более двух лет, события, в ней описанные, происходили уже более четырех лет тому назад. Но книга ничуть не утратила своей злободневности, современного звучания. За эти годы кризисные явления в западногерманской экономике, о которых выше шла речь, еще более обострились. На выборах в бундестаг в октябре прошлого года оба соперничающих блока — социал-либеральная коалиция и ХДС/ХСС — при всей склонности к демагогии вынуждены были признать, что весьма болезненное сокращение всех социальных ассигнований и ощутимое повышение налогов неминуемы. Попытки перевалить бремя кризиса на плечи трудящихся и искать выход из него за их счет имеют для рабочих и служащих в ФРГ самый конкретный и недобрый смысл: западногерманские эксперты в один голос предсказывают на ближайшие годы «нулевой прирост» промышленного производства и увеличение числа безработных до 1,5 миллиона человек.

Социал-либеральная коалиция одержала победу и на этот раз, и вновь в основном благодаря реализму во внешней политике: большинство западногерманского населения полно было решимости дать отпор правым, выдвинувшим кандидатом в канцлеры своего лидера Штрауса, который открыто выступал за дальнейшее обострение международной напряженности и безоговорочное подчинение Бонна американскому диктату. Но внутриполитические и экономические установки соперничавших партий существенно друг от друга не отличались, и социал-демократы не добились прироста поданных за них голосов.

После выборов была объявлена программа экономии — разумеется, за счет трудящихся. Под нож попал целый ряд социальных льгот и субсидий, которые рабочие и служащие в ФРГ считали своими прочными завоеваниями. Усиливается недовольство в профсоюзах; в самой социал-демократической партии идет брожение: в ее левом крыле все громче раздаются голоса, заявляющие, что партия, которая считает себя представительницей работающих по найму, не может безоговорочно поддерживать правительство, ущемляющее насущные интересы трудового народа. На предприятиях и в профсоюзах растет популярность коммунистов.

На пройденный Хайнцем путь — от стоящего вне политики потребителя, даже не понимающего, кто и как его эксплуатирует, до классово-сознательного рабочего — вступают новые сотни и тысячи его коллег. И нельзя не согласиться с отцом Хайнца Маттека, предрекающим Западной Германии еще более ожесточенные классовые бои. Рабочий класс страны, чьи подлинные интересы представляет Германская коммунистическая партия, готовится к долгой и нелегкой борьбе, в которой ему предстоит отстоять неотъемлемое право человека — право на труд.

Н. ПОРТУГАЛОВ

Критика

СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ

Из выступлений участников VI конгресса МАЛК

В Эспоо, городе-спутнике Хельсинки, состоялся VI конгресс МАЛК (1980). Эта Международная ассоциация литературных критиков была учреждена на ее первом конгрессе в Парме (1969) и получила официальное признание ЮНЕСКО как одна из неправительственных международных организаций в области культуры. Раз в два года представители разных стран встречаются для свободного обмена мнениями по актуальным проблемам критики. Тема VI конгресса — «Роль критики в развитии культуры». В частности, были обсуждены такие проблемы, как воздействие критики на литературный процесс и общественное сознание, отношение к культурному наследию.

С советской стороны в работе конгресса принимали участие секретарь Правления СП СССР Ю. Суровцев (глава делегации), вице-президент МАЛК, главный редактор журнала «Литературная учеба» Ал. Михайлов, член редколлегии журнала «Иностранная литература» Т. Кудрявцева, критик Н. Ржевская.

Мы публикуем фрагменты отдельных выступлений с послесловием Ю. Суровцева.

Робер АНДРЕ:

ФРАНЦИЯ

«Культура призвана быть интернациональной, ее обогащают межнациональные связи».

Мы были искренне рады предложению собраться в Финляндии не только потому, что с глубокой симпатией относимся к ее народу и истории, но и потому, что многие черты литературы этой страны заслуживают особого уважения. Ведь она древняя и юная одновременно. На протяжении многих лет финноязычная литература боролась за самоутверждение, медленно и трудно созревала. Лучшие ее произведения по праву входят в сокровищницу мировой литературы.

Хотелось бы остановиться еще на одной особенности литературы Финляндии. Многие европейские культуры как бы слагаются из двух культур — элитарной и народной. Финский язык был языком народным, и именно на нем создавалась письменная культура и литература. Переход от древних к новейшим формам финской культуры было бы чрезвычайно полезно изучить как в плане социологии, так и в плане эволюции языка, его норм и системы логико-познавательных категорий.

Забота о национальной независимости, завоеванной столь долгим и тяжким трудом, может, однако, привести культуру к уходу в себя. Это опасно! Как известно, культура призвана быть интернациональной, ее обогащают межнациональные связи. Постичь сущность национальных различий, чтобы затем сделать общедоступными произведения, неотделимые от социоисторического контекста эпохи,— очередная задача критика.

Карлус Жоржи АППЕЛЬ:

БРАЗИЛИЯ

«...сохранять наследие, которое отражает реальную жизнь народа».

Культура Бразилии формировалась в контексте социально-экономической и политической истории страны. Это сказалось и на молодой литературе, искавшей собственные пути развития. Одни пытались подражать новшествам европейской литературы, другие создавали самобытную национальную литературу, воспроизводящую подлинную жизнь страны.

В XIX веке в Бразилии было два великих писателя: Машаду ди Ассиз, глубоко и всесторонне изобразивший жизнь буржуазного

общества Рио-де-Жанейро в романах «Посмертные записки Браз Кубаса», «Кинкас Борба», «Дон Касмурро», «Записки Айреса», и Эуклидис да Кунья, в своих книгах выступавший против существующей социальной несправедливости, показавший, как ничтожная кучка людей присваивает несметные богатства страны, а обездоленные массы борются за выживание.

После первой мировой войны Бразилия, освободившись из-под гнета Великобритании, попадает под влияние США. Ничего не изменилось, кроме вывески владельца. Зависимость осталась. Казалось, на нашу долю выпала лишь жалкая участь познавать в течение многих лет пороки и слабости тех, кто правил нами и кто стремился переделывать нас по своему образу и подобию.

В 20-е годы в нашей литературе и искусстве возникло новое течение, получившее название «Неделя современного искусства». Представители этого направления словно всколыхнули рутину консерватизма, царившего в духовной жизни страны.

События 1930 года изменили социально-экономическую структуру всей страны. Выросло новое поколение художников слова, чья гражданственность ярко проявилась в их творчестве. Это — Жозе Линс ду Регу, Грасилиано Рамос, Жоржи Амаду — на северо-востоке страны; Эрико Вериссимо, Дионелиу Машаду, Сиру Мартинс — на юге.

Вот почему мы говорим: изучайте нашу историю по романам наших лучших писателей. Официальная история излагает факты с точки зрения правящих классов Бразилии, передовая же литература воссоздает реальную жизнь такой, как она есть, до мельчайших подробностей.

Что происходило во времена Первой республики? Читайте книги Лимы Баррету. Что в действительности имело место в Канудусе? Читайте Эуклидиса да Кунью. Почему пришла в упадок сахарная промышленность северо-востока страны? Читайте Жозе Линса ду Регу. Хотите знать правду о жизни простых людей Баии? Читайте Жоржи Амаду. Что собой представляло так называемое «новое государство»? Ответ на это вы найдете в романах Грасилиано Рамоса.

...Мы должны сохранять литературное наследие, которое отражает реальную жизнь народа.

Пьер ГАМАРРА:

ФРАНЦИЯ

«...быть ответственным».

Я часто встречаюсь со школьниками. Мы говорим о профессии писателя, о творчестве, о книгах. И всегда в начале беседы я напоминаю юной аудитории, что я — живой писатель. Почему-то это вызывает смех, но одновременно и пробуждает интерес. А дело вот в чем. Я слышал от детей — и не раз — примерно следующее: «Мсье, я думал, все писатели умерли». В самом деле, все изучаемые в школе писатели умерли: Рабле, Ронсар, Корнель, Мольер, Гюго, Золя... Отсюда не лишенный основания вывод: чтобы стать писателем, нужно умереть. Детский ум наблюдателен: смерть стала одним из главных «достоинств» писателей-классиков.

Да, мы сумели окружить литературное наследие неугасимым в глазах подростков ореолом смерти. Великие писатели для них — лишь прах, кучка пепла и пыли; могилы, которые уважают, но обходят стороной.

Вот почему моим первым желанием было донести до сознания детей мысль о том, как необходима писателю жизнь. Только живые писатели могут создавать поэмы и сочинять романы. Разумеется, они не вечны. Нет бессмертных людей. Бессмертными становятся творения их рук и разума. Великие книги переживают своих создателей, доставляя радость и наслаждение многим поколениям читателей.

Быть читателем — значит быть живым. Только живые читают. Книга существует благодаря ее автору, но оживает благодаря читателю. Произведение бессмертно тогда, когда его назовет бессмертным читатель. Книга без читателя — всего лишь груда исписанной бумаги, предмет без голоса, без души... Тлен. Пыль. Ничто.

Произведение создается автором и как бы заново воссоздается читателем в соответствии с его вкусом, темпераментом, мировоззрением, эпохой, средой, в которой он живет, понемногу это произведение становится творением читателя, его собственностью. Сколько читателей — столько прочтений. Каждый читатель по-своему воссоздает любую из поэм Гюго. За свою жизнь он воссоздаст их множество раз, и каждый раз по-разному. Мы храним в памяти нескольких Дон Жуанов, созданных в разные периоды нашей жизни — в семнадцать, в тридцать, в шестьдесят лет. Мы не забыли Фауста нашей молодости, так не похожего на Фауста нашей старости. В каждом читателе живет творец, автор, писатель.

Ошибочное представление детей о писателе возникает под влиянием модных клише. Я в этом убедился в первую же нашу встречу, когда меня приняли не то за звезду (некую литературную Брижитт Бардо), не то за волшебника-мага. Отсюда — восхищение, принимающее подчас уродливые формы. Отсюда — робость и страх, затрудняющие общение. Я уверен, наш разговор был бы иным, если бы я смог помочь ребенку понять, что читатель — своего рода создатель, что мы — коллеги, собратья, писатели. Мы — это он и я.

Я предвижу вопрос: «А когда же ребенок все это поймет?» Думается, когда на его вопрос: «Делаете ли вы орфографические ошибки?» я отвечу: «Да, делаю. Все писатели их делают. Непогрешимых писателей нет».

И тут я замечаю, как глаза моих слушателей загораются. Следующий вопрос: «Мсье, я умею сочинять короткие истории. А как сочинить длинную?» И я отвечаю: «Работая до изнеможения, страдая».

И опять загораются глаза моих слушателей: «А! Он тоже, этот мсье, страдает, когда выполняет свои задания. Мы действительно коллеги». Еще вопросы, среди которых много важных, серьезных. Задают их по-разному. Вот вежливая, почтительная форма:

— Что вас вдохновляет?

А вот немного настойчивая:

— Кто вас вдохновляет?

А эта — поточнее:

— Кто вам помогает?

И, наконец, откровенно подозрительная, но полная надежд:

— Вы списываете у других?

Я не колеблясь отвечаю правду:

— Да, мне помогают. Да, мне помогли. Да, мне подсказывают слова, мысли, темы, драматические ситуации. Да, я списываю... Хотя...

И снова глаза детей загораются. Мы действительно коллеги. Я успокаиваю их, рассказывая, как Мольер списывал у Сирано де Бержерака, а Лафонтен заимствовал почти все сюжеты своих басен у других. Хотя Джойс и Хлебников, например, умело изобретали слова и даже пытались создать собственный язык, большинство писателей используют тот лингвистический материал, который — от поколения к поколению — пришел к ним из глубины веков. Он складывался в городах и деревнях, обогащался в плаваниях и путешествиях, пополнялся учеными, врачами, грузчиками. В нем собраны все языки — условные, тайные, явные, все жаргоны, все диалекты, все понятия, которые люди на протяжении многих десятков лет придумывали и которые другие люди в другие времена обезличат, сведут к клише. Но это произойдет позднее. А пока этот язык — плоть и кровь от человеческой плоти и крови, боль и радость, надежда и отчаяние, забота и тревога тех, кто живет, тех, кто будет жить.

Художественное восприятие дано нам природой. Это — признак человеческого начала. Гарпагон или Дон Жуан, Дон Кихот или Жан Вальжан на бумаге — всего лишь бледные тени тех, кто живет в нашей памяти, в наших мечтах, в нашей жизни. Если вы думаете, что Дон Жуан Мольера — законченный образ, вы ошибаетесь. Это лишь эскиз, набросок, легкие очертания того, кто во всей полноте оживет в вашем сознании и в вашем сердце. Нет, первый создатель далеко не все сказал, что хотел и о чем мечтал сказать. Литературное воплощение героя не соответствует образу, сложившемуся в сознании писателя. Оно гораздо беднее. «Мечта любого писателя, любого художника — суметь сказать все — стара как мир»,— утверждал Элюар.

И все же человечество сможет сказать все, если каждый из нас, наследуя дары уходящего, дополнит их новыми мыслями, новыми мечтами. Каждая эпоха обогащает своим опытом образы и темы, пришедшие к ней из прошлого. Так обновляются страсти, страдания, чувства. Так пробуждается в нас честолюбие. Нельзя быть наследником, если нет наследства, другими словами — дарующего. Каждый писатель старается быть дарующим. Лафонтен не придумал новых тем, но он подарил миру несметное богатство своего языка, иронии, мудрости.

Нет современности без прошлого. Нет авангарда без преемственности. Авангард ищет свои истоки в отцах, дедах и даже далеких предках. Не так давно авангардисты объявили своими духовными братьями Джойса, Кафку, Томаса Манна, Жарри. Еще раньше — Аполлинера, Рембо, Лотреамона.

Итак, наш долг — слушать, говорить, собирать и передавать другим. Писатель, как и читатель, идет по жизни, ничего не пропуская на своем пути. А потом остается наедине с бумагой. Мир и люди волнуют его память. Он начинает их постигать. Он заговорит с ними и для них. Он начнет создавать с ними и для них. Он ответствен перед ними и за них. Это трудно. Это серьезно. Это прекрасно. Быть живым — значит быть ответственным. Об этом следует помнить и критику.

Гана ГРЗАЛОВА и Душан СЛОБОДНИК:

ЧССР

«...обогащать человека, расширять его духовные горизонты».

Нам[1] кажется, нет необходимости говорить, как велика ответственность критика перед литературой. Критика — ее неотъемлемая часть, делит с ней и успехи и поражения. Однако роль критики нельзя сводить лишь к выявлению эстетических ценностей художественного произведения — а такая мысль проскальзывала в некоторых выступлениях. Раскрытие эстетических ценностей, несомненно, одна из важнейших задач литературной критики, но, думается, не основная. Необходимо также исследовать идейную и этическую направленность, оценить глубину проникновения во внутренний мир личности, то есть все то, что определяет жизненность художественного произведения.

Нельзя забывать, что литература не только отображает реальную жизнь, но и содействует ее преобразованию. Каждое произведение должно обогащать человека, расширять его духовные горизонты. Этому аспекту критика обязана уделить особое внимание. Хотелось бы напомнить рылеевско-некрасовское: «гражданином быть обязан». Эти слова с полным правом можно отнести и к литературному критику.

Назначение литературной критики состоит также и в умении связывать прошлое литературы с ее настоящим и будущим, традицию — с новаторством, в умении рассматривать преемственность в литературе как диалектическое единство сохранения и отрицания ценностей. Литературное наследие — неотъемлемая часть современной культуры.

Литература дает человеку такое ничем не заменимое знание жизни, какого не дает никакой другой опыт. Книги прошлых лет и даже веков не перестают волновать наших современников правдой жизни, глубиной человеческих страстей. Оценивая то или иное художественное произведение, не надо бояться ставить вопрос о его месте в истории литературы и влиянии на дальнейшее ее развитие.

[1] С докладом, подготовленным совместно с Г. Грзаловой, на конгрессе МАЛК выступил Д. Слободник. *(Прим. ред.)*

Улаф ЛАГЕРКРАНЦ:

ШВЕЦИЯ

«...произведение искусства — это живой организм, который живет сейчас, сию минуту».

Высшее назначение поэзии — говорить правду, держать перед нами зеркало, чтобы мы могли увидеть свое лицо. Задача критиков — раскрыть эту сторону поэзии. Пока им это не всегда удавалось.

Истинная жизнь поэта не всегда хронологически совпадает с его физическим существованием. «Божественная комедия» Данте сейчас, пожалуй, более жизненна, чем в дни, когда она была написана. Для поэта главное — в чьем сознании он живет. Произведение искусства — вовсе не экспонат, извлеченный критиком из праха веков. Нет, произведение искусства — это живой организм, который живет сейчас, сию минуту.

Августа Стриндберга, шведского писателя с мировым именем, кое-кто из современников считал сумасшедшим. Ведущий шведский критик того времени Оскар Левертин писал, что Стриндберг гениален, но все-таки не великий поэт, поскольку рядом со стремлением к высокому в нем уживается простое, низменное, никак с этим стремлением не сочетающееся. Он — плебей, дитя природы, наделенное гениальностью. Ему не хватает врожденного благородства и той иронической улыбки в собственный адрес, которая присуща подлинно культурной личности. Левертин излагал свою точку зрения на творчество Стриндберга следующим образом: «Читая произведения Стриндберга, я иногда невольно вспоминаю, как нас детьми водили в зверинец... В книгах Стриндберга ревут и визжат за решеткой все дикие звери человеческого духа — и не только величественный лев и великолепный, отливающий золотом тигр, но и грязные мартышки».

Почти в то же время Киплинг в «Книге джунглей», которая тогда совершала свое триумфальное шествие по странам мира, предостерегал Маугли, представителя человечества, против общения с отвратительными обезьянами и убеждал его оставаться в обществе благородных зверей — пантеры, слона и питона. Левертин, заимствовав у Киплинга образ «грязных мартышек», прекрасно отдавал себе отчет в эмоциональном воздействии выбранного им сравнения.

Левертин говорил от имени европейской культурной элиты. Поэт, в котором боролись неподвластные ему силы, не мог надеяться на то, что его причислят к истинно великим.

Обязанность критика — находить поэтов, наиболее близких духу эпохи, поэтов, естественных в самовыражении. Однако необходимо открывать и поэтов, которые обличают «разрушительные» стороны нашей цивилизации. Одна из задач критики — поддерживать естественного человека, чей голос звучит в произведениях настоящей литературы. Другая — оберегать ее от тех, кто, располагая финансовым могуществом в западном мире, хочет навязать литературе роль, угодную их целям. Третья задача — отыскивать произведения, воплощающие опыт всего человечества, облекающие в слова боль безмолвных миллионов.

Атуквей ОКАЙ:

ГАНА

«...перенимая все ценное... не задушить свой собственный гений».

Африка сейчас, как никогда прежде, стоит на пороге самоопределения, самоутверждения, а потому ее народам предстоит выработать духовные ориентиры.

Какова роль художника-творца? Он — вдохновитель и толкователь, он — наставник. И еще — он зеркало. В этих условиях роль и задачи критики поистине велики и безмерно важны.

Уж если волею истории мы, африканцы, вынуждены писать на иностранном языке, важнейший долг нашей критики — напоминать писателям об их национальной самобытности, об ответственности за судьбы своей культуры.

Поиски африканской критики определяются тремя важнейшими моментами — природой исконно африканского мировоззрения, политическим обликом Африки и авторитетом европейской критики. Д. Изевбайе в статье «Положение критики в Африке» стремится показать, что «создание африканской критики означает отказ не от сложившихся традиций литературоведческого анализа... а лишь от определенной косности мышления, от штампованных представлений об Африке... Есть радикальные пути их преодоления: это прежде всего марксистский подход к африканской культуре; непредубежденность, объективность, позволяющие трезво и критически оценивать литературное произведение; развитие критических приемов, опирающихся на мироощущение и литературные формы африканских народных традиций».

Критикам следует в своих оценках исходить из того, что литературное произведение должно быть высокохудожественным, а не просто сводом «злободневных» или «прогрессивных» идей, положений и призывов.

Точно так же, если писатель черпает из традиций народного творчества, критик обязан установить, в какой мере это служит идейности произведения и его художественным достоинствам.

Чего ждет наша критика от африканской литературы?

Рональд Миллер в книге «Черная магия, черное искусство» рассматривает африканскую литературу как литературу, которая больше утверждает, чем объясняет. «Когда, наконец, «черная» литература обретет свой голос, свою мощь, когда она проникнется сознанием народа и страны, тогда она откроет дорогу переменам».

Еще в 1959 году Альюн Диоп, сенегальский деятель культуры, основатель журнала «Презанс африкэн», подчеркивал: «Одна из наших задач продиктована потребностью африканских народов избежать духовной ассимиляции, так чтобы, перенимая все ценное в культуре Запада, не задушить свой собственный гений».

В блестящей работе о Толстом и Достоевском английский критик Джордж Стейнер раскрывает силу и динамику воздействия искусства на человека, показывая, как пьеса или роман завладевают нашим воображением. Это — естественный и в то же время таинственный процесс, и, откладывая прочитанную книгу, мы уже не те, какими были до того, как взяли ее в руки. Великие произведения искусства, считает Стейнер, «обрушиваются на нас, точно ураган, распахивают двери восприятия и своей поэзией преображают наше видение». И вот тогда-то мы, литературные критики, «стремимся зафиксировать их воздействие» и передать другим силу и смысл пережитого нами, убедить их распахнуться навстречу тем же впечатлениям, в этой попытке убеждать и возникают истинные прозрения критики...

Каким же должен быть критик в развивающейся африканской стране? Писать, уединившись в башне из слоновой кости, и анализировать культуру своей страны, обратив взор к избранной иностранной аудитории? Нет, он обязан принимать активное участие в духовной жизни родного народа, адресовать свой труд той аудитории, чью культуру он исследует. Задача его заключается и в том, чтобы помочь художникам слова увидеть правильный путь. В этом смысле критик перестает быть тем, чем он был прежде,— лишь внимательным наблюдателем. Нет, теперь он призван играть активную созидательную роль в национальном культурном процессе, способствуя своей деятельностью эволюции новых форм художественного выражения.

Я разделяю мнение Белинского, утверждавшего, что культура — проявление национального духа, символ внутренней жизни нации, лицо нации и что искусство в первую очередь должно быть искусством, ибо только тогда оно может служить интересам людей.

Кай ЛАЙТИНЕН:
ФИНЛЯНДИЯ

«...участвовать в создании общемировой культуры».

Выступление господина Окая, моего коллеги из Ганы, навело меня на мысль о возможном сходстве истории развития литератур молодых африканских стран и литературы Финляндии прошлого века.

В XIX веке господствующим языком в стране был шведский. На нем говорила элитарная часть населения. Финский язык считался народным и в какой-то степени языком церкви. На нем говорило большинство.

Но вот появился Юхан Вильхельм Снельман — экономист, философ и к тому же литературный критик. Выразителем национального духа может быть только национальная литература, утверждал он и подчеркивал, что передать национальный дух способна лишь литература, развивающаяся на базе народного языка. Однако Снельман не рассматривал национальное и интернациональное как взаимоисключающие элементы. Напротив, он полагал, что, найдя свой путь формирования самосознания, нация тем самым будет способствовать международному сотрудничеству, участвовать в создании общемировой культуры.

Идеи Снельмана (правда, у него были и ошибки) получили в Финляндии широкий отклик, послужив толчком к развитию национальной литературы. Вместе с тем нельзя забывать, что Финляндия — двуязычная страна. И хотя по-шведски по-прежнему говорит меньшинство, шведоязычная литература и театр в Финляндии достигли высокого уровня. Кроме того, шведский язык, подобно мостику, соединяет нас с другими скандинавскими странами — с ними у нас много общего как в истории, так и в культуре.

Все это пример того, как маленькой стране, в частности ее литературе, удалось сохранить национальную самобытность.

Переводы с английского и французского выполнены И. ГУРОВОЙ, В. ЗУБОВОЙ

Ю. СУРОВЦЕВ:
СССР

«...несколько слов в заключение».

Думаю, нет необходимости в том, чтобы пространно комментировать материалы, с которыми только что познакомился читатель. Они говорят сами за себя. Хочу сказать лишь несколько слов в заключение, расставить некоторые акценты и прежде всего подчеркнуть: предлагаемые читателю публикации характерны, симптоматичны.

Характерны, симптоматичны они и для конгресса МАЛК, в работе которого активное участие приняла наша советская делегация (эта активность, можно считать, традиционна; роль советской «секции» МАЛК и в конгрессах этой важной международной культурно-литературной ассоциации, и в ее деятельности между конгрессами постоянно растет). Характерны, симптоматичны эти публикации и для мировой современной литературно-критической ситуации в целом. Они выражают существенные и *здравые* тенденции нынешней литературной критики.

Вместе с тем на VI конгрессе МАЛК звучали и голоса, представлявшие те концепции понимания литературы и ее роли в общественной жизни, которые — в наших понятиях — можно обозначить как эстетско-элитарные. Были среди участников кон-

гресса и «имманентники»-структуралисты, погруженные в «текст» настолько, что культурно-исторический контекст в их рассуждениях пропадал едва ли не полностью. Любопытно и опять-таки характерно стремление нынешнего структурализма соединиться уже не столько с односторонне-«экономизированно» понимаемой марксистской социологической и эстетической мыслью (наивное стремление к такому искусственному симбиозу было продемонстрировано некоторыми членами МАЛК в 1976 году на лиссабонском конгрессе) [1], сколько с давно известными точками зрения буржуазно-либералистского толка. В таком духе интерпретировалась идея свободы творчества — например, в выступлениях израильских участников VI конгресса. И все же можно, пожалуй, прийти к выводу, что элитарные, эскапистские, мнимо-внеидеологические тенденции понимания литературы и ее роли в жизни, а стало быть и критики и ее роли в обществе, идут на убыль в целом, в масштабах сегодняшнего мира с его острой идейной борьбой и обилием идеологических позиций. Обилием, которое не только не ослабляет, но усиливает актуальность марксистско-ленинского анализа современной эпохи в частности и в особенности — основополагающего ленинского учения о «двух культурах» и борьбе между ними.

В некоторых выступлениях можно было заметить следы абстрактно-либералистского восприятия и понимания искусства. Но при всем том общую их тональность я бы назвал демократической. Это те самые «демократические элементы» культуры, о которых в 1913 году писал В. И. Ленин в знаменитой работе «Критические заметки по национальному вопросу» [2] и которые проявились столь многообразно в опыте XX века. И, конечно, способствует этому в огромной степени роль в современной истории человечества народов так называемого «третьего мира».

Все более актуальной становится также великая новаторская идея Ленина об объединении элементов демократических и элементов собственно социалистических в культуру прогрессивную, противостоящую культуре буржуазной. Единство это противоречиво, но оно может быть устойчивым и перспективным (в движении в сторону социалистического демократизма). Демократическое чувство многих и многих честных, здравомыслящих художников слова (а стало быть, и художественных критиков) сегодня сильно, как никогда прежде, и оно — особенно если освещено идеями социалистического характера — подсказывает им тот вывод, который афористически выразил Горький: «Культура не является внутренней необходимостью капиталистического мира» [3].

Вот об этих «материях», вроде бы достаточно удаленных от собственно-критических забот, думал я, слушая доклады откровенно-темпераментного А. Окая, обстоятельно-фактичного К. Ж. Аппеля, внутренне сдержанного У. Лагеркранца, слушая выступления коллег и прежде всего, конечно, наших товарищей по духу из братских социалистических стран. В истории их культуры, в истории литератур проблема соединения демократической и социалистической тенденции, роста демократического сознания до уровня социалистическо-демократического относится к числу кардинальных...

Не могу не сказать, кстати, и о самой атмосфере форума, которая способствовала свободному обмену мнениями, дружеским и деловым контактам,— в этом, несомненно, заслуга Союза финляндских критиков, возглавляемого Матти Ринни.

Ну, а что касается дальнейшей деятельности МАЛК... Очень хотелось бы, чтобы в практике нашей ассоциации все больше укреплялась тенденция к преодолению некоторой «академической» замкнутости. МАЛК предприняла и предпринимает определенные усилия в этом направлении — достаточно вспомнить ее участие в Софийской международной встрече писателей, поддержавшей столь авторитетно «дух Хельсинки», или намечающиеся контакты с афро-азиатским писательским движением. Важным моментом содержания VI конгресса МАЛК было обсуждение вопросов гуманитарно-филологического образования в некоторых странах Запада...

Словом, литературной критике, как и самой литературе, есть дело до всего, что волнует человека, во всей сложности его внутреннего мира и гуманистически-активного общественного бытия.

---

[1] См. Ю. Барабаш, Ю. Суровцев. Критика в современном мире (На международном конгрессе МАЛК). «ИЛ», 1976, № 9.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120.
[3] «М. Горький о литературе». М., «Советский писатель», 1953, с. 546.

◆

ВЗГЛЯНУТЬ В ЛИЦО ВРЕМЕНИ

Панорама: 70-е годы в литературах социалистических стран Европы [1]

Т. МОТЫЛЕВА

Присматриваясь к новым книгам прозаиков социалистических стран, мы видим прежде всего, насколько эти книги разнообразны и по тематике, по поставленным проблемам, и по художественной манере.

Обратимся к нескольким романам, которые в последние годы вошли в советский читательский обиход: у каждого из них не только своя тема, но и своя неповторимая структура. Не так давно нас поразила смелостью и новизной замысла «Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази — роман-миф, сопрягающий антично-легендарный сюжет с остросовременной политической и нравственной проблематикой. Многих живо заинтересовало, подчас даже заставило спорить произведение Дюлы Ийеша «В ладье Харона» — роман-эссе, роман-размышление, касающийся коренных вопросов человеческого бытия; связного сюжета тут вовсе нет, но вся книга написана как бы на едином дыхании. Международную славу завоевала книга Алехо Карпентьера «Превратности метода» — роман актуально-политический и в то же время философский, можно сказать, даже культур-философский: тут приводятся в движение громадные пласты духовного наследия народов обоих полушарий. В другом плане значительна «Остановка в пути» Германа Канта, роман-исповедь, вещь явно автобиографическая и в то же время обобщающая судьбы целого поколения немцев; особая сила этой книги именно в той иронической, критической дистанции, которую автор создает между собой и своим былым, давнишним «я». «Мастера» Винцента Шикулы — роман, казалось бы, традиционный и даже нарочито старомодный, написанный в неспешной, раздумчивой манере; внешних событий совсем немного, но удивительно конкретно, зримо выписаны и быт, и работа героев, словацких деревенских ремесленников, а присутствие автора-повествователя, который изящно и ненавязчиво комментирует действие, придает роману дополнительное измерение, возвышает его до уровня поэмы о труде.

Эти книги очень различны — есть ли в них общее? Есть, и не только социалистическое мировоззрение всех названных авторов. Это общее — не в едином стиле, конечно, не в почерке, а в обращенности к самым существенным аспектам жизни людей нашего века и вместе с тем — в устойчивой системе нравственных, эстетических ценностей, которой придерживаются авторы. Можно было бы привести еще и еще примеры, показывающие, что возможности современного романа в странах социалистического мира не только не исчерпаны, но практически неисчерпаемы. И подтверждающие вместе с тем широко принятый в нашей науке взгляд на социалистический реализм как на исторически открытую систему художественных форм (разумеется, при общности идейной основы). Литература развивается не по априорным предписаниям теоретиков — напротив, теоретикам надо считаться с реальной практикой художественного развития. Не так давно было принято думать, что в романе социалистического реализма должен обязательно преобладать событийный элемент, острая сюжетная динамика. Бывает так — но бывает и по-другому. Иной раз напряженность повествования заключена не в событиях, а скорей во внутреннем драматизме. Внимание к духовному миру личности, критический анализ и самоанализ поведения человека, размышления автора и героев над главными вопросами жизни — все это очень характерно для современной художественной прозы в социалистическом мире.

[1] Окончание. Начало см. «ИЛ», 1981, № 2.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА. Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), «Творчество Ромена Роллана» (1959), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974), «Роман Иоганнеса Бехера «Прощание» (1976), «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (1978).

Об опыте социалистических литератур в области романа немало уже написано. Однако стоит напомнить: не романом единым жива художественная проза. Наряду с оригинальными, неканоническими разновидностями романа в странах социализма успешно развиваются и нероманические жанры прозы: новелла, очерк, зарисовка, притча, сказка. Возникают иной раз своеобразные разновидности малых жанров, гибридные жанры, сплавы автобиографии и очерка, циклы рассказов, сгруппированные по разным признакам, будь то общность темы, изображаемой среды или (как в «Странных встречах» Анны Зегерс) общность философского ракурса, в котором показаны явления действительности.

Иногда на практике происходит как бы стирание граней между романом и повестью. А. Пиотровская в книге о современной польской литературе говорит о повести с «романным наполнением». В Польше принят термин «микророман». И в самом деле: «Записки молодого варшавянина» Е. Ставинского — произведение небольшого объема. Судьба молодого поляка в годы войны, путь его взросления, мужания, приобщения к патриотической героике — все это дано не в связном, непрерывном развитии, а лишь в отдельных узловых моментах, сжато, без отягощающих подробностей и без громких фраз. Содержания здесь хватило бы на большой «полнометражный» роман. Но секрет обаяния «Записок», на мой взгляд,— отчасти именно в лаконизме и, я сказала бы, в принципиальной антириторичности.

Роман был и остается главным жанром современной прозы. Но у каждого из малых жанров свои особые художественные функции, каждый из них оказывается необходимым в богатом литературном хозяйстве социалистического мира.

Мы помним замечание, сделанное Владимиром Ильичем Лениным в письме к Инессе Арманд: художественная литература имеет право на «казус», на изображение индивидуального случая. Роман, по своей природе, дает широкую картину жизни, он тяготеет если не обязательно к гегелевской «полноте объектов», то все же к разностороннему изображению действительности. Романист, естественно, стремится, чтобы пропорции света и тени на этой картине более или менее соответствовали реальному положению вещей. У новеллиста, у автора повести есть свои возможности для того, чтобы поставить в центр изображения именно частный случай. Роман прочерчивает главные линии общественного развития. Малая проза может прикасаться к болевым точкам, чутко и по-своему реагировать на противоречия общественного развития. Именно в рамках малой прозы может писатель высветить конфликты, подспудно таящиеся в будничном течении жизни, или, напротив, обратиться к острым, экстремальным ситуациям.

«Барьер» Павла Вежинова — психологический этюд в форме повести. Безумная и благородно-мудрая девушка Доротея — это, конечно, образ по-своему исключительный. Но не патологический казус, а нечто более сложное. Редкостная, необычная психологическая ситуация дала писателю повод поставить нравственную проблему, по-человечески общезначимую.

В маленькой повести Яромиры Коларовой «О чем не сказала Гедвика» тоже представлен частный случай, не вполне обычный. И мать Гедвики и ее отчим — в некотором роде монстры, моральные уроды. Писательница резко акцентирует это уродство, передавая чувства обездоленного ребенка, и мобилизует гнев и бдительность читателя по отношению к подобным типам, подобным нравам.

...Жива ли чеховская традиция в прозе социалистических стран? Конечно, жива — мы убеждаемся в этом, читая рассказы Эриха Коша «Персики», «Бездетная пара». И по теме и отчасти по манере они близки рассказам Чехова «Ионыч», «Крыжовник». Здесь нет острого сюжета, событийная основа еле намечена. Действие замкнуто в узкие пространственные рамки, а во времени оно длится долго, несколько лет. Монотонный ритм повествования, повторяющиеся детали-лейтмотивы — все это отвечает идейному замыслу; естественно, без нажима, без прямых авторских оценок выступает перед нами нелепость существования людей, поддавшихся инерции бездуховности, обывательщины.

Богатое развитие малых форм прозы, традиционных или нетрадиционных, находим мы в литературе ГДР последних лет. Рассказы, очерки, зарисовки, небольшие повести дополняют новыми и важными штрихами ту синтетическую картину жизни республики, которая развернута в ряде романов.

Остросовременны по тематике и материалу рассказы-миниатюры молодого прозаика Хельги Шуберт, с которым познакомились недавно наши читатели. Хельга Шуберт ни в коей мере не берет под сомнение большие успехи, которые достигнуты в ее стране в деле эмансипации женщины. Но она с мягким юмором, добрым участием рассказывает о своих «одиноких подругах», несущих с достоинством свою не всегда легкую долю... Новеллисты — и молодые, и многоопытные — обращаются к типам и ситуациям, которые не находят себе места в больших романах, но которые заслуживают писательского внимания. Иоахим Новотный пишет о тружениках рядовых, ничем, казалось бы, не примечательных, фиксирует внимание на будничных инцидентах из жизни. В рассказе «Грета» появляются молодые рабочие, каменщики, они делают первые неуклюжие па на танцплощадке, между танцующими завязывается конфликт, в сущности, очень мелкий — стоит ли об этом писать? Однако новеллист дает почувствовать, что его герои незаметно для себя впервые задумались над такими вопросами, как культура поведения, уважение к женщине, вопросами немаловажными для людей социалистического общества.

Своеобразное многожанровое искусство Франца Фюмана раскрылось с новых сторон в его произведениях последних лет. В сатирических рассказах «История с зеркалом», «Пустячок, кругом положительный», «Трое голых мужчин» он с тонкой иронией и большой внутренней озабоченностью подвергает критике чуждые социа-

лизму нравы — проявления чванства, очковтирательства, равнодушия к людям. Совершенно необычна по жанру небольшая книга Фюмана, изданная у нас, «Двадцать два дня, или Половина жизни». Тут и рассказ о поездке в Венгрию, проникнутый глубочайшей симпатией к братскому народу и его культуре, и воспоминания о годах войны, и размышления принципиального характера о труде и задачах писателя. Свободная форма дает автору возможность сказать сразу о многом — разнородные фрагменты складываются в прочное целое.

Литературным событием называет критика ГДР книгу Стефана Хермлина «Вечерний свет» (1979). Это, быть может, самая короткая из всех существующих писательских автобиографий: исповедь в форме сюиты эпизодов-зарисовок, без отчетливой временной последовательности, без прямой сюжетной связи, но с единой сквозной темой. Отдельные яркие моменты долгой жизни, прожитой писателем-коммунистом, взаимодействуют, освещают с разных сторон и эпоху, и автора, и те духовные богатства, которые он впитал в себя с юных лет. Книга лишена малейших признаков патетики, но в ней есть свой идейный пафос.

Каждый из этих примеров по-своему характерен. В литературах социалистического мира повышение внимания к отдельно взятой личности, к вопросам нравственности, к внутреннему миру человека сопровождается растущим разнообразием художественных форм, стилей, жанров.

Надо считаться с этим разнообразием и изучать его.

И. МЛЕЧИНА

Оглядываясь на 70-е годы и пытаясь выделить доминантные линии развития литературы ГДР, хочется упомянуть прежде всего ее возросшее многообразие, обогащение общего ансамбля, обилие открывшихся художественных возможностей, более дифференцированный взгляд на мир. Главными чертами литературы 70-х я назвала бы более зрелый подход к отражению актуальных проблем сегодняшней жизни, подлинный историзм, способность глубже постигать и с художественной убедительностью воплощать законы движения общества.

Внутри расширившегося спектра литературы обращает на себя внимание обострившийся интерес к личности в самых разнообразных ее проявлениях, стремление увидеть общественные взаимосвязи и процессы через индивидуальное сознание. Можно утверждать, что развитие литературы ГДР последнего времени проходило под знаком интенсивного внимания к личностной проблематике, эстетически осваиваемой в тесной соотнесенности с историческим процессом, с явлениями общественной жизни, с вырабатывающейся в ходе построения социализма новой системой человеческих взаимоотношений. Поэтому все чаще, характеризуя свое творчество, писатели обращаются к таким понятиям, как «самоопрос», «самодопрос». Эту связь между индивидуальной судьбой и узловыми событиями времени очень точно обозначил Герман Кант, давая оценку новому роману Кристы Вольф «Пример одного детства»: «Обозревается одно детство, а видимой становится целая эпоха. Один человек окидывает взглядом себя, а узнаешь все об обществе. Подчеркнуто личный рассказ героини снова и снова подводит нас к историческим местам действия, вовлекает нас в историю и просто-таки вынуждает считать себя «персонально затронутыми» историей».

Роман Канта «Остановка в пути» особенно отчетливо обнажает стремление литературы к постижению всей сложности внутреннего изменения человека. Эти новые черты особенно заметны при сравнении произведения Канта с «романами воспитания» 60-х годов, в центре которых также становление, формирование человека, как правило молодого, искалеченного фашизмом и войной. За минувшие годы писатели научились избегать упрощенных решений, тоньше и глубже показывать гражданское созревание личности. Канта волнуют не столько внешние приключения героя, которые занимали существенное место в романе начала 60-х годов, сколько «приключения» души, сознания, иначе говоря, моральная и духовная трансформация героя, показанная без малейших сглаживаний, сопровождающаяся бесчисленными срывами и компромиссами и все же приводящая солдата Нибура к порогу новой жизни.

В ряду явлений, связанных с поворотом литературы к личности, следует назвать пристальный интерес к нравственной проблематике. Это стремление литературы исследовать нормы человеческих взаимоотношений, новые этические ценности, закрепляющиеся в ходе построения социалистического общества, убедительно реализуется во многих произведениях последнего времени, таких, например, как роман Дитера Нолля «Киппенберг» [1].

Рождается специфическая структура романа, в котором герой оценивает себя, свою жизнь, глядя на нее как бы со стороны, подводит итоги прожитых лет,— структура, опирающаяся уже не на выстроенный последовательно сюжет, а на внешне произвольно выхваченные «куски» жизненного опыта, эпизоды биографии героя и его страны.

МЛЕЧИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Советский критик, литературовед и переводчик; кандидат филологических наук. Автор книги «Литература и общество потребления» (1975) и ряда работ по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

[1] Статью И. Голика о творчестве Д. Нолля см. в этом номере *(прим. ред.)*.

Построение романа, в котором жизнь героя представлена глазами разных людей (подобную структуру Д. В. Затонский называет «д'артезовской»), обретает в социалистической литературе новую направленность, новый смысл: речь идет о том, чтобы до конца понять человека, разглядеть его нравственную, духовную сущность, постичь характер и причины его поступков, его слов и дел.

Вырабатывается своеобразная структура «нравственного расследования» — так построена, например, повесть К. Вольф «Размышления о Кристе Т.». Передать трудный поиск истины, вовлечь в него читателя — таков смысл известных романов «В поисках Гатта» Э. Нойча, «Даниэль Друскат» Г. Заковского, «Извещение в газете» Г. Гёрлиха. Интерес к моральным проблемам прочно соединен в этих и многих других произведениях с пристальным вниманием к повседневности, к проблемам «рядового» человека, предстающего в глубоком историческом измерении.

С этим связана и вновь обозначившаяся тяга к темам, оказавшимся не исчерпанными прежней литературной практикой,— войне и нацизму, столь ярко показанным, например, в повести М. В. Шульца «Солдат и женщина». Под новым углом зрения, уже с учетом социальных, политических и духовных преобразований исследуют послевоенный период Э. Нойч в многотомном романе «Мир на Востоке», Х. Бастиан в двухтомном романе «Сила и нежность». В каждом из этих произведений сделана попытка на широком фоне новой действительности представить развитие юных героев, которые вступают в послевоенную жизнь совсем детьми (хотя герои Нойча еще успевают «вмешаться» в события догорающей войны у танковых заграждений, увидеть гибель своих товарищей, хаос рушащегося рейха).

В поисках художественных средств, способных воплотить сложное, диалектически сопряженное с множеством коллизий единство личностной проблематики и исторического процесса, литература 70-х обращается и к активному использованию приемов условности. Наряду с формами, аутентично воспроизводящими движение жизни, прочно входят в литературный обиход формы подчеркнуто фантастические, опирающиеся на гротеск, гиперболу, символику. Широкое использование игровых, фантастических, романтически-условных, сказочных элементов оказывается средством расширения образных возможностей литературы. Речь идет о стремлении писателей выйти за рамки узко понимаемого жизнеподобия, найти альтернативу натуралистическому упрощению, тому «расколдовыванию» действительности в литературе, на которое еще много лет назад обращала внимание Анна Зегерс.

Жанровые поиски в этом направлении выражают стремление писателей в предельно концентрированной форме откликнуться на события эпохи. Поиск новых эстетических решений нацелен, таким образом, на охват действительности, но не в ее панорамной целостности, а в многообразном единстве определяющих жизнь современного человека философско-этических проблем. Широкое использование приемов художественной условности отражает обозначившуюся во всех социалистических странах тенденцию к более глубокому и емкому пониманию самой природы реализма, свидетельствуя о многообразии творческих почерков.

Такие романы, повести, новеллы, как «Предания о неземных пришельцах» или «Встреча в пути» А. Зегерс, «Крабат, или Преображение мира» Ю. Брезана, «Жизнь и приключения трубадура Беатрисы» И. Моргнер, «Трамвай моего отца» или «Мораль наяды» Э. Паница, становятся убедительным выражением того, как шлифуются и совершенствуются способы эстетического освоения реальности в литературе ГДР. В этом же ряду — обращение к сюжетам старых легенд, сказаний и притч, новые пересказы мифов (в русле того же процесса гуманизации мифа, что знаком нам по тетралогии Т. Манна об Иосифе). Авторы, по-новому интерпретирующие мифы или средневековые сказания — Фюман, создавший новые варианты «Песни о Нибелунгах» и «Рейнеке-Лиса», Г. де Бройн в «Тристане и Изольде»,— не искажают историю и не мифологизируют реальность, они приближают древние сюжеты к современности, связывая их с нашим сегодняшним миром, с моральными проблемами современного человека.

Нельзя не отметить изменение повествовательного угла зрения, новой функции и образа рассказчика. Часто мы наблюдаем отказ от «всезнающего» рассказчика, более субъективный подход к явлениям действительности, повествование от первого лица, исповедальную, доверительную интонацию; нередко мир представлен глазами ребенка, в его наивном и чистом восприятии, открывающем неожиданные, невидимые для взрослого стороны жизни («Прекрасная местность Пробштейн» Х. Шюц, «Жонглер в кино» Ф. Фюмана, «Путовица, или Серебряные часы» А. Вельма).

Заметное явление 70-х годов — активное обращение к документальным формам, очерковой прозе, мемуарному жанру. Важным событием литературной жизни этого периода стали автобиографические произведения писателей-коммунистов, проникнутые пафосом антифашистской борьбы,— «Если дело идет о жизни» Петера Эделя, «Сообщает Соня» Рут Вернер.

Направления, по которым развивается проза ГДР 70-х годов, многообразны и интересны. Тенденция к широкому охвату жизни соседствует со стремлением представить все сложности процесса духовного возмужания, выявить противоречивость, многоступенчатость нравственных сдвигов, показать их во всей глубине и достоверности, избегая клише. Мы наблюдаем интенсификацию повествования, часто драматическую, откликающуюся на сложнейшие жизненные коллизии. Идет поиск новых, разнообразных форм художественного отражения действительности. Структурные сдвиги во многом связаны с изменением самой функции литературы, новым характером и уровнем читательской аудитории, позволяющим вести разговор с читателем как с партнером, который обладает тем же жизненным опытом и знает подоплеку

изображаемых событий. Эта изменившаяся функция литературы, ее новые задачи и новое назначение становятся мощным фактором ее развития.

Н. ПОНОМАРЕВА

Болгарская литература 70-х годов настолько тесно связана с литературой предшествующего десятилетия, что изолированное ее рассмотрение представляется неправомерным. В конце 50-х — начале 60-х годов в общественной жизни страны произошли существенные качественные изменения, самым плодотворным образом отразившиеся и в литературе. Наиболее характерным ее признаком явилось обращение непосредственно к человеку, к его душевному миру, художественное преломление исторических судеб народа и современности через призму личности, усиление гуманистического пафоса произведений, преобладание нравственного аспекта в исследовании конфликтов действительности. Новая проблематика послужила стимулом жанровых и стилевых поисков болгарских художников слова. Особое развитие получила «малая» проза, временно потеснившая масштабный эпический роман, значительное место заняла лиризация, монологичность, так называемая исповедальность, повысился интерес к документальным жанрам, эссе, наблюдается тенденция к взаимопроникновению жанров, стиранию четких границ между ними. В поэзии произошла реабилитация интимной и пейзажной лирики, усилилось тяготение к философичности. В драматургии возникло лирико-поэтическое направление, называемое «поэтической волной».

Многие из перечисленных и некоторые другие признаки литературы 60-х годов в том же или ином виде присутствуют и в 70-е годы. И не только присутствуют — продолжают определять ее облик. Это не значит, что болгарская литература застыла в своем развитии. Разумеется, ей свойственно постоянное обновление содержания, проблематики и художественных средств. Некоторые прежние тенденции ослабевают или даже вовсе исчезают. Так произошло, например, с лирико-поэтическим направлением в драматургии, которое, сыграв весьма положительную роль в обогащении этого рода литературы, по существу, сошло со сцены. И все же в целом литература 70-х годов является как бы вторым пиком на пути, определившемся в основном в 60-е годы.

ПОНОМАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Советский литературовед, кандидат филологических наук, занимается болгарской литературой XX в. Автор книги «Современная болгарская драматургия» (1974), ряда статей и исследований в области болгарской прозы и драматургии.

Борьба за построение развитого социалистического общества в 70-е годы порождает целый ряд новых проблем экономического, социального и морального планов. В литературе по-прежнему преобладает нравственный аспект этих проблем.

Как и раньше, в прозе — ведущем на данном этапе роде литературы — значительное место занимает лирический монолог, «исповедь» героя. Однако содержание этой художественной формы во многом меняется. Не расчет героя с недавним прошлым, осознание хотя и преодоленных, но все еще болезненно памятных негативных явлений известного периода в развитии общества, а подведение жизненных итогов, анализ цепи успехов и поражений является теперь объектом исследования писателей. Произведения такого плана представляют собой лирическое, субъективизированное осмысление процессов действительности, главным образом нравственной динамики общества. Как правило, они очень разные по тематике. Но их объединяет не только проникновенная и подчас жестокая искренность, философская умудренность, но и особая критическая направленность как по отношению к своему герою, так и по отношению к действительности («Зеленая трава пустыни» Д. Фучеджиева, «Ночью на белых конях» П. Вежинова, «Самый тяжелый грех» Д. Асенова).

В 70-е годы усилилось критическое начало. Возможно, отчасти в связи с этим наблюдается значительное оживление сатиры и юмора в поэзии и особенно в драматургии («Январь», «Попытка полета» Й. Радичкова; «Людоедка» И. Радоева; «Римская баня», «Замшевый пиджак», «Автобус» С. Стратиева).

Бурный темп жизни в эпоху НТР оказывает существенное воздействие на формирование личности. Но воздействие это неоднозначно и зачастую приводит к серьезным конфликтам. Один из важнейших конфликтов — в известном отставании духовного роста современника от развития материальной базы общества, что порождает множество остродраматических и порой трагических ситуаций. И если в первые десятилетия народной власти писатели нередко (и с основанием) искали причины нравственных несовершенств человека нового общества в неизжитом еще влиянии буржуазного прошлого, то сегодня взгляд писателя обращен целиком к современности, в которой он ищет разрешения и объяснения всех конфликтных явлений. Пафос таких произведений, как повести П. Вежинова «Барьер», «Озерный мальчик», «Белый ящер», С. Стратиева «Короткое солнце», «Дикие пчелы», Г. Мишева «Дачная зона», направлен против современного мещанства с его потребительской философией, против усиления технократических тенденций, эгоизма и равнодушия, обеднения эмоциональной и духовной сфер личности.

С коренной перестройкой сельского хозяйства и связанной с этим миграцией крестьян в города и на стройки меняется мироощущение целого слоя населения. Адапта-

ция к новым условиям, как правило, не проходит быстро и гладко, и литература старается отразить наиболее характерные признаки этого сложнейшего процесса рождения нового слоя городского населения (повесть Г. Мишева «Удаление», роман В. Попова «Низина»).

«Деревенская» тема в болгарской литературе всегда занимала особое место. В 60—70-е годы к ней обращается ряд талантливых писателей. Гибель старого крестьянского мира неизбежна. Эта мысль так или иначе присутствует в любом из произведений на «деревенскую» тему. Вместе с тем в тех же произведениях читатель нередко почувствует лирическую печаль, ностальгию по навсегда исчезающему старому селу, с которым кровно связан почти каждый болгарин, которое было колыбелью всего национально-болгарского, хранителем моральных устоев народа. Грустное сочувствие уходящему миру проглядывается и в ироническом повествовании И. Петрова, и в окрашенной мягким юмором прозе Г. Мишева, и в беспощадно точных зарисовках В. Попова. Оно связано со страхом перед угрозой расшатывания моральных устоев.

Один из интереснейших писателей Йордан Радичков подходит к решению коллизии «цивилизация—патриархальность» многоаспектно. Поэтика этого писателя необычна. Для нее характерно взаимопроникновение примитивно-бытового и возвышенного планов, обыденного и фантастического, традиционного рассказа и иносказания, реалистического описания и гротеска, комического, трагического и трагикомического. Его творчество своеобразно связано и с фольклором. Эта сложная художественно-изобразительная система оказывается на редкость подходящей формой для воплощения социальных и моральных конфликтов современной болгарской деревни. Противоречивость и зачастую хаотичность реакций крестьян на вторжение в стереотипы их патриархального мышления нового времени изображается писателем гротескно, как «суматоха». Главное для писателя — не упустить в этой «суматохе» национальной нравственной доминанты, остановить наступление мещанской стихии, потребительства и равнодушия. Писателя тревожит и то, что с размыванием контуров прежних нравственных ценностей теряется ощущение единства человека и природы, чувство ответственности за ее сохранность. Технический прогресс, если он осуществляется с ложных позиций, несет с собой и разрушительное начало. Страшно, когда гибнет природа, но еще страшнее, когда вследствие этого духовно нищает человек. Характерно, что при обращении к этой проблематике добродушная, насмешливая или ироническая интонация повествования у писателя сменяется грустной, серьезной и встревоженной («Шесть маленьких матрешек и одна большая», «Воспоминания о лошадях»).

В стремлении всесторонне исследовать современное бытие и сознание своего народа писатели естественно обращаются к многовековой славной и трагической его истории. Цель их — не восстановление и описание событий, а стремление отыскать в истории истоки и основы национального характера, особенности национальной психологии, нравственных ценностей. Это то, что связывает историю с сегодняшним днем. Историческая проза такого плана, разная в жанрово-стилевом и тематическом отношениях, обычно тяготеет к философской и нравственно-этической проблематике («Цена золота» и «Возвращение» Г. Стоева, «Легенда о Сибине, князе преславском» и «Антихрист» Э. Станева, исторические романы Слава Хр. Караславова и В. Мутафчиевой).

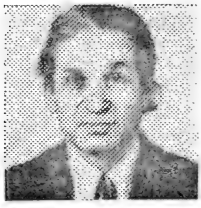
Историческим романам Веры Мутафчиевой присуща строгая достоверность фактов, которая служит фундаментом для философско-аналитического художественного повествования. Жанрово-стилевое своеобразие этих произведений обусловлено тем, что в них на равных правах выступает автор-ученый и автор-художник. Так, «Книга о Софронии» В. Мутафчиевой написана на основе научного толкования (текстологического, литературоведческого, исторического, философского) известного произведения Софрония Врачанского «Житие и страдания грешного Софрония». Жанр «Книги о Софронии» очень трудно поддается определению. Недаром и сама писательница ограничилась в заглавии словом «книга».

Тенденция к усложнению, обогащению и смешению жанров, как уже отмечалось, характерна для болгарской прозы 60—70-х годов в целом. Перед многими произведениями болгарской прозы критики останавливаются в недоумении, не зная, как определить их жанр. Стерлась четкая граница между повестью, новеллой и небольшим по объему романом. Книгу Э. Станева «Антихрист», например, называют повестью, историческим романом, философским новеллистическим романом. В каждом из этих определений есть известная доля истины. Повесть Й. Радичкова «Все и никто» чаще всего именуют романом, а иногда совершенно неправомерно причисляют ее и к детективному жанру, основываясь на наличии в ней приключенческой интриги. Думается, что различные модификации жанров в современной болгарской прозе также отражают новые требования жизни и высокие духовные запросы сегодняшнего читателя.

Конец 70-х годов был ознаменован известным оживлением в жанре крупного романа на современную тему. Бесспорным успехом в этой области явились по меньшей мере два произведения: «Ночью на белых конях» П. Вежинова и «Низина» В. Попова. Авторам удалось достигнуть высокой степени художественного обобщения существенных признаков своего времени. Интересно, что при всем своеобразии авторской индивидуальности этим романам в художественном отношении свойственно и нечто общее, соответствующее тенденциям развития прозы в целом. Речь идет об относительной фрагментарности формы этих произведений, новеллистической расчлененности, что, как мне кажется, стало отражением такого характерного явления в болгарской прозе 60—70-х годов, как циклизация малых жанровых форм.

Болгарская критика считает, что «зондирование» действительности с помощью ма-

лых прозаических форм уже подготовило условия для расцвета масштабного романа о современности.



М. ФРИДМАН

70-е годы в румынской литературе — этап накопления идейно-художественного опыта, поиска новых содержательных и стилевых плацдармов прозы, ее новых возможностей.

Модернистские эксперименты, которыми многие увлекались в предыдущем пятилетии, обнаружили свою несостоятельность, писатели стали все больше осознавать их несовместимость с объективными потребностями общества, вступившего на путь созидания социализма. Снижение уровня романного, синтезирующего мышления, которое можно было наблюдать, лучшие представители румынской литературы связывали с недооценкой возможностей реалистического искусства. «Положительное отношение читательских масс к реалистическому искусству,— подчеркивал З. Станку на конференции писателей СРР 1972 года,— несомненные достоинства реалистических произведений свидетельствуют о жизненности этого литературного метода, о том, что он лучше всего может воплотить явления, приковывающие наше всеобщее внимание». При этом подчеркивалось, что речь идет об идейном и художественном обогащении реалистической палитры, о новом творческом подходе к традиции.

Правда, формула эта трактовалась отнюдь не однозначно: различия в ее понимании отражали становившийся все более явным в эти годы водораздел между сторонниками «традиционалистского» и «новаторского» путей развития литературы.

Для первых основополагающим был опыт румынской литературы, восставшей, по выражению критика М. Унгяну, против «тирании иноземных образцов» и посвятившей себя поиску национально-самобытного героя, «истинно румынского архетипа». Именно этот опыт — по их мнению — мог обогатить современный реализм, позволить ему в новом свете показать исконные духовные ценности народа.

С иных позиций выступают сторонники новаторских тенденций. Классика для них существует лишь в той мере, в какой она вписывается в общий поток развития мировой культуры, национально-самобытное — в той мере, в какой его можно выразить новейшими средствами художественного воплощения. Традиционно-предметное, аналитическое изображение, с их точки зрения, отнюдь не самая привилегированная и тем более не единственная форма художественного воспроизведения действительности. Необходимо — по их мнению—использовать все возможности романтического, условного, гротескного, фантастического стилей, учитывать опыт психоаналитической прозы и так далее.

Эти две противостоящие друг другу позиции в литературе 70-х годов явственно прослеживаются в романах, посвященных периоду строительства основ социализма в Румынии. Более того, прослеживается и определенная эволюция этих позиций, без учета которой невозможно представить себе особенности литературного процесса этих лет.

Роман о 50-х годах стал в Румынии своеобразным вариантом распространенного в социалистических странах «романа итогов», переоценки героем собственного жизненного пути, своего места в годы бурных революционных ломок.

Главным действующим лицом «традиционалистского» романа становится крестьянин, носитель и защитник исконных ценностей народного духа. Волею истории герой этот поставлен перед необходимостью сделать мучительный для него выбор: укрыться в «твердыне устоев» или выйти на простор общественных преобразований? Вспомним: в 1945 году М. Садовяну, создавший немало ярких образов крестьян — хранителей народно-этических представлений, обращался к писателям с призывом «оставить прошлому поэзию пейзажа, костюмов, обычаев; крестьянству надо помочь включиться в жизнь современного мира».

Между тем в отдельных произведениях («Какие-то крестьяне» Д. Сэрару, «Страдания потомков» И. Лэнкрэнжана и др.) отжившие ценности, старое, патриархальное изображены с гораздо большей художественной убедительностью, чем новое. Как подчеркивалось во многих критических выступлениях, ошибка авторов названных романов заключалась в том, что главными выразителями устремлений крестьянства в период коренного преобразования румынской деревни выступали именно такие патриархальные герои. Это приводило к дискредитации новых форм жизни в деревне, сужению многообразия связей персонажей с реальной действительностью. Не создавалось целостного образа эпохи, ее существенных закономерностей.

По-иному расценили свою задачу такие видные представители «деревенской» прозы, как А. Бузура («Лики молчания»), Д. Р. Попеску («Двое против горы Цебы», «Королевская охота», «Пива для моего коня», «Дожди иных времен», «Царь туч»), Дж. Бэлэицэ («Непослушный ученик»).

В романе А. Бузуры ощущается стремление автора осмыслить сложность изображаемой эпохи, передать жизнеутверждающие

ФРИДМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.). Советский литературовед и переводчик, автор ряда работ о творчестве М. Садовяну и других румынских прозаиков, статей по истории румынской культуры XIX и XX вв. В его переводе опубликованы романы М. Садовяну «По Серету мельница плыла», «Никоарэ Поднова», «Братья Ждер», «Племя Шоймару» и др. Автор повести о жизни М. Садовяну «Молодость без старости».

начала происшедших в деревне перемен и в то же время предоставить читателю возможность самому вынести окончательное суждение об исторической правомерности обновления. Надо, однако, сказать, что попытка А. Бузуры подменить авторскую причастность к описываемым событиям позицией стороннего наблюдателя, «поднявшегося» над своими героями, себя не оправдала. Гораздо сильнее было воздействие на читателя многотомной саги Д. Р. Попеску, в которой революционное обновление жизни нашло отражение в судьбах героев — история здесь не фон, а важнейший элемент художнического замысла. Мифологическая стилизация играет чисто эстетическую роль, она — лишь средство художественного выражения тесной связи героев, прочно «прописанных» в современном мире, с историческим прошлым родной земли. И потому негативные персонажи выступают в саге лишь как «накипь сложного революционного процесса», обреченная на неминуемое исчезновение.

Роман Дж. Бэлэицэ «Непослушный ученик» — важная веха на пути освоения румынской литературой тематики 50-х годов. Оказавшись перед необходимостью сделать выбор, герои произведения — члены крестьянской семьи Адамов — не оглядываются назад, не замыкаются в «твердыне устоев». Они учатся, поднимаются по служебной лестнице, осваивают «городские» профессии, живут в полную силу, порой ошибаясь и тяжело расплачиваясь за это. Персонажи романа все глубже осознают историческую необходимость перемен, не испытывая ностальгии по прошлому, хотя оно живо в них лучшими своими нравственными устоями. Умение сочетать в пределах реалистического повествования многообразные изобразительные средства — элементы романа-аллегории, мифа, притчи и т. д.— помогло автору создать мир, похожий на яркое театральное представление, в котором есть место и трагическим коллизиям, и проделкам мудрых шутов, и приключениям жизнелюбивых фальстафов, мир, переживающий обновление, в котором даже «архетипы» не остаются неизменными.

Примерно такую же эволюцию претерпел и «роман итогов», посвященный судьбе интеллигенции в условиях созидания нового общества («Глиняный божок» И. Лэнкрэнжана, «Галерея, увитая диким виноградом» К. Цою, «Мед» Э. Урикару и др.). И здесь развитие шло от чисто внешних «прикосновений» к болевым точкам эпохи (это приводило нередко к нарушению эстетической автономии персонажей, навязыванию им авторской воли), ко все более глубокому проникновению в сущность тех сложных общественных и нравственных процессов, которые обусловили переход румынской интеллигенции на позиции социализма. Герои «Глиняного божка» и «Меда» — писатели. Оба мечтают написать «главные книги своей жизни» именно об эпохе 50-х годов. Но если герой И. Лэнкрэнжана — раб конъюнктуры, «воплощение прошлого» — гибнет, запутавшись в компромиссах, которые представляются автору весьма типичными, то герой Э. Урикару убеждается, что он не вправе мешать поступательному ходу преобразования жизни. «Куда легче ограничиться осмыслением прошлого, нежели будущего,— говорит один из героев «Меда».— Так пусть же вас привлекает, глубоко волнует образ жизни, достоинства и характер человека в нашем новом обществе, которое мы с вами создаем». Румынская критика справедливо усматривает в творчестве Э. Урикару выражение позиции нового поколения прозаиков, чье внимание сосредоточено на современной действительности,— прозаиков, сознающих, что искаженное понимание прошлого приводит к искаженному пониманию настоящего.

Возможно, именно поэтому в Румынии столь остро ощущалась в последнее время необходимость широкого обсуждения проблем, связанных с авторской позицией, раскрытия ее мировоззренческих основ. Во время дискуссии на тему «Философские основы творчества современных писателей Румынии» в редакции журнала «Контемпоранул» критик Д. Мику подчеркивал: «Ныне, когда кое-где поговаривают о «гибели героя» и даже о «гибели литературы», именно марксизм возвращает творчеству его подлинное лицо, его истоки, его самобытность». Участники дискуссии согласились с тем, что многообразие художественных форм, используемых ныне румынским романом, вырастает на почве единого мировоззрения— диалектического и исторического материализма.

Это важнейшая основа для подлинно синтетического романного мышления, предполагающего создание героя не только думающего, но и творящего, не только задающего вопросы, но и предлагающего ответы, не только оглядывающегося назад, но и пробивающего путь в завтрашнее, в будущее.

Г. ИЛЬИНА

Тенденции, наметившиеся в литературах народов Югославии в конце 60-х — начале 70-х годов и получившие свое дальнейшее развитие на протяжении седьмого десятилетия, позволяют говорить о качественных изменениях, происходящих в литературном процессе. Литература предельно зашифрованная, абстрагировавшаяся от проблем современности, ориентированная на опыт западноевропейского экзистенциалистского романа и получившая широкое распространение в предшествующие годы, на рубеже десятилетия была осознана большинством писателей и критиков как неплодотворная. Так, в 1972 году крупнейший писатель Югославии Иво Андрич в интервью болгарскому журналу «Септември» сказал: «Сейчас в югославских литературах действительно

ИЛЬИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
Советский славист, кандидат филологических наук. Автор статей по проблемам литератур народов Югославии XX века.

преобладает реализм. Надо было преодолеть многие заблуждения, чтобы убедиться, что это единственный путь установления контакта с читателем». По мнению представителя молодого поколения И. Ивановича, «новые писатели должны были открывать новые горизонты, новые темы, должны были вернуться к жизни. А это привело к реабилитации критического реализма и, естественно, к продолжению национальной традиции...».

Реалистическое направление продолжало развиваться на протяжении всего послевоенного периода; в 70-е оно приобретает все нарастающую весомость, демонстрируя неувядающую силу таланта писателей старшего поколения (И. Андрич, М. Крлежа, М. Кранец, Д. Максимович и др.) и страстное стремление среднего и молодого отряда писателей утвердить национальные, прежде всего реалистические традиции (Ж. Чинго, Д. Михаилович, К. Кларич, М. Саболович и др.). Теперь вновь возникает интерес к социальной литературе, к литературе реалистической, осмысление накопленного ими опыта в разработке тех или иных проблем, тем, жанров, обращение к, казалось бы, забытым в последние годы социальным типам и общественным пластам жизни, например, жизни рабочего (М. Саболович, К. Кларич) и шире — трудового человека (Д. Михаилович). Художественный опыт реалистического направления, как и опыт использования— и положительный и отрицательный — художественных новаций разнообразных течений, бесследно не прошел. Однако не стоит противопоставлять, как это иногда делается, обе стороны этого процесса, существовавшие в реальной литературной практике в сложном взаимодействии. Так, нередко еще югославская критика полагает, что залог литературного движения вперед — лишь в усвоении модернистских приемов. Против этой позиции выступил, в частности, такой писатель, как М. Лалич. «Реализм,— сказал он,— не может жить без постоянного обновления и обогащения... Реализм должен питаться новыми соками, использовать новые формы, но при этом нет никакой необходимости крестить эти новации именем какого-нибудь «изма».

В 70-е годы можно заметить процесс, обратный по сравнению с предшествующим десятилетием,—если раньше течения модернистские были гораздо активнее и оказывали влияние на реалистическое направление, то теперь реалистическое искусство несомненно влияет на модернистское. Для последнего теперь характерен известный интерес к конкретной истории, попытка соотнести индивидуальные судьбы с теми или иными историческими процессами, хотя и очень при этом субъективно отобранными и осмысленными, внимание к месту, времени, действию. На страницах этой литературы возникает герой, поведение которого несет на себе отпечаток национального, психологического, а порой и социального бытия. Иными словами, произведения представителей модернистского направления претерпевают существенную модификацию (Б. Пекич «Как успокоить вампира», М. Ковач «Двери утробы»).

Укрепление позиций реалистического искусства и расширение сферы его воздействия на литературу в целом вызвало во второй половине 70-х годов новую волну дискуссий о сути реализма.

В литературе 70-х годов нам видятся три основных проблемно-тематических узла. Это комплекс вопросов, определяемых народно-освободительной борьбой и социалистической революцией в Югославии, отношением к истории и проблемам современности. Сами темы не новы, хотя интенсивность обращения к ним на протяжении послевоенного периода и менялась весьма заметно, как менялись подходы к ним и ракурс их освещения. В рассматриваемом десятилетии столь же острым остается аспект нравственный, позволивший шире и глубже поставить проблему личной ответственности человека. Романам Ю. Франичевича-Плочара («Мир», «Водоворот»), М. Божича («Колоннелло», «Бомба»), как и циклу рассказов А. Исаковича («Мгновения»), присущи многие из тех отличительных черт, что характерны для советских произведений о войне так называемой «второй волны»: максимальное приближение к реальному военному быту, преимущественно будням войны, проникновение в суть фактов, пристальный психологизм. Центр тяжести в этих произведениях переносится с конфликта между двумя враждующими идеологиями на морально-этические и психологические коллизии внутри самого народно-освободительного движения, на те «высоты человеческого духа», по словам Ч. Айтматова, что кроме высот безымянных приходилось брать бойцам.

Аналитический дух, столь свойственный литературе 70-х годов, пожалуй, ярче всего проявил себя в исторической прозе. При сохранении традиционных форм в историческом романе (Ч. Сиярич «Царское войско») преобладают модернизированные формы. Так, между прошлым (как бы далеко оно от нас ни отстояло) и настоящим устанавливаются прямые связи с помощью героя-повествователя. Герои-рассказчики С. Куленовича («Река, уходящая под землю») или М. Ковача («Двери утробы») — наши современники, повествующие о судьбах своих семей, втянутых в водоворот истории, на основании личных воспоминаний; рассказчик, которому Э. Кош доверил повествование в романе «В поисках мессии», реконструирует историю еврейского реформационного движения XVII века и судьбу его вождя, ставшего ренегатом, на основе документов и собственной гипотезы, возникшей у него не без связи с метаморфозами собственной личности. Во всех этих, очень разных по своим концепциям произведениях роль рассказчика и его функциональное значение в повествовательной структуре велики.

Югославская историческая проза являет и редкое для современных литератур качество — эпически масштабное постижение сути народного бытия. Начиная с 50-х годов нить эпического повествования не прерывалась и в следующем, преимущественно «антиэпическом» десятилетии — достаточно напомнить о произведениях М. Краньца,

О. Давичо и, конечно, о пятитомном романе М. Крлежи «Знамена». Патриарх хорватской литературы как бы передал эстафету М. Лаличу («Военное счастье», «Поборники») и Д. Чосичу («Время смерти»). Разумеется, не случайно, что именно писатели-реалисты разных национальных литератур Югославии, за плечами которых большой жизненный и художественный опыт, практически в одно и то же время обратились к исследованию истоков, народных судеб, к закономерности избранного народами пути. Их произведения синтезируют не только личный писательский опыт, но и опыт, накопленный их предшественниками, и создают новое идейно-эстетическое качество — оно заключено прежде всего в новых оценках явлений национальной истории и в ее соотнесенности с историей европейской, в ощущении перспективы исторического движения, что ведет и к структурным изменениям национального романа-эпопеи.

По признанию югославской критики, дефицит современной темы в югославских литературах ощущается очень остро. Количественно довольно многочисленная, натуралистическая литература, утверждавшаяся на волне критического отношения к абстрагирующемуся от жизненных проблем искусству и завоевавшая на определенный период читательскую аудиторию, не смогла удовлетворить ее интерес. Привлекала новизна тематики — жизнь периферии, современных деклассированных групп населения, будни молодежи, преимущественно студенческой, не приемлющей нормы потребительского существования (М. Капор, В. Стеванович, З. Майдак). Между тем настораживали безысходный пессимизм, переходящий в штамп, фиксация внимания на всем уродливом, физически и духовно разлагающемся, к проявлениям зла во всех его видах и полной беспомощности людей ему противостоять. Свою роль такого рода литература сыграла — пусть на очень ограниченном жизненном пространстве и очень однобоко, но она поставила ряд важных проблем.

В реалистической литературе современная тема постепенно нащупывает свой путь. В ней художественному анализу подвергается человек активного действия, подлинный строитель новой жизни и ее нравственных основ. Надо сказать, что таких произведений пока еще немного, но важно отметить появление самой тенденции заинтересованного поиска моральной опоры, нравственных критериев в оценке общественного и личного поведения человека наших дней. К таким произведениям югославская критика причисляет романы Д. Михаиловича «Венок Петрии» и М. Саболовича «Шрамы», позволившие ей говорить о реализме в творчестве писателей среднего и молодого поколений. Гораздо в большей степени, чем для остальной литературы, для литературы о современности характерно усиление роли повествователя. И в то же время явно тяготея к лирическому началу, эта проза не противостоит началу эпическому, как это было, скажем, в исповедальной прозе 60-х годов, но взаимодействует с ним. Эта общая, видимо, черта, свойственная многим европейским литературам, если употребить определение, данное советским критиком Н. Анастасьевым, заключалась в своеобразном «насыщении лирических форм эпическим содержанием». Ярко выраженная субъективность неизменно дополняется, а то и корректируется введением документов, передачей взглядов других персонажей или прямой апелляцией к жизненному опыту читателя. Роман такого типа позволяет говорить о возникновении в югославских литературах жанра, включающего в себя в той или иной мере (правда, не всегда еще органично) черты романа-исповеди, производственного романа и романа-воспитания.

Итак, главный итог прошедшего десятилетия — убедительное доказательство силы и способности реализма к дальнейшему развитию. Его теперь представляют не только писатели старшего поколения, начавшие свой путь в литературе до второй мировой войны или сразу после нее, но и писатели, чьи первые произведения увидели свет в 60-е, а то и в 70-е годы.

Ю. БОГДАНОВ

Открывая сегодняшнее обсуждение, Владимир Федорович Огнев призывал взглянуть на литературное развитие 70-х в «контексте» близящегося к своему исходу XX века. Учитывая скромные возможности и достаточно конкретные задачи нашего обсуждения, было бы рискованно заранее предполагать, что мы сумеем существенно продвинуться в заданном глобальном направлении. И все же, как мне кажется, известный шаг вперед был сделан. В первую очередь я имею в виду то обстоятельство, что большинство выступавших не ограничивается простым обзором отдельно взятых явлений, но стремится представить их на фоне общего движения социалистических литератур. И если не 80 лет, то по крайней мере дистанция в 35 лет, отделяющая нас от возникновения социалистических стран Европы, постоянно присутствует в наших размышлениях. Отдавая должное достижениям и, разумеется, не забывая о потенциальных возможностях писателей-гуманистов капиталистического Запада, с глубоким заинтересованным вниманием и оптимизмом следя за могучим творческим взрывом, происходящим в литературах так называемого «третьего мира», мы в то же время отчетливо

БОГДАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1932 г.). Советский литературовед, кандидат филологических наук, специалист по истории литературы Чехословакии. Редактор и основной автор книги «История словацкой литературы» (1970), многих статей по современной чешской и словацкой литературам XX века и проблемам теории социалистического реализма.

сознаем, что основная ответственность за судьбы мирового художественного прогресса лежит в нашу эпоху на литературах социалистических. Именно в них — и 70-е годы дают тому новые подтверждения — явственно проступают процессы, имеющие универсальную общечеловеческую значимость, процессы, в конечном счете определяемые стремительно возрастающей всемирной ролью исторического опыта стран и народов, идущих по пути социалистического развития.

Многое в литературе и еще больше в наших представлениях о ней трудно сегодня удовлетворительно объяснить, не приняв во внимание очевидную тенденцию усложнения бытия, общественного и человеческого сознания в особенности. Эта объективно возрастающая сложность нередко выступает как важнейшее препятствие на путях целостного осмысления жизни. Заведомый отказ от постижения ее закономерностей демонстрирует расплодившийся на Западе «кич», а с другой стороны, бесконечная вегетация холодных, так называемых экспериментальных тенденций — два полюса внехудожественного реагирования литературы на бурное изменение и усложнение облика мира. Но и в сфере собственно художественного творчества происходили и происходят процессы, свидетельствующие о своего рода перегруппировке сил прежде всего в социалистических литературах, накоплении ими новых оснований для достойного ответа на требования времени.

Пришла в движение, в частности, вся жанровая система современной прозы. На протяжении 60—70-х годов не только изменялись пропорции между крупной и малой эпикой в советской или, например, болгарской, польской, венгерской литературах, но и размывались сами границы жанров. Панорамность как ведущий принцип организации материала в социально-психологическом романе оттеснялась по преимуществу в сферу традиционного исторического повествования, уступая место более экономным, концентрированным способам художественного освоения современности. Идея социально-исторического самоопределения человека, служившая главным двигателем художественного процесса на первом этапе послевоенного развития социалистических стран, в условиях развивающегося социалистического строя все отчетливее выступает как идея социально-нравственного самоопределения личности. Писатели исследуют органичность вызревания нового общественно-исторического идеала на конкретной национальной почве, типичность и в то же время самостоятельность, неповторимость прихода к этому идеалу человека XX столетия. Мерой зрелости социалистической литературы становится, по меткому обобщенному определению А. Бочарова, «ее возрастающая способность постигать те бесконечные сочетания, которые возникают в недрах человеческой природы при ее взаимодействии с социальной историей»[1].

В этом смысле 70-е годы можно рассматривать как важнейший этап системного «вызревания» каждой национальной социалистической литературы. Не случайно Г. Кант, автор «Выходных данных» и «Актового зала», лишь по поводу своего последнего романа «Остановка в пути» счел возможным сказать: «Для такой книги необходима была какая-то особая зрелость — своя и общества» [1]. Не случайно именно в последнее десятилетие мы наблюдаем во всех литературах социалистических стран резкое усиление конкретного исследовательского пафоса, особенно характерное для прозы, поднявшейся в своих лучших образцах до подлинно художественного освоения сложного движения жизни, диалектики ее противоречий.

Во многом по-новому, например, освещается сегодня производственная сфера социалистического бытия. Проблема духовности и бездуховности труда, в особенности в условиях индустриального производства, машинной цивилизации вообще, со всей остротой рассматривается социалистической прозой прежде всего сквозь личное самочувствие человека-труженика. Проблема насущно необходимой интенсификации производства сегодня непосредственно связывается с проблемой «интенсификации» творческого начала в человеке.

В большинстве литератур отчетливо прослеживается процесс повышенного интереса к «деревенской» теме. Наряду с проявлениями пассивной ностальгии по уходящим реалиям старой деревни здесь можно наблюдать оправданное усиление интереса к устойчивым, прошедшим испытание временем морально-нравственным категориям, в которых запечатлелись лучшие черты народного мироощущения и отдельные, как бы «внесоциальные» стороны крестьянского характера, связанные с естественной близостью к природе, с бережным, истовым отношением к земле-кормилице. Литература заботится о том, чтобы внедрение технического прогресса в сферу сельскохозяйственного производства не приводило к фатальному отмиранию духовных ценностей, накопленных трудовым народом на протяжении многих поколений.

Под особым углом зрения происходит и осмысление лучшими художниками национальной — дальней и близкой — истории. Обращение к прошлому несомненно продиктовано актуальной необходимостью очищения «заветов» и «наследия» от всякого рода националистических наслоений, более точной расшифровкой нравственно-генетического кода нации. В ряде литератур наблюдается одновременно тяготение к «повторному» переосмыслению важнейших узловых событий последних десятилетий, к героике антифашистской борьбы, к первому этапу социалистического строительства, массового кооперирования деревни и т. п. Появление такой итоговой, часто «диахронической» прозы — несомненное свидетельство растущего интереса к проблемам преемственности, к воссозданию реальной эволюции общественного сознания при социализме.

[1] «Вопросы литературы», 1974, № 11, с. 58.

[1] «Иностранная литература», 1978, № 9, с. 237.

Широкое исследование современности не предусматривает сегодня обязательных, исчерпывающих ответов; литература, отвечая общей потребности общества в активизации гражданского сознания, видит свою воспитательную функцию прежде всего в обязательной постановке назревших общественных вопросов. Этим объясняется, в частности, бурное развитие рефлектирующей, интеллектуальной прозы, обращение к бытовой культуре человеческих отношений, повсеместное усиление критического начала, связанное с углубленным анализом новых модификаций мещанского, потребительского сознания, и т. п.

Было бы неверно, однако, упускать из виду другую, не менее важную сторону дела. В 70-е годы социализм — результат творчества многих, в том числе послевоенных поколений — стал единственной формой существования миллионов людей, как бы само собой разумеющейся реальностью. В этих условиях центр тяжести в литературе закономерно переместился на исследование проблем самосознания, уяснения каждым человеком своего места и назначения в обществе. Происходящее углубление художественного познания, освещенное идеей реального гуманизма, идеей дальнейшего совершенствования социалистического общежития, и составляет сейчас глубинную основу общего в социалистических литературах.

Вместе с тем, говоря о внутренней динамике меняющихся соотношений общего и особенного в социалистических литературах, можно констатировать и повсеместное усиление интереса художников к национальной специфике, связанное с выявлением конкретных особенностей строительства социализма в каждой стране, с национальной обусловленностью исторического опыта каждого народа. Это находит отражение как в содержательной сфере, например, в преобладании тех или иных тематических пластов, так и в сфере художественной изобразительности, все отчетливее окрашивающей в самобытные краски жанрово-стилевую структуру отдельных литератур.

Противники социализма нередко пытаются противопоставить социалистическое и национальное. В ФРГ, например, эта концепция всемерно культивируется в целях подрыва изнутри национально-государственной монолитности ГДР. Но ведь социалистическое в культуре той же ГДР — это не что-то внешнее, лежащее на поверхности или взятое извне, чужое. Как убедительно показывает современная литература ГДР, социалистическое уже вошло в плоть и кровь народа, определяет сознание трудящихся масс. «Я исследую именно это,— свидетельствует, например, Иоахим Новотный,— что и как уже вошло в повседневную жизнь, стало привычным настолько, что люди даже не думают об этом, не замечают этого, а просто действуют по-социалистически» [1].

Диалектика процесса, таким образом, состоит в неуклонном нарастании собственно социалистического в современном национальном, особенном. Что в свою очередь приводит к эволюции и национального: в нем закономерно происходит накопление общего, интернационального. «Вызревание» системных качеств каждой социалистической литературы стимулирует тем самым развитие тенденций межнационального художественного синтеза, позволяя говорить об укреплении типологического единства социалистических литератур, о складывании и развитии новой идейно-художественной общности — принципиально важного образования в современном мировом литературном процессе.

Консолидация каждой социалистической литературы с момента ее возникновения до ее функционального преобладания в контексте данной национально-литературной общности тесно связана, по существу, соотносится с этапами формирования и развития социалистического реализма. Его идейно-эстетическая сущность, динамика обогащения и развития до сих пор являются предметом самых оживленных дискуссий даже в среде литературоведов и критиков-марксистов. Корни разногласий уходят, помимо всего прочего, в трактовку истории формирования социалистического реализма как особой идейно-эстетической системы.

Каждое новое литературное направление, каждая утверждающаяся система, стремясь к быстрейшему самоопределению, на первых порах с повышенной бдительностью заботятся о собственной «чистоте». Такое преимущественное развитие отдельных элементов формирующегося явления на определенном начальном этапе предстает как прогрессивная, закономерная тенденция. Фаза подлинной зрелости системы всегда, однако, связана с ее внутренней дифференциацией благодаря неуклонному расширению исходного программного начала, выявлению все новых скрытых потенциальных возможностей. Любое искусственное затормаживание этого закономерного процесса, подчеркивание одной части ведущих элементов за счет приглушения органической тенденции всестороннего развития неизбежно приводит к стагнации, к кризису всей системы. Такое не раз бывало в истории литературы. Призванный стать системным теоретическим основанием каждой национальной социалистической литературы, социалистический реализм, как это справедливо подчеркивалось Д. Ф. Марковым, по своей стратегической сути не может быть замкнут ни одной предшествующей формой художественного обобщения. Постоянно проверяемое на практике, диалектическое единство идейной принципиальности и художественной открытости — такой видится сегодня наиболее перспективная трактовка социалистического реализма.

В. ОГНЕВ

Думаю, не ошибусь, если скажу, что общим выводом о качестве современного состояния братских литератур могло бы стать одно слово: з р е л о с т ь. Не только к польской прозе применима формула В. Хорева: «Наиболее значительные книги 70-х годов рассказывают о современности

[1] «Иностранная литература», 1978, № 9, с. 246.

как результате исторического развития...». За каждым произведением последних лет стоит опыт социалистического строительства, народный и личный опыт автора. Опыт исторического тридцатипятилетия. Теперь мы можем с полной правотой сказать: «Основная ответственность за судьбы мирового художественного процесса лежит в нашу эпоху на литературах социалистических», именно 70-е годы подтвердили — в них, братских литературах, «явственно проступают процессы, имеющие универсальную, общечеловеческую значимость» (Ю. Богданов). Это не только обращение к глобальным темам века, решение вечных тем любви, смерти, космоса, но и ощущение человеком нового мира богатства жизни во всех ее формах, расширение прав духовной личности, многообразие проявлений человеческой природы, утверждение коллективизма как естественного закона существования рода человеческого.

А главное — герой литературы 70-х органически «вписался» в «хронологию» нового времени. «Упрямец Лукач», герой одноименной повести Андраша Шютё, «установил, что люди не учитывают времени. Топчутся в нем ощупью, словно под водой блуждают». «Одним словом, у времени нет хозяина». Строптивый старик, которого обуревала идея починить башенные часы в своем местечке, вовсе не имел в виду символику времени, образ эпохи. Но всем ходом повести автор подводит читателя к выводу, что новая жизнь выпрямляет человека труда, делает его — проведя через испытания и тернии — хозяином времени в важном, историческом смысле слова. Время как историческая категория — один из серьезнейших моментов современной прозы, занятой проблемой человека и общества. В движении и развитии жизни просматривает художник новые связи, в которых таится возможность рождения и нового качества. Правда, фиксация современности, настоящего становится в этой системе координат очень существенным мерилом историзма литературы.

Многие специалисты в той или иной форме касаются вопроса о повороте литературы к изображению феномена массового сознания. Это интересная тема. На смену «двухполюсному» изображению жизни, чреватому резкими тонами черно-белого изображения, постепенно приходит рельефное, со светотенью изображение сложности и «стадийности» рождения нового сознания. Отчетливо разграниченные типы — носители полярных идей, порожденные временем острых классовых схваток и выбора жизненной позиции,— все чаще сменялись фигурами не столь индивидуализированными, сколь массовыми. Впрочем, в их распространенности уже таилась типичность не меньшая, нежели в их предшественниках — личностях более цельных и романтизированных. Вспомним «Софийские рассказы» Камена Калчева, где революция показана на уровне быта, который перевернут до основания и где именно в «нижнем» слое сознания масс, в рядовом течении будней наиболее отчетливо просматривается органичность исторических перемен.

«Конфликты, подспудно таящиеся в будничном течении жизни...» О них, применительно к анализу литературы «малых форм» в ГДР, говорила Т. Мотылева, нащупывая, как мне кажется, очень распространенную в литературах братских стран тенденцию роста «внимания к отдельно взятой личности, к вопросам нравственности, к внутреннему миру человека...».

Как часть общего сдвига литературы «событийного» начала в сторону выявления отношения автора к сущности изображаемых процессов интерес к внутреннему миру личности отвечает встречному процессу «изменения самой функции литературы» в связи с «новым характером и уровнем читательской аудитории» (И. Млечина). Рост культуры, зрелость общества настоятельно требуют от писателя большей взыскательности и к самому себе. Продолжая оставаться демократической, отвергая элитарность, современная литература, однако, решает проблемы личности и общества, истории, узловых моментов национального становления, главных этапов революции на новом, более высоком уровне.

С этим, в первую очередь, связана тенденция «повторного», как здесь отмечалось, обращения к знаменательным периодам прошлого в разных литературах. Параллели напрашиваются легко. В советской прозе — «Поднятая целина» и «На Иртыше», «Тихий Дон» и «Старик», в румынской — «Митря Кокор» и такие повести 70-х годов, как «Молчком» Иона Лэнкрэнжана, «Упрямец Лукач» Андраша Шютё,— если брать обозреваемый период и предшествующие ему тенденции 50—60-х годов. Конечно, далеко не всегда разные «редакции» исторических событий — новое слово и в художественном осмыслении истории, более истинное освещение былого. Вряд ли кто-нибудь подвергает сомнению и поныне непреходящее значение гениального «Тихого Дона» с его драматизмом народной жизни, эпически раскрывшего правду судьбы человеческой и народной. Но, как правило, «повторное» обращение к узловым моментам истории все-таки необходимо — оно дает дополнительные ракурсы известному, мобилизует мысль и чувства современника.

В 70-е годы литературы социалистических стран Европы (а мы сегодня ограничились анализом европейских социалистических стран) «вернулась» и ко времени второй мировой войны. Много общего между изображением войны у нас и у наших друзей. Правда, на первый взгляд трудно найти параллели жестоким книгам о национальной «самокритике», таким, как романы Лауренцич Фулги «Без славы», «Александра и ад» или Тибора Череша «Холодные дни»,— в них искренняя и страстная жажда искупить вину нации, вину неправого социального строя, пославшего солдат — румын и венгров — на грязную войну, развязанную фашистами. Однако напряженный моральный «климат» подобных произведений неожиданно оказался созвучным нравственному максимализму В. Быкова, Ю. Бондарева, А. Адамовича, В. Кондратьева и других советских

«баталистов», показавших нам войну Отечественную как поле битвы не только с врагом жестоким и коварным, но и как испытание на человечность, справедливость, благородство и самоотверженность во имя высоких идеалов. Для тех и других авторов беспощадная правда войны, реализм деталей и общего фона не противоречат историческому осмыслению войны и ее социальных последствий.

Часто приходится слышать в наши дни о том, что тот или иной писатель в той или иной национальной литературе обращается к прошлому, ищет там корни, истоки, основы национального характера, непременно опираясь на нравственные, этические, моральные ценности прошлого, которые непременно же связываются с деревней, селом, хутором. Это стало уже таким общим местом, что мы словно бы скользим сознанием по мало что проясняющим в реальной практике наших забот сегодня словам, словам, словам... А тем не менее вопрос этот — не общее место. За ним — такая тьма вопросов и подтекстов, что самые разные блюда впору приготовить в этом котле, на этом костре. Ведь вот и к творчеству Ивайло Петрова, особенно после публикации его романа «Перед тем, как мне родиться...», и к Г. Мишеву («Матриархат»), а особенно к Й. Радичкову с его «трагикомическим», как тут было сказано, отношением к коллизии «цивилизация — патриархальность» разное, очень разное толкование в среде болгарской критики. Почитайте Тончо Жечева. Он считает, что расставаться со старым селом нельзя только иронией и гротеском. Накладно, непростительно, оскорбительно даже для национального сознания, неперспективно. Ему ближе лирическая грусть, беспокойство — сохраним ли живую воду, не разобьем ли легкомысленно сосуд, ее хранящий? Он прямо полемизирует тут с другими критиками, называет имена. Идут споры и у нас о так называемой «деревенской» прозе, о «прописке» этих самых нравственных ценностей... Я к тому напоминаю об этом, что серьезный срез острой и глубокой проблемы нравственных ценностей нации в эпоху развитого социализма, а шире — и основ национального характера, конечно же, предмет далеко не такой ясный и решенный, как это может показаться с первого взгляда...

Читая книги наших друзей, мы не можем не обратить внимание на одну особенность: драматизм развития истории, накал страстей эпохи войн и революций. На последнем пределе эмоционального напряжения, хотя и не всегда открыто эмоционально по стилю, написано большинство романов югославских писателей — Добрицы Чосича и Михаила Лалича, Меши Селимовича и — в первую очередь, разумеется,— Иво Андрича. Часто ощущение реальной угрозы человечеству непосредственным образом связано с распространением экспрессивных, предельно заостренных форм выражения, не только в поэзии — и в прозе. Вспомним замечательную повесть Титуса Поповича «Смерть Ипу».

Конечно же, для поэзии прежде всего свойственно это подчеркнутое слияние «я» художника с общим «состоянием мира». Вчитываясь в чужое слово, принявшее русский облик, мы ощущаем глубину решений, философскую оснащенность поэзии социализма. Новое зарождалось в стихах революционных поэтов — Маяковского, Броневского, Библа, Йожефа, Ийеша, Новомеского, Незвала... И сегодня в поэзии Ружевича, Мартынова, Попа, Стэнеску, Левчева живет общее для революционной (и по существу и по форме выражения) поэзии XX века стремление к космичности ощущений человека, понимание мира личных переживаний в проекции исторического масштаба больших явлений действительности. Вот эта всеохватность образа в современной поэзии, может быть, самое примечательное в искусстве социализма.

«В железную песнь я сердце вложил...»— открыто и честно сказал великий армянский советский поэт Егише Чаренц. Железная песня и теплый комочек сердца — тоже тема нашей истории. И изучать ее нужно. Нельзя в бесконфликтной проекции видеть отношение: художник — эпоха, если под эпохой понимать всю сумму переживаний человечества. Масштаб таких художников, как Блок, Маяковский, Чаренц, Незвал, Броневский, нуждается и в соответствующих масштабах понимания героико-трагических нот их творчества. В одной из работ я прочитал, что новая лирика отличается тем, что в ней «полностью сняты противоречия между личностью и обществом» — «наоборот, он (поэт. — В. О.) тысячами нитей связан с этой действительностью». Но одно не вытекает из другого: чем теснее связан художник с действительностью, тем острее воспринимаются им противоречия эпохи! Поэт — не баловень времени, противоречия века для него не замкнуты в пределах одного общества. Он улавливает подземные атомные взрывы, где бы они ни проводились. В его сердце, всегда незащищенное, летят пули, где бы ни убивали человека.

Именно на примерах поэзии особенно наглядны плоды глубокой перестройки сознания нового человека. Подлинное слияние личного и коллективного опыта в новом качестве сейсмической отзывчивости на кажущееся «не свое». Социальное, историческое тут сплавлено сегодня с единичным, личным, неповторимым. В любви, в чувстве природы, в самых отвлеченных темах «проговаривается» общественная личность, сформированная временем освобождения человека. Иной раз один только образ может поднять в нашем сознании такие ассоциации и такой духовный опыт, что, словно бы и помимо воли, направит сознание наше в общее русло народных забот и чаяний.

Для эстетики социалистического искусства наших дней характерно повсеместное утверждение правды как неискоренимого достоинства человека. Стремление к неприкрашенной правде созвучно уверенности в идеале, ненужности ретушировки жизни. Через призму самых трудных для национального сознания коллизий (война, перелом сознания крестьянина, веками жившего на клочке «своей» земли, а теперь вовлеченного в круговорот коллективизации) литература училась смотреть правде в глаза — очень точно говорила здесь

Е. Малыхина,— а это давало потом, в 70-е годы, стимул пафосу социально-нравственной проблематики. Вот так, добавлю я, и «работает» преемственность в литературе! Только догматик, привыкший все раскладывать по отдельным полочкам «тем» и не сообщающихся между собой «проблем», может не заметить прямой связи между антимещанским пафосом произведений Ю. Трифонова, Л. Мештерхази, Э. Коша, Ф. Фюмана, романами «нравственного расследования» — и нравственным максимализмом произведений В. Быкова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, Т. Поповича, М. Лалича, Ф. Шанты или Т. Череша.

Много говорилось здесь о богатстве форм и жанров. Да, может быть, документальность, свидетельство, факт, опора на прототип торжествуют в литературе как никогда. И в то же время широкое распространение получают «параболические», условные, фантастические формы. Будто бы полюсы? На самом деле, в корнях одной и другой тенденции — сходные причины. Литература социалистического общества стала аналитичнее, с одной стороны, а с другой — та же аналитичность предполагает наличие сильного фокусирования «луча», освещающего предмет, и таким лучом является всемогущество личности, таланта, того самого «казуса», по мысли В. И. Ленина, на который имеет право художник в смелом преломлении оживляющего картину мира, заостряющего мысль, собирающего ее в неожиданном и крупном фокусе. В этом процессе важную роль сыграли освобождение от догматических канонов, имеющее общественную природу расширение прав таланта, понимание метода. Условные формы существовали всегда. Их нельзя абсолютизировать, как нельзя абсолютизировать и формы жизнеподобия. И те и другие могут приводить к жизни и уводить от нее. Сегодня, как правило, «парабола» в прозе — выражение философских, обобщенных идей о времени, а также попытка в концентрированной, метафорической манере опровергнуть описательность, эмпиричность заземленной прозы, в которой творческое начало не столь явственно выражено.

«Гибридность» жанров — продолжение процесса расширения познавательной функции литературы. Идет эволюция романа. Идет и процесс коррекции жанров на границах смежных форм. И тогда вдруг оказывается, что перестраивается внутренняя структура вообще — и в романе, и в рассказе, и в лирическом стихотворении. Но пока наука начинает это осознавать, мы мыслим старыми категориями, твердим, что «роман отживает свое», или что «лирика в упадке», или, напротив, что «наше время — время лиризации», или что «мы живем во время расцвета эпики». Как правило, такие обобщения не имеют под собой серьезных оснований. Как правило же, взаимоисключающие утверждения сосуществуют в одно и то же время. На деле трансформирование привычных форм литературы свидетельствует не о формальных, частных, жанровых или даже «родовых» вариациях, а о рождении нового качества искусства художественного слова. Так внутри рыцарского романа рождался «Дон Кихот». Думаю, на наших глазах медленно, но неуклонно рождается и новое качество зрелой литературы эпохи социализма.

И. ГОЛИК

НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ ДОКТОРА КИППЕНБЕРГА

Книгу Дитера Нолля раскрываешь нетерпеливо, с каким-то обжигающим душу волнением. Такое чувство испытываешь обычно в первые минуты свидания с хорошим другом после долгой разлуки. Произошло так, что талантливый романист, стремительно появившийся на литературном горизонте и сразу завоевавший наши симпатии, в течение многих лет ничего не публиковал. Творческая пауза затянулась, хотя в общем-то все было закономерно — произведение большого дыхания созревает долго, только тогда оно становится надежным духовным спутником читателя. И вот теперь радость новой встречи.

Дитер Нолль — один из самых известных писателей ГДР. Он дважды удостоен Национальной премии ГДР, лауреат литературной премии имени Генриха Манна и премии Союза свободных немецких профсоюзов. Широкую популярность принес ему роман «Приключения Вернера Хольта»[1], вышедший в двух томах в начале 60-х годов. Эпическое полотно живо и колоритно повествовало о полной опасностей и драматизма одиссее молодого немца в годы второй мировой войны, о его заблуждениях, прозрении и перевоспитании в мирные дни. Человек типично немецкой судьбы проходит сложный и трудный путь. Выросший в буржуазной семье, отравленный фашистской идеологией, он участвует в захватнических походах Гитлера, а потом под влиянием исторических перемен на его родине постигает справедливость дела борющегося пролетариата и становится сознательным гражданином демократической Германии.

Первый роман Дитера Нолля содержит много автобиографического, личного, пережитого самим автором, который при фашизме был разлучен с матерью «неарийского» происхождения и прямо со школьной скамьи ввергнут в пучину войны. А после американского плена возвратился в восточную часть Германии, возвратился домой из прошлого... в будущее. Имя Вернера Хольта, героя этого произведения, стало символом для «разочарованного поколения» немецкой молодежи, для тех его сверстников, кто был одурманен нацистским угаром и после разгрома «третьего рейха» трудно постигал исторический поворот в судьбе родины. Своим романом Дитер Нолль вписал яркую страницу в антифашистскую, антивоенную прозу ГДР.

Эта книга нашла широкий отклик за рубежом, ее перевели на многие языки. Большой резонанс вызвала она и у советских читателей. Писательской известности Нолля способствовала экранизация «Приключений Вернера Хольта». Вот почему с нетерпением ждали читатели его новое произведение. Чем порадует он после долгого творческого уединения? Какие стороны жизни высветит, какие жгучие вопросы поставит?

В романе «Киппенберг»[1] Дитер Нолль обратился к одной из самых важных и актуальных проблем современности — проблеме научно-технической революции, ее влияния на общественную жизнь, на духовный и нравственный мир человека, строителя развитого социализма.

Чем же объяснить выбор темы, на первый взгляд весьма далекой от того круга проблем, что занимал писателя в «Приключениях Вернера Хольта»? Случайного тут ничего нет. Проблематика эта волновала Дитера Нолля давно, и подходы к ней он искал еще в самом начале творческого пути — в репортажах, очерках, коротких

[1] Опубликован в «ИЛ», 1962, № 4—7; 1964, № 8—10.

[1] Dieter Noll. Kippenberg. Berlin und Weimar, Aufbau — Verlag, 1979.

ГОЛИК ИВАН ЕФРЕМОВИЧ (род. в 1929 г.).
Советский литературовед, кандидат филологических наук, автор работ по вопросам литературы и искусства.

рассказах о рабочих, ученых, строителях, о тех, кто расчищал руины минувшей войны и возводил новые корпуса на свободной земле первого немецкого рабоче-крестьянского государства. Уже сами названия некоторых из этих документальных историй говорят за себя: «Переживания молодого человека в Йене — городе цейсовских предприятий», «Пенициллин», «Институт борется за план», «Один из многих», «Вера в Республику», «Новое в милом старом захолустье». В центре этих произведений были непростые судьбы людей, которые в процессе демократических преобразований находили свое место в жизни и сами способствовали рождению нового общества. И главным здесь был открытый еще древними принцип: «Человек есть мера всех вещей».

Своих героев автор показывал в становлении, в развитии, в борьбе с собой, нередко в мучительный момент разрыва с ложными идеалами, в момент постижения высокой правды марксистско-ленинской идеологии. Репортажи и очерки служили Д. Ноллю своего рода опытным полем, были разведкой, подступами к большой теме НТР и ее воплощения в художественном произведении. А в 1964 году, выступая на Берлинской партийной конференции, Дитер Нолль развивал свои мысли о роли научно-технической революции в социалистическом обществе и роли писателя, призванного осмыслить и художественно воплотить эти сложные, противоречивые процессы. Осознание важности подобной проблематики Дитер Нолль считал компасом, способным указать мастерам культуры путь к созданию значительных произведений социалистического реализма. Кто знает, быть может, к этому выступлению побудили оратора первые наброски начальных глав будущего романа. Во всяком случае, в литературном альманахе «Манускрипты», вышедшем в 1969 году к двадцатилетию ГДР, Дитер Нолль опубликовал отрывок из нового произведения, где уже были обозначены сюжетные линии, некоторые персонажи и проблематика сегодняшнего романа «Киппенберг». Таким образом, тема, ставшая предметом художественного исследования писателя, для него не случайна.

Как известно, научно-техническая революция сегодня оказывает влияние на все сферы жизни. Всестороннее развитие личности при социализме, обогащение ее духовного мира неразрывно связаны с научно-технической революцией, преобразующей формы труда, изменяющей масштабы и характер производства, ускоряющей темп жизни.

А если говорить об эстетической деятельности человека, то она давно уже перешагнула границы художественного творчества, вошла в сферу материального производства. В свою очередь новые стороны жизни не могут не находить отражения в искусстве, они по-своему сближают два рода духовной деятельности человека. Еще Бальзак говорил, что «все, что расширяет науку, расширяет и искусство». А выдающийся датский ученый Нильс Бор видел причину обогащения искусством людей науки «в его способности напоминать о гармониях, недосягаемых для систематического анализа».

Ученый — искатель истины, «расколдовывающий» тайны природы,— всегда привлекал внимание художников слова. И в прошлом немецкая литература стремилась создать образ сильного, волевого, рационально мыслящего человека, воплощающего в себе жажду познания и свободы человека, который видел приметы завтрашнего дня в определенной мере лучше, чем окружающие его люди. В этой связи стоит вспомнить бессмертную трагедию Гёте «Фауст» или известный роман Фридриха Максимилиана Клингера «Жизнь Фауста, его деяния и гибель в аду». Мужеством, преданностью истине, пониманием взаимосвязи между научными идеями и социальными преобразованиями, хотя и не без склонности к компромиссам — такими чертами наделил своего героя Бертольт Брехт в пьесе «Жизнь Галилея». В этих, как и во многих других произведениях немецкой литературы человек науки изображен с его сильными и слабыми сторонами, в сложных, противоречивых взаимоотношениях научного и нравственного начал.

Анализ характера ученого, раскрытие его духовного облика, творческих устремлений всегда связывались в искусстве с высокими критериями чести и совести. Подлинные герои науки, открыватели новых горизонтов знаний обычно изображались в литературе носителями позитивных ценностей человеческой личности, ценностей не только интеллектуальных, но и нравственных, гражданских. Эти люди были преисполнены чувства долга, чувства ответственности перед народом.

Тема научно-технического прогресса получила в литературе социалистического реализма дальнейшее развитие, отразив возрастающую роль науки в жизни обществ.

Обращаясь к этой теме, к образам людей науки нашего времени, Дитер Нолль опирается на гуманистические традиции своих предшественников. Изображая ученого в сфере его повседневной деятельности, писатель стремится выявить социально-нравственное ядро личности своего героя. Он не ограничивается аналитическим описанием, а идет дальше — дает мировоззренческую и этическую интерпретацию явления, подчеркивает сознательное начало, управляющее человеком, показывает связь ответственности за свое дело с ответственностью нравственной.

Надо ли говорить, что индивидуальность ученого никогда не была чем-то нейтральным по отношению к его научному мышлению, его человеческому поведению. Л. Леонов, создавший интересные образы современных людей науки, тонко подметил цельность человеческой натуры ученого: «От цвета жидкости в лабораторной пробирке зависит его настроение, а может быть и судьба, поэтому писатель обязан постигнуть профессиональные сек-

---

И. ГОЛИК

НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ ДОКТОРА КИППЕНБЕРГА

реты избранной темы, ясно понимать психологию профессии».

Стремление проникнуть вот в эту «психологию профессии», воссоздать одну из возможных моделей поведения современного ученого и отличает роман Дитера Нолля. Исходные позиции писателя основаны на понимании того, что мировоззрение и психология истинного ученого определяются его жизненной задачей — служить во благо человечества. Нравственное кредо ученого и его научная деятельность сомкнуты в единое кольцо, связь подлинного пафоса науки с высоким нравственным, гражданским кодексом неразрывна.

На примере жизни коллектива научных работников Д. Нолль сумел затронуть и многие главные аспекты проблемы, показать, что в условиях зрелого социализма научно-техническая революция способствует расширению социальных связей, преодолению существующих различий между умственным и физическим трудом, росту духовного опыта всего народа и каждого человека в отдельности, развитию социалистической сознательности масс, их творческой активности.

Место действия романа — столичный научно-исследовательский институт биологии, время действия — конец 60-х годов. Внешней фабулой произведения служит кризисная ситуация, в которую попадает главный персонаж — доктор Иоахим Киппенберг.

«Я пытаюсь в хронологической последовательности поведать о событиях, которые произошли в феврале шестьдесят седьмого года в течение двух недель. Эти дни были полны раздумий и пронизаны воспоминаниями, а поэтому, чтобы сделать понятным совершавшийся во мне процесс, я по мере необходимости должен буду возвращаться ко временам, отодвинутым историей значительно дальше». С таким предуведомлением обращается к читателю главный герой, от лица которого ведется повествование. Заметим, кстати, что роль рассказчика время от времени берет на себя и автор. Поэтому оценка событий, происходящих в романе, не всегда тождественна той, которая складывается в восприятии Киппенберга.

Своей кульминационной точки развитие событий достигает в конце романа. Находящийся на вершине славы тридцатишестилетний врач и химик, доктор наук, крупный специалист в области биологически активных соединений, руководитель головной исследовательской группы, Иоахим Киппенберг попадает в труднейшее положение накануне внедрения в производство очень важного для народного хозяйства научного открытия. И этот момент становится для него настоящим экзаменом, проверкой верности принципам науки и высоким принципам социалистической морали.

История, повергшая Киппенберга в смятение, такова. По плану реконструкции химического завода, выпускающего важную продукцию, производственные мощности увеличивались в полтора раза, и предприятие могло бы не только с лихвой удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и работать на экспорт. Для этого необходимо было новое, соответствующее мировым стандартам оборудование. Руководители завода, непосредственно связанного с институтом, видели выход в приобретении дорогой японской установки. В то же время в сейфе Киппенберга уже два года пылился розовый скоросшиватель с проектом его коллеги, доктора Харры, который разработал более простую технологию, дававшую те же результаты со значительно меньшими затратами. Уже были и официальные положительные отзывы, но был и другой документ, никому, кроме Киппенберга, в исследовательской группе не известный. В нем говорилось, что внедрение проекта будто бы связано с определенным риском. Однако с самого начала Киппенберг убежден в реальности замысла и в возможности осуществления проекта доктора Харры. Он к этому был внутренне подготовлен, к этому шел. И коллектив, которым он руководил, жил этим. Но в решающий момент Киппенберг заколебался, оробел, спасовал перед директором, обманув надежды коллектива. Он застрял на полпути, оказался не в силах преодолеть свою половинчатость, непоследовательность в момент, когда возникла необходимость противостоять директору-ретрограду Ланквицу, носителю старых немецких традиций кастовости науки. Правда, Киппенберг на следующий день пытается как-то исправить положение, но все это уже не может оправдать его в глазах коллектива.

Герой Дитера Нолля — фигура сложная. Киппенберг — человек уже новой формации. Начав трудовой путь на фабрике, он закончил рабфак, аспирантуру, стал доктором биологии в социалистической Германии. Талантливый ученый, он обладал темпераментом борца, не знавшего недостижимых целей. Однако со временем Киппенберг несколько порастратил пыл. Женившись на дочери директора, он приспособился к «высококультурному, профессорскому дому», начал сдавать свои позиции, «забывать, откуда пришел». Путь к действию стали преграждать сомнения, склонность к соглашательству и компромиссам. Он потерял доверие коллектива. Кризисная ситуация в институте дополнилась у Киппенберга и кризисом семейным.

Раскрывая внутренний мир Киппенберга, не упрощая, не вульгаризируя, Дитер Нолль сосредоточивает внимание читателя на проблеме соотношения личности и коллектива. На конкретном примере он показал, что важнейшая особенность сегодняшней науки состоит в том, что она решает вопросы комплексно и успехи ее зависят от многих людей. Отдельный ученый ведет какую-то одну тему, выполняет только часть общей работы. Научный коллектив в этом смысле напоминает огромную электрическую батарею, состоящую из множества элементов. Изолированный элемент тотчас теряет свою силу. Вот почему писатель не оставляет Киппенберга в кризисной ситуации одного. Коллектив помогает обрести свое прежнее «я», понять шаткость позиции «золотой середины», осознать свои истинные задачи в науке и подлинные критерии поведения в социалистическом обществе.

Характерно, что и в ранних очерках, и в новом романе Дитер Нолль открывает

перед своими героями конкретные перспективы, рисует вполне реальный идеал, зовет их быть активными борцами за переустройство конкретной, сегодняшней действительности, преодоление конкретных, сегодняшних трудностей, перевоспитание сегодняшних людей.

«В самом деле, мы о многом забываем,— говорит автор устами своего героя,— если существует идеал, то он не может для нас быть абстрактным понятием, утопией, он должен звать в будущее, которое вытекает из современности. Когда идеал теряет свою связь с реальностью, он становится волшебным фонарем, в свете которого реальность превращается в набор фантастических картинок; и тот, кто появляется с таким фонариком, может быть и неплохим парнем, но пусть он наберется мужества и не называет себя больше социалистом!»

Понять эту истину Киппенбергу помогает Босков, секретарь партийной организации.

Писателю удалось создать живой, психологически убедительный образ партийного руководителя, выходца из рабочей семьи, коммуниста со времен Веймарской республики. Благодаря несомненному дарованию еще молодой биохимик и физиолог получил в тогдашней Германии место на университетской кафедре. Но его преподавательская карьера оборвалась в 1933 году. Ему была уготована судьба узника гестаповских застенков, где он провел двенадцать лет — невосполнимые годы своей жизни.

Босков олицетворяет собой тип современного руководителя, человека творческого, хорошо разбирающегося в сложных проблемах крупного научного коллектива, пользуется авторитетом как ученый. Люди к нему тянутся, ищет у него поддержки и беспартийный Киппенберг. Так встают в романе не столько проблемы науки, сколько ее организации, управления научным творчеством. И вроде бы частный конфликт перерастает в принципиальную проблему борьбы с рутиной и консерватизмом.

Смелый борец против карьеризма, академического высокомерия, чванства и лжи, Босков противостоит директору института Ланквицу, который внутренне сопротивлялся решению задач, выдвигаемых НТР, отказывался от коллективизма в науке. Человек надломленный, глубоко одинокий, профессор Ланквиц пребывает в позе величия «высокой учености», тщетно пытается не допустить в свой мир «непосвященных».

Исследовательская группа Киппенберга хорошо понимала ситуацию: выполняя общественный заказ, коллектив отстаивает государственные интересы, борьба же идет с отжившими представлениями, носителями которых являются прежде всего Ланквиц и его союзник, подхалим Кортнер.

Образ Ланквица обрисован с большой выразительностью. Запоминаются и женские образы романа — жена Киппенберга Шарлотта, лаборантка Дорис Дегенхарт, юная Ева — «поэзия сердца» Киппенберга, девушка, которая во многом помогала ему выявить свои подлинные возможности.

Система образов романа, его проблематика, естественно, отразились и на языке персонажей, и на стиле повествования. Дитер Нолль вводит в художественную ткань повествования элементы специальной лексики, не допуская ни малейшего кокетства научными терминами. Используемые в романе специфические, непривычные слова из научной сферы заключают в себе емкий смысл. Автору удалось достичь этого благодаря острой наблюдательности и точному отбору образных компонентов научного языка, хотя кое-где читателю и приходится преодолевать известные трудности.

Роман «Киппенберг» — произведение большого общественного звучания. В нем раскрываются благородные цели социалистического общества, где прогрессу науки и всестороннему развитию человека открыты все пути, где диалектически преодолеваются противоречия и открываются подлинные жизненные перспективы. Роман задевает важнейший нерв нашего времени, изображает общественные проблемы и индивидуальные людские судьбы в их взаимосвязи: жизнь отдельного человека при социализме определяется движением, развитием всего общества, а движение жизни отдельного человека, в свою очередь, влияет на развитие всего общества. В масштабном повествовании Нолль связал в один узел судьбы разных по своим интересам и темпераментам людей, судьбы наших современников.

Привлекательные черты нового романа Дитера Нолля: рассказ о проблемах реальных, взятых из жизни, глубокое исследование конкретных взаимоотношений людей, реалистическая манера письма — динамичная, напряженная, захватывающая. Очень важно подчеркнуть это сейчас, когда на Западе так много усилий тратится на то, чтобы доказать, что развитие науки, научно-техническая революция якобы влекут за собой расцвет формализма во всех сферах художественного творчества.

«Киппенберг» — содержательный, современный роман, выросший на прочном фундаменте актуальной проблематики НТР, проблематики, которая далеко выходит за пределы сугубо научно-технических интересов. Еще несколько лет тому назад Криста Вольф, размышляя о тенденциях развития художественной литературы ГДР, сетовала на то, что «в век науки проза еще не прибыла». Думается, что «Киппенберг» Дитера Нолля в какой-то мере восполняет этот пробел.

В эпоху развитого социалистического общества, когда плоды научно-технической революции идут на благо народа, художественные произведения, в которых глубоко раскрываются сложные процессы перестройки человеческого сознания, обогащают нас новыми мыслями и пополняют жизненный опыт. Поэтому они и вызывают интерес у читателя, ищущего ответы на волнующие вопросы сегодняшнего дня.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

СВОБОДА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Проблема политических свобод — свободы слова, печати, собраний — всегда была в фокусе идеологической борьбы. Ведь степень политических свобод характеризует положение личности в обществе, в них сконцентрировано само содержание общественных отношений. Объективные тенденции исторического развития, успехи сил мира и общественного прогресса заставляют наших идеологических противников менять тактику. Если сравнительно недавно буржуазная пропаганда занималась откровенной апологией свободы предпринимательства, силясь дискредитировать идею планирования экономики в масштабах общества, то ныне на Западе вынуждены развертывать спекулятивную кампанию вокруг принципов свободы и прав человека. Эта шумная кампания не мешает господствующим классам ведущих капиталистических стран поддерживать реакционные режимы, вести слежку за умами, поощрять расовую и иную дискриминацию.

Неудивительно, что не обходится и без курьезов. Например, провинциальный суд Гвадалахары осудил Альфонсо де Фигероа, герцога Говарского, на год и два месяца заключения «за оскорбление главы государства и незаконную пропаганду». Выступая на одном из сборищ ультраправых, Фигероа в недостойной форме отозвался о главе государства и призвал силой восстановить в Испании франкистский режим. Однако, попав на скамью подсудимых, герцог тут же вспомнил о демократии и гарантированной законами свободе слова.

В социально-психологической атмосфере современного мира буржуазным идеологам все более приходится изощряться в софистике, поскольку привычные аргументы уже не срабатывают, а успехи реального социализма становятся определяющими факторами общественного прогресса. Центр идеологической борьбы стал все более смещаться в область сопоставления реальных гуманистических характеристик различных социальных систем, в частности самого существа политических свобод, их содержания и полноты осуществления. Статья члена Политбюро Венгерской социалистической рабочей партии Валерии Бенке «Социалистическая демократия и свобода мнений» является достойным ответом разглагольствованиям буржуазной печати о свободе мнений, о праве на самостоятельное мышление, с обязательным выразительным кивком в сторону социалистических стран.

Публицистическое выступление видного партийного деятеля опубликовано в венгерском ежеквартальном журнале «Нью хангериан куотерли», выходящем на английском языке, и рассчитано на широкую западную аудиторию. Валерия Бенке пишет:

«Тот факт, что лозунги и методы этой кампании демонстрируют новый вид политической маскировки, является — как бы это ни казалось парадоксальным — своего рода положительным явлением. Этот факт означает, что идея социалистической альтернативы хотя еще и не завоевала большинства трудящихся масс на Западе, но уже обретает почву. Он означает также тенденцию распространения идей социализма и возрастания его притягательности. Отрицательная же сторона этого бесспорно положительного явления, в свою очередь, состоит в том, что под влиянием замаскированной критики социализма нелегко достается понимание демократического характера социальных процессов в социалистическом обществе.

Другое дело, разумеется, если люди, в принципе симпатизирующие идеям социализма, выражают свое мнение по поводу якобы существующих нарушений и ограничений личной свободы, в частности права на независимость мышления и свободу слова».

Валерия Бенке справедливо обращает внимание на эту «замаскированную» критику «ограничений личной свободы». Понятие «независимо мыслить» наши идеологические враги отождествляют с понятием «мыслить по-разному». Следуя их логике, можно подумать, что только те, кто мыслит по-разному, мыслят самостоятельно, в конечном счете и мыслят вообще. Подобные представления используются буржуазными идеологами с целью бросить тень на духовную жизнь социалистических стран, представить ее в ложном свете. И то, что является достижением большой социальной значимости — единодушие на широкой социальной основе, которое можно было бы назвать социалистическим взаимопониманием,— выставляется буржуазной пропагандой как недостаток и даже как факт... заторможенности мышления.

«В такой ситуации следует проводить четкое различие между идеологической дискуссией и идеологической войной; кроме того, имеются все основания иден-

тифицировать и третье понятие: идеологическая диверсия. Идеологическая борьба, представляющая собой конфронтацию социалистических и буржуазных идей, идет неизбежно в глобальных масштабах, в том числе и в периоды мирного сосуществования. Идеологическая дискуссия, предполагающая взаимопонимание по основным социальным вопросам, касается идейных расхождений, имеющих значение для обеих сторон. И, наконец, идеологическая диверсия, как раз и появившаяся на свет под предлогом защиты свободы слова и прав человека, призвана морально поддержать происки против общественной системы стран социализма, то есть вмешательство в их внутренние дела».

Валерия Бенке вспоминает тот период, когда в Венгрии еще сохранялись элементы, не смирившиеся с утратой своих классовых и финансовых привилегий. Они уже не надеялись на реставрацию буржуазного строя, но вместе с тем всячески пытались воспрепятствовать прогрессивным социальным преобразованиям. Ясно, что власти народной республики решительно использовали все им доступные средства для защиты нового общественного строя.

«В наши дни, в условиях политического единства, есть возможность для споров по вопросам идеологии и конкретной политической практики. Точка зрения, будто консолидация сил социализма означает ограничение прений, ошибочна. Напротив, терпимость к несовпадению мнений возрастает по мере укрепления общественной системы».

Нереально было бы требовать от всех и каждого абсолютно тождественных взглядов по всем идеологически значимым вопросам, равно как и по всем вопросам политической практики. Вместе с тем более чем двадцатилетний опыт европейских стран социализма свидетельствует о том, что чем основательнее в народе взаимопонимание по главным политическим проблемам, тем легче договориться о деталях.

Принципы буржуазной демократии на первый взгляд дают право любой оппозиции — неважно, какой она имеет вес,— на активность и организацию. На практике же получается огромный разрыв между провозглашенными правами и реальными возможностями, равенством на словах и дискриминацией за деле.

Монополистические круги никогда по доброй воле не допустят к участию в управлении общественными делами тот класс, который, не владея средствами производства, является производителем всех материальных благ общества.

Сказанное, разумеется, не заслоняет того факта, что обеспечение даже формальных свобод, расширение их в рамках буржуазного права, завоеванное последовательной классовой борьбой, способствует в определенной мере развитию демократии, создавая более благоприятные возможности партиям, борющимся за интересы трудящихся. Там же, где средства производства перешли в руки их действительных хозяев — трудящихся, по-новому встает вопрос о свободе для истинных творцов истории.

«В Венгрии сила классов, чуждых социализму, была ограничена даже тогда, когда они еще играли свою роль на политической арене. Их политическое поражение было условием, обеспечившим народу право голоса в общественной жизни.

Я не собираюсь утверждать, что сегодня в Венгрии совсем нет людей, враждебно настроенных к социализму... Эта группа людей, очень маленькая, представлена не только ничтожным остатком ранее правящего класса, но и теми, кому оказывается поддержка извне. Политический принцип Венгрии таков, что враги социализма и народа, принадлежащие к классу, который уже сыграл свою роль в истории, не имеют права на свободу организации и даже пропаганды своих взглядов».

Противники социализма представляют такого рода ограничения как подавление свобод вообще. Увы, к этому склоняются иногда даже и люди, искренне симпатизирующие социализму, воспринимая подавление политической активности сил, противостоящих миру труда, как нечто несправедливое и даже... вредное. Однако такие ограничения вполне оправданы.

«Каждая человеческая свобода безотносительно к социальной системе кончается там, где начинается другая. Такова логика. Кто обладает свободой, в какой мере и с какой целью — вот как марксист ставит вопрос».

В социалистических странах ограничена свобода слова для того меньшинства населения, которое враждебно данной общественной формации. Такое ограничение гарантирует свободу слова подавляющему большинству населения, ибо опыт истории свидетельствует, что за распространением враждебных идей всегда следуют враждебные действия. Общественная система в социалистических странах опирается на поддержку широких народных масс. Поэтому политическое единодушие в той мере, в какой это в конкретных, данных условиях возможно, допускает терпимость к иным, даже ошибочным мнениям.

Ныне невозможно себе представить, чтобы кто-либо в социалистической стране публично заявил, что он против социализма и стал бы призывать к реставрации капитализма. Много утекло воды с тех пор, как радиостанция «Свободная Европа» строила свои тенденциозные программы в этом ключе — ныне он был бы просто смешон. Враги той же Венгрии, прислужники самых мрачных сил империализма, настаивают теперь на... улучшении социализма, подхватывая и критикуя те частные упущения и недостатки, без которых не обходится ни одно живое дело, стремятся выдать их за дефекты самой общественной системы. Если бы аргументация подобных «свободных» голосов стала предметом действительных дискуссий в обществе, то творческий обмен мнениями превратился бы в псевдодебаты, подстрекаемые скрытыми и явными врагами социализма, внимание общественности было

бы отвлечено от действительно насущных задач. Социалистическая демократия за свободу слова отнюдь не для тех, кто пользовался бы ею для подрыва социального единства трудящихся, для разрушения созданного ими общественного строя. Предметом дискуссий не может быть вопрос об общественной собственности на средства производства.

Однако решение основного вопроса социализма не означает еще автоматического наступления социалистических преобразований во всех сферах жизни. Научный марксистско-ленинский анализ такого рода примитивных политических представлений был дан в свое время в литературе и с авторитетных трибун и кафедр. Диалектика общих и частных интересов в обществе означает тождество их в известном (кардинальном) отношении, но одновременно — и различие в рамках этого тождества. Необходимо учитывать и буржуазные пережитки в сознании людей, отсталые взгляды, ошибочные мнения, которые преодолеваются только в процессе исторического становления нового общества. Наконец, не следует сбрасывать со счета и влияние со стороны противоположной социально-экономической системы. Коль скоро мы находимся в непрерывном взаимодействии с нею, это влияние проникает по множеству каналов.

«Коренные интересы классов при социализме действительно совпадают. Однако индивидуальные интересы в обществе, сложном по своему составу, могут различаться и даже противоречить друг другу. Тенденция к сближению интересов при социализме является определяющей, она обусловлена развитием производственных отношений, личные интересы могут быть примирены и скоординированы на основе интересов всего общества».

Естественно также, что политическое регулирование должно быть подкреплено гласностью, основанной на принципах социалистической демократии. Валерия Бенке подчеркивает, что гласность, обратная связь от масс к органам политической власти обеспечиваются Венгерской социалистической рабочей партией на протяжении многих лет. Создание такой обстановки — обстановки подлинного демократизма и высокого политического доверия — невозможно декретировать или навязывать волюнтаристским путем; это живой, растянутый во времени исторический процесс.

Что же касается свободы мнений, то споры по экономическим вопросам обусловлены общим — социалистическим! — интересом. Вопросы совершенствования структуры управления общественными делами решаются также на основе всеобщей заинтересованности в лучшей постановке дела. То же самое можно сказать и о проблемах литературы, искусства, культуры вообще. Свобода мнений, дискуссий во всем этом оказывается прямым интересом общества, отвечая объективной необходимости прогрессивного развития. Так индивидуальное сходится с общим.

Социалистическое строительство идет тем эффективнее, чем шире обмен точками зрения, предложениями, идеями. Именно это мы видим в Советском Союзе, во всех социалистических странах, когда происходит, скажем, окончательная отработка, а затем принятие конституции государства, важнейших законодательных актов,— в их обсуждении участвует весь народ, а органы печати превращаются в открытую трибуну трудящихся. Да и в повседневной жизни страницы центральных печатных органов заполнены выступлениями представителей всех слоев населения, принципиальными заявлениями по социальным и производственным вопросам, причем содержание высказываний бывает остро критичным, резко направленным против консерваторов, бюрократов, зажимщиков нового, передового. Активная жизненная позиция гражданина предполагает открытое суждение по проблемам социальной значимости.

На Западе подчас стремятся скомпрометировать принцип социалистического коллективизма. Такого рода попытки находят опору в обыденном сознании, порождаемом отношениями отчуждения, которые характерны для капиталистического мира. Частнособственнический принцип бытия культивирует крайний индивидуализм, «атомарность» людской массы, в которой каждый сам по себе, противостоит всем остальным. Его интерес, его мнение — нечто сугубо частное, узколичное, не совпадающее с общественным. Ни один из буржуазных идеологов не заикнется указать на этот факт как на социальную болезнь, ибо преодоление ее возможно лишь с ликвидацией частной собственности на средства производства. Говоря о прогрессивно мыслящих людях буржуазного Запада, об интеллигенции, критически относящейся к капитализму и в общем принимающей социализм как общую цель человечества, Валерия Бенке справедливо отмечает:

«Коллективизм пугает их, потому что они смотрят на свою собственную свободу слова и мышления как на некую высшую ценность, нечто, выражаясь в этических категориях, представляющее благо само по себе».

Буржуазная идеология, драпируясь прогрессивными фразами, абстрактно толкует «права» и «свободу» человека, выхолащивает из этих понятий их конкретное историческое и социальное содержание.

Честность социалистической идеологии проявляется и в вопросе о свободе мнений, слова, собраний. Она — в конкретности, недвусмысленности социального критерия всех политических и гражданских свобод. Мы не скрываем, что защищаем не «свободу вообще», а свободу трудящихся от всех форм эксплуатации и угнетения, свободу всестороннего развития личности, строящей самое справедливое общество. Вспомним ленинские слова о том, что для нас «политическая свобода означает свободу народа распоряжаться своими общенародными, государственными делами». А это означает и свободу мнений каждого, свободу мышления и слова в интересах всех. И опыт истории подтверждает ленинское положение — действительная свобода личности, реальная политическая свобода оказываются возможной лишь в условиях социализма.

ЛЕОНИД ГОЛОВАНОВ

◆

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

СТАРОДУМ ИЗ ИНДИАНЫ И ПРОЧИЕ

Можно ли сочетать интеллектуализм и рационализм с приверженностью к патриархальным обычаям и нравам? Пример Стародума из комедии Д. И. Фонвизина показывает, что можно. Другой вопрос, кому и зачем это нужно.

Слово «неоконсерватор», как утверждают, вошло в обиход у американцев в 1976 году. Так стали называть себя, поначалу не без некоторой конфузливости, вчерашние либералы, большей частью университетские профессора, успевшие разочароваться в либеральной вере в «ценности» индивидуализма и прогрессизма. Череда кризисов, разразившихся во второй половине 60-х — первой половине 70-х годов: экономический, энергетический, экологический — и другого порядка: кризис культуры, самым сильным выражением которого стала контркультура, распространяющийся, как ржа, аморализм, упадок гражданственности и т. д.,— весь этот комплекс явлений, представляющий разные измерения одного и того же — общего кризиса капитализма,— побудил ряд ведущих теоретиков либерализма пересмотреть свои взгляды на общество и пути его развития, отречься от некоторых, особенно дорогих для либерального сердца принципов (напомним, что либерализм — идеология, до сих пор господствовавшая в мире капитализма). В возникновении неоконсерватизма определенную роль сыграли также внешнеполитические провалы США, и прежде всего проигранная война во Вьетнаме.

Сегодня неоконсерваторов иногда называют «людьми, которые изменили внешнюю политику Америки». Хотя такая характеристика и заключает в себе преувеличение, верно, что неоконсерваторы в немалой степени способствовали изменению внешнеполитического курса США, совершившемуся в конце 70-х годов: повороту к «холодной войне» и «политике силы». Америка, если перефразировать выражение Наполеона, вновь надела свои старые ковбойские сапоги и пытается вести себя на международной арене так, как если бы за минувшие десятилетия в мире ровно ничего не произошло и можно взять себе за правило «закон» Дикого Запада, состоявший в том, чтобы «выстрелить первым». И подобно тому, как в вестерне эгоизм и голая сила выступают, фигурально выражаясь, в рыцарских доспехах, так и в действительности «политика силы» рядится в одежды справедливости и вещает на языке морали. В качестве сценаристов здесь фигурируют неоконсервативные теоретики, неустанно призывающие руководителей США выполнять свой «моральный долг» и «проявлять твердость» перед лицом «красной опасности», а также «претензий третьего мира».

Но оставим пока внешнюю политику. Обратим внимание на то, что в вопросах внутренней жизни рекомендации неоконсерваторов далеко не всегда столь же однозначны, по крайней мере на первый взгляд. Основная их тема — проблемы культуры и — у́же — общественной морали, и в этой области неоконсерваторы выступают порою с весьма резкой критикой тех или иных сторон современной капиталистической цивилизации.

Надо также иметь в виду, что движение это не вполне однородно; по сути оно еще и не определилось вполне, а находится лишь в стадии становления. Нет ясности даже в том, что, собственно, следует именовать неоконсерватизмом. Обычно его понимают как академическое, «профессорское» по составу движение (охватившее, заметим, не только США, но и прочие страны Запада: различные его версии находим, например, у западногерманских неоконсерваторов и французских «новых правых» — последние представляют уже крайне правый его фланг). В то же время неоконсерватизмом зовут и определенный «срез» массовых умонастроений, тягу к некоторым сторонам прошлого, разделяемую различными слоями западного общества.

В этом плане представляет интерес книга доселе неизвестного Джона Хэйгена «Что не так в Америке», недавно вышедшая в Хантингтоне, штат Индиана [1]. Автор отстаивает в ней основные идеи академического неоконсерватизма — поэтому в какой-то степени она позволяет судить об этом дви-

[1] John D. Hagen. What's Wrong with America. «Our Sanday Visitor, Inc». Huntington, 1979.

жении в целом. Вместе с тем он предлагает читателю свой, оригинальный «вариант» неоконсерватизма; кроме того, он близок к массе «среднего класса», для которой неоконсерватизм является скорее делом чувства, чем умозрительных расчетов. Да и адресуется его книга именно к массовому читателю. Такие метры неоконсерватизма, как Д. Белл, И. Кристол или Д. Мойнихин (все — видные философы и социологи), не привыкли обращаться к широкой публике (следует заметить также, что лидеры неоконсерваторов основную свою задачу видят в завоевании «правящей элиты», а не в привлечении массовых симпатий). А книга Хэйгена общедоступна, «читабельна», не лишена злого юмора и даже — крайне редкий случай для книги морально-философского содержания — иллюстрирована самим автором.

Вот «средний американец», сидя в кресле, озадаченно уставился в какую-то книгу, а вокруг него пляшут шаманы в страшных масках, надо полагать, имеющие отношение к содержанию книги,— так Хэйген иллюстрирует слова о том, что современный американец не менее суеверен, чем жители «каких-нибудь каннибальских островов»: он позволяет себя дурачить всякого рода шаманам от политики, как либерального, так и традиционно-консервативного направления. По убеждению автора, такое легковерие проистекает от отсутствия «фундаментальной системы верований» или, иначе говоря, «национальной философии», заслуживающей этого имени.

Задавшись целью показать, «что не так» в сегодняшней Америке, Хэйген, как и все неоконсерваторы, ставит во главу угла проблемы идеологии. У американцев, пишет он, стало принято свысока относиться к любой доктрине; модные теоретики — здесь уже имеются в виду теоретики леворадикального и контркультурнического толка — призывают их вовсе освободиться от «цепей рассудка». Между тем, продолжает он, «цепи», о которых идет речь, не того рода, что приковывают к кандалам, но того, что позволяют держаться на якоре в штормовую погоду. Сейчас для американцев самое время бросить якорь. Более чем когда-либо они нуждаются в доктрине, которая отразила бы как «истины человеческой природы», так и реальности современного мира.

Но разве мало на сегодняшний день существует на Западе различных учений и доктрин? Оказывается, все они в той или иной степени заражены «философией модернизма». Это еще одно общее место у неоконсерваторов: «модернизм» для них — собирательное понятие, объединяющее чуть ли не все направления современной буржуазной философии. Его отличительные признаки, как их формулируют сами неоконсерваторы,— абстрактно-научный характер и (или) индивидуально-личностный стиль мышления. Это «скверна», начало коей положил Декарт и дал решительный толчок Кант; от нее будто бы исходят все беды, обрушивающиеся на западный мир, и в первую очередь «эгоцентрический материализм», укоренившийся в сознании людей.

«Модернизму» и «поднимающемуся, чтобы заменить его, марксизму» Хэйген противопоставляет «философию, основанную на здравом смысле». «Здравый смысл...— пишет он,— порою ускользает от нас так далеко, что для того, чтобы вернуться к нему, надо увидеть старые истины в новом свете». «Старые истины» Хэйген находит у Сократа и Платона, у Томаса Мора и Фомы Аквинского, наконец, в философии естественного права — с их помощью он пытается противопоставить научной философии метафизику, научному рационализму — рационализм метафизический (и в конечном счете теологический).

Но посмотрим, на что, после такой теоретической «артподготовки», конкретно нацеливает перо наш автор. Основным объектом критики для него является гипертрофированный индивидуализм. «Широко распространившийся эгоцентризм подобен вторжению гуннов, вдребезги разбивающих статуи и опрокидывающих указательные столбы, дабы познать радость разрушения». «Сосредоточенность на самом себе производит такое же действие на общество, какое топор производит на фортепиано»,—чеканит Хэйген свои афоризмы. Нет, принцип индивидуализма, как таковой, не вызывает у неоконсерваторов никаких нареканий — он неотъемлем от буржуазного образа жизни, буржуазной идеологии. Нарекания вызывает потребительская ориентация буржуазного сознания, явно возобладавшая за последнее время — в ущерб не только гражданским обязанностям (то есть в ущерб буржуазной государственности), но и таким элементарным качествам, составляющим, если можно так сказать, первоматерию человеческих отношений, как чувство ответственности, добросовестность, сострадательность и т. п. Есть, однако, в критике Хэйгена и другой момент, притом особенно важный: вакханалия индивидуализма, с его точки зрения, опасна потому, что она расчищает место для «марксистского коллективизма».

Но порицая непомерно раздувшееся, замкнутое на себе самом обывательское «я», неоконсерваторы вместе с водой выбрасывают и ребенка: гуманистическую веру в человека; Хэйген называет ее не иначе как «гуманитарным словоблудием». С их точки зрения, человек легко делается дрянью, если его не держать в ежовых рукавицах. Современный американец, позабывший молитвенное «Аз есмь червь», глубоко деградировал морально, и, как тут ни крути, одной проповедью его не прошибешь (хотя и она нужна тоже); чтобы вернуть его на стезю добродетели, необходимы меры законодательного порядка. Мы, говорит Хэйген, никогда бы не вышли из стадии Дикого Запада, если бы вослед драчливым золотоискателям и ковбоям не поспешили бы служители закона (как видим, у себя дома неоконсерваторы «модель» Дикого Запада не приемлют).

Так что же сейчас — «законы уж не те иль судьи слабы»? Хэйген полагает, что идеи, лежащие в основе судебной и пенитенциарной системы, существующей в США, сами по себе хороши, но вот действительность от этих идей страшно далека. Как и в других сферах нашей жизни, пишет он, здесь действует система двойных стандартов: буква и дух законов — это одно (по мнению автора, они в той или иной мере

соответствуют принципам естественного права, завещанным «отцами» американской революции), а практика — совсем другое. Хэйген критикует различные отдельные стороны американской юстиции, в частности систему тюрем: она «представляет собой национальный позор и усугубляющееся социальное бедствие... Послать молодого правонарушителя в одну из американских тюрем в большинстве случаев означает то же самое, что отдать его в обучение к капитану Киду» (капитан Кид был одним из самых отъявленных головорезов на Диком Западе). Не в пример некоторым другим неоконсерваторам, Хэйген весьма откровенно признает, что на практике «большие деньги» для американской Фемиды значат гораздо больше, чем какие бы то ни было моральные принципы. Заметим от себя, что такова уж извечно буржуазная мораль: лицемерие всегда было отличительным признаком этой особы — изгоняя преступление через дверь, она впускает его через окно. Что сейчас изменилось, так это то, что дверь оказывается теперь чересчур узка, тогда как окно распахнуто как никогда широко.

Итак, законы должны быть переписаны заново, судьи должны быть строги и непреклонны — к такому выводу приходит наш автор. Все неоконсерваторы выступают как моралисты и реформаторы, хотя порою делают акценты на разных вещах. Многие из них оплакивают «сумерки авторитета» и требуют непременно «восстановить в правах» авторитеты любого рода: от самых маленьких — родительского и учительского — до самых больших — кесаря и бога. В центре внимания Хэйгена проблемы преимущественно бытового характера: семья, воспитание детей в семье, мораль пола — хотя судит он об этих проблемах зачастую с некоей абстрактно-философской высоты. Хэйген не призывает вернуться ко временам пуританизма, но его симпатии во всяком случае на стороне провинциального, старосветского «маленького городка» с его четкими понятиями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Вместе с тем многие свои суждения он выносит именно с позиции здравого смысла — каковой ведь не является собственностью неоконсерватора,— и потому «на уровне быта» они звучат настолько резонно, что к ним никак нельзя не присоединиться.

Проблеме семьи Хэйген придает исключительное значение: «Наша жизнеспособность, как нации, будет зависеть от того, какую роль мы отведем дому, проявим ли готовность сделать дом средоточием нашей жизни и наших надежд». Современная «средняя» американская семья, констатирует наш автор, выродилась в нечто очень далекое от того, чем семья была раньше и чем она должна быть: теперь это просто деловое партнерство, зачастую эфемерный союз двух расчетливых игроков. На глазах тают в воздухе традиционные взаимодополняющие идеалы мужественности и женственности; их место заняли рекламные образы самцов и самок, занятых только собой, ставящих выше всего «показуху», игривых и распущенных, относящихся к сексу так, как если бы это было то же самое, что угощаться мороженым. Словом, ситуация, близкая к той, что описана в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «...вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности».

Питая надежду склеить осколки так называемой образцовой американской семьи, Хэйген становится на точку зрения максимализма в вопросах половой морали — очень понятного, если учесть, до чего докатилась в этой области буржуазная Америка. Сколь бы непривычным это нам ни казалось, пишет он, надо признать, что половые отношения оправданы лишь при условии любви и брака — ибо такова природа этих отношений, что они требуют от человека полной эмоциональной и духовной отдачи. Надо решительно изгнать «обезьяньи понятия» о сексе, запретить порнографию, запретить гомосексуализм и проституцию и т. п. Хэйген отдает себе отчет в том, что поставленная им и его единомышленниками задача в условиях сегодняшней Америки — едва ли не титаническая: «Каждая из таких реформ потребует от нас чудовищных усилий. Ведь нам всем сумели внушить на протяжении последних лет сентиментальные фантазии по поводу секса. Нас соблазняли—чем дальше, тем больше — кинофильмы, журналы, песни, книги, рекламные объявления, наконец, телевидение со всеми его уловками, тонкими и грубыми. Нас заставили мыслить о сексе в понятиях Мэдисон авеню (то есть рекламной индустрии.— Ю. К.), прельстившей нас «самореализацией» (так сказать, искушение собственным «я», взятым в узкофизиологическом смысле.— Ю. К.). Нас приучили не задумываться о том, что стоит за этой «самореализацией» — холодный животный эгоизм... повседневного опыта».

Больше всех других от развала семьи страдают дети, сетует далее Хэйген. (Здесь можно бы поставить на полях серию восклицательных знаков — обратите внимание, данный вопрос особенно важен!) Только в семье дети могут получить разностороннее душевное развитие. Ломка характера ребенка — дело сложнейшее, ответственнейшее; Микеланджело, берущий свой резец, или хирург, приступающий к операции на мозге,— и те не ставят перед собой задачи столь сложной, какая стоит перед скромнейшими из родителей. Между тем американцы чем дальше, тем больше видят в своих отпрысках лишь обузу: «60-е годы стали свидетелями бунта детей против своих родителей; 70-е стали свидетелями бунта родителей против своих детей». В значительной степени дело воспитания детей оставлено на произвол судьбы, «на милость Голливуда и Мэдисон авеню».

К тому, что сказано Хэйгеном об уменьшении значения семейного микрокосмоса в формировании ребенка, следует добавить и другое: аналогичным образом сокращается значение школы (какова бы она ни была). В итоге господствующим, с позволения сказать, воспитательным принципом зачастую оказывается принцип самотека,

---

Ю. КАГРАМАНОВ
СТАРОДУМ ИЗ ИНДИАНЫ И ПРОЧИЕ

как его называют в американской педагогике. Авторитет родителя и учителя замещает беспорядочный просмотр телепередач, кинофильмов и т. п., различные более или менее случайные контакты, особенно же «неформальная группа» ровесников. К каким пагубным, а порою катастрофическим последствиям приводит такое положение — хорошо известно.

Сейчас или никогда, заключает Хэйген: или мы попытаемся спасти основные ценности нашей цивилизации, или Америка провалится в тартарары. Хэйген выдвигает целый ряд предложений законодательного характера: от мер по ограничению абортов до радикальных, как ему кажется, экономических реформ. Уделяя основное свое внимание вопросам морали, неоконсерваторы не совсем пренебрегают вопросами экономики. Подобно некоторым из них, Хэйген носится с идеей пересмотра основных принципов экономической деятельности в духе «консервационизма», то есть полной остановки или замедления роста, полагая, что таким образом произойдет насильственная «прививка скромности»: американцы вынуждены будут меньше потреблять и, значит, отучатся «жадничать». Не говоря о том, что полная остановка роста утопична — капитал не в силах отказаться от стремления к получению сверхприбылей,— всякое новое снижение экономической активности, как это нетрудно догадаться, обяжет к еще большей «скромности» именно те слои населения, для которых подтягивание поясов уже стало привычным делом.

Особую озабоченность вызывает у неоконсерваторов деятельность mass-media — средств массовой информации. Предметом их критики являются некоторые специфические «свободы», вернее, тот специфический уклон, который получают записанные в буржуазных конституциях «свободы» — слова, печати и т. д. Те, кто направляет деятельность mass-media, неизменно ссылаются на означенные «священные права», когда их обвиняют в том, что они создают или, во всяком случае, усугубляют климат вседозволенности. Хэйген предлагает установить жесткий «моральный контроль» над media, запретить пропаганду насилия, секса, аморализма и т. п. В первую очередь такому контролю подлежит телевидение, этот «ящик Пандоры», полный всевозможных соблазнов и бедствий. Другие неоконсервативные критики идут еще дальше и требуют вообще ликвидировать телевидение как таковое (примером может служить вышедшая недавно в Нью-Йорке книга Дж. Мэндера «Четыре аргумента в пользу устранения телевидения») — так, дескать, будет спокойнее.

Многие критические суждения Хэйгена, как читатель мог убедиться, звучат вполне здраво, хотя порою он просто повторяет вещи хорошо известные, но в Америке, увы, «хорошо забытые». Что отношения полов есть чрезвычайно деликатная сторона человеческой жизни, самым тесным образом связанная с жизнью духа; что семья является для человека средством реализации его интимного «я» и в то же время гарантом его общественной значимости; что только в семье, достойной этого имени, вырастают душевно полноценные дети,— все это для нас вещи несомненные, более того, это истины из числа именуемых «вечными». К удостоверяющему их скромному голосу здравого смысла в данном случае присоединяются авторитеты в области педагогики, психологии и того особого и особенно убедительного типа знания о человеческом сердце, что называется большой литературой — до Льва Толстого и Уильяма Фолкнера.

Следует, однако, не упускать из виду, в каком контексте оркестрована данная критика. Хэйген берет под обстрел мораль современного буржуазного общества — но в его же, буржуазного общества, собственных интересах. Гипертрофированный индивидуализм обывателя сегодня ставит под угрозу здание буржуазного общества как целого, его рациональную, в чисто техническом смысле, организацию. Сохранность этого здания — вот о чем пекутся неоконсерваторы, на что бы ни была нацелена конкретно их моралистическая критика. Если Хэйген берет под защиту буржуазную семью, то это прежде всего потому, что она всегда была оплотом буржуазного порядка и до некоторой степени его моделью, питомником, откуда выходили готовые исполнители тех или иных социальных ролей, исправные «винтики» общественного механизма.

Стародум из Индианы явно идеализирует прошлое буржуазной семьи. Последняя всегда строилась на лицемерии, а в недавние времена ее полная несостоятельность была удостоверена «изнутри» контркультурническим «бунтом детей». Но контркультура, начав с лирического бреда, кончила тем, что лишь ускорила моральную деградацию буржуазного общества. На фоне растущего падения нравов даже то деланное благополучие, какое отличало в прошлом буржуазную семью, представляется чуть-ли не патриархальной идиллией. И вот флюгер «общественного мнения» поворачивается на «ретро»: героем дня становится неоконсерватор — строгий моралист, «запретитель» с подъятым перстом.

Но если в одних случаях неоконсервативное «запретительство» совпадает с требованиями, исходящими от демократических кругов,— что, например, можно было бы сказать против запрещения порнографии? — то в других случаях оно прямо им противоречит. Ведь если неоконсервативные рецепты примут во внимание и будут урезать существующие «свободы», то наверняка начнут с того конца, где эти «свободы» и так уже весьма условны. Ибо неоконсерваторы защищают буржуазную, а не общечеловеческую мораль, буржуазную, а не общечеловеческую гражданственность. Конечно, помочь, скажем, подняться упавшему на улице — вопрос не идеологии, а элементарной человечности. Но если взять собственно гражданские поступки, то они из идеологии никоим образом не изымаются. Один из самых «сильных» примеров отсутствия гражданских чувств для неоконсерваторов — антивоенные демонстрации периода вьетнамской авантюры. А ведь ясно, что они-то как раз и были подлинным проявлением гражданственности.

И еще один момент необходимо отметить. Он возвращает нас в сферу внешней

политики. Если у Хэйгена, танцующего от своей печки — домашнего очага,— внешнеполитический аспект практически отсутствует, то для неоконсерватизма в целом он имеет очень большое значение. Американский социолог Питер Стейнфелс следующим образом описывает взгляды неоконсерваторов на внутри- и внешнеполитические проблемы: «Соединенным Штатам необходимо иметь сильную, уверенную в себе элиту, полную решимости незамедлительно использовать американскую мощь, если нация должна совладать с опасностью, исходящей извне. Но внешняя опасность существует лишь постольку, поскольку Соединенные Штаты не имеют сильной, уверенной в себе элиты, полной решимости использовать их мощь... Неоконсервативное видение сильного общества близко тому, чем были Соединенные Штаты в период «холодной войны». Самое главное: наличие идеологически вооруженной и неиспорченной (intact) элиты; стоящая перед ней задача отражения внешнего давления есть другая сторона стоящей перед ней задачи преодоления внутренней дезинтеграции» [1].

Сделав поправку на то, что слова о «внешней опасности» — обычный камуфляж, прикрывающий агрессивные устремления самих Соединенных Штатов, можно сказать, что здесь передана суть дела. Неоконсерваторы хотели бы поднять «моральный тонус нации», и в первую очередь различных ее «элит», в частности и даже в особенности потому, что никакой «демонстрации силы» на международной арене не получится, если она не будет обеспечена соответствующим человеческим материалом. Для всякого ристалища идеалом является мужественный спартанец, а не балованный афинянин или, паче того, вконец изнеженный житель Сибариса. Чтобы обслуживать авианосцы, бороздящие чужие океаны, или ракетные установки, зарывшиеся в чужих пашнях, нужны крепкие, зубастые парни с ясным, не отуманенным сомнениями челом, а не какие-нибудь наркоманы, или эротоманы, или гомосексуалисты, или просто истеричные эгоцентрики — как известно, всей этой публики Америка за последние годы породила предостаточно (в данном контексте нравственное «здоровье», о котором пекутся неоконсерваторы, особенно наглядно обнаруживает свой узкоклассовый характер).

И наоборот, жупел «внешней угрозы» призван, по мысли неоконсерваторов, «мобилизовать» в моральном отношении американское общество: побудить «элиты» подтянуться и всех прочих заставить равняться на «элиты».

Но одно дело, чего неоконсерваторы хотят, и другое, что они могут. Сейчас трудно сказать, к чему конкретно способна привести развязанная ими кампания морального «оздоровления» американского общества. Не исключено, что она вызовет к жизни законодательные меры того же ряда, что и пресловутый «сухой закон» — этот рецидив пуританизма, завершившийся полным фиаско [1]. Но ясно, во всяком случае, что никакие меры не могут сколько-нибудь существенно что-то здесь изменить. Моральная деградация буржуазного общества — процесс закономерный и необратимый. Деформация внутрисемейных отношений, ведущая к полному развалу семьи, проистекающая отсюда большая или меньшая «бесхозность» ребенка — все это явления, которые нельзя устранить никакими законодательными хитросплетениями. Ангел-хранитель, ограждавший святость (хотя бы чисто условную) домашнего очага, отлетел и ничем его не воротить.

Не существует никакой идеи, никакой доктрины, которая помогла бы сплотить массы под эгидой буржуазной государственности или хотя бы даже сплотить так называемые «средние слои»; никакого психологического обруча, который стянул бы воедино рассыпающееся множество маленьких «я». Апелляция к здравому смыслу, этот «последний довод» неоконсерваторов,— не более чем очередной вариант шаманства; здравый смысл — ценный советчик лишь в границах «от и до», и то лишь при условии, что он играет подчиненную роль по отношению к идеологии. А так как никакой жизнеспособной идеологии буржуазное общество создать уже не может, представляется совершенно нереальной задача восстановить традиционную структуру авторитетов, поставленная неоконсерваторами. Это почти то же самое, что химера о восстановлении «легитимности» (кстати сказать, термин, охотно употребляемый неоконсерваторами), некогда лелеемая сторонниками павших Бурбонов.

Как тут не вспомнить злую шутку, принадлежащую Брехту: когда народ утрачивает доверие к правительству, правительству следует выбрать себе новый народ.

[1] P. Steinfels. The Neoconservatives. N. Y., 1979, p. 69.

[1] «Сухой закон», запрещавший продажу спиртных напитков на территории США, был принят конгрессом в 1920 году и просуществовал 11 лет. Он породил в громадных размерах нелегальную торговлю алкоголем.

◆

ДВА РЕПОРТАЖА

РЭЧЕЛ СКОТТ

МУСКУЛЫ И КРОВЬ

В 1979 году группу американских рабочих спросили, согласны ли они с наблюдением Жан-Жака Руссо: «Человек рождается свободным, а между тем повсюду он в оковах». Свыше 80 процентов ответили утвердительно и прибавили: «В экономических оковах». Фрагменты книги Рэчел Скотт «Мускулы и кровь», с которой познакомится читатель, в известной мере разъясняют, почему рабочие ответили именно так.

Книгу открывает упоминание о знаменитом романе Эптона Синклера «Джунгли», в котором писатель показал кошмар рабского труда на скотобойнях Чикаго. После выхода книги власти оказались вынужденными принять некоторые законодательные меры — правда, эти меры касались лишь установления контроля за производством пищевых продуктов, а не коренного улучшения условий труда рабочих. «Потрясти страну не удалось и по сей день...— пишет Р. Скотт.— На многих тысячах американских заводов и фабрик условия труда и сегодня ничуть не лучше, чем во времена Синклера». Через шесть лет после выхода книги «Мускулы и кровь» можно вслед за ее автором повторить тот же вывод и добавить, что последние годы в США, характеризовавшиеся обострением социально-экономических трудностей, повлекли за собой новую волну интенсификации труда и массовой безработицы.

В начале 1980 года в журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» появилась статья под красноречивым заголовком: «В США вновь процветает потогонная система». Гибель на производстве в результате отсутствия элементарной техники безопасности и смерть от серьезных профессиональных заболеваний стали обычным явлением американской действительности. К такому выводу пришли участники состоявшегося в конце прошлого года семинара, организованного Управлением охраны труда. Как отметила руководитель Управления Э. Бингхем, по меньшей мере сто тысяч американских рабочих ежегодно погибает на производстве, 300—400 тысяч остаются калеками на всю жизнь.

© Rachel Scott, 1974.

РЭЧЕЛ СКОТТ — RACHEL SCOTT (род. в 1947 г.).

Американская журналистка. Работала в газете «Балтимор сан», выступала в журналах «Атлантик», «Нью рипаблик» и др. В результате трехлетнего исследования Р. Скотт написала книгу «Мускулы и кровь», фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей («Muscle and Blood». New York, E. P. Dutton & Co., 1974).

Профессиональные заболевания, часто со смертельным исходом, превратились в подлинный бич американских трудящихся. По данным обследования Национального института изучения проблем техники безопасности и охраны здоровья, которым был охвачен почти миллион американских трудящихся, четвертая часть рабочих страдает от тяжелых профессиональных заболеваний.

Рэчел Скотт — журналистка, репортер по вопросам труда и положения рабочих газеты «Балтимор сан» — в течение трех лет ездила по промышленным городам Америки, собирая материал для этой книги. Перед нами документ большой разоблачительной силы, в котором многочисленные факты умело связаны воедино логикой авторских обобщений.

В 1976 году «Иностранная литература» знакомила читателей с отрывками из книги Стадса Теркела «Работа». Невольно напрашивается сравнение этих двух книг — примечательного явления на фоне «взрыва документализма», которым отмечен в последние десятилетия литературный процесс в США. Их авторов отличает вера в простых людей, демократизм, ими движет чувство протеста против попранной справедливости.

В 1906 году президент США Теодор Рузвельт назвал группу писателей и журналистов, исследовавших язвы американского общества, «разгребателями грязи, не замечающими над головой сияющего небосклона». Но то, что для президента США — «грязь», для миллионов рабочих — жизнь. «Из мускулов и крови бог создал бедняков!» — слова, взятые из знаменитого мюзикла «Шестнадцать тонн», стали заглавием книги Рэчел Скотт, продолжающей благородные традиции «разгребателей грязи» в условиях современной Америки.

М. ЛАПИЦКИЙ

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА

Еще в 1906 году Эптон Синклер в своем классическом произведении «Джунгли» описал ужасы работы на чикагской скотобойне:

«Взять хотя бы рабочих из маринадных цехов... вряд ли там нашелся бы хоть один, на теле которого не было бы страшной болячки. Стоило рабочему, толкая тележку, оцарапать палец, и ему грозила опасная для жизни язва: кислота могла разъесть все суставы на пальцах. Среди мясников, развальщиков, рубщиков, обрезчиков и всех, кто держал в руке нож, трудно было встретить человека, который владел бы большим пальцем: от непрерывных порезов он превращался в обрубок, которым рабочий прижимал нож, чтобы не выронить его... Были на бойнях кухонные рабочие, целые дни проводившие среди пара и зловония при искусственном освещении; в помещениях, где они работали, туберкулезные палочки благоденствовали и запас их все время пополнялся. Были там грузчики, перетаскивавшие двухсотфунтовые куски говядины в вагоны-ледники,— каторжная работа, которая начиналась в четыре часа утра. За несколько лет она выводила из строя самых здоровых людей. Были там рабочие, обслуживающие холодильники, все поголовно больные ревматизмом; говорили, что в этих помещениях никто не выдерживает больше пяти лет... Были там рабочие, изготовлявшие жестяные банки для консервов; сеть порезов покрывала их руки, а каждый порез — это лишний шанс получить заражение крови. Некоторые из них работали на штамповальных прессах, а при том темпе, который установили хозяева боен, стоило только на миг отвлечься или задуматься — и можно было потерять руку... Однако хуже всего приходилось рабочим, изготовлявшим удобрения, и тем, кто работал на кухнях. Показать их посетителям было невозможно, потому что аромат, исходивший от «рабочего-удобрителя», заставил бы обычного любопытствующего гостя отбежать на сто шагов. «Профессиональной болезнью» тех, кто работал в полных пара помещениях с незакрывавшимися чанами, края которых почти не возвышались над уровнем пола, было падение в чан; когда их вылавливали, от них оставалось так мало, что и говорить было не о чем» [1].

Позднее Синклер писал о том, что, работая над «Джунглями», он и подумать не мог, что поводом для скандала, принесшего известность книге, станет антисанитарная обработка пищевых продуктов. «Я хотел потрясти страну страшной картиной того, как наши промышленные магнаты обращаются со

[1] Э. Синклер. Джунгли. М., Гослитиздат, 1956 (перевод Д. Горфинкель и Э. Линецкой).

своими жертвами, и совершенно случайно обнаружил, что́ делают с мясом, которое ест цивилизованный мир... А первоначальная задача так и осталась невыполненной».

Потрясти страну не удалось и по сей день. Большинство американцев верит, когда им говорят, будто потогонные фабрики с вредными и опасными условиями труда исчезли вместе с шестидесятичасовой рабочей неделей и эксплуатацией детского труда. Увы, это не так — на многих тысячах американских заводов и фабрик условия труда и сегодня ничуть не лучше, чем во времена Синклера. Мы, американцы, всегда поклонялись прогрессу и прибыли, своими богами сделали науку и технику, но совершенно не желаем замечать, что эти боги уничтожают нас — не только окружающую среду, естественные ресурсы, но и людей, наших сограждан. Рабочие американцы ежедневно гибнут при пожарах и взрывах, становятся калеками, глохнут от промышленного шума, теряют здоровье, потому что вынуждены работать в лихорадочном темпе. Сотни тысяч мужчин и женщин отравляются в цехах вредными испарениями и растворителями, задыхаются от проникающей в легкие пыли. При этом большинство из них не имеет ни малейшего понятия о том, как влияет на их здоровье современное буржуазное производство. Они тихо умирают, а их семьи покорно выслушивают лживые диагнозы: сердечно-сосудистое заболевание, рак, эмфизема легких...

За фасадом из сверкающих стальных конструкций и каменных плит ежедневно гибнут люди. К вечным проблемам, известным еще со времен Эптона Синклера,— грязь, заболевания, производственные травмы — прибавились куда более серьезные. После второй мировой войны рынок наводнился новыми химикалиями, и промышленники принялись нещадно их эксплуатировать, не обращая внимания на их токсические свойства. Результат — огромные человеческие жертвы. В одном из недавних президентских отчетов приведена ужасающая картина, которая, возможно, и не раскрывает истинного положения вещей: «Смертность от профессиональных заболеваний достигает примерно 100 000 случаев в год, а число профессиональных заболеваний каждый год возрастает на 390 000».

Членам семей рабочих эти цифры едва ли покажутся невероятными: у каждого есть знакомый, которого работа лишила здоровья или просто искалечила. Загляните в рабочий квартал — вы обязательно встретите на улицах калек, слепых, лишенных средств к существованию, многие из них молоды. А другие американцы — и их немало,— хорошо устроенные в жизни и забывшие о том, что их далекие предки тоже были рабочими, не желают замечать этой боли, этих смертей. Они трудятся в конторах с кондиционерами, живут в окруженных зеленью домах на окраине города и не задумываются над горестными судьбами тех, кто работает и живет в иных условиях. Они не видят пугающей связи между собственным процветанием и человеческими жертвами, на которых оно зиждется. И получается, что забота о человеке — это дело доброй воли его хозяина.

— Вот уже двадцать лет мы требуем от владельцев заводов и фабрик улучшить технику безопасности,— говорил мне Рей Маклюр, представитель федерального правительства по вопросам промышленной гигиены,— но на это надо выложить деньги, и они ничего не хотят делать. Ремонт оборудования, охрана здоровья рабочих — все это расходы. Хозяева вряд ли согласятся с лозунгом «Техника безопасности окупается». Она не окупается. На большинстве заводов не окупается. Из нее не извлечешь прибыли.

Рабочих на предприятиях США эксплуатируют самым жестоким и циничным образом — защитить их не могут ни правительство, ни профсоюзы, ни совесть хозяев. За три года близкого знакомства с американскими заводами и фабриками я окончательно убедилась в этом. Вскоре после того, как я начала работать над этой книгой, был принят федеральный закон, впервые оговаривающий условия охраны труда в промышленности. Но надежды рабочих и страхи хозяев не оправдались. В главном все осталось по-прежнему. На следующих страницах вы увидите, что многие предприниматели продолжают наращивать свое могущество и богатство, разрушая жизни собратьев по роду человеческому,— и остаются безнаказанными.

МЕТАЛЛ

Варим сталь и убиваем сталеваров

«Сиракьюс фаундри» в городке Сиракьюс, штат Нью-Йорк,— это небольшой литейный завод, на котором работает около ста человек. На короткое время в 1970 году он привлек к себе внимание страны в ходе предвыборной кампании Адама Валинского — он баллотировался на пост главного прокурора штата. Валинский вознамерился предать гласности данные о тяжелых условиях труда на заводе и организовал пресс-конференцию на автостоянке перед зданием завода. Но во время пресс-конференции президент «Сиракьюс фаундри» ударил одного из репортеров, чем подтвердил, что обвинения Валинского далеко не беспочвенны.

В 1971 году я обратилась к президенту «Сиракьюс фаундри» Лайонелу Гроссману с просьбой разрешить мне осмотреть завод, но, как и год назад, он не жаждал рекламы. Он отказался даже ответить на мои вопросы. Что оставалось делать? Я проникла на завод без его ведома. Увиденное потрясло меня. Расплавленный металл разливали по изложницам, лежавшим на грязном полу. Дым и испарения, никакой вентиляции — словно сквозь туман я различала конту-

ры фигур рабочих. Дымовая завеса надежно укрывала меня от начальства: поговорив долчаса с рабочими, я ушла незамеченной.

От рабочих я узнала, что завод был пущен недавно, что с требованиями профсоюза администрация не считается. Несколько человек, как мне рассказали, умерли от «туберкулеза», многие страдают хронической головной болью, одышкой. Рабочие не раз жаловались начальству: нет вентиляции, плохие респираторы, на сто человек всего шесть душевых кабинок. Летом в цеху удушающая жара. Зимой, наоборот, очень холодно, а единственный источник тепла — керосиновые печурки, расставленные по всему зданию. Они коптят воздух, вытяжной вентиляции не предусмотрено. В ответ на жалобы рабочих администрация и бровью не ведет.

Рабочий, не пожелавший назвать свое имя, объяснил мне, почему рабочие вынуждены мириться с плохими условиями труда.

— Почти у всех ребят долги,— сказал он.— Туда должны, сюда должны, вот и боятся: начнешь бастовать, а у тебя заберут и дом и машину, выгонят в шею. Ну, и вкалываешь себе. Будь у них оплачены все счета, на черный день кое-что припасено — все, как один, взбунтовались бы. Работа здесь — врагу не пожелаешь, только никому до этого дела нет. Над нами же еще и смеются.

Между тем смешного мало. Я пробыла на литейном заводе совсем недолго, но туфли мои покрылись толстым слоем пыли, чулки потом пришлось выбросить. Горло и нос почернели, а когда я высморкалась, носовой платок стал бурым. Маслянистые испарения осели на кожу, волосы, одежду, целых четыре дня я не могла оттереть их. Когда, покинув завод, я заглянула в городскую медицинскую библиотеку, люди брезгливо отступали в сторону, такой аромат исходил от моей одежды.

В 1973 году Ирвинг Дэвис — глава мичиганского отделения по борьбе с профессиональными заболеваниями — рассказал мне, что здоровью рабочих-литейщиков угрожает не только смертоносная кремниевая пыль, но и шум, перегрев, окись углерода, различные смолы, такие как фенолоальдегидная, углеводородная и каменноугольная.

Условия работы на литейных заводах официально не изучались, известно лишь, что наиболее опасна двуокись кремния. А. Дж. Каймала, представитель детройтского бюро по промышленной гигиене, не стал ходить вокруг да около:

— Если человек проработал тридцать лет на заводе, где в воздухе носится кремниевая пыль, можно наверняка сказать: он болен силикозом.

На трех литейных заводах в Маскигоне, штат Мичиган, где работают три с половиной — четыре тысячи человек, ежегодно появляется около четырехсот новых больных силикозом. Другими словами, каждый год из строя выходит десятая часть всей рабочей силы этих заводов.

До 1972 года рабочие через крупную юридическую фирму требовали компенсацию. Бен Маркус, один из ее руководителей, сообщил, что только на требованиях литейщиков фирма ежегодно зарабатывала миллион долларов. Его партнер, Джерри Маккроски, сказал репортеру «Ньюсуик» Джону Лоуэллу, что средний рабочий литейного завода в Маскигоне почти наверняка заболевает силикозом, если проработает достаточно долго.

— На грязной работе заболевают лет через двенадцать, на относительно чистой — через двадцать.

Чтобы содержать литейный завод в чистоте, нужно улучшить вентиляцию, увеличить штат уборщиков. На это, разумеется, требуются деньги — дешевле раз в десять лет вывести из строя всю рабочую силу.

Ранней весной 1971 года сталелитейная корпорация «Бетлхем» через официального представителя Фрэнка Бэнкера разрешила мне осмотреть один из своих заводов, «Бетлхем стил Лакаванна», расположенный в Буффало, штат Нью-Йорк, второе по величине предприятие корпорации и четвертое в США.

— Вы увидите, как варится сталь, варится без всякого ущерба для здоровья человека,— заверил меня Фрэнк Бэнкер.

Сначала мне показали коксовые печи, длинный ряд соединенных между собой узких стальных конструкций черного цвета, высота каждой — около пяти метров, ширина — чуть больше метра, а глубина — метров двенадцать. Испарения во время плавки затеняли солнце. Когда я через несколько минут взглянула на свои записи, они были покрыты слоем черной пыли. Мы объехали печи с подветренной стороны, воздух здесь был густым от пыли и дыма.

Бэнкер обратил мое внимание на то, что рабочие носят защитную одежду: маски, комбинезоны с асбестовым покрытием, перчатки.

— Мы предлагаем рабочим надевать респираторы, где это требуется, но они отказываются. Ну, это уж их дело.

Позднее я беседовала с Майком Рейли, рабочим завода «Бетлхем», некоторое время проработавшим у коксовых печей.

— Страшно грязная, пыльная, мерзкая работа,— сказал Рейли.— Да, дают респиратор: большие куски грязи он не пропускает, но газы и дым все равно проходят. И все вокруг тебя пышет жаром. Работаешь наверху, над печью, в клубах дыма иногда не видишь, куда идешь. Спустишься — организм полностью обезвожен, чувствуешь себя жутко. Летом на такой работе тепловой удар — обычное дело.

РЭЧЕЛ СКОТТ
МУСКУЛЫ И КРОВЬ

Работающие у коксовых печей страдают от чрезмерного воздействия каменноугольных смол. Их канцерогенные свойства известны еще с 1775 года — один английский ученый обнаружил рак у многих лондонских трубочистов. Рабочие-коксовики подвержены заболеванию раком мошонки в пять раз больше, чем остальное население. Рак легких, мочевого пузыря и почек у них также встречается гораздо чаще, чем по стране в целом. Последние данные о смертности среди рабочих коксовых печей были собраны Редмондом и Ллойдом. Они проводили исследование на одном пенсильванском сталелитейном заводе и выяснили, что по сравнению с другими сталеварами рабочие-коксовики, простоявшие у коксовых печей пять или более лет, умирали от рака легких в три с половиной раза чаще. Наибольшей опасности подвержены те, кто работал наверху, смертность от рака легких у них в десять раз выше, чем у остальных сталеваров. Анализ данных, опубликованных Национальным институтом охраны здоровья на производстве, показал также, что рабочие-коксовики страдают раком гортани, полости носа, поджелудочной железы, желудка и кроветворных органов (лейкемия).

Проспекты компании «Бетлхем» рекламируют программы, призванные улучшить охрану здоровья рабочих. В брошюре говорится: «На заводе «Лакаванна» принимаются все меры для обеспечения безопасности и улучшения условий труда».

Уже упоминавшийся Майк Рейли раньше работал на прокатном стане. Он жаловался на шум, от которого «буквально глохнешь — у меня была временная потеря слуха на двадцать процентов». Говорил о том, как холодно зимой: «Выше пояса превращаешься в ледышку, а ноги поджариваются от печи».

Говорил об испарениях, когда горячие после прокатки стальные стержни укладываются между слоями древесины.

— Вроде бы временно раздражается глазная оболочка, не более того, но если собрать все такие «мелочи», набирается дай боже. Не жизнь, а сказка! — подытожил он с сарказмом. — Человек чувствует себя последним отребьем. И

Джеймс Глейч, рабочий завода компании «Анаконда» (Ист-Хелина, штат Монтана), рассказывает, в каких тяжких условиях приходится работать: «Многие из нас наглотались свинцовой пыли. «Анаконда» — ужасно мелочная компания, думают только об одном — о прибыли. Не дай бог моим детям здесь трудиться, когда они вырастут» [1].

[1] Здесь и далее фотографии и подписи автора.

постепенно начинает спиваться. На этой работе девяносто процентов — настоящие алкоголики. Еще бы, в таких условиях любой свихнется... Начальство любит малевать на стенах всякие дурацкие лозунги, вроде «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН: ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ САМОГО». Любой рабочий знает сотни подобных лозунгов. Так вот, на этих лозунгах вся их техника безопасности кончается. На самом деле плевать им на нас.

Варить сталь на заводе «Бетлхем» — дело далеко не безопасное, и лучше других об этом знает Джозеф Дзеб, главный врач завода. В газете «Ивнинг ньюс» города Буффало была опубликована статья о медицинском обслуживании населения. Там сказано: клиника, в которую привозят большинство пострадавших рабочих «Бетлхема», в 1969 году зарегистрировала 58 956 больных, нуждавшихся в неотложной помощи, 37 642 из них обратились за помощью впервые, а 21 314 — повторно. 97 пациентов были направлены в больницы и провели там в общей сложности 1014 дней.

Читая эти цифры, едва ли согласишься с изречением, которое любят повторять представители администрации: на заводе рабочий в большей безопасности, чем дома. В поддержку этой демагогии приводятся статистические данные о производственных травмах. Доктор Дзеб признал, что компания «Бетлхем» сводит их число к минимуму очень простым способом — пострадавших рабочих вынуждают оставаться на работе.

Кен Беллет, главный уполномоченный профсоюза на заводе «Бетлхем», рассказал мне о несчастных случаях, от которых бросает в дрожь. Неужели за семьдесят лет ничего не изменилось?

Пару недель назад я видел человека, вокруг которого обвилась полоса катаной стали. Раскаленная заготовка, когда ее снимают с прокатного стана, делает в воздухе петлю и может опоясать что попадется. На сей раз попался человек. Он жутко обгорел. Или еще был случай — кусок летящей стали раскроил парню голову, да так и остался торчать в ране. Когда я сюда только пришел, недели через две убило мастера. Ему прямо на голову свалился подъемник — только мокрое место осталось. Еще был случай — у парня схватило сердце, прямо около печи. Бедняга скончался, пока искали машину, чтобы отвезти его в больницу... Тони Бейлону на шлифовальном станке оторвало ноготь. В амбулатории, не долго думая, взяли специальные ножницы и — бац — оттяпали ему весь палец. Доктора, правда, потом уволили, а Тони каково? Сунули ему за отрезанный палец компенсацию — 150 долларов. Хороша компенсация!

НЕФТЬ

Обращаются с людьми, как со скотом

Современный нефтеочистительный комбинат можно смело назвать крупнейшим химическим предприятием, что делает его в потенциале чрезвычайно опасным. Однако, если верить рабочим, инженерам и даже промышленно-коммерческим журналам, при разработке современных методов нефтеочистки этот потенциал не принимают во внимание. Вот как в апреле 1968 года журнал «Ойл энд гэз джорнэл» представлял существующие проблемы:

«Работа нефтеочистительных комбинатов за последний год вынуждает задать тревожный вопрос: сколько можно экономить? События последних месяцев просто пугают. На пусковые объекты обрушилась лавина аварий, мелких и крупных. Где-то дал течь резервуар, где-то не сработало оборудование. Часто новые блоки не отвечали требованиям эксплуатации. Некоторые блоки просто не удавалось пустить. А порой оборудование выходило из строя вскоре после пуска. Если продолжать экономить, производство станет малоэффективным и опасным».

Инженер из Хьюстона, который участвовал в проектировании нефтеочистительных комбинатов для государственного подрядчика, компании «Браун энд Рут», высказался по поводу этой проблемы коротко, но не менее ясно:

— Видите этот нефтеочистительный завод? Его проектировал я и точно знаю: скоро он взлетит на воздух!

В телефонной беседе он сказал мне следующее:

— Иногда ради экономии подрезают кое-какие углы, а это значит одно: уменьшается фактор надежности. Вместо пятнадцати или двадцати этот фактор снижается до десяти, потому-то на заводах то и дело происходят взрывы — люди гибнут или становятся калеками.

Сообщив, что проектированием нефтеочистительных заводов он уже несколько лет не занимается, инженер тут же добавил:

— За эти годы ничего не изменилось и не может измениться. Такова природа явления.

Подобные примеры приводили и рабочие. Лу Мариани, деятель профсоюза из компании «Тексако ойл» в штате Нью-Джерси, подробно рассказал о сокращении расходов за счет снижения надежности.

— Блоки полагается отключать для проверки и ремонта раз в год, — сказал он. — А теперь постепенно переходят на трехгодичный цикл. Значит, больше вероятность, что блок выйдет из строя, возникнет аварийная ситуация. Стало быть, люди работают в условиях, которые никак не назовешь надежными.

Ремонтные работы проводятся при включенном оборудовании, на ремонтников воздействуют опасные газы: сероводород и углерод.

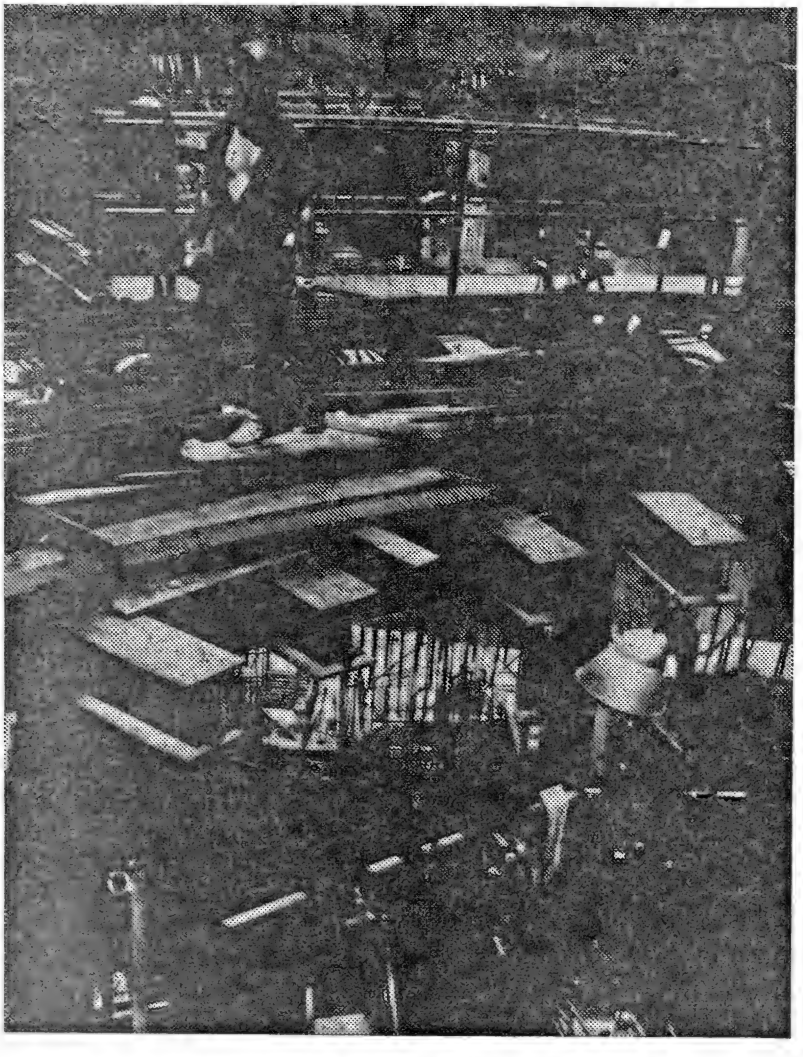
— Знаете, что администрация заявляет в свое оправдание? Вы, мол, работаете с нефтью, ничего тут не поделаешь. Но я работаю с нефтью уже двадцать

РЭЧЕЛ СКОТТ
МУСКУЛЫ И КРОВЬ

два года, а мой приятель все тридцать. Так вот, за последние пятнадцать лет все изменялось только к худшему. Насосные работают вообще без ремонта — того и гляди, насосы развалятся. Туда уже нельзя заходить — так пахнет газом. Отравишься и все. Был такой случай — парню, который работал в насосной, стало дурно, надышался газом. Поначалу решили, что он просто заснул. Блоки по переработке сырой нефти полагается отключать два раза в год. Теперь это делают раз в два года. В прошлом месяце возник пожар. Нужно было заменить насос, подключили резервный — он тоже не годился, нуждался в капитальном ремонте. Снова решили попробовать первый насос, а он уже разгерметизировался, много газа утекло в атмосферу. Одна искра — вот вам и пожар. Вся насосная сгорела да еще часть панелей управления. А предотвратить пожар ничего не стоило.

По словам Мариани, ни один крупный нефтеочистительный завод в Дэлаверской долине не избежал большого пожара. К пожарам и взрывам здесь просто привыкли, при такой технологии и методах проектирования в этом нет ничего удивительного.

11 октября 1971 года местное отделение профсоюза компании «Мобил ойл», Полсборо, штат Нью-Джерси, проверило, на должном ли уровне находится техника безопасности. Проверка продолжалась 28 дней и, хотя была довольно либеральной, зарегистрировала 354 случая нарушений.



Строительство ядерной установки у южного берега озера Мичиган. О предохранительных ограждениях чаще всего не заботятся. Говорит инспектор по технике безопасности: «Одного человека убило свалившимся сверху брусом, когда он обедал».

Я побывала на этом заводе. Компания «Мобил» — одна из богатейших — была оштрафована в среднем по 20 долларов за каждое нарушение. Но профсоюзные деятели утверждали, что аварийные условия не были устранены. К примеру, опасность аварии оставалась на участке, где толкач движется под уклон, толкая четыре тележки с двухсотлитровыми барабанами,— практически он неуправляем. Представитель компании заверил, что число тележек уменьшат.

Около месяца спустя толкач, движущийся вниз, сполз с колеи и придавил оказавшегося рядом рабочего компании «Мобил».

— Компания везде трубит о технике безопасности, но она лишь делает вид, будто это ее волнует,— рассказывал потом рабочий.— Самая любимая их отговорка: «Мы как раз сейчас этим занимаемся». Если речь идет об условиях труда: «Мы разрабатываем меры». Если о безопасности: «У нас все готово, но нет рабочей силы». Захотели бы — нашли еще тысячу человек на уборку и ремонтные работы. Но убирать и ремонтировать, видите ли, некому. Конечно, со сверхурочниками дешевле. В общем, администрация на нас плевать хотела.

Как и многие другие заводы, компания «Мобил» весьма простым способом снижает время простоя из-за несчастных случаев — заставляет получивших травмы продолжать работу.

— Однажды у меня здорово распухла нога,— рассказывал председатель местного профсоюза Дик Мейер,— на нее упал отбойный молоток. Послали к врачу. Он наложил гипсовую повязку и отправил на работу. Один наш рабочий, Грин, до того обгорел, что криком кричал, и представьте, его прямо из больницы привезли сюда — им лишь бы статистику не портить. И так продолжается двадцать лет. Скольких людей за эти годы заставляли работать с травмой — не счесть.

Рабочие могут многое рассказать о явных несчастных случаях, но они почти ничего не знают о том, как подрывает их здоровье химия.

— На кетоновом участке, где аммиак,— продолжает Мейер,— люди ни с того ни с сего начинают падать, теряют сознание. Никак я не мог понять, в чем дело. Только потом встревожился по-настоящему — из тех, кто там работал, многие умирают в сорок — пятьдесят лет. На всех нефтеочистительных заводах часты случаи отравления сероводородом. Слесарь-трубопроводчик «Мобил» Дон Фуллер проработал на компанию тридцать два года и в конце концов получил газовое отравление. В бессознательном состоянии Фуллера отвезли в больницу. Он долго не приходил в себя. Потом начисто отказала память: не мог вспомнить, кто он и что с ним случилось. Даже две недели спустя говорил, что сейчас не 1972 год, а 1955. Постепенно с помощью докторов память удалось восстановить, но не совсем — забывает имена. Теперь больше всего жалуется на головные боли.

У адвоката из штата Нью-Джерси Леса Джандоли около тридцати дел в год связаны с компенсациями за травмы на заводе «Мобил».

— У них там очень слабый профсоюз,— рассказывает он.— И администрация ведет дела так, что у рабочих пропадает надежда добиться толку. Я видел письма их начальства: «Если вы не выйдете на работу, рискуете потерять ее». И это после тридцати двух лет верной службы. На прошлой неделе ко мне обратился рабочий, он проболел на девятнадцать дней больше, чем положено по их правилам, и теперь ему грозят увольнением. Такое происходит постоянно.

У многих рабочих «Мобил» — легочные заболевания. Все трубы обернуты асбестом. Слесари-трубоукладчики, сварщики и прочие работают в условиях, вредных для здоровья. А компания считает, что ее обязанность — платить за работу деньги, вот и все. За остальное она не отвечает. Хозяева компании привыкли обращаться с людьми, как со скотом, а когда рабочие все же поднимают голову, пытаются отстоять свои права, последнее слово все равно остается за хозяевами. А ведь «Мобил» — это далеко не самые худшие наниматели.

АВТОМОБИЛИ

Убийство мастера Джонса

Иногда на автомобильном заводе Крайслера «Крайслер Элдон авеню Гиэр энд экспл плант» в Детройте срывается потолочный конвейер — это движущийся трос, на который вешают металлические детали и переправляют из одного цеха в другой поверх оборудования и работающих. Как и всякую технику, потолочный конвейер время от времени нужно ремонтировать — без ремонта производство станет более опасным. Ремонтировать можно, учитывая требования техники безопасности или пренебрегая ими,— разница в стоимости получается очень большая.

Снижая расходы на «непроизводительные операции», от профилактических ремонтов и регулярной проверки оборудования обычно отказываются. Ремонт предохранительных решеток, вентиляционных систем, освещения, перил, лестниц, комнат для отдыха, противопожарного оборудования в списке необходимых работ всегда значится на последнем месте, эти узлы вечно запущены. На заводе «Элдон авеню» в эту категорию иногда попадает и потолочный конвейер. Выйдет что-то из строя — и, подобно машине, у которой отказали тормоза, линия срывается вместе с грузом, тяжелые стальные детали летят во все стороны.

Случается, что загоняют не только машину, но и человека, который на ней работает, и он, подобно машине, становится неуправляемым. Рабочий угрожает

РЭЧЕЛ СКОТТ
МУСКУЛЫ И КРОВЬ

мастеру, поглощает стимулирующие таблетки, чтобы поспеть за машиной, принимает успокоительное, лишь бы жизнь не казалась такой бессмысленной, бьет жену, дерется в баре после работы, пьянствует — часто это всего лишь реакция на изнурительный и опасный труд, сознательные или бессознательные попытки снять стресс. Но от стресса не уйти, если рабочему остается одно — принять условия, которые в конце концов обязательно доведут его до гибели.

В летний полдень 1970 года негр по имени Джеймс Джонсон стал символом гнева и отчаяния рабочих автопромышленности, героем бесправных — он не побоялся дать сдачи, не позволил втаптывать себя в грязь. В действительности же от начала до конца он играл всего одну роль — роль жертвы.

Его родители, Эдна и Джеймс Джонсон, были издольщиками на плантации в штате Миссисипи. Когда в 1933 году мать вышла замуж, ей было всего пятнадцать лет, она училась в пятом классе в местечке Джози Крик около Старквилла. Отец ходил в седьмой класс той же школы. Спустя год родился Джеймс, первый из пятерых детей. Они жили в лачуге из двух каморок: спальни и кухни, без водопровода, без отопления. Уличный туалет делили с семьями других издольщиков. Пять месяцев в году дети посещали школу, остальное время вместе с родителями трудились на плантации, и хотя все работали много, денег на пропитание и одежду обычно не хватало. Дети ходили босиком, без верхней одежды. Миссис Джонсон шила из старых мешков одеяла, чтобы хоть как-то согреться в холодные ночи. В Старквилле минимум раз за зиму выпадал снег, и в доме Джонсонов, продуваемом всеми ветрами, всегда было холодно.

В детстве Джеймс-младший был тихим и спокойным ребенком. Ему было десять лет, когда на шоссе недалеко от Старквилла он увидел изувеченное тело своего двоюродного брата Генри, которого обезумевшая толпа растерзала за роман с белой девушкой. Вся семья была потрясена, а Джеймс в особенности.

Отслужив в армии, Джеймс Джонсон поселился в Детройте, какое-то время был занят на разных низкооплачиваемых работах. Наконец, в мае 1968 года его взяли на завод «Крайслер Элдон авеню Гиэр экспл плант». Он начал работать на разгрузке конвейера возле печи номер два в семьдесят восьмом цеху. Через печь номер два проходили две конвейерные ленты. У одной стоял Джонсон, у другой — Джо Эндрюс, они вручную снимали с конвейера тормозные башмаки через десять секунд после их выхода из горячей печи. Рабочим выдавались рукавицы со специальной подкладкой, но и они изнашивались за восемь часов от воздействия грубого металла, высокой температуры и смазочных масел. Кондиционеров не было, да и вентиляция никуда не годилась, в жаркие дни температура около печи достигала 50°С. Многие рабочие считали, что это место — самое плохое на всем заводе.

Восемь месяцев он оставался у печей и лишь после этого получил работу получше, в цементной. Но его разряд и зарплата остались без изменения. Он был разочарован, однако продолжал трудиться с прежним усердием. На разговоры почти не отвлекался, от работы не увиливал, к началу смены всегда был на месте, а в конце дня всегда отмечался на проходной последним. Такой работы у него в жизни не было, и он ею очень дорожил. Купил подержанный автомобиль, домик, в котором поселился вместе с сестрой, стал отправлять домой деньги матери и младшим сестрам, по воскресеньям петь в церковном хоре и строить планы на будущее.

Между тем условия труда на заводе год от года ухудшались. На «Элдоне» изготовлялись и собирались шасси для автомобилей компании «Крайслер». В цехах было грязно, стоял сильный шум, к тому же оборудование никогда не ремонтировалось в срок. У вилочных автопогрузчиков все время что-то было неисправно, осветительная арматура то и дело падала на землю, проходы вечно захламлены, ящики с деталями подняты на опасную высоту, все кругом заляпано маслом.

— На ступеньках возле туалета — масло,— рассказывал бывший профсоюзный деятель,— на полу из всех щелей — масло, с машин на пол опять же стекает масло, когда работаешь, стоишь на подставке, а на ней тоже масло.

Еще одна серьезная проблема — вентиляция. В воздухе плавал такой густой туман, что, стоя у одной стены, невозможно было увидеть другую.

Несчастные случаи не были редкостью. Два бывших адвоката этой компании рассказывали, что в среднем ежедневно человек десять или двенадцать получали серьезные травмы, за которые рабочие были вправе требовать компенсации. На заводе работает три тысячи рабочих, значит, в год на одного рабочего приходится больше одной серьезной травмы — по данным официальной статистики, этот процент гораздо ниже. Статистика учитывает только несчастные случаи, которые ведут к простою, а «Крайслер», как и другие компании, очень не любит, когда рабочие отлеживаются дома.

— У одного рабочего оторвало палец,— рассказывал Джордан Симс, бывший профсоюзный работник на заводе «Элдон».— И что, вы думаете, они ему сказали? «Не расстраивайся, рука все-таки цела, тебя и инвалидом-то не назовешь. И другая рука в норме. Так что давай иди в цех». Он пошел в цех. Мастеру даже не сказали, что этому парню надо дать работу полегче. А если специального разрешения не оформлено (иногда и несмотря на него), мастер может сказать: «Другой работы сейчас нет, только эта, выбирай — либо эта, либо никакая». Если выберешь никакую — потом накажут за отлынивание от работы. В цеху полно людей, которые

прихрамывают, ковыляют. На работу тащатся на костылях, сядут у конвейера и делают свою работу сидя. На «Крайслере» это обычное дело, лишь бы не было простоя из-за травм. К этому все привыкли.

Джозеф Балтимор, в прошлом юрист по вопросам компенсационных выплат рабочим на заводе «Крайслер», а теперь независимый адвокат, высказался в том же духе, что и Симс:

— Часто приходилось разбирать дела, когда рабочим делали операции, ампутировали пальцы и в тот же день заставляли возвращаться на работу. Это полнейшая бессмыслица, но по закону такое позволяется, а хозяева своего не упустят.

Он рассказал мне, как одну женщину, миссис Роуз Логан, сбил автопогрузчик. По его словам, такое случается часто, потому что у водителей довольно жесткие нормы и ездить приходится быстро. Участок работы автопогрузчика должен быть огорожен защитными поручнями, но они есть далеко не везде. Миссис Логан заставили вернуться в цех в кресле-коляске, лишь бы не платить ей компенсацию.

— «Крайслер» нашел ей подходящую работу: вытирать пыль в кабинетах, складывать полотенца. И все это сидя в коляске,— закончил Балтимор.

Комитет по охране здоровья на производстве завода «Элдон авеню» выпустил специальные бюллетени — рабочих предупреждали об опасностях, подстерегающих их во время работы. Джеймс Джонсон читал эти листовки и полностью соглашался с написанным в них. Он-то свое уже получил — лишился одного пальца и искалечил другой, попавший под конвейерную ленту. Кроме этого у него часто стало ломить спину, появились боли в груди, желудке, тошнота и головная боль, и виной всему было чрезмерное перенапряжение во время работы.

В бюллетенях комитета шла речь и о расизме, и о том, как хозяева обманывают рабочих. Что ж, подумал Джонсон, и здесь все правильно.

Была весна 1970 года, Джонсон работал на заводе «Элдон» уже около двух лет. Он все еще оставался в цементной и, хотя прекрасно относился к своим обязанностям, продолжал считаться разгрузчиком конвейера. Роберт Бейн, распределитель работ в цементной, заметил, что Джонсона долго не повышают. Бейн обучил его работать на цементомешалках и обещал при случае привлекать Джонсона к работе на этих машинах. Как только место освободится, оно будет отдано ему.

Уходя в отпуск, Бейн предложил поставить Джонсона на цементомешалку. Но, к разочарованию последнего, мастер отдал эту работу своему дружку, белому. Этот мастер, Бернард Овесный, постоянно оскорблял Джонсона, единственного в цементной чернокожего, называя его «черномазым», «недомерком». Поскольку стаж работы в цементной у Джонсона был меньше, чем у остальных, его часто перебрасывали на другую работу — что-то разгружать или работать у печей, не объясняя толком, что и как нужно делать. По словам Джонсона, Овесный всегда отдавал распоряжения в оскорбительной, высокомерной манере: «Сделаешь сейчас, недомерок, понял меня? Сказано: сейчас, и все». А если потом мастер, ничего не объяснив, оставался недоволен работой Джонсона, он отпускал в его адрес презрительные замечания, вроде: «От вас, черномазых, никогда проку не будет».

В начале мая 1970 года Джонсон попал в автомобильную катастрофу. Машина разбилась вдребезги, сам Джонсон получил травмы спины и шеи. Доктор посоветовал ему до выздоровления не выходить на работу, и Джонсон заглянул на завод взять страховой бланк. Но

Рональд Сэйр,
рабочий завода «Американ вискоуз»
(Нитро, штат Западная Виргиния),
отравился ядовитыми испарениями
при обработке сырья,
из которого производят
искусственный шелк.
Такие испарения вызывают
сильные головные боли,
отражаются
на психическом состоянии человека.
«Доктора компании объявили,
что у меня — шизофрения в острой форме.
Но шизофрения
здесь ни при чем,
просто я отравился сероуглеродом —
последствия, что называется,
налицо».

его тут же направили в поликлинику компании, где после поверхностного осмотра врач категорически заявил ему, что по состоянию здоровья он вполне может работать. Джонсон послушался своего доктора и пробыл дома неделю, но неожиданно получил с завода письмо с требованием срочно выйти на работу, иначе его уволят. Этого Джонсон боялся больше всего на свете и тут же вернулся на завод.

В конце мая Джонсону по тарифу полагался недельный отпуск. Мастер Овесный был в отпуске, поэтому Джонсон, как и полагается, понес свой рабочий листок на подпись к исполняющему обязанности мастера Хью Джонсу. И тут Джонсону показалось, что он услышал: старший мастер Элберт Роадс велел Джонсу рассчитать его. Но ведь рассчитать — значит уволить!

Эти слова засели у Джонсона в голове и весь отпуск не давали покоя. По ночам ему снилось, что его увольняют за уход в отпуск, что с потолочного конвейера на голову ему сыплются тяжелые детали, что он, поскользнувшись, падает на заляпанный маслом пол цеха. Этим кошмарам было суждено стать явью.

Вернувшись из отпуска, он обнаружил, что его рабочий листок куда-то пропал. А через несколько дней получил от администрации заказное письмо с уведомлением: он уволен за прогул. По совету одного рабочего Джонсон продолжал работать, отмечая свой приход и уход во временном рабочем листке. Так он проработал почти месяц, лишь после этого его официально восстановили на работе. А из «Крайслера» сообщили, что произошла ошибка. Это Овесный вернулся после отпуска, когда Джонсона не было, и, не разобравшись, подал сведения о прогулах в администрацию. Ничего этого Джонсон не знал, но понял одно — от него задумали избавиться.

16 июля, через час после начала рабочего дня, появился мастер Хью Джонс — Овесный временно работал в другую смену. Джонс велел Джонсону бросить свою работу и идти к печи номер четыре, разгружать тормозные башмаки с двух конвейерных лент. С этой тяжелой и грязной работы Джонсон начинал два года назад, к тому же был июль, стояла 25-градусная жара, а у печи температура доходила до 50 градусов. Джонсон не подчинился — у него не было асбестовых рукавиц со специальной подкладкой. И вообще он считал такое решение несправедливым: можно было послать других, у кого стаж работы на заводе меньше, чем у него. А его специально держат в «разгрузчиках конвейера», чтобы посылать на грязные работы. Так или иначе, Джонсон отказался и попросил позвать члена профсоюзного комитета.

Разговор в производственном отделе был чистой формальностью. Говорил в основном Джонс. Джонсон же стоял, опустив руки вдоль туловища и сжав кулаки. Его временно отстранили от работы и предложили на следующий день явиться в отдел труда. Профсоюз рабочих автомобильной промышленности добился того, что рабочего не могли уволить сразу, без специального разбирательства, но все знали: на заводе «Элдон» временное отстранение от работы равносильно увольнению. Джонсон, во всяком случае, не сомневался, что потерял работу. Охранник, ждавший за дверями кабинета, собрался проводить Джонсона до ворот.

— Мне не нужен провожатый,— возразил Джонсон.

— Я доведу его сам,— сказал Хортон, член профсоюзного комитета.

Мастер не стал возражать. Джонсон и Хортон прошли по территории завода, остановились у цеха Джонсона—он взял свою рубашку. Около ворот Джонсон, не прощаясь, ускорил шаг.

— Я вернусь,—пообещал он и скрылся за воротами завода.

Спустя час он и вправду вернулся. На нем был голубой комбинезон, через плечо небрежно перекинута куртка. Охранник Уилли Питс решил, что Джонсон опоздал на работу, и позвонил старшему мастеру сообщить об опоздании.

— Не впускайте его,— приказал охраннику Роадс.— Он временно отстранен от работы. Попробуйте забрать у него пропуск.

Питс потребовал у Джонсона пропуск. Джонсону не хотелось с ним расставаться.

— Вам велели его забрать?

— Да.

Чуть поколебавшись, Джонсон отдал пропуск и пошел прочь. Охранник решил, что Джонсон ушел совсем.

В производственном отделе был только старший мастер Альберт Воланский. Он выпил чашку кофе, потом позвонил ответственному за работу второй смены. Не успел он повесить трубку, дверь распахнулась. В кабинет ворвался Джонсон, в руках его был карабин, он целился в Воланского.

— Где Джонс?— заорал он.— Где Джонс?— При виде винтовки Воланский лишился дара речи, а Джонсон продолжал выкрикивать: — Где Джонс?

Обшарив кабинет, он повернулся спиной к двери. Воланский схватился было за телефон, но Джонсон снова взял его на мушку. Потом сильно хлопнул дверью и помчался к семьдесят восьмому цеху.

Джонса он застал около печей и, крадучись, приблизился к нему. Эндрюс, работавший у печи номер четыре, заметил Джонсона и крикнул: «Осторожно!» Удивленный Джонс обернулся, увидел Джонсона и побежал. Тогда тот поднял винтовку и выстрелил...

Рабочие-автомобилисты Детройта понимали, что на кровопролитие Джонсон пошел с отчаяния — кому из них не были знакомы те же гнев, отчаяние и страхи? Инстинкт подсказывал им, что действия Джонсона не были «бессмысленными», их породила ярость. Вот что сказал репортеру один рабочий с «Форда»:

— Я не знаком с Джонсоном, но сразу понял, что заставило его взяться за оружие. В газетах писали: за все время работы на заводе он не пропустил ни дня. Он ходил на работу словно в церковь, без прогулов, без опозданий, такие рабочие встречаются не часто. И сразу становится ясно: человека затравили, он преступил закон не по доброй воле.

Свою монотонную, однообразную работу, если его не тревожили, он делал, как автомат. Монотонность превращала в машину и его самого.

А вот к тому, что его постоянно третируют, привыкнуть не смог. Унизительное «черномазый», несправедливые придирки, необходимость работать во время болезни — все это сказалось.

— Его «я»,— говорил психиатр из Детройта Клемент Фицджеральд,— и без того было хрупким, и без того едва справлялось с трудностями каждодневного бытия, а тут оно подверглось таким перегрузкам. Он был потрясен, когда с работы, которой он так добивался, его вдруг послали обратно к печам. Для него это было равносильно потере всего. И вот Джонсон — заметьте, не пьяница, не наркоман — решился применить силу. Ему почудилась смертельная опасность — и он дал отпор.

Спустя год Джонсон предстал перед судом по обвинению в убийстве. Он не помнил, как в его руки попало оружие, но ничего не отрицал. Адвокаты — Джустин Равиц и Кеннет Кокерел — при допросах свидетелей подчеркивали серьезность положения на «Элдоне»: несоблюдение техники безопасности, бездеятельность профсоюза, постоянный нажим со стороны администрации, неравенство в положении белых и черных рабочих, рост насилия на заводе. По их мнению, все это не могло не сказаться на душевном равновесии Джонсона. Адвокаты рассказывали о детстве подсудимого, проведенном в нищете, об отклонениях в психике. Они без особого труда убедили присяжных заседателей — в основном рабочих автомобильных заводов и их жен — в том, что Джонсон невиновен: «преступление совершено по причине умственного расстройства». Он был направлен в государственный дом для умалишенных в Айонии.

Форд Руж, рабочий:

— Если на работе тобой помыкают, как мальчишкой, ты не в состоянии, вернувшись вечером домой, быть хорошим мужем и отцом. Это просто невозможно.

Хозяева «Крайслера», как и многих других компаний, считают, что гораздо выгоднее планировать расходы на компенсацию заболевшим и искалеченным, чем принимать меры по охране их здоровья, улучшать технику безопасности. Трудно поверить, что компании могут проводить такую низкую, бесчеловечную политику. Неважно, делается ли это намеренно, по необходимости, из безразличия или невежества — бесчеловечность налицо, и тому есть множество подтверждений. Каждый день происходят несчастные случаи, похожие один на другой как две капли воды.

Следовательно, перед нами — система. В основе ее — экономический расчет, позволяющий точно вычислить стоимость человека, как любой машины.

В компенсационных судах Детройта список назначенных к слушанию дел часто состоит из 15—20 исков от рабочих «Крайслера» или «Форда», и все их ведет один адвокат. Он буквально торгуется с адвокатами компаний: миссис Хью ампутировали ногу, давайте заплатим ей на тысячу меньше, но добавим эту сумму мистеру Фраю, у него перелом позвоночника. А благодарные клиенты — ведь они, возможно, никогда не получали столько денег сразу — так и не узнают, что за нанесенный ущерб им причитается вдвое, втрое, вчетверо большая сумма.

Такое происходит постоянно на большинстве автомобильных заводов. Рабочие считают, что их обманывает не только компания, но и собственный профсоюз.

— Постарайтесь понять,— сказал мне рабочий компании «Форд»,— профсоюз рабочих автомобильной промышленности — это такая же бюрократическая машина, как сама компания, как правительство. Профсоюзные лидеры имеют власть, деньги, они поощряют своих друзей и наказывают противников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда закон вне закона

По данным министерства труда, за последние шесть месяцев 1971 года среди 57 миллионов рабочих (сюда не входят фермеры, железнодорожники, шахтеры и государственные чиновники) зарегистрировано 3,1 миллиона «профессиональных заболеваний и производственных травм», а также 4300 смертельных случаев. Президентский отчет по охране здоровья на производстве за 1973 год содержит такую фразу: «Статистика, однако, может и не отражать действительного положения дел, так как заболевания профессионального порядка не всегда считаются таковыми». Это еще слабо сказано. Когда рабочий обращается за компенсацией, хозяева зачастую оспаривают даже явные случаи неизлечимых профессиональных заболеваний. И, видимо, спорные (по их мнению) случаи в статистику не попадают.

Есть и еще одна причина, затрудняющая учет профессиональных заболеваний и даже травм. Рабочие настолько привыкли к раздражающим газам, задымленности, пыли, что на многие симптомы они попросту не обращают внимания, тогда как служащий на их месте непременно обратился бы к врачу. Свою роль играет и боязнь рабочего потерять место или попасть на худшую работу.

В 1971 году один рабочий химического завода «Эллайд кемикал» в Сира-

кьюсе, штат Нью-Йорк, рассказал мне, что компания перевела его из цеха по производству ртутных элементов — слишком повысилось содержание ртути в моче.

— Я стал сильно уставать, — говорил он. — Да и сейчас все время чувствую усталость, мышцы болят, будто нарывы. Приходится чаще ходить в туалет, стали дрожать руки. Когда меня перевели оттуда, я был совсем плох: за обедом не мог удержать в руке вилку.

Жалуется он и на раздражительность — обычный симптом при отравлении ртутью.

— Жена может сказать им спасибо — я вскипаю по всякому пустяку. Они не называют это ртутным отравлением, нет. «Высокое содержание ртути» — вот что это такое. Таких, как я, в цеху очень много, но никто не идет к доктору. Наверное, боятся потерять работу. Я и сам подыскиваю другое место. Но это не так просто. Как-никак здесь я уже отработал пятнадцать лет. Пенсия обеспечена.

Проведенное в 1971 году обследование условий труда рабочих и служащих дало довольно ясную картину. Оказывается, больше всего рабочих волнуют вопросы, связанные с охраной здоровья на производстве. Это повышенная опасность труда, тяжелые физические условия работы, профессиональные заболевания и производственные травмы и — как следствие — уменьшение заработной платы. Вопросы заработка в целом стояли на втором месте... 13 процентов из числа опрошенных хотя бы раз за три года получали производственную травму или заболевали профессиональным заболеванием. 42 процентам в этой категории пришлось из-за травм или болезней пропустить работу, как минимум, в течение двух недель.

Даже такая статистика дает представление о масштабах скрытой от глаз национальной трагедии, происходящей с рядовым рабочим американцем, в семьях искалеченных, ослепших или погибших кормильцев.

Заводы, которые я посетила за три с половиной года работы над книгой, как правило, принадлежали крупным корпорациям: «Мобил ойл», «Юнион карбайд», «Крайслер», «Форд мотор», «Тиокол», «Анаконда», «Бетлхем стил», «Миннесота майнинг», достаточно богатым для того, чтобы уменьшить опасность профессиональных заболеваний и производственных травм. Однако хозяева многих американских компаний пожимают плечами, когда рабочие требуют возместить нанесенный их здоровью ущерб. Хозяева нанимают экспертов (врачей и ученых), а те намеренно ставят неправильный диагноз, выдают профессиональные заболевания за обычные, пишут предвзятые отчеты и направляют исследования в сторону от животрепещущих вопросов. Хозяева с пеной у рта выступают против упорядочения условий работы на заводах — это, уверяют они, приведет к краху экономику страны. Они уничтожают людей, как и землю, подвергают миллионы бессмысленным страданиям, а сотни тысяч отправляют на кладбище.

Массовые убийства в промышленности — тайна за семью печатями, она сокрыта от общественности за заводскими воротами, которые бдительно охраняются якобы с целью защитить «секреты фирмы» и «по соображениям безопасности» (не странное ли совпадение, что за охрану труда на производстве и за «безопасность» на многих заводах

Могила Билли Аллена — шахтера, трудившегося на компанию «Саншайн», одного из многих американцев (сто тысяч в год), которые в награду за свою работу получают смерть.

отвечает один и тот же человек?). Скрывает истину и Национальный комитет по технике безопасности, который твердит, что охрана труда — дело самих рабочих, как раньше твердил, что основа безопасной езды — это ремни безопасности. Истину так долго и настойчиво скрывают от масс, видимо, по простой причине: узнай люди правду — и американская система извлечения прибылей получит сокрушительный удар.

В феврале 1974 года компания «Б. Ф. Гудрич» обнародовала свои соображения по поводу смерти четырех рабочих каучукового завода. Причина смерти — необычный рак печени; компания полагает, что он возник из-за воздействия хлористого винила, потребного в производстве полихлорвинила. Хлористый винил изготовляют девятнадцать компаний — в газете «Уолл-стрит джорнэл» было сказано, что в 1973 году произвели пять миллиардов фунтов этого химикалия,— его широко применяют при производстве пластмасс.

Лу Мариани, работавший в одной из техасских лабораторий, рассказал, что техники этой лаборатории вдыхали испарения кумола, бензола и толуола, а вентиляция в лаборатории была очень плохой.

— Еще пятнадцать лет назад мы заявили администрации о том, что вентиляцию нужно улучшить,— сказал он.— Но и по сей день все осталось как прежде. За это время у двоих техников ухудшился состав крови, кровеносные сосуды пострадали настолько, что их пришлось заменить пластиковыми. И еще с двумя случилось то же самое. В 1963 году мы стали требовать, чтобы нас регулярно обследовали, чтобы сменяли людей. Лично мне сообщили об отклонении от нормы два года назад. В 1966 году от лейкемии умер начальник нашей лаборатории. Один техник умер от разрушения позвоночника. Эту же болезнь обнаружили у другого техника. У третьего что-то с кровообращением — вот уже семь месяцев он лечится. Официально считается, что ни одно из этих заболеваний не имеет отношения к нашей работе, а доказать обратное не так-то просто.

Жутко становится от таких рассказов. А ведь их, наверное, можно услышать на тысячах заводов и фабрик страны. Почему же горстка хозяев пренебрегает здоровьем миллионов рабочих американцев, закрывает глаза на токсические свойства химикалиев, с которыми они имеют дело?

Остановить кровавую волну, бушующую в промышленности, могут только сами американцы. Когда же они вспомнят о своих правах, так ловко отнятых у них промышленностью, о самом главном своем праве — праве на жизнь?

Перевод с английского М. ЗАГОТА

■

ИРМТРАУД МОРГНЕР

ДОБРАТЬСЯ ДО ЯДРА...

Заметки о старшем прорабе Дворца Республики, его жене, а также его адъютанте, написанные благодаря случаю

1

Писательство как форма жизнедеятельности зависит от случайностей не в меньшей степени, чем сама жизнь. Вскоре после моего переезда на новую квартиру редакция еженедельника «Зоннтаг» предложила мне написать портрет одного из строителей Дворца Республики. Я принципиально отвергаю репортажи, написанные на основе коротких визитов,— это несовместимо с моим представлением о добросовестности литератора. В то же время мне было очевидно, что строительная площадка Дворца Республики открыта не для всех желающих. Следовательно, устроиться там на временную

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1976.

ИРМТРАУД МОРГНЕР — IRMTRAUD MORGNER (род. в 1933 г.). Немецкая писательница, лауреат Национальной премии ГДР. Автор романов «Дом на городской окраине» («Ein Haus am Rand der Stadt», 1962), «Свадьба в Константинополе» («Hochzeit in Konstantinopel», 1968), «Удивительное путешествие Густава-землепроходца» («Die wundersamen Reisen Gustav des Weltfahrers», 1972), «Жизнь и приключения трубадура Беатрисы» («Leben und Abenteuer des Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura», (1974).

Очерк «Добраться до ядра...» («Bis man zu dem Kerne zu gelangen das Glük hat») взят из антологии «Знакомства» («Bekanntschaften. Eine Anthologie». Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1976).

работу, которая вместе с тем помогла бы моему делу, было невозможно.

А между тем стройка рядом, ее осветительные установки заливают светом нашу новую комнату, через открытую дверь балкона слышен шум, не затихающий день и ночь. Дворец Республики: в нем будут проходить заседания Народной палаты, люди разных национальностей из разных стран смогут проводить свои конференции и встречи, здесь можно будет хорошо поужинать, потанцевать, поиграть в кегли, послушать концерт, попариться в бане, поспорить, отметить праздник — каждому, кто любит жизнь, замысел Дворца должен казаться идеальным. Кто же осуществляет этот замысел? Ответ на вопрос привел меня к старшему прорабу Дворца Республики.

В те самые дни, когда я думала о своей встрече с ним, мне в руки случайно попал «Вильгельм Мейстер» Гёте. Листая в очередной раз страницы знакомого текста, я остановилась на одном абзаце: «Вступая в новый круг, нужно вновь стать ребенком, приняться за дело со страстным увлечением, вдоволь натешиться внешней оболочкой, прежде чем тебе выпадет счастье добраться до ядра» [1].

2

Мы познакомились, и я изложила свое дело. Фамилия прораба — Цирбель. Он небольшого роста, и это почему-то меня удивило. Я вглядывалась в его лицо, но не нашла никаких особенных внешних признаков. Лицо не выражало ни решительности, ни смелости, ни энергии — качеств, которые, как мне казалось, должны быть присущи человеку, руководящему огромной массой людей, съехавшихся из разных уголков республики; кругом рабочие, здесь же солдаты нашей армии, специалисты, помогающие в проведении подземных работ. Еще и еще раз я пристально всматриваюсь в этого человека. Короткие русые волосы. Костюм из синтетической ткани. Сообщил мимоходом: «Службу я начинал с самых низов, прошел через все ступени должностной лестницы, никаких прыжков». Мне показалось уместным упомянуть, что учебную практику я проходила на стройке. Цирбель испытующе посмотрел на меня, передал по телефону какие-то указания, выслушал отчет сменного мастера. «Отлаженная информация — половина дела»,— сказал он и разрешил мне посидеть до обеда в прорабской и понаблюдать. Заказал для меня кофе. Я забыла упомянуть о женщине, которая сидела тут же, в комнате. Я приняла ее сначала за секретаршу Цирбеля. Их письменные столы стояли напротив друг друга плотно сдвинутые, так что разные бумаги можно было передвигать туда и обратно без всякого труда. На окнах шторы из перлона. За окном сооружение из алюминия с вывеской: «Вас обслуживает продовольственный торговый кооператив по снабжению рабочих-строителей». Я сижу на мягком красном поролоновом пуфе. Белые канцелярские шкафы, на которых ровными рядами лежат белые шлемы с красными полосами, похожи на встроенные шкафы в моей новой квартире. Гладкий зеленый линолеум. Письменные столы и секционная мебель покрыты пленкой «под дерево». По контрасту вспомнился вагончик для строительных рабочих, в котором я обитала четырнадцать лет назад с бригадой М.

Этот прекрасно оборудованный производственный корпус стоит на высоком берегу Шпрее. «Из соседнего окна можно ловить рыбу»,— заметил Цирбель. Он попросил женщину вычислить, сколько бетона надо для такой-то части фундамента. С помощью счетной линейки она быстро сообщила результат. Когда Цирбель удалился на планерку, я заговорила с его «секретаршей». Оказалось, что ее зовут Инга Петри и она имеет квалификацию прораба. Петер Цирбель сказал о ней: «Мой адъютант».

3

«История человека — это его характер»,— читаем в «Вильгельме Мейстере». Гёте описал в книге множество разных жизней, которые и создают картину времени. Арена столкновений и борьбы характеров есть та область, где читатель при наличии фантазии имеет возможность почувствовать, в чем состоит наиболее существенная особенность эпохи. Биография Петера Цирбеля во всяком случае такова, что я не могу без нее обойтись в моем дальнейшем повествовании. Не только потому, что неожиданно прониклась к нему симпатией. Прощаясь с ним в обеденный перерыв, я спросила, когда бы мы могли встретиться, чтобы побеседовать. «Сколько на это понадобится времени? — осведомился Цирбель и полистал календарь.— Полчаса, час?»— «Час»,— ответила я испуганно.

4

Чтобы не потерять ни минуты и полностью использовать отведенный для разговора час, я пришла немного раньше. Ровно в девять Цирбель передал Инге Петри телефоны, заявив, что исчезает до десяти часов, и мы перешли в соседнюю комнату. Я сразу же попросила его рассказать биографию. Вот коротко и в основных чертах то, что он мне сообщил: родился в 1939 году, берлинец, в том же году отца призвали на военную службу, в 1941-м он пропал без вести, позднее объявлен убитым. «Я совсем не знал его, рос с сестрой, типичный ребенок военного времени. Мать по профессии цветочница, позднее работала в городском суде на Литтенштрассе, денег всегда было в обрез, но несмотря на это она прилично нас содержала, не могу пожаловаться». В 1953 году средняя школа им. Шин-

[1] И. В. Гёте. Собр. соч. в 10-ти томах. М., Художественная литература, 1979, т. 8, с. 29 (перевод С. Ошерова).

келя, естественно-математическое отделение, в 1957 году окончил ее. «Понятия не имел, какая специальность могла бы оказаться для меня подходящей и доступной, мать, естественно, тоже, я не знал, кем хочу быть»,— признался Цирбель. «Со мной было то же самое»,— сказала я. Мы обменялись некоторыми соображениями на эту тему и сидели уже как старые знакомые. Смеялись. Цирбель рассказывал, все более увлекаясь, берлинский акцент его заметно усилился. «Как я стал строителем? Случайно. С математикой дело у меня обстояло хорошо, но с черчением не ладилось. «Инженер из вас не выйдет»,— говорил учитель математики. В инженерную школу принимали рабочих, имевших какую-либо специальность. Пошел работать на строительство подземных сооружений, естественно, тоже не имея об этом никакого понятия, приобрел квалификацию строителя колодцев. Вкалывал два года, а тогда еще все делалось вручную, боже мой! А я был таким хилым и маленьким. Зато от тяжелой работы немного возмужал. Конечно, лучше было бы учиться в Дрездене. Но я был из семьи служащих — меня и сейчас злит такое разделение,— а это значило: сто двадцать пять марок стипендии на все расходы — жилье, еду, одежду и прочее, как хочешь, так и живи! Из дома помощи нечего было ждать, а с тех пор как мать снова вышла замуж — и подавно, короче говоря, учиться в Дрездене было делом нереальным. Итак, инженерно-строительная школа в Берлине. Три года учебы. Из тридцати шести студентов закончили восемнадцать. Подрабатывал, давая уроки, чтобы иметь самое необходимое. Специализация — комплексные инженерные сооружения. Это мне очень скоро пригодилось».

5

Слушая Цирбеля, я упорно вспоминала отрывок из «Вильгельма Мейстера»: «Человеку, едва вступающему в жизнь, хорошо быть о себе высокого мнения, рассчитывать на приобретение всяческих благ и полагать, что его стремлениям нет преград; но, достигнув определенной степени развития, он много выиграет, если научится растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом. Лишь тут ему дано познать себя самого, ибо только в действии можем мы по-настоящему сравнивать себя с другими» [1].

То, что профессиональное развитие Цирбеля шло в том направлении, какое описывается во второй части отрывка, казалось мне несомненным. Но почему так получилось?

Я пыталась осмыслить, в каком направлении шло формирование его личности, какие задатки, черты характера, жизненные условия могли определить профессиональную судьбу этого «типичного ребенка военного времени».

«Когда я учился в школе, почти все свободное время проводил на улице,— продолжал Цирбель. — Гаудиштрассе, Кантианштрассе, Пренцлауэрберг. Любой свободный пятачок мостовой мог служить нам местом игр. Я давно увлекаюсь спортом. В двенадцать лет хотел вступить в футбольную секцию, но меня отослали домой. Так ни разу и не поставили играть со своими одногодками. Все отшучивались: съешь, мол, еще пару бутербродов. Может быть, это оставило неприятный осадок, так же как и замечание учителя математики о моих способностях к черчению. Если ты ростом чуть выше таксы, приходится быть упорным. В пятнадцать с половиной лет я уже прилично играл в футбол. А в свободное от футбола время читал. Для равновесия. Карл Май, Ганс Доминик, Джон Книттель — то, что досталось от отца. Он был переплетчиком».

6

Цирбель избегает политических или философских сентенций. Он живет верой в дело, которому, не скупясь, отдает свои силы. И любовь его проявляется не в словах, а в том, что он точно в срок и без потерь материалов сдает строительные объекты.

Первое назначение после получения диплома инженера — зверинец Альфреда Брема и кафетерий. Нужен был прораб. «Попробуй»,— сказал мастер. Самто он потом заболел. «Извольте радоваться,— говорит Цирбель,— каково мне было без практических знаний, так сказать. Учился ладить с бригадой, добиваться признания, авторитета среди рабочих. После зоопарка перешел на ремонтные работы в Карлсхорсте, каждый месяц отвечал за тридцать—сорок объектов. Потом насосная станция в Иоганнистале. Сложнейший в техническом отношении объект. Тут многому можно было научиться в смысле профессионального мастерства. Через полгода шефа отозвали, и меня назначили начальником строительного участка. Все шло хорошо. Отмечен благодарностью за активную работу. В 1967 году отвечал за строительный комплекс из тридцати трех сооружений в Рансдорфе, стоимостью в восемнадцать миллионов марок. Это значило подготовить и осуществить строительство, самому заключить все договора и прочее. В разгаре работ отозвали в центр города на строительство отеля «Берлин» главным подрядчиком. Тут еще подучился. Дважды выносили благодарность за активную работу. Потом теплоцентраль, старший прораб. Потом Зал Вернера Зееленбиндера для VIII съезда партии. Заказчик: ЦК СЕПГ. С 1971 по 1973 год — в Оргкомитете X Всемирного фестиваля моло-

[1] И. В. Гёте. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 7, с. 405 (перевод Н. Касаткиной).

дежи, заместитель начальника отдела строительства. Тогда же предложили работать в министерстве. Но я отказался. Министерство не для меня. Лучше быть первым на маленьком объекте, чем вторым на большом. И вот, наконец, Дворец Республики. Мне необходимо ежедневное общение с людьми, которые работают над чем-то вполне определенным, зримым, измеримым. Я должен гореть, спорить, сплачивать во имя дела разные темпераменты, взгляды, переживать вместе с людьми за дело, я должен чувствовать всю полноту ответственности и власти, естественно. Мне необходимо наслаждение победой. Я очень честолюбив».

7

«Я не очень честолюбива»,— сказала Инга Петри в беседе со мной. Сначала она была против того, чтобы я написала заодно и ее портрет. Привела мне массу доказательств. Одно из них: Цирбель намного ярче.

Я спросила Ингу Петри (в то время как в ушах еще звучали слова Цирбеля о честолюбии и власти): лишена ли она честолюбия вообще или только пытается подавлять его в себе? «О!»— сказала Инга Петри и улыбнулась, обнажив идеальные зубы. И с лица ее исчезла кротость. Это произвело на меня неожиданное впечатление. Что это? Прием? Или естественный жест? И что за этим скрывается? Яркая внешность женщины — едва ли самое главное условие для оценки ее красоты. (Хотя довольно редко выпадает счастье видеть такие красивые глаза, длинные ресницы, излом бровей, как у Инги Петри, и все это натуральное, свое, не приукрашенное косметикой.) Гораздо важнее то, что скрыто от первого взгляда и что составляет неповторимость и обаяние личности. Я пыталась проникнуть за барьер яркой внешности Инги Петри. Ее движения, жесты казались мне естественными, ничего искусственного, наигранного, за чем угадывалось бы желание что-то скрыть от постороннего. Но это «О!» в ответ на мой вопрос и то, как доверительно она придвинулась ко мне, прежде чем я услышала признание в том, что женщина может дать волю честолюбию в определенных границах, сообразуясь с семейными обстоятельствами и прочими моментами... Я сделала вид, что ничего не понимаю.

Свою биографию Инга Петри рассказывала неохотно, мне приходилось вытягивать из нее каждое слово. Вот в основном то, что я узнала: год рождения 1934-й, отец — банковский служащий, мать — домохозяйка. Родители развелись. Инге Петри пришлось уйти из десятого класса. Работала в Министерстве финансов секретаршей. Работа казалась скучной. В двадцать один год вышла замуж. Муж — строитель. После рождения дочери оставила работу, занималась на вечерних общеобразовательных курсах, наверстывая упущенное. Потом училась на штукатура в молодежной бригаде. «Мой муж тогда был очень внимателен ко мне, подбадривал, обещал помогать и прочее, но на практике это всегда выглядит несколько иначе». (Снова та же улыбка.) Вот уже шесть лет Инга Петри работает на строительных объектах Берлина, сначала помощником прораба, теперь — прорабом. Первый объект, за который лично отвечала,— детский комбинат. После успешного завершения — Дом берлинских издательств. А с декабря 1973 года — на строительстве Дворца.

«Как вам нравится работа здесь?» — спросила я. «Здесь хорошо. Хорошая организация и все остальное, но круг моих обязанностей еще не совсем очерчен, скоро я буду точно знать, чем конкретно должна заниматься и за что лично нести ответственность».— «Что же лучше — быть первым на маленьком объекте или вторым на большом?» — «Мне нравится работать в маленьком коллективе, с двумя-тремя людьми, которые понимают толк в деле».— «Вы с таким же удовольствием работали бы старшим прорабом, если бы захотели?» — «Нет,— ответила Инга Петри, не задумываясь.— Нет, даже если бы я была более квалифицированным специалистом. Это нереально. Я могу работать только в одну смену, трехсменный график, который включает субботу и воскресенье, мне не подходит — это то, что определяет границы моих возможностей. Для моего мужа я и без того уже слишком эмансипирована, он то и дело спрашивает, не могу ли я перейти на сокращенный рабочий день, часов на шесть, например. Сам-то он частенько задерживается, нередко работает и в субботу. Так что если и я буду реже появляться дома, то семья может разрушиться — это ясно. Женщина должна идти на уступки или...» И теперь, когда она улыбнулась, я поняла, что за улыбкой скрывается мудрое спокойствие, внутренняя независимость, жизненный опыт. И большая сила. Кто так умеет рассказывать о трудностях, не обнаруживая ни малейшего намека на озлобленность, должен быть способен на многое. Но оцениваются лишь измеримые достижения...

8

Только после разговора с Ингой Петри я вспомнила о нескольких вопросах к Цирбелю, которые подготовила и о которых забыла, увлекшись его рассказом. Задаю их после очередной планерки. Оказывается, он женат. Полтора года. Это второй брак. Жена на двенадцать лет моложе его и тоже инженер-строитель. Дети? Да, два сына от первого брака, восемь и одиннадцать лет. «Брак распался из-за моих повышенных требований,— объяснил Цирбель.— Жена была домохозяйкой и хотела ею остаться. Никаких интересов вне семьи у нее не было, увлеченности каким-нибудь делом, профессией — ведь тогда не приходится испытывать чувства одиночества или пустоты, которую нечем заполнить, тогда не изнываешь от ску-

ки в ожидании вечно занятого супруга». У него и теперь досуг невелик, но они с новой женой понимают друг друга. Ведь только тот, у кого мало времени, может по-настоящему ценить его. Свободное время, которое остается у обоих, они стараются использовать максимально. «Я не стремлюсь к более высокой должности,— чем выше должность, тем меньше свободного времени. А я — заядлый автотурист. И спорт мне нужен. Непременно. Для равновесия. Активный отдых. Играя в футбол, к примеру, я уже не думаю о бесконечных расчетах, о расстановке рабочей силы и обо всем, чем постоянно забита голова. Я играю в футбольном клубе «Форвертс», в команде запасников высшей лиги. Мой начальник, естественно, настоятельно просит, чтобы я бросил спорт. И учебу (кроме всего прочего я еще и учусь, заочно), чтобы я мог больше внимания уделять работе. Но я сказал «нет». Тогда он решил поговорить с моей женой, но я сказал: «Бессмысленно, ты только разозлишь ее». В 1972 году я начал учиться заочно в Техническом университете в Дрездене. Вот уже почти половину срока проучился. Если я теперь прерву учебу, то все будет потеряно. Естественно, сейчас это все равно, кто я — инженер со средним специальным образованием или с высшим. Авторитет, зарплата — все есть... Но потом, если положение изменится... Ну и, конечно, меня несколько задевает то, что образование-то у меня все-таки среднее».

9

Разумеется, мне очень захотелось узнать, как живет старший прораб, и я напросилась к нему в гости. «Сколько на это нужно времени?— спросил Цирбель.— Полчаса, час?»

Мы договорились на четверг от семнадцати часов до семнадцати часов сорока пяти минут. Цирбель подробно описал, как добраться до его дома, полагая, вероятно, что я, как, очевидно, и он сам, люблю ходить пешком. Улица Коперника, между Франкфуртскими воротами и станцией «Варшауэр штрассе» городской железной дороги.

Мне не раз пришлось обращаться к старожилам, пока я добралась до весьма оригинального сооружения, окруженного старыми строениями. В одном из подъездов строения, примостившегося сбоку от большого дома, висит черная доска, на которой мелом начерчена схема всего здания и замысловатых проходов по нему через лестницы, дворы и закоулки. Двери напоминают вход в старый кабачок. Ветхая по виду лестничная клетка с огромным проемом и низкими перилами: родителей постоянно должен мучить страх, что их дети могут свалиться вниз. Я поднялась пешком на шестой этаж. Звоню. Слышу легкие, быстрые шаги. Дверь открывает невысокая, похожая на девочку, женщина с завивкой, как у взрослой: Ингрид Цирбель.

Однокомнатная квартира. Вешалка в крохотной прихожей переполнена одеждой — для шкафа здесь просто нет места. Тут же висит и длинное перлоновое платье фрау Цирбель

Мы входим в пятистенную комнату, которая являет собой одновременно жилье, кабинет, столовую и спальню. Комбинированная стенка частично закрывает три короткие стены. У четвертой — софа, кресла и кафельная печь. Пятая стена — дверь на балкон. Вид на новостройки и телевизионную башню. Балкон, крохотный, косо обрезанный, одним словом, столь же неудобный, как и вся квартира, приспособлен для хранения угля. Кухня, ванная, туалет соответствуют описанной выше архитектонике. Но обстановка в квартире продуманно-уютная, несмотря на неудобства. Поскольку Цирбель ни жалобами, ни какими бы то ни было намеками не подготовил меня, то я не могу скрыть своего удивления по поводу квартиры. Фрау Цирбель невозмутимо показывает мне место, где будет стоять детская кроватка,— на следующий год запланировано пополнение, семья без детей — не семья. В строительно-монтажном комбинате инженерных высотных сооружений квартиры распределяются строго по очереди: семьдесят процентов квартир получает группа А (рабочие), тридцать процентов — группа Б (служащие). Ее муж возмущается, что его причисляют к служащим, но скоро они надеются получить квартиру в рабочем жилищно-строительном кооперативе.

Пока Цирбеля не было, я воспользовалась случаем поговорить с его женой. Я узнала, что она училась на чертежницу еще до того, как поступила в инженерно-строительный институт. Интерес к профессии перешел к ней от отца, который работает плотником на той же стройке, где и ее муж. Сама Ингрид Цирбель—сотрудница бюро промышленного проектирования Берлина. Но ей больше по душе атмосфера строительной площадки, и она завидует мужу.

«Я вообще не люблю сидеть дома,— говорит Ингрид Цирбель,— люблю быть с людьми. Не представляю себе, как можно сидеть дома в выходные дни — так нетрудно с ума сойти. Я с детства привыкла к длительным туристским походам. И хотя у нас в бюро с некоторым осуждением относятся к тем, кто не возится на своем дачном участке — палатки не очень популярны,— меня это не волнует. Ничего нет прекраснее Мёлле!» — восторженно заключает она. (Имеется в виду озеро Мёлле в Грюнхайде). «Наверное, там и познакомились два завзятых туриста-палаточника?» — вставила я. «Нет,— возразила Ингрид,— мой муж увлекся туризмом после нашего знакомства. Вы знаете Мёлле? Идеальное место! И как хорошо, что там нет телевизора! Прекрас-

но иногда побыть без телевизора. Я считаю, что телевизор разобщает людей. Конечно, это не значит, что я вообще не смотрю телепередачи, но эта страсть... Этого я не понимаю».— «А спортивные передачи?» — «Мой муж смотрит практически все спортивные передачи». «Олимпиада будет для тебя испытанием»,— сказал он, когда мы познакомились. И в самом деле, я кормлю его прямо у телевизора. Он смотрит все футбольные матчи и вообще все спортивные соревнования, если у него под рукой есть телевизор. Я тоже увлекаюсь спортом, но активным — участвовала в соревнованиях по плаванию и настольному теннису, кроме того, люблю далеко не все виды спорта. Например, меня совсем не интересует легкая атлетика: видеть смысл жизни в одной десятой доле секунды — мне кажется, жизнь заслуживает большего. А моему мужу необходимо знать все достижения, рекорды — в каких бы формах они ни проявлялись. Эта страсть к футболу... и еще учеба заочно... Иногда мне бывает тяжело.

Пока он учится, я, естественно, не могу от него требовать никакой помощи, все делаю сама. Да и времени у меня больше. Вечером, надев наушники, слушаю какую-нибудь радиопьесу или читаю. Сейчас я читаю книги мужа: Джон Кнittель, Ганс Доминик...»

«А можете ли вы себе представить, чтобы мужчина так же подстраивался под женщину, как вы под своего мужа?» — «Нет,— отвечает Ингрид Цирбель.— Он сразу же сказал мне, как только мы познакомились: это нереально. Но я ведь тоже знаю, чего я хочу, и никогда бы не пошла замуж за человека, который может меньше меня, который, так сказать, уступает мне».

10

Вслед за этим признанием Ингрид Цирбель с нежностью встретила вошедшего мужа. Он извинился передо мной — они с женой приглашены на день рождения. Быстро сменил одну синтетику на другую и появился в белом свитере. Ингрид Цирбель тоже (соответственно) переоделась. Поскольку обязательные в данном случае цветы не были еще куплены, а магазины должны были вот-вот закрыться, я успела задать всего несколько вопросов.

Я: В какой квартире вы хотели бы жить?

И. Ц.: В новом доме, но не в очень высоком, лучше всего в пятиэтажном. В доме, где еще можно знать своих соседей. И чтобы с транспортом все было нормально, хотя мы уже собрались покупать «трабант». В первую очередь для семейных путешествий.

Я: Что вы делаете в свободное время зимой?

И. Ц.: Я с четырнадцати лет покупаю театральный абонемент. Я знаю практически весь репертуар. Так что мы ходим в театр, собственно говоря, во все берлинские театры.

Я: А одна вы ходите в театр, когда ваш муж занят на работе?

И. Ц.: Нет.

Я: Можете ли вы себе представить, что ваша жена — старший прораб?

П. Ц.: Нет.

Я: Вас смущает, что женщина может быть столь же честолюбива, как вы?

П. Ц.: Да. Женщина должна вносить равновесие. Она — успокаивающий полюс.

Я: Как должны чувствовать себя два специалиста-строителя, мужчина и женщина, если они, с их стремлением к совершенству, вынуждены жить в каком-то закутке?

Супруги Цирбель смотрят друг на друга и разражаются смехом. Меня восхищает их скромность.

Я: Есть ли в нашей современной литературе книги, которые вам особенно нравятся?

П. Ц.: Когда я прихожу домой, я уже полностью выжат. У меня нет сил сидеть над хорошей книгой. В лучшем случае что-нибудь легкое, не особенно притязательное...

Я: Если бы вы еще раз в жизни могли выбрать — какая профессия могла бы вас привлечь?

П. Ц.: Моя. Только моя. Чуть-чуть больше спокойствия было бы, конечно, неплохо. Но сам характер работы, общение с людьми, возможность принимать ответственные решения, получать зримые результаты, не говоря уже о том ощущении, что ты всем нужен и твоя профессия тоже,— ведь это прекрасно. И все-таки должен оговориться: если бы я выполнял ту же работу по чужим приказам, я бы пришел в отчаяние.

Я: Что вам нравится в футболе — ведь это коллективный вид спорта?

П. Ц.: А то, что там играют на победу. И мне неважно, что я не первоклассный игрок.

По дороге домой мне вспомнилось одно высказывание Ярно из «Годов странствий Вильгельма Мейстера»: «Самое главное, чтобы человек до конца знал что-нибудь одно и делал это дело так, как никто в его ближайшем окружении» [1].

11

Мое недолгое общение с Петером Цирбелем, Ингрид Цирбель и Интой Петри поставило передо мной некоторые вопросы. Указало на некоторые назревшие проблемы. Найдется ли у нас время и возможность поговорить о них? Может быть, за кружкой пива в одном из двух пивных баров нового Дворца? Или после очередного прочтения «Вильгельма Мейстера», этой неисчерпаемо прекрасной и умной книги? Счастье добраться до ядра, найти себя — каждый ли из нас испытал его?

[1] И. В. Гёте. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8, с. 246 (перевод С. Ошерова).

Перевод с немецкого А. ГУГНИНА и Т. ХОЛОДОВОЙ

НОРМАН КАЗИНС

РЕЗЕРВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

В моей книге речь идет о серьезной болезни, которую я перенес в 1964 году. Я долго не решался браться за эту книгу, опасаясь возбудить ложные надежды у людей, пораженных тем же недугом... Однако в прессе, в том числе и в медицинской, время от времени упоминалась история моей болезни, я стал получать письма: меня спрашивали, правда ли, что с помощью «смехотерапии» мне удалось побороть неизлечимый, по мнению врачей, недуг, превращающий человека в калеку. В конце концов я решил, что будет небесполезно более детально изложить эту историю...

В августе 1964 года, возвращаясь домой на самолете из зарубежной поездки, я почувствовал недомогание. Меня слегка знобило, во всем теле появилась боль; ощущение это быстро нарастало. Через неделю мне стало трудно поворачивать шею, шевелить руками, ногами, пальцами. РОЭ поднялось до 80 мм.

Из всех диагностических исследований РОЭ для врача — одно из самых полезных. Анализ этот удивительно прост. Скорость, с которой эритроциты оседают в стеклянной трубке, как правило, прямо пропорциональна остроте воспалительного процесса или инфекции. При обычных заболеваниях, таких, например, как грипп, РОЭ может повышаться до 30 или даже 40 мм, однако, когда оно превышает 60—70, врачу ясно, что он имеет дело с серьезным заболеванием. Меня уложили в больницу, когда РОЭ достигло 80, через неделю оно подскочило до 115 — такая цифра обычно считается признаком критического состояния.

Делали мне и другие анализы, некоторые из них, как мне кажется, демонстрировали скорее технические возможности клиники, чем тревогу за состояние пациента.

Я был просто ошеломлен, когда в один и тот же день четыре лаборанта из четырех разных отделений брали у меня довольно большими порциями кровь для анализов. Тот факт, что в больнице не потрудились принять меры, чтобы однократно провести эту процедуру, я объяснял не чем иным, как безответственностью. Вряд ли такое оказалось бы допустимым даже для здорового человека. Когда на следующий день лабо-

© W. W. Norton and Co, Inc., 1979.

НОРМАН КАЗИНС — NORMAN COUSINS (род. в 1915 г.). Американский писатель, публицист, ученый, общественный деятель. Автор одиннадцати книг. Сопредседатель и участник Дартмутских встреч. С 1940 г. главный редактор журнала «Сатердей ревью», в настоящее время — директор Совета редакторов этого журнала; профессор. ведет научно-исследовательскую и педагогическую работу в медицинском колледже Калифорнийского университета. За плодотворную литературную и общественную деятельность удостоен многочисленных национальных наград и премий.

Сопредседатель двусторонних встреч советских и американских писателей, которые, начиная с 1977 г., ежегодно проводились в СССР и США.

Книга «Анатомия болезни. Глазами пациента», фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей, вышла в США в 1979 г. («Anatomy of an Illness. As Perceived by the Patient». New York—London, W. W. Norton & Company).

ранты явились вновь, чтобы наполнить свои пробирки, я отправил их обратно и попросил повесить на двери моей палаты уведомление о том, что отныне кровь я буду давать для всех лабораторий однократно — не чаще, чем раз в три дня.

Окружающая обстановка вскоре привела меня к убеждению, что больница — не место для серьезно больного человека. Поразительное отсутствие внимания к элементарным требованиям санитарии, быстрота, с которой стафилококки и другие болезнетворные микробы распространялись по всей больнице, чрезмерное, порой не вызванное необходимостью, обращение к рентгеновской аппаратуре, массированное — без разбора — применение транквилизаторов и сильных болеутоляющих средств, скорее для удобства больничного персонала, чем в лечебных целях, неукоснительность, с которой больничный распорядок дня ставится выше потребностей пациента в покое,— таковы, на мой взгляд, лишь некоторые из серьезных недостатков современной больницы.

Но, пожалуй, самым серьезным недостатком была организация питания пациентов. И дело не только в том, что пищевой рацион больных был плохо сбалансирован; более опасным, на мой взгляд, являлось ничем не оправданное включение в рацион ненатуральных продуктов, содержащих консерванты или вредные красители. Белый хлеб с химическими примесями, предохраняющими от зачерствения, из искусственно отбеленной муки, овощи, как правило, вываренные настолько, что лишались своей питательной ценности. Не случайно конференция по проблемам пищевых продуктов, питания и здравоохранения, проводившаяся Белым домом в 1969 году, пришла к печальному выводу, что медицинские факультеты допускают огромную ошибку, уделяя столь незначительное внимание науке о питании.

Мой лечащий врач не отвергал мою критику больничных порядков, к счастью, он не был лишен способности поставить себя на место пациента. Поддержал доктор Уильям Хитциг и меры, принятые мною для защиты от набегов кровожадных лаборантов.

На протяжении более двадцати лет мы были с ним близкими друзьями; он знал, что вопросы медицины меня глубоко интересуют. Мы часто обсуждали с ним интересные статьи, появлявшиеся в специальных медицинских журналах... О моей болезни он говорил со мной вполне откровенно и, резюмируя заключения специалистов, которых привлекал для консультации, сказал, что по поводу окончательного диагноза у них нет единого мнения. Однако все сходились на том, что речь идет о серьезном коллагенозе — болезни соединительной ткани: сюда относятся артриты, артрозы, ревматические недуги. (Коллаген — это волокнистое вещество, связывающее клетки между собой.)

Иначе говоря, я расклеивался в буквальном смысле слова. Было трудно шевелить руками, ногами и даже поворачиваться на постели. На моем теле под кожей появились плотные узелки, что указывало на органическое заболевание. Даже в самый спокойный период болезни я почти не мог разомкнуть челюсти...

Доктор Хитциг пригласил специалистов из нью-йоркской клиники Говарда Раска. Подтвердив общее заключение, они поставили окончательный диагноз: анкилозирующий спондилит — процесс разрушения соединительной ткани позвоночника.

Я спросил доктора Хитцига, каковы мои шансы на полное выздоровление. Он честно ответил, что некий специалист оценил их в соотношении один к пятистам. Тот же специалист добавил, что в его практике не было случая выздоровления подобного больного.

Все это давало достаточно пищи для размышлений. До сей поры я был склонен полностью предоставить медицине заботу о своем излечении, а теперь понял, что необходимо подключить и собственные ресурсы... Если я хочу оказаться тем самым одним из пятисот — значит, я не имею права пребывать в роли пассивного наблюдателя.

Я вспомнил, как лет десять назад я познакомился с классическим трудом Ганса Селье «Стрессы и жизнь». С удивительной ясностью автор продемонстрировал, что эмоциональное перенапряжение, срыв — например, глубокое и резкое разочарование или подавленный гнев — могут привести к истощению надпочечников. Он подробно проанализировал пагубное воздействие отрицательных эмоций на химические процессы, происходящие в организме.

Неизбежно возникал вопрос: а как насчет положительных эмоций? Если отрицательные вызывают в организме пагубные химические изменения, не окажутся ли положительные эмоции способными приводить к благотворным химическим сдвигам? Не таят ли любовь, надежда, вера, радость, смех, уверенность в собственных силах, воля к жизни своего рода терапевтический потенциал?

Разумеется, привести в действие механизм положительных эмоций — далеко не так просто, как открыть кран умывальника. Тем не менее даже некоторый контроль над своими эмоциями мог дать благотворный физиологический эффект. Подавить тревогу, с большей уверенностью смотреть в будущее — одно это могло как-то помочь.

И я принялся мысленно разрабатывать систему поисков оздоровительных эмоций, намереваясь обсудить все это с моим врачом. Для проведения задуманного эксперимента требовались два предварительных условия. Первое касалось лекарств. Если они хоть в какой-то мере токсичны, вряд ли из этой затеи могло что-нибудь получиться. Второе условие относилось к самой больнице: я твердо знал, что должен найти место, более располагающее к надеждам на лучшее будущее.

Доктор Хитциг в полной мере оценил значение моего жизнеутверждающего настроения. Чрезвычайно важно, чтобы я сохранял веру в свой план, считал он. В моем излечении он был заинтересован не меньше, чем я сам; наше активное сотрудничество в достижении этой цели он также считал чрезвычайно важным.

Приготовления к переезду из больницы еще не закончились, а мы уже приступили к осуществлению своего замысла — извлечению ресурсов.

Надеяться, любить, верить — все это было более или менее реально и осуществимо. Но как быть с чувством юмора? До смеха ли, когда лежишь на спине и каждый твой сустав, каждый позвонок причиняют острую боль? Программу необходимо было разработать основательно. Я решил, что начинать, пожалуй, следует с кинокомедий. Аллен Фант, продюсер комической телевизионной серии «Скрытой камерой», прислал мне кинопроектор и лучшие отрывки из этой знаменитой серии. Медсестру обучили обращению с кинопроектором. Средство оказалось целебным. С великой радостью я обнаружил, что десять минут «утробного смеха» оказывают обезболивающий эффект, гарантируя по меньшей мере два часа спокойного сна без болей. Когда это целительное действие кончалось, мы снова включали проектор и нередко добивались еще нескольких часов спокойного сна.

Иногда сестра читала мне вслух какую-нибудь юмористическую книгу — целая груда их лежала на тумбочке. Особенно полезными оказались «Сокровища американского юмора» Катарины Уайт и «Посмеемся от души» Макса Истмена.

Можно ли дать научное объяснение тому, что смех, равно как и многие другие положительные эмоции, благотворно влияет на химические процессы в организме? Если это так, то вполне вероятно, по крайней мере есть основания теоретически предположить, что они усилят и способность организма бороться с воспалительными процессами. Для проверки мы брали кровь на РОЭ непосредственно перед «процедурой смеха» и несколько часов спустя. Всякий раз показатели снижались по меньшей мере на пять миллиметров. Само по себе снижение было незначительным, но неуклонным! Меня сильно подбодрило открытие, что древняя теория, объявлявшая смех действенным лекарством, имеет физиологическое обоснование.

Правда, в больничной обстановке у этих процедур было и отрицательное побочное действие — нарушение покоя окружающих. Впрочем, это продолжалось недолго — все было готово для переезда в гостиницу.

С чувством большого удовлетворения я обнаружил дополнительное преимущество: номер в гостинице обходился мне примерно в три раза дешевле, чем пребывание в больнице. Главные же преимущества были просто неоценимы: никто не будил меня по утрам для умывания, приема пищи и лекарств, для смены постельного белья, для анализов или для демонстрации студентам-медикам. Я упивался ощущением безмятежного покоя, что — я в этом не сомневался — будет способствовать улучшению общего состояния...

(Одновременно проводился курс лечения повышенными дозами витамина С.)

Редко мне приходилось испытывать такое ощущение восторга: аскорбиновая кислота «работала» так же, как и смех! Совместно они оказывали могучее воздействие на «яд», разрушавший соединительную ткань. Температура понижалась, пульс успокаивался... «Смехотерапия» проводилась с неукоснительной интенсивностью. Я почти перестал принимать лекарства, в том числе и снотворные. Сон, благословенный естественный сон без боли, длился все дольше и дольше.

На исходе восьмого дня я мог безболезненно шевелить большими пальцами рук. К этому времени показатели РОЭ снизились до 80 мм и продолжали быстро падать. Мне казалось, что узелки на шее и на тыльной стороне ладони начинают уменьшаться. Я твердо верил в выздоровление. Я уже мог двигаться, и ощущение это было невыразимо прекрасным...

Ошибочно при этом было бы полагать, будто болезнь сдалась в одночасье. Многие месяцы мне не удавалось поднять руку, чтобы достать книгу с высокой полки. Когда я садился за инструмент, пальцы совсем не слушались. Шея сохраняла подвижность лишь до определенного предела, колени подгибались, и нередко мне приходилось прибегать к помощи металлических наколенников.

Тем не менее я настолько оправился, что смог вернуться к исполнению своих служебных обязанностей в журнале «Сатердей ревью», и одно это уже было чудом из чудес.

Выздоровел ли я окончательно? Год за годом подвижность суставов продолжала улучшаться. Боли я не ощущал нигде, кроме плеча и колен. Можно было совсем отказаться от металлических наколенников. Теперь, отбивая теннисный мяч или ударяя по шару во время игры в гольф, я уже не чувствовал резких уколов в запястьях, как было еще совсем недавно.

Я мог ездить верхом, надежно держать фотоаппарат во время съемки и вновь пытался осуществить свою честолюбивую мечту — сыграть Токкату и Фугу до минор Баха, хотя работа над ней за инструментом продвигалась тяжелее и медленнее, чем хотелось бы. Подвижность шеи стала той же, что и до болезни, хотя специалисты все еще считали, что изменения необратимы и мне придется свыкнуться с тем, что голову я смогу поворачивать лишь на четверть...

Какие выводы я делаю из своего опыта? Прежде всего, что воля к жизни — не теоретическая абстракция, а физиологический фактор терапевтического значения. Во-вторых, что мне удивительно повезло: я лечился у врача, который понимает, что его важнейшая задача — всячески активизировать ресурсы организма и волю к жизни своего пациента, чтобы победить болезнь. Он был достаточно мудр, чтобы сознавать, что искусство исцеления — область, изученная далеко не окончательно.

Меня не раз спрашивали, как я отнесся к заключению специалистов, признавших мою болезнь прогрессирующей и неизлечимой. Ответ прост. Я не принял их приговор и потому не оказался в капкане страха, депрессии и паники, которые нередко сопутствуют заболеваниям, предположительно признанным неисцелимыми.

Не следует при этом думать, что я недооценивал серьезность своего положения и, тем более, что во время болезни пребывал в состоянии некой эйфории. Я был не в состоянии пошевелиться — казалось, более

серьезных оснований признать, что прогнозы специалистов имеют под собой реальную почву, не требовалось. Но в глубине души я все же верил в свой шанс и лелеял надежду вырвать его...

В книге «Сила духа» Адам Смит рассказывает, что он анализировал случай моего выздоровления со знакомыми врачами, интересуясь их точкой зрения — каким образом комбинация «смехотерапии» и аскорбиновой кислоты смогла оказаться столь могучим лечебным средством. По их мнению, дело здесь было не в этих факторах — скорее всего, я выздоровел бы и без них.

Не стану спорить. Скажу только, что во время болезни специалисты придерживались иного мнения. Двое-трое врачей, обдумывая вопрос Смита, предположили, что мне просто необыкновенно повезло — я выиграл; плацебо [1] оказалось моим надежным союзником.

Эта гипотеза нисколько меня не обескураживает. Многие видные авторитеты в области медицины, вроде Парацельса, Холмса и Ослера, высказывали мысль, что история врачевания в значительной степени представляет собой историю воздействия плацебо...

До последнего времени медицинская литература о плацебо была довольно скупой, однако минувшие два десятилетия ознаменованы многократным обращением к этой теме... К примеру, я с большим интересом прочел статью об эксперименте доктора Томаса Чалмерса, поставленном в одном из медицинских центров Нью-Йорка для проверки теории, утверждающей, что аскорбиновая кислота предупреждает простуду. Лица, участвовавшие в эксперименте, были разделены на две группы. В этой статье далее говорилось: «Те, кто получал плацебо, считая, что получает аскорбиновую кислоту, реже страдали от простуды, чем те, кто получал аскорбиновую кислоту и считал, будто получает плацебо».

Думаю, что в конечном счете речь идет о роли феномена «воля к жизни». В 1972 году я посетил в Бухаресте клинику Анны Аслан — одного из ведущих румынских эндокринологов. Как выяснилось, она убеждена в том, что между могучей волей к жизни и химическими процессами, протекающими в мозгу, существует прямая связь. По ее мнению, творчество — одно из проявлений воли к жизни — стимулирует важнейшие мозговые импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют гипофиз, деятельность шишковидной железы и эндокринную систему в целом. Не играет ли плацебо ключевую роль в этом процессе? Не заслуживает ли вся эта область серьезных систематизированных исследований?

Я полагаю, главное, чего удалось добиться моему врачу на пути к победе над моей болезнью,— это поддержать во мне уверенность, что в этом сражении я уважаемый, равноправный партнер...

И еще я научился тому, что никогда не следует недооценивать способность человеческого духа и тела восстанавливаться — даже когда надежды как будто нет. Сила жизни, возможно, пока еще менее всего понята людьми...

После того как первая глава моей книги была опубликована в журнале «Нью-Инглэнд джорнэл оф медисин», я получил около трех тысяч писем от врачей более чем из десяти стран. Они не только не возмущались вторжением профана в проблемы диагностики и терапии, но, напротив, всемерно поддерживали идею союза пациента с врачом.

Одну из основных задач врача авторы писем видели в том, чтобы он с максимальной полнотой использовал способность пациента мобилизовать все силы своего духа и тела для борьбы с недугом...

Впервые мне пришлось столкнуться с неутешительным медицинским диагнозом в десятилетнем возрасте, когда меня отправили в туберкулезный санаторий. Я рос худым и хилым ребенком, вполне логично было заподозрить во мне жертву какого-то серьезного заболевания. Как выяснилось впоследствии, врачи ошибочно приняли естественные обызвествления в легких за следы туберкулеза — в ту пору рентген еще не позволял надежно ставить диагнозы в сложных случаях. Так или иначе, полгода мне пришлось провести в туберкулезном санатории.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, особенно любопытным мне представляется явное разделение больных детей в санатории на две группы — тех, кто был уверен, что справится с болезнью и вернется к нормальной жизни, и тех, кто смирился с мыслью, что будет болеть очень долго, а может, и вообще никогда не поправится.

Мы, оптимисты, быстро сближались, находили интересные занятия и мало общались с теми, кто ожидал самого худшего. Каждого новичка мы спешили перетянуть в свой лагерь прежде, чем за него возьмется команда пессимистов.

Я не мог не обратить внимания на то, что среди ребят нашей группы процент тех, кого выписывали как выздоровевших, был значительно выше, чем в другой группе. Уже в десятилетнем возрасте я был склонен к философским обобщениям и осознал значение силы духа в преодолении болезни.

К семнадцати годам от моей хилости не осталось и следа. Я стал активно заниматься спортом и, год за годом, закаляясь, набирал силу. Любовь к спорту я сохранил на всю жизнь.

Рассказывая об этом эпизоде, я отнюдь не призываю к тому, чтобы люди, страдающие серьезными болезнями, поступали наперекор советам лечащих врачей. Сам я все делал с одобрения доктора Хитцига. Кроме того, определенные факторы, способствовавшие моему выздоровлению, в других случаях могли бы оказаться неэффективными.

Поколебалось ли мое уважение к медицине в результате пережитого? Тысячи писем, которые я получил от врачей, полностью опровергли утверждение, будто врачи, как правило, недооценивают роль психологических, нравственных, духовных факторов в процессе выздоровления. Большин-

[1] Плацебо (лат., буквально — понравлюсь) — нейтральное вещество, не обладающее специфическими лечебными свойствами. В ряде случаев применяется как лекарство для достижения психологического эффекта. *(Прим. перев.)*

ство признает, что медицина — не только наука, но и искусство и что самое главное, чему можно научиться или научить в медицине — это способ, с помощью которого человеческий дух и тело в критической ситуации призывают на помощь все, даже самые глубинные резервы своего организма.

ТВОРЧЕСТВО И ДОЛГОЛЕТИЕ

Толчком для раздумий о творчестве и долголетии, об их взаимосвязи послужило для меня знакомство с двумя людьми — Пабло Казальсом и Альбертом Швейцером, в самом главном удивительно похожими друг на друга.

Впервые я встретился с ними, когда и тому и другому было более восьмидесяти лет. Оба были в полном расцвете творческих сил. Оба верно служили своему делу, представляющему интерес для других.

То, чему я научился у этих двух людей, оказало на меня огромное влияние, особенно во время моей болезни. Мне стало ясно, что высокая целеустремленность и воля к жизни представляют собой основу основ человеческого существования. Я пришел к убеждению, что эти качества — могущественная сила, доступная каждому.

Сначала несколько слов о Пабло Казальсе.

Впервые я встретился с ним в его доме в Пуэрто-Рико за несколько недель до его девяностолетия. Я был поражен распорядком дня этого человека. Он просыпался около восьми часов утра и с помощью своей очаровательной молодой жены Марты готовился к встрече с наступающим днем. Из-за многочисленных физических недугов ему было трудно одеваться самостоятельно. Видя, с каким трудом он передвигается, как держит руки, я решил, что у него ревматоидный артрит. Его затрудненное дыхание указывало на эмфизему легких. Он появился в гостиной, опираясь на руку Марты. Сильно сгорбленный. Голова наклонена вперед. Передвигаясь, он шаркал ногами. Руки распухшие.

Войдя в гостиную, Дон Пабло направился не к обеденному столу, а к роялю — это был его ежедневный ритуал. Медленно, с трудом он опустился на табурет перед инструментом и с явным усилием поднял над клавиатурой свои распухшие руки с искривленными пальцами.

Я не был подготовлен к чуду, которому предстояло свершиться. Его пальцы медленно разомкнулись и потянулись к клавиатуре — так почки растения тянутся к солнечному свету. Спина распрямилась. Дыхание, казалось, стало более свободным. И вот пальцы коснулись клавиш. Зазвучали первые такты «Хорошо темперированного клавира» Баха в удивительно проникновенном и сдержанном исполнении. Я забыл, что Дон Пабло еще до виолончели в совершенстве овладел несколькими музыкальными инструментами. Во время исполнения он тихонько напевал, а когда рояль умолк, сказал, что Бах обращался к нему вот сюда — и он приложил руку к сердцу.

Потом он погрузился в концерт Брамса; пальцы его, теперь уже гибкие и сильные, бегали по клавишам с поразительной быстротой. Все существо его словно слилось с музыкой; от скованности и неподвижности не осталось и следа; грациозные гибкие руки казались полностью исцеленными от артрита.

Окончив исполнение концерта Брамса, он самостоятельно поднялся из-за инструмента; теперь это был куда более распрямленный и высокий человек, чем тот, который вошел в комнату. Уверенным шагом он подошел к столу, завтракал с аппетитом, оживленно разговаривал, а после еды отправился на прогулку к морю.

Примерно через час он вернулся домой и до ленча занимался корреспонденцией. После ленча прилег немного вздремнуть. Когда он встал с постели, все вернулось снова — сутулая спина, шарканье, распухшие руки. В тот день к нему должна была приехать съемочная группа с телевидения. Ожидая их, Дон Пабло сказал, что был бы рад возможности каким-нибудь образом отменить этот визит; ему были не по силам напряженные съемки с бесконечными дублями и невыносимой жарой от яркого света юпитеров.

Марта, которой уже приходилось сталкиваться с такими настроениями, успокаивала Дона Пабло, уверяла, что эта встреча ободряюще подействует на него. Она напомнила, как ему понравились молодые люди, которые снимали его в прошлый раз — наверно, они приедут снова,— о прелестной молодой женщине-режиссере, руководившей звукозаписью.

Дон Пабло повеселел. «Да-да, конечно,— сказал он,— будет так приятно опять их увидеть».

Как и утром, он вытянул перед собой руки и разомкнул пальцы. Спина распрямилась, он поднялся и подошел к виолончели. Раздались звуки музыки. Повинуясь мозгу, требующему строгой гармонии, слитности движения и музыкальной интонации, руки сохраняли безупречную координацию. Любой виолончелист на тридцать лет моложе мог бы позавидовать столь совершенному владению инструментом.

В один и тот же день я дважды оказался свидетелем чуда. Человек, доживший почти до 90 лет, пораженный недугами старости, смог, пусть на время, забыть обо всех своих страданиях; он понимал, что перед ним — чрезвычайно важная цель. В том, как это у него получалось, не было никакой мистики — такое повторялось ежедневно. Творчество для Пабло Казальса было истинно целебным источником. Вряд ли какой-нибудь медицинский препарат мог оказаться более эффективным, чем флюиды, вызванные к жизни взаимодействием его духа и тела...

■

Физически Дон Пабло был слабого, почти хрупкого телосложения, но по силе духа и творческих возможностей это был гигант среди окружающих его людей. В общении он был обаятельным человеком, немедленно откликался на заботы и проблемы своих друзей и знакомых. Без суеты и лишних слов, искренне, от всего сердца. Он показал мне несколько рукописных сочинений Баха в подлинниках из своей частной кол-

лекции, заметив, что Бах ему ближе любого другого композитора.

Я нашел, что это лишь одна из многих особенностей, роднящих его со Швейцером.

«Мой добрый друг Альберт Швейцер так же, как и я, считает Баха величайшим композитором,— сказал Дон Пабло,— но Бах дорог нам по совершенно разным причинам. Швейцер воспринимает Баха в категориях сложнейшей архитектоники; он видит в нем непревзойденного мастера, исполина, вершину, господствующую в грандиозном здании музыки. Для меня Бах — великий романтик. Его музыка волнует меня, возвращает мне ощущение полноты жизни. Каждое утро, просыпаясь, я с нетерпением жду встречи с его музыкой. Как изумительно начинать день, исполняя Баха!»

Какое же произведение Баха Дону Пабло дороже всего?

«Самое близкое для меня сочинение написал не Бах, а Брамс,— сказал он,— я хочу показать вам рукописный оригинал этого сочинения...»

Он снял со стены один из самых драгоценных подлинников, находящихся в его коллекции,— оригинал Си-бемоль-мажорного квартета Брамса в застекленной раме.

«Интересно, как он попал ко мне,— сказал он.— Много лет назад я знал человека, возглавлявшего в Вене «Общество друзей музыки». Его звали Вильгельм Кукс. Однажды вечером, когда я находился в Вене — это было еще до начала войны,— он пригласил своих друзей, в том числе и меня, к себе на обед. По-моему, у него была лучшая в мире коллекция нотных рукописей в оригиналах. Он владел также замечательной коллекцией музыкальных инструментов, включая скрипки работы Страдивариуса и Гварнери. Это был богатый, очень богатый, но при этом простой и доступный человек.

Потом началась война. Вильгельм Кукс не собирался проводить остаток своих дней под властью нацистов и переехал в Швейцарию. К тому времени ему уже исполнилось девяносто лет. Мне очень хотелось выразить уважение моему старому другу. Возможность повидать этого человека, так много сделавшего для музыки, была для меня глубоко волнующим событием. Обнявшись, мы, кажется, оба расплакались. Потом я рассказал, как сильно беспокоила меня судьба его коллекции. Удалось ли ему уберечь ее от нацистов? Мой друг ответил, что оснований для беспокойства нет — ему удалось целиком спасти ее. Он вышел из комнаты и вскоре возвратился с несколькими нотными рукописями — среди них были камерные произведения Шуберта и Моцарта. Потом он положил передо мной оригинал Си-бемоль-мажорного квартета Брамса. Я не поверил своим глазам. Наверно, для каждого музыканта существует на свете музыка, обращенная к нему лично, музыка, которая, по его ощущению, затрагивает каждую клеточку его существа. Именно так я воспринимал Си-бемоль-мажорный квартет Брамса после первого же исполнения мною этого сочинения. И всегда считал его своим. Мистер Кукс понял, что видеть собственными глазами оригинал Си-бемоль-мажорного квартета Брамса было для меня чудом из чудес.

«Этот квартет принадлежит вам,— сказал мистер Кукс.— Буду счастлив, если вы примете этот подарок». И он вручил мне этот оригинал. В ту пору у меня не было возможности должным образом отблагодарить моего друга. Но я написал ему письмо с выражением глубочайшей гордости и радости, которые внес в мою жизнь его дар. Мистер Кукс ответил мне. Из его письма я узнал множество новых для меня подробностей об истории создания Си-бемоль-мажорного квартета. Особенно поразило одно совпадение. Оказывается, Брамс начал работу над своим квартетом за девять месяцев до моего рождения. Ровно через девять месяцев она была завершена. Мы появились на свет в один и тот же день, месяц и год».

Рассказывая эту историю, Дон Пабло словно заново переживал ее. Лицо его без глубоких морщин было настолько выразительным, что каждое сказанное им слово как бы подчеркивало его эмоции. Его лицо было исполнено такого драматизма, что казалось, оно отражало чувства и переживания героев Ибсена.

Я спросил Дона Пабло, есть ли другие музыкальные произведения, особенно для него ценные.

«Их много,— сказал он,— но ни одно не завладевало мной с такой силой и не выражало меня с такой полнотой, как Си-бемоль-мажорный квартет Брамса. Однако, просыпаясь по утрам, я всегда думаю только о Бахе. И мир для меня возрождается вновь. По утрам я с особой остротой ощущаю природу.

Но я должен сказать еще об одном произведении,— продолжал он.— Оно также имеет для меня особое значение. Покидая мир, я хотел бы слышать именно эту музыку. Прекрасная, захватывающая душу музыка — вторая часть квинтета Моцарта для кларнета».

Дон Пабло сел за рояль. Бледные руки с тонкими пальцами казались мне самыми удивительными на свете. В них была какая-то особенная, неповторимая мудрость и изящество. Он не просто играл, хотя трудно было представить себе иную возможность исполнения, а передавал самую сущность, душу музыки Моцарта.

Потом поднялся, попросил прощения за то, что большая часть нашей встречи оказалась посвященной музыке, а не обсуждению важных событий, происходящих в мире. Я сказал, что его игра и слова, на мой взгляд, имеют самое прямое отношение к главным событиям, происходящим в мире. Как выяснилось из последующей беседы, наши взгляды полностью совпадали: мы оба считали, что самая большая сложность проблемы сохранения мира на земле — это чувство беспомощности, которое испытывает каждый человек.

«Ответ на этот вопрос не так уж сложен,— сказал Дон Пабло,— человек может помочь миру, не только обращаясь к политике. В основе каждого из нас заложены порядочность и доброта. Если мы прислушаемся к себе и будем действовать в соответствии с ними — мы дадим жизни, миру то, в чем они нуждаются больше всего.

Это не так сложно, хотя и требует известной храбрости. Человек должен проявлять мужество, чтобы прислушиваться к своей доброте и действовать в соответствии с ней. Достанет ли у нас мужества оставаться самими собой? Вот в чем суть».

О благородстве, о доброте Дона Пабло все мы знали. Но он обладал и другими качествами — целеустремленностью, волей к жизни, верой, чувством юмора,— все это помогало ему бороться с недугами старости и оставаться виолончелистом и дирижером до конца своих дней, а дожил он почти до ста лет.

■

Самыми лучшими лекарствами от всех болезней Альберт Швейцер считал серьезную работу и доброе чувство юмора. Он заметил однажды, что недуги стремятся как можно скорее покидать его — организм оказывает им плохое гостеприимство.

Сущность натуры доктора Швейцера — целеустремленность и творчество. Его разносторонние таланты и интересы проявлялись в полной мере — с неукротимой страстью он стремился раскрыть до конца свои физические и интеллектуальные возможности. Его работу в больнице в Ламбарене можно назвать символом человеческой целеустремленности, на грани почти сверхъестественного. В течение нормального рабочего дня, даже когда ему было уже за девяносто, Швейцер по-прежнему выполнял все свои обязанности в клинике, выслушивал больных, плотничал в поте лица, перетаскивал тяжелые ящики с лекарствами, вел корреспонденцию (ежедневно приходило множество писем), уделял время работе над незавершенными рукописями, играл на рояле.

«Я не собираюсь умирать до тех пор, пока способен работать,— сказал он как-то своим коллегам.— Если работа мне по плечу — думать о смерти еще рано. Поэтому я буду жить долго-долго».

Что он и сделал — дожил до девяноста пяти лет.

Как и его друг Пабло Казальс, Альберт Швейцер ежедневно играл Баха. Его любимым сочинением Баха была Токката и Фуга до минор для органа. Но в Ламбарене органа не было. Там стояли только два старых-престарых рояля. Самый разбитый находился в рабочей столовой. Тропический климат, перенасыщенный влагой, изменил его звучание почти до неузнаваемости. От некоторых клавиш отлетела слоновая кость; остальные пожелтели и потрескались. Фетр на молоточках износился, и при игре инструмент извлекал резкие, дребезжащие звуки. Рояль этот очень давно не настраивали; а если бы и настроили — хватило бы ненадолго. Во время моего первого визита в больницу я зашел в столовую и сел за инструмент, но тут же отпрянул от него: искаженные звуки резали слух. Но самое удивительное заключалось в том, что каждый вечер во время трапезы Швейцер исполнял на нем гимны, и звучали они вполне пристойно.

Другой рояль, в более приличном состоянии, стоял в его бунгало, хотя инструмент этот вряд ли был достоин такого исполнителя, как всемирно известный Швейцер. Внизу к этому роялю была присоединена специальная подставка — некое подобие органной конструкции. Иногда в середине трудного пассажа приспособление это неожиданно отключалось, что вызывало страшное раздражение исполнителя. Однако это, даже столь несовершенное, приспособление заставляло исполнителя энергично нажимать на педали.

Однажды ночью, когда почти все керосиновые лампы были погашены, я направился к реке. Стояла душная ночь, мне не спалось. Из окон дома Швейцера доносились пассажи баховской Токкаты.

Подойдя к бунгало, я на несколько минут остановился под зарешеченным окном, сквозь которое была видна тускло освещенная комната и силуэт Швейцера, склоненного над роялем. Его сильные пальцы с безупречной точностью извлекали звуки баховской Токкаты, каждый звук имел собственную окраску и облик — свое наполнение, свою глубину, и вместе они сплетались в единую многоголосую гармонию.

Я слушал эту божественную, строгую музыку с чувством, какое вряд ли мог бы испытать в величайшем соборе мира. Жажда передать красоту музыкальной формы, безупречность композиции, стремление воскресить лучшее в своем прошлом, потребность в исповеди и катарсисе — все это жило в душе Швейцера и получало выражение в его исполнении.

Рояль умолк, а он все еще продолжал сидеть, не снимая рук с клавиатуры; прекрасная седая голова была наклонена вперед, словно он вслушивался в угасающие звуки. Иоганн Себастьян Бах помогал ему освободиться от напряжения и стрессов больничной обстановки со всеми ее повседневными заботами и хлопотами. Он был погружен в мир творчества, в атмосферу великолепия гармонии, которое всегда находил в музыке.

Музыка действовала на Швейцера так же, как и на Казальса — возрождала, обновляла, захватывала его. Он поднялся из-за рояля распрямленным. Музыка была для него лекарством.

Но не единственным. Еще был юмор.

Для Альберта Швейцера юмор являлся формой «тропической терапии»; с его помощью он боролся с влажностью и стрессами окружающей среды. Он пользовался юмором с таким артистизмом, словно это был музыкальный инструмент.

Молодым врачам и сестрам в больнице Швейцера жилось нелегко. Он понимал это и считал своим долгом поднимать их дух. Во время трапез, когда в столовой собирался весь персонал, у Швейцера всегда находилась на десерт какая-нибудь веселая история. Во время еды юмор, пожалуй, был основным блюдом. Поражало, сколь благотворно действовал сдержанный юмор Швейцера на его коллег. Как-то за едой, например, Швейцер сказал: «Насколько вам известно, в радиусе 75 миль от больницы имеются всего два автомобиля, и вот сегодня произошла автомо-

бильная катастрофа; водители отделались легкими ранениями, им оказана скорая помощь. Любителям автотранспорта не мешало бы проявить такое же внимание к пострадавшим автомашинам».

На следующий день за ужином он сообщил о том, что у курицы Эдны, живущей на больничной территории, появилось сразу шесть цыплят. «Я был крайне удивлен,— сказал он с самым серьезным видом.— Вот уж не замечал, что Эдна ждет прибавления семейства».

Как-то за обеденным столом после тяжелого рабочего дня Швейцер рассказал своим коллегам о визите в королевский дворец в Копенгагене. Несколько лет назад король пригласил его на обед. Подавали датские селедки. Швейцеру закуска эта была не по вкусу. Незаметно для окружающих он ловко вытащил селедку из тарелки и засунул ее в карман пиджака. На следующий день в местной газете, помещающей репортажи о жизни королевского дворца, появилось сообщение о визите врача из джунглей и о странных привычках, которые он приобрел в Африке. По сообщению газеты, доктор уничтожил селедку всю целиком — вместе с костями, головой, глазами и всем остальным.

Как я заметил, в тот вечер молодые врачи и сестры вышли из столовой в хорошем настроении; рассказ доктора Швейцера повысил их тонус не меньше, чем еда. Да и сам Швейцер, поначалу смертельно усталый, энергично поднялся из-за стола, готовый приняться за ожидающую его работу. Юмор в Ламбарене был жизненно необходимым видом питания.

■

В Библии сказано, что веселое сердце исцеляет. Трудно определить, какие именно изменения происходят в человеческом сознании и организме под влиянием юмора, но наличие такого влияния несомненно. Это с давних пор отмечали не только врачи, но также философы и ученые.

Все чаще и чаще в медицинской прессе публикуются статьи о тяжелых последствиях отрицательных эмоций; многие болезни, особенно рак, связывают с интенсивным воздействием на человека горя, озлобления или страха. Но нелепо предполагать, что эмоции чреваты лишь неблагоприятными последствиями, что они «бессмысленны».

Еще задолго до своего серьезного заболевания я был убежден в том, что творчество, воля к жизни, надежда, вера и любовь связаны с биохимическими процессами,— их роль в выздоровлении, хорошем самочувствии трудно переоценить. Положительные эмоции — источник жизни.

Последние научные исследования установили наличие в мозгу человека эндорфинов [1]; по своей молекулярной структуре и воздействию это вещество весьма близко к морфию. Оно является естественной анестезией, транквилизатором, который вырабатывает сам организм, оно помогает ему переносить боль. Еще полностью не выяснено, как активизируются эндорфины, как они попадают в ток крови. Неизвестно и то, какое влияние оказывают на них положительные эмоции. Но произведено уже достаточное количество исследований, подтверждающих, что люди, исполненные решимости побороть болезнь, легче переносят острую боль, чем мнительные пациенты.

Китайские ученые-медики утверждают, что успешное применение иглоукалывания вместо анестезии становится возможным благодаря тому, что введение игл в «меридианы» тела активизирует эндорфины.

При всех обстоятельствах человеческое сознание участвует в контроле над болью, а также играет главную роль в борьбе с болезнью. Достаточно вспомнить о феномене плацебо, чтобы признать, что человеческий мозг как на уровне сознания, так и подсознания может отдавать те или иные «приказы» организму. Указанный феномен обусловлен не только психическими, но и биохимическими процессами, происходящими в человеческом организме.

Я уже писал о возможности с помощью смеха излечить воспалительный процесс, происходивший в моих суставах, что было подтверждено продолжительным и устойчивым снижением РОЭ. Значит ли это, что смех стимулирует эндорфины? Интересный опыт в данной связи был проведен японским врачом в Токио. Он включил «смехотерапию» в процесс лечения туберкулезных больных. В отчете об этом опыте, к своему глубокому удовлетворению, этот врач засвидетельствовал, что смех оказывает благоприятное терапевтическое воздействие и способствует улучшению состояния его пациентов.

В ближайшем будущем будут поставлены другие, более широкого диапазона опыты и эксперименты. Мы получим возможность узнать гораздо больше, чем знаем теперь, о роли положительных эмоций, о творчестве, о воли к жизни.

Вскоре медицинские исследователи, возможно, откроют, что человеческий мозг запрограммирован самой природой на стимуляцию жизненных процессов, мобилизацию сил и возможностей организма в борьбе с болезнью и с болью. И когда это знание расширится и углубится, искусство и практика врачевания поднимутся на новую, более высокую ступень.

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

[1] Эндорфины (эндогенные морфины) — «убийцы боли».

К 110-ЛЕТИЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

28 марта 1871 года. Провозглашение Парижской Коммуны.

В. СЕДЫХ

ТВОРЕЦ ПРОЛЕТАРСКОГО ГИМНА

Меня познакомил с этой француженкой в аэропорту президент Общества «Франция — СССР» ныне покойный Ги Дессон. В тот день я провожал из Парижа в Москву на первомайские торжества группу распространителей «Юманите». С тем же самолетом улетали на праздники активисты Общества.

— Рад представить вам мадам Эжени Эккер,— сказал Ги Дессон, подводя меня к одной из делегаток — невысокой женщине с пышными серебристыми волосами.— Это внучка Эжена Потье, автора «Интернационала».

В ожидании посадки на самолет мы разговорились с моей новой знакомой. Она оказалась одной из победительниц конкурса, организованного Обществом совместно с «Радио-Люксембург». Тема конкурса расшифровывалась так: «Празднование 1 Мая в Москве в год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина — важное событие. По каким причинам вы хотели бы принять в нем участие?»

СЕДЫХ ВОЛЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский журналист-международник. В течение семи лет работал собственным корреспондентом «Правды» во Франции. Автор многих работ, посвященных истории и современным проблемам Франции, ее литературе и искусству, советско-французским отношениям, в том числе книг «Наследники Коммуны», «Три жизни», «Письма из Рамбуйе» (совместно с Ю. Жуковым) и др. Член президентского совета Общества «СССР—Франция», член президиума Советского комитета защиты мира.

В письме, направленном в адрес жюри, жительница небольшой деревушки департамента Тарн просто и искренне поведала о том, что давно хотела поехать в Советский Союз, где претворены в жизнь мечты ее деда.

Моя собеседница достала из сумки рукописи, документы, фотографии, которые она собиралась передать московским организациям. Среди них — рукопись стихотворения Потье «Слепой и глухой», датированная 1869 годом, фотографии видных деятелей французского рабочего движения...

Потом мы говорили о ее знаменитом деде, в честь которого, кстати сказать, назвали и внучку...

Эжен Потье родился 4 октября 1816 года в семье небогатого ремесленника, подростком стал работать в мастерской отца — она находилась в Сент-Антуанском предместье Парижа. С юных лет познал горькую долю пролетария: лишения, тяжкий труд, социальное бесправие — всю свою жизнь страдал «от постоянной нехватки хлеба и времени», стоит вспомнить родившиеся впоследствии строфы:

На фабрике сырой и грязной —
Удушье, в трауре окно.
Уныл мой труд однообразный,
Как белка, я верчусь давно[1].

Или из другого стихотворения — о судьбе Жана-бедняка:

В отрепьях, тощ — один костяк,—
Уже с отчаяньем не споря,
Упав, промолвил Жан-бедняк:
— Ты все еще не сыто, горе?

Еще подростком Эжен Потье серьезно увлекся поэзией. Много лет спустя в стихотворении «Биография» он так писал об этой страсти молодого подмастерья, которого друзья в шутку окрестили «По-по»:

Стихи просились на язык,
Сплетались в пляске хороводной...
Таков По-по, По-по-старик,
Таков По-по, певец народный!

Получив лишь начальное образование, способный и трудолюбивый паренек перечитал множество книг, они помогли ему стать образованным человеком. Много лет спустя в автобиографическом письме Полю Лафаргу автор «Интернационала» вспоминал о своих ранних поэтических опытах: уже в 14 лет, в бурные дни революции 1830 года, он сочинил свою первую песню «Да здравствует свобода!». Первый — на 38 страничках — сборник песен «Юная муза» молодой рабочий из Сент-Антуанского предместья посвятил знаменитому поэту-демократу Беранже, который, как Державин Пушкина, благословил своего наследника.

В молодости Эжену Потье пришлось сменить немало профессий. Он был рабочим-упаковщиком, надзирателем в интернате, продавцом бумаги, прежде чем стать разрисовщиком тканей. Этим делом он занимался долгие годы.

В тот период постепенно складывалось и коммунистическое мировоззрение поэта — труды Бабефа и его последователей помогли Потье стать на путь сознательной борьбы за интересы трудящихся. Символически изображая мир наживы и бесправия в образе старого дома, где роскошные квартиры занимали банкир, торговец-спекулянт, кокотка, рантье, а на холодном чердаке ютилась семья бедняка, поэт призывал:

Прогнивший дом,
Пора на слом,
Свалить его пора настала.

Это стихотворение Потье посвятил члену Коммуны З. Камелина.

Революцию 1848 года поэт воспринял с энтузиазмом. В стихотворении «Пропаганда песнями» он писал:

Меняет кожу вся планета —
Прочь, нищета и гнет!
С патронной сумкой на рассвете
Мы выступим в поход.

Вскоре, однако, Потье разочаровался в этой революции: ее плоды, как и раньше, доставались буржуазии. После государственного переворота, совершенного Луи Бонапартом 2 декабря 1851 года, поэт с возросшей энергией продолжал борьбу за свободу и социальную справедливость. По его инициативе был создан, в частности, профессиональный союз рабочих — разрисовщиков тканей, который впоследствии вступил во французскую организацию I Интернационала. Потом — участие в сражении против прусских войск, осаждавших Париж.

Горячо приветствовал поэт восстание парижских пролетариев, с первых же дней вступил в борьбу за утверждение новой власти. Избранный членом Центрального республиканского комитета 20 округов и Центрального Комитета национальной гвардии, Потье становится одним из инициаторов создания Федерации департаментских ассоциаций.

Подготовка к выборам Совета Коммуны. Его подпись стоит под воззванием парижских секций Интернационала, обнародованным 23 марта: «Рабочие! Мы научились страдать за наши эгалитарные принципы, мы не отступим теперь, когда можем помочь заложить первый камень нового социального здания... В воскресенье, 26 марта, мы в этом убеждены, народ Парижа сочтет долгом чести голосовать за Коммуну».

16 апреля в результате дополнительных выборов Эжена Потье избирают членом Коммуны от 2-го округа столицы. 20 апреля он присутствует на очередном заседании Коммуны в качестве заместителя председателя. В те же дни выполняет обязанности делегата Коммуны в мэрии 2-го округа столицы.

Примыкая к якобинско-бланкистскому большинству Коммуны, поэт выступает за

[1] Здесь и далее переводы стихов цитируются по сборникам: «Эжен Потье. Избранное». М., Художественная литература, 1950; «Эжен Потье. Песни, стихи, поэмы». М., Наука, 1966.

проведение решительных мер, направленных на укрепление и защиту революционной власти. 6 мая вместе с членом Коммуны Жоаннаром он вносит такой проект: «Принимая во внимание, что в период революции действует народный декрет самой высокой морали, а именно: «воры расстреливаются», Коммуна постановляет: все служащие, гражданские и военные, виновные во взяточничестве, немедленно предаются военному суду, и к ним тотчас применяется народный декрет».

14 мая Эжен Потье, О. Серрайе и ряд других членов Коммуны подписывают обращение к национальным гвардейцам 2-го округа Парижа, которые жаловались, что их не используют для обороны. В обращении говорилось: «Жалобы эти обоснованы, и особенно в переживаемый нами решительный момент равенство перед опасностью должно брать верх над всеми другими соображениями. В силу этого батальоны 2-го округа будут призваны к подлинно активным действиям, и им ни в чем не придется завидовать своим героическим братьям из других округов».

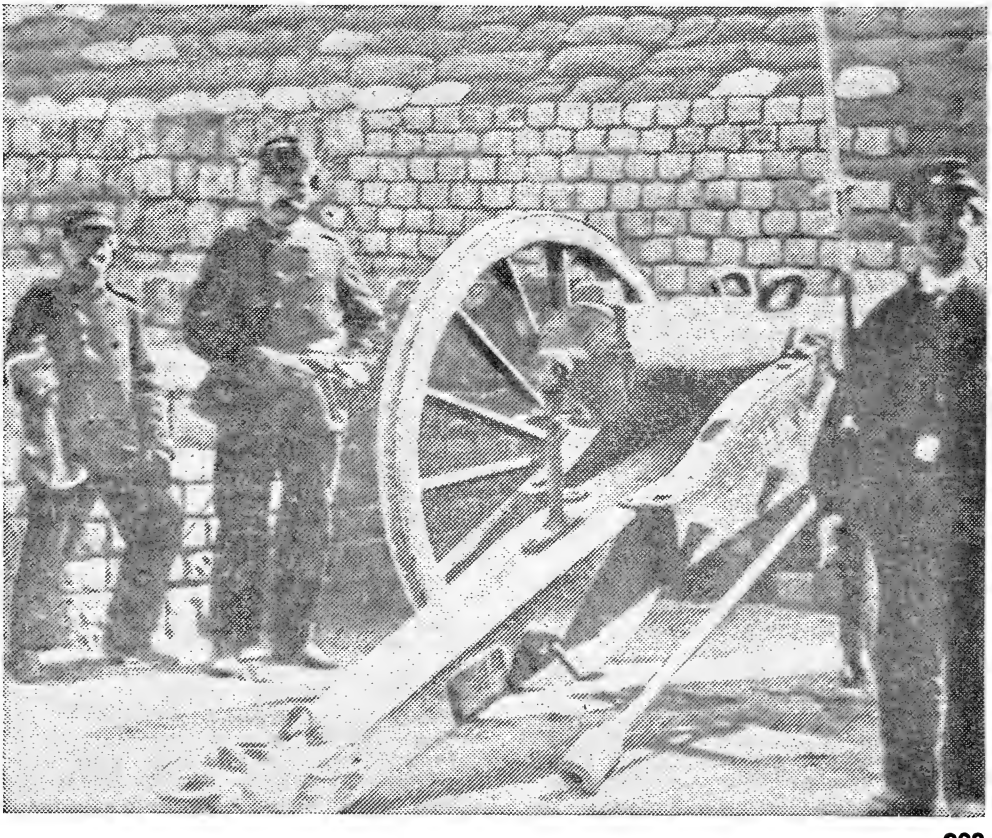
21 апреля Эжена Потье избирают членом комиссии общественных служб, в ведение которой входили почта, телеграф, транспорт.

Одновременно он становится одним из организаторов Федерации художников, созданной по инициативе члена Парижской Коммуны, крупнейшего художника-реалиста Гюстава Курбе. Этот выдающийся мастер воспринял идеи революции 1848 года, а в 1870 году демонстративно отказался от ордена Почетного легиона, пожалованного ему Луи Бонапартом. В период Коммуны живописец работал в комиссии просвещения, был делегатом Коммуны в мэрии 6-го округа Парижа. Но больше всего сил и энергии он отдавал Федерации художников.

По его предложению 14 апреля состоялось общее собрание, в котором приняло участие около 400 живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов, мастеров прикладного искусства. Доклад члена подготовительной комиссии Эжена Потье был положен в основу устава Федерации. 17 апреля состоялись выборы исполнительного органа Федерации. Эжен Потье был избран членом комитета вместе с Гюставом Курбе, Оноре Домье, Жаном Франсуа Милле, Камилем Коро, Эдуаром Мане и многими другими: сам по себе факт избрания прославленных мастеров культуры в эту организацию свидетельствовал о том, какое значение придавала Коммуна роли искусства в новом обществе.

Задачи этой организации лаконично сформулировал рабочий-скульптор Демэ: «Мы хотим сохранить духовные ценности прошлого для построения будущего». По поручению Коммуны Федерация содейство-

Канониры Коммуны.



вала приведению основных музеев Парижа в нормальное состояние, помогала открывать для публики картинные галереи, принимала меры для охраны памятников искусства. Большое внимание уделялось и проведению общественных праздников. И вся эта огромная, сложная работа проводилась в труднейших условиях вражеской блокады, под огнем версальцев в те недолгие, буквально считанные дни, отпущенные Коммуне историей!

Эжен Потье.

Эжен Потье, как и его товарищи по общей борьбе, самоотверженно сражался и трудился во имя создания нового, справедливого общества. «Я безоговорочно принял программу революции 18 марта: «Автономия Коммуны, освобождение трудящихся». Я верю, что на протяжении всего этого периода выполнял свой долг»,— вспоминал он спустя много лет.

Замечательный поэт и мужественный борец Коммуны был до конца верен ее идеалам. В трагические майские дни 1871 года, когда мэрия 2-го округа была захвачена версальцами, он отступил в 11-й округ, и бился на баррикадах плечом к плечу с Варленом, Делеклюзом, Ферре, Лефрансэ, Вайяном и другими героями. С некоторыми из них поэт виделся в последний раз...

Последние дни и часы на баррикадах Парижа... Полиция полагала, что поэт-бунтарь, как и многие его друзья, был расстрелян. Называли даже день и место казни: 25 мая, площадь Пети-Пер. Однако 55-летний революционер скрывался в одном из кварталов Монмартра.

Здесь, в глубоком подполье, в июне 1871 года и родились вдохновенные строки «Интернационала». Мужество, вера в грядущую победу пролетариата не оставляли певца революции даже в самые черные дни торжества реакции. «С социализмом навсегда покончено!» — вещал главарь версальцев «карлик» Тьер. В это самое время Эжен Потье провозглашал:

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!

За участие в Коммуне Эжен Потье был заочно приговорен к смертной казни. Перебравшись из Парижа в Бельгию, он затем переехал в Лондон, а оттуда — в США. Последовали долгие годы эмиграции, беспросветная нужда, тяжелый труд, но, как и раньше, он продолжал неустанную самоотверженную борьбу за торжество социалистических идеалов. Строфа из стихотворения «Рабочий Америки — рабочему Франции»:

Привет проблеме социальной!
Привет народам всей земли!
На путь интернациональный,
К единству действий мы пришли!

В пятую годовщину восстания 18 марта Э. Потье пишет в Нью-Йорке поэму «Парижская Коммуна»: «Коммуна юная! Ты вопреки клеветам блистаешь чище звезд...»

В 1880 году, после объявления амнистии, поэт возвращается на родину. Он беден, болен, стар, но не падает духом и по-прежнему верен делу всей своей жизни. Старый коммунар активно поддерживает создателей французской рабочей партии Жюля Геда и Поля Лафарга, приветствует каждое выступление трудящихся против власти капитала. В последние годы он пишет немало стихотворений, посвященных восстанию парижских пролетариев. Одно из них завершается вещими словами: «Коммуна не убита!»

Многие песни и стихи поэт прямо адресует французским революционерам и демократам. В 1885 году умирает бывший член Коммуны, известный писатель и журналист Жюль Валлес. Эжен Потье писал в те дни:

Париж проститься с ним пришел...
То был один из дней великих,
Когда порыв единый вел
Весь город наш тысячеликий.
Шли тысячи, неся цветы.
Шли хоронить того, кто смело
Стал депутатом жертв расстрела,
Стал кандидатом бедноты.

Другое произведение адресовано выдающемуся члену Коммуны Гюставу Флурансу. Сын известного академика, автор ряда научных трудов, этот одаренный ученый с юных лет посвятил себя революционному движению, близко знал К. Маркса и его семью, входил в состав I Интернационала. Член военной комиссии Коммуны, полковник, а затем генерал национальной гвардии, он во время неудавшегося похода отряда коммунаров на Версаль попал в плен и трагически погиб.

Своему стихотворению «Дон Кихот», написанному еще до Коммуны, Э. Потье предпослал впоследствии такое посвящение:

«Гюставу Флурансу, убитому»:

О, храбрый рыцарь, надо биться!
Должно все в мире измениться.
Бороться до конца — твой долг...

Глубоко волновал поэта и образ героини Парижской Коммуны Луизы Мишель. Учительница и литератор, эта неукротимого духа женщина еще до Коммуны принимала участие в революционном движении, а весной 1871 года бесстрашно сражалась против войск Тьера. В черные дни агонии

Коммуны версальцы арестовали мать известной революционерки. Узнав об этом, Луиза Мишель явилась во вражеское логово, настояла на освобождении своей матери, но сама была схвачена и по приговору военного суда сослана на Новую Каледонию. И в далекой ссылке, и во Франции после амнистии она продолжала борьбу, которую оборвала лишь смерть.

Эжен Потье посвятил Луизе Мишель стихотворение «Мадлена и Мария»:

Мы видим каждый день, Мадлена и Мария,
Как гибнут девушки, похожие на вас.
Я негодую, я кричу в сердца глухие:
Какой позор для нас! Какой позор для нас!

Немало ярких строф посвящено боевым товарищам поэта, чьи имена остались в истории рабочего движения. Ветерану этого движения, инженеру, врачу, публицисту Эдуару Вайяну, одному из руководителей социалистической партии Франции, Эжен Потье подарил одно из лучших своих творений «Коммуны след неизгладим»:

В те дни Коммуна грозовая
Мир словно громом потрясла.
Париж гордится, вспоминая
Ее великие дела.

Бессмертный «Интернационал» поэт посвятил Гюставу Лефрансэ. Этот учитель, боец революции 1848 года, стал впоследствии членом I Интернационала, входил в Федеральный совет его парижских секций. Член Центрального республиканского комитета 20 округов, он принял участие в восстании 31 октября 1870 года, а затем был избран членом Коммуны. Активно работал в Исполнительной комиссии, потом в комиссии труда, промышленности и обмена и в комиссии финансов. Заочно приговоренный к смертной казни, он выпустил за рубежом две книги: «Очерк коммунистического движения в Париже в 1871 г». и «Воспоминания революционера». Это были первые попытки обобщения деятельности Парижской Коммуны.

Пьер Дегейтер.

Эжен Потье скончался 6 ноября 1887 года. Пасмурным осенним днем у дома № 22 на улице Шартра, где в скромной квартирке провел он свои последние годы, собрались тысячи парижан. В траурной процессии вместе с вдовой и двумя сыновьями Эжена Потье шли Жюль Гед, Поль Лафарг, Эдуар Вайян, Луиза Мишель, Шарль Лонге и многие другие революционеры. И в этот торжественно-скорбный момент произошел возмутительный инцидент: полицейские, обнажив сабли, попытались вырвать из рук рабочего красное знамя! Легко раненный в схватке, Эдуар Вайян гневно воскликнул, обращаясь к своим товарищам: «Вы их видели, этих версальцев, это они когда-то расстреливали народ!»

Бой на кладбище Пер-Лашез. Справа — бюст Бальзака.

Поэта похоронили на кладбище Пер-Лашез, неподалеку от Стены коммунаров. За год до своей кончины он писал об этой Стене:

В знак вечной памяти народной
О тех, кто в мае был сражен,
Сюда Париж, разоружен,
Цветы приносит ежегодно.

В 1908 году на его могиле на средства трудящихся и по проекту бывшего члена Коммуны Арно был воздвигнут скромный памятник: на массивном постаменте из серого мрамора — раскрытая мраморная книга. На одной странице высечено: «Эжен Потье. Член Коммуны. Париж. 1816—1887». На другой — названия шести его произведений: Инсургент. Жан-Бедняк. Паутина. Что говорит хлеб. Смерть земного шара. Интернационал.

— Текст «Интернационала» был положен на музыку рабочим-композитором Пьером Дегейтером в 1888 году, на следующий год после смерти моего деда,— напомнила мне Эжени Эккер.— В том же году в июне песня была впервые исполнена на рабочем празднике в Лилле.

С тех пор «Интернационал» начал свой победный путь от сердца к сердцу, из страны в страну, и так по всему миру. Он стал международным рабочим гимном, символом пролетарского интернационализма, классовой сплоченности и солидарности трудящихся всей земли. На заре века «Интернационал» пришел в Россию. Эта революционная песня, родившаяся в огне разгромленной Парижской Коммуны, стала гимном победоносной Страны Советов, а потом — Коммунистической партии Советского Союза и коммунистов других стран.

В начале 1913 года В. И. Ленин, который высоко ценил творчество Э. Потье, называл его «одним из самых великих пропагандистов посредством песни», опубликовал в «Правде» статью в связи с 25-летием со дня смерти поэта. Вот какие строки посвятил Владимир Ильич «Интернационалу»: «Эта песня переведена на все европейские и не только европейские языки. В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины,— он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала»[1].

Говорит Морис Торез: «Под звуки «Интернационала» трудящиеся повсюду объединяются в борьбе за демократию и мир. Во Франции, где над головами демонстрантов развеваются рядом красные знамена рабочего класса и трехцветные знамена волонтеров Вальми, трудящиеся с одинаковым воодушевлением поют и «Интернационал» и «Марсельезу». От имени Французской коммунистической партии я с почтением воздаю должное памяти Эжена Потье и Пьера Дегейтера, чьи имена навсегда запечатлелись в великом сердце рабочего класса, который они помогли вооружить для революции».

«У порога XX столетия высится фигура поэта, который словно передает нашему веку эстафету борьбы, заветы Коммуны, поэта, который позволяет увидеть, каких титанов создает революция»,— писала «Правда» об авторе «Интернационала».

Никогда не изгладится в памяти народной имя автора огненных слов:

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 273.

Традиционное шествие парижских трудящихся к Стене коммунаров.

Фото автора

К нашим иллюстрациям

ЛИДЖИЯ МАКОВЕЙ

Лиджия Маковей занимает видное место в ряду современных румынских художников. Она родилась в Бухаресте в 1916 году. С 1934 по 1939 год обучалась в Академии изящных искусств в Бухаресте, а в 1940 году совершила поездку по Италии, где изучала работы старых мастеров. Первая персональная выставка Л. Маковей состоялась в 1945 году в Бухаресте. В 1950 году художница становится лауреатом Государственной премии Румынии. Начиная с 1947 года Л. Маковей участвует во многих зарубежных выставках, с успехом представляя искусство своей страны. Особенно удачными были ее выступления в 1956 году на бьеннале в Венеции, в 1962 году — в галерее «Пенелопа» в Риме, в 1965 году — в Вене.

Работы Л. Маковей отличает высокий уровень мастерства. Об этом свидетельствует «Осенний портрет», в котором фигура молодой женщины как бы «растворяется» среди осенних красок, составляя с ними единое, гармоническое целое. Тонкий, плавный контур, слегка склоненная голова, задумчивый взор — все это усиливает настроение осенней грусти.

Многочисленные изображения цветов, созданные Л. Маковей, по-матиссовски ярки и свидетельствуют о незаурядном колористическом мастерстве румынской художницы.

Широкой известностью пользуются также графические циклы Л. Маковей к поэзии М. Эминеску, М. Садовяну, Т. Аргези, С. Квазимодо, Р. Десноса. Каждый из этих циклов решен в «своей» манере, близкой настроению иллюстрируемого автора.

Л. Д.

РАКЕЛЬ ФАБРЕГА

Высоким мастерством отмечены работы современной испанской художницы Ракель Фабреги.

В 1967 году она окончила Высшую школу изящных искусств «Сан-Фернандо» в Мадриде, получив первую премию за рисунок. В 1972 году состоялась ее персональная выставка в галерее «Рамон Дюран» в Мадриде. В последующие годы она выставляется в Мюнхене, Риме, Болонье, Неаполе, Чикаго и других городах. И везде ее работы пользуются большим успехом.

Образы, созданные Р. Фабрегой, отличаются предельной утонченностью, особой музыкальностью линии, одухотворенностью. Не случайно сама художница определяет свое искусство как «эмоциональный реализм». «Мне важно,— утверждает она,— глубоко проникнуть в объект моего внимания, раскрыть его сущность и вдохнуть в него частичку моей собственной жизни, весь опыт прожитого. Мне кажется, я оставляю не документ, а некий образ-воспоминание, поэтому он бывает затуманен».

В этих словах — ключ ко всему ее творчеству, они объясняют и ее особую манеру, так непохожую на «академическую». Стремясь предельно одухотворить образы, Р. Фабрега использует особую технику. Она чаще всего обращается к цветным карандашам, добавляет восковые, пастельные или акварельные краски для «подцветки» фона. Отсюда внешняя «скупость» колорита при богатстве многочисленных оттенков одного цвета, «валёров», придающих особую простоту и значительность ее образам.

«Я чувствую себя не только художником, но и музыкантом,— говорит Р. Фабрега.— Начинала я как пианистка и гитаристка. Но потом решила посвятить себя живописи. Меня привлекает живая природа... Однако музыка всегда со мною».

И это подтверждают портреты, созданные художницей, герои которых как бы прислушиваются к звучанию невидимых струн.

Музыкальное начало проявляется и в многочисленных изображениях стволов и корней деревьев, которые Рафаэль Альберти сравнивает со «старыми сухими сомнамбулами». А по сути, эти корневища волнуют испанскую художницу своей ритмической и напряженной игрой, сложной и увлекательной, исполненной движения и жизни.

С. АЛЕНИКОВА

Антирубрика

ДЖАННИ РОДАРИ (Италия)

АФЕРЫ СИНЬОРА КОТА

Перевод с итальянского Л. КАНЕВСКОГО

Однажды Коту взбрела в голову мысль разбогатеть. У него было три дядюшки, и он решил навестить их поочередно, чтобы испросить у них дельного совета.

— Можно стать вором,— сказал дядя Первый,— и разбогатеть без особого труда. Более надежного способа не существует.

— Для такого ремесла я слишком честен.

— Ну и что же? Среди воров немало честных людей и среди честных немало воров. Важен результат, а ночью все кошки серы.

— Ну, я подумаю,— ответил Кот.

— Можно стать певцом,— сказал дядя Второй,— и стать богатым и знаменитым без особых усилий. Нет более легкого способа.

— Но у меня дурной голос.

— Ну и что? Многие из них визжат чуть ли не по-собачьи, а богаты, как царские псари! Какое замечательное выражение! Постой, я его запишу. Ну? Решился?

— Я подумаю,— сказал Кот.

Дядя Третий ему сказал: займись коммерцией. Открой приличную лавчонку, и люди выстроятся перед ней в очередь, чтобы отдать тебе свои деньги.

— А что я буду продавать?

— Пианино, холодильники, локомотивы...

— Нет, они слишком много весят... Тяжело...

— Тогда перчатки для дам

— Но в таком случае я потеряю всех своих клиентов-мужчин.

— Тогда сделай так: открой табачный магазин на Капри. Прекрасный остров Весь год — изумительный климат. Туда приезжают многие иностранцы, и каждый из них, по крайней мере, покупает одну почтовую открытку и марки, чтобы отослать ее домой.

— Ну, я подумаю,— сказал Кот.

Он размышлял семь дней и наконец решил открыть замечательное дело, связанное с продажей продуктов питания.

Он снял внаем торговый зал в подземелье дворца современной конструкции, оборудовал там прилавок, полки, кассу и усадил за нее кассиршу. Затем, чтобы сэкономить на художнике, сам намалевал следующую вывеску: «Здесь продаются мыши в консервных банках».

— Красота! — сказала кассирша, миловидная кошечка, которой впервые удалось получить такое заманчивое место. — Мыши в банках. Вот действительно гениальная идея!

— Если бы она не была гениальной,— уточнил Кот,— то она никогда не пришла бы мне в голову.

На картонке поменьше Кот написал: «Бесплатно выдается консервный нож тому, кто приобретет три банки».

Кассирша нашла, что у ее работодателя прекрасный почерк.

— Я всегда таков,— сказал Кот.— Я — совершенство. Я не сделаю ни одной ошибки, если даже мне наступят на хвост.

— Однако,— сказала кассирша,— а где же наши баночки?

— Погодите, погодите. Не сразу Рим строился.

— А если придут клиенты за товаром, что я должна делать?

— Вы запишите все их пожелания на этом листе бумаги. Пусть они оставят свои адреса, и вы предупредите их, что все заказы будут доставлены на дом.

— Синьор Кот,— спросила кассирша,— а вы уже нашли рассыльного? Потому что, смею доложить, у меня есть братишка...

— Я ему устанавливаю недельный испытательный срок. Его зарплата — две банки ежедневно.

— А моя?

— Вам я дам три.

— И консервный нож?

— Вы будете получать консервный нож

на рождество, другой на пасху и еще один в день моего рождения.

Кассирша нашла, что ее патрон был очень щедрым котом.

На следующий день прибыли порожние банки.

— Синьор Кот,- - сказала кассирша,— но ведь они пусты.

— Они и должны быть такими. О мышах я позабочусь сам. Тем временем вы приклеите к этим банкам этикетки. Пусть вам поможет брат.

Брат кассирши был маленьким котенком, которому исполнилось всего несколько месяцев, и он развлекался вовсю, носился по магазину, засунув свою мордочку в пустую банку.

— Будет, будет,— сказал синьор Кот,— или я тебя оштрафую.

Этикетки были сделаны из блестящей разноцветной бумаги. На каждой из них красовалась мышь, которая кокетливо подмигивала одним глазом, а внизу под ней было написано: «Мыши в консервных банках. Высшего качества. Обратите внимание на льготные боны. Остерегайтесь подделок!»

— Как так? — спросила кассирша.— Мышей в банках еще нет, а подделки уже есть? А что же туда кладут вместо них? Этих подслеповатых кротов или хомячков?

— Поймите, в настоящий момент никаких подделок быть не может,— объяснял синьор Кот,— но они непременно появятся, когда торговля получит должный размах. Но если у нас этого и не случится, все равно эти надписи нам просто необходимы: посмотрите, подумает клиентура, бывают даже подделки, значит, это товар высшего качества.

— И он действительно будет таким?

— Экстра-класса! Потрясающим!

Кассирша вздохнула. Каким же умным был ее шеф! У него и впрямь деловые способности. Кроме всего прочего он был еще и холостяк.

Братик кассирши прилепил себе на нос этикетку и никак не мог ее отодрать.

— Болван,— сурово сказала кассирша.— Ты хочешь, чтобы тебя уволили в первый же день? Не сердитесь, синьор Кот, он еще не знает, что такое заработать себе мышь в консервной банке.

— Я прошу вас,— сказал синьор Кот,— присмотреть за магазином. Я отправлюсь за сырьем.

Кассирша проводила его томным взглядом. Она находила, что ее патрон был действительно замечательным котом, с усами истинного коммерсанта, которому неизменно сопутствует успех. Как он элегантен! Какой властный взгляд!

«Коммерсант,— подумала она про себя,— это, однако, еще не командор. Но командоры мне не нравятся, так как зачастую они уже женаты».

Синьор Кот нашел первую мышь в подвале. Она пряталась за кучей угля.

— Добрый день,— сказал синьор Кот.

— Не знаю,— ответила мышь.

— Извините, разве подобным образом отвечают на приветствие?

— Не знаю, какой будет день — добрый или недобрый. Как правило, коты мне не приносят большого счастья.

— Будет превосходный день,— заверил ее Кот,— более того, день исторический. Мы вам окажем честь стать первой мышью в консервной банке на всей планете. Разве этого вам мало?

— Не знаю,— повторила мышь.

— Вы никогда ничего не знаете,— заметил, серчая, Кот.— Ну, маленький прыжок вот сюда, пожалуйте в эту красивую баночку, и вы убедитесь сами.

— В чем это?

— В том, что я прав.

— Я предпочитаю смотреть мультфильмы. Как раз я вспомнила, что сейчас по телевизору показывают мультяшку. Всего хорошего.

Мышь юркнула в норку, и, как ни умолял, как ни упрашивал ее Кот, она не высовывала наружу даже кончика хвоста.

Вторую мышь он обнаружил на чердаке, а ее норка находилась за сундуком.

— Вам повезло,— закричал синьор Кот издалека, как только ее заметил.

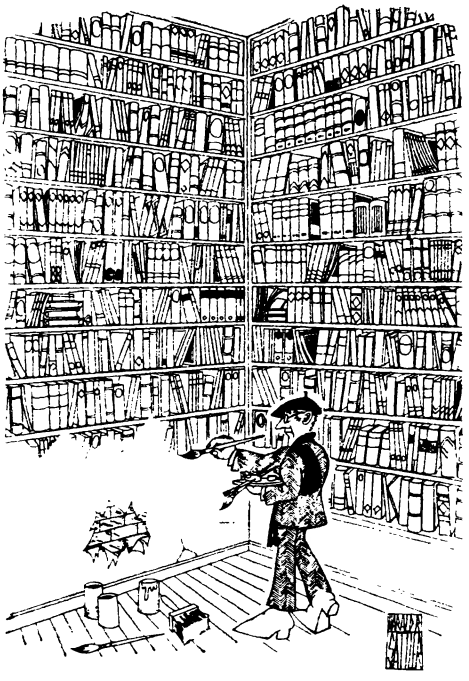
— Не знаю,— сказала мышь.

— Черт возьми! — рассердился Кот.— Такой же ответ мне дала ваша коллега, та, которая живет в подвале. Придумайте что-нибудь пооригинальнее.

— Вначале скажите, почему это мне повезло.

— Потому что моя коммерческая фирма избрала именно вас, чтобы с вас начать торговлю мышами в консервных банках...

САТТЛЕР. ФРГ.
Без слов



АНТИРУБРИКА

— Если мне придется произносить речь, то увольте!

— Никаких речей! Вы просто должны влезть в эту замечательную баночку. Мы продадим ее по справедливой цене и оправдаем то, на что претендует ее товарный вид.

— Превосходно!

— Правда?

— Браво!

— Благодарю, но почему вы это сказали дважды?

— Первый раз для правого уха, второй — для левого.

— Ну что, пошли?

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что я должна отвести свою тетушку в парк и покатать ее на карусели.

— Вот,— закричал синьор Кот,— вот вы, мыши, всегда такие. Вы ничего не смыслите в важности торговли. Вы и лапкой не пошевелите ради увеличения сбыта товаров и необходимой циркуляции денежной массы. Да и ваши тетушки явно не в своем уме, если все еще думают развлекаться на карусели.

— Точно, она надумала кататься на карусели. Вы бы только посмотрели на мою тетушку, она такая симпатичная именно потому, что наполовину спятила. Всего хорошего лично вам и вашим котятам.

— Нет у меня детей! Я не женат!

— Ну, когда женитесь, пришлите мне в подарок парочку конфеток.

И мышь, вильнув хвостом, подала сигнал своему дяде который с такой поспешностью уволок ее в нору, что Коту почудилось, что она лопнула в воздухе как мыльный пузырь: только что был — и вот его уже нет.

— Дела идут отлично, синьор Кот,— промяукала кассирша, когда вернулся патрон.— У нас уже сто шестнадцать предварительных заказов. Графиня Де Кошкини заказала двести банок. Я подсчитала, что мы должны будем ей выдать почти шестьдесят шесть с половиной консервных ножей. А половинку ножа выдать ей с острия или с ручки?

Синьор Кот пробормотал из-под своих усов что-то неопределенное.

— Вы только посмотрите, как усердно поработал мой братишка,— вновь начала она.

Котик-рассыльный выставил в витрине банки, сложив их в форме пирамиды. Некоторые из них, правда, он поставил кверху дном, так как не умел читать и не знал, что означают буквы на этикетке. Но удовлетворение от завершенного труда просто сияло над его чуть пробившимися, тоненькими усиками. Синьор Кот сказал:

— Хорошо, хорошо. На сегодня хватит. Отправляйтесь домой.

— Вы нашли хороших мышей, синьор Кот? — поинтересовалась кассирша, снимая с себя халатик, как это делают все кассирши после окончания работы.

— Я все сказал. И я плачу вам за работу, а не за вопросы

Кассирша с братишкой поняли, что не стоит больше злоупотреблять вопросительными интонациями и пошли прочь с низко опущенными хвостами.

Синьор Кот закрыл магазин и вновь отправился за советом к дяде Третьему.

— Дорогой дядюшка, вот как обстоят дела: мыши ни за что не хотят влезать в банки, а завтра я должен доставить большой заказ графине Де Кошкини. Что же мне делать?

— Сынок, дорогой,— сказал дядя-кот.— Ты забыл о рекламе. Известно ли тебе, что реклама — двигатель торговли?

— Ну, я об этом знаю, я даже обещал консервные ножи и льготные банки.

— Такая реклама, возможно, хороша для тех, кто покупает консервированных мышей, но она ровным счетом ничего не дает самим мышам.

— Конечно, если я вручу им консервный нож, они откроют банку и выпрыгнут наружу...

— Лучшая пропаганда для мышей — это сыр.

— Сухой или швейцарский?

— Сухой, швейцарский или овечий — все равно, лишь бы он мог их выкурить из подполья. Даже твердокаменный качкавал подойдет.

— Мудрому достаточно,— воскликнул синьор Кот.— Я все схватываю на лету.

— Умная головушка,— с одобрением заметил дядя Третий.— Во всей нашей семье рождались только умницы. У твоего дедушки всегда было два дома, и в каждом была оловянная мисочка с молоком и блюдечко с мясом.

— И как это ему удавалось?

— Днем он обитал в доме ночной сторожихи, а с вечера до следующего утра проживал в доме какой-то учительницы. Когда учительница уходила в школу, он делал вид, что провожает ее, а сам направлялся в дом сторожихи. Когда та отправлялась на работу, он немного провожал ее и возвращался в дом учительницы.

— Удивительно! И как его звали?

— В доме учительницы его звали Пуховичком, а в доме ночной сторожихи его кличка была Наполеон. Мы же называли его индийским именем Помножьажнадва.

Синьор Кот купил большую головку пармезана, принес его в подвал, положил перед мышиной норкой и закрыл им отверстие. Мыши, чтобы выйти оттуда, должны были проложить себе путь через сыр.

— Я питаюсь здесь с банкой,— посмеивался Кот,— и, как только мышь просверлит зубками сквозную дыру в головке сыра, я ее хвать — и внутрь; трик-трак, закрываю крышку — и пожалуйте в лавку! Хм-хм!

До определенного момента все шло по задуманному плану. Мышь, чтобы выбраться из норки, должна была вгрызаться в пармезан и прокладывать себе таким образом штольню. Этот труд нисколько ее не утомлял и доставлял даже удовольствие, так как сыр был королевский, с гарантией и хорошо выдержанный. Ее супруг оказывал ей посильную помощь и со своей стороны вгрызался в сыровую массу. Их семеро детишек безумно веселились, прорывая для себя крошечные, по своим размерам, галереи во всех направлениях. Они переваривали сыр легко, без всяких затруднений и жирели прямо на глазах.

Мышь, не переставая грызть, размышляла. Ей было нетрудно делать сразу два дела, так как она была очень умной, интеллигентной мышью.

«В этом мире,— размышляла она,— никто тебе не подарит головку сыра просто так, за здорово живешь, не потребовав чего-нибудь взамен. Это, конечно, неприятно, но об этом забывать нельзя. И прежде всего необходимо узнать, кто же подсунул этот сыр, завалив им вход в мой дом».

Чтобы узнать это, она проделала микроскопическую дырочку в корочке и увидела Кота, держащего в одной лапе банку, а в другой крышку от нее.

— Добрый день,— сказала мышь.

Синьор Кот услышал голосок, раздававшийся из головки сыра, но ничего и никого не увидел. Тем не менее, чтобы не показаться дурно воспитанным, ответил на приветствие. Тем более что он узнал голос мыши.

— Добрый день и вам!

— Ну, чем полезным занимаетесь?

— Разве не видите? Рекламирую мои консервные баночки Как они вам нравятся?

— Сыр превосходного качества!

— Вы это заметили? Тогда поразмыслите сами: если сыр так хорош, то, значит, баночки станут еще лучше. Не хотите ли сделать для меня приятное одолжение? Вам помочь выйти оттуда?

— Ради бога не беспокойтесь...

— Что вы, я с большим удовольствием...

— Нет, спасибо... Я не собираюсь уходить отсюда.

Синьор Кот от гнева лишился было дара речи.

— Вот вы какие, вы, мыши. Даровой сыр вы пожираете, но ничего не хотите дать взамен. Это нечестно. В области коммерции нужно вести себя корректно: я тебе, а ты мне.

— Ну хорошо. Я вам оставлю корочку. Итак, мы квиты!

— Я обвиняю вас в мошенничестве, грабеже и дерзком поведении. Вы ответите за ваши действия в суде.

— Да, после дождичка в четверг!

— Нет, сейчас же!

И синьор Кот схватил лапой головку сыра и покатил ее к двери подвала, не обращая внимания на ужасный писк семерых мышей, которых бросало из стороны в сторону.

— Не бойтесь,— приказала мышь своему семейству.— Этому сыру не бывать ни нашей западней, ни нашей темницей: он станет нашей крепостью. Хотелось бы мне увидеть, кто сможет вытащить нас отсюда. Успокойтесь. Чтобы не потерять присутствия духа, споем наш гимн.— И сама она, подавая детишкам пример, затянула первую строчку:

Да здравствуют мыши, сидящие в сыре,
Извлечь их оттуда никто здесь не в силе!

К голосу мыши присоединился голос ее супруга, и один за другим все семь голосков мышат, прекратив хныкать, запели:

Да здравствует сыр голландский,
швейцарский,
Пусть будет он твердым, путь будет
он вязким!

Синьор Кот, продолжая катить головку сыра, как автомобильное колесо, выбрался из подвала и направился прямо в суд. Люди оборачивались, смотрели на эту странную картину и прислушивались.

— Странно, сыр, а поет...

— Тут запоешь: ведь это пармезан. А в Парме так любят лирическую оперу.

— Чего только не напридумывали! Кроме одного...

— Что же?

— Как можно не работать, а есть.

— Наивный человек! Люди, которые не работают, как раз и едят за семерых.

Кот остановил сыр перед скамьей обвиняемых и потребовал восстановления попранной справедливости.

— Ваша милость, мыши украли у меня сыр.

— По сути дела, можно сказать, что это сыр украл мышей.

— Именно так, именно так,— заверещала мышь, высовывая востроносую мордочку из своей штольни. — Ваша милость, речь идет о вульгарном похищении детей. Всего девять душ! Семеро из них не достигли даже еще совершеннолетия!

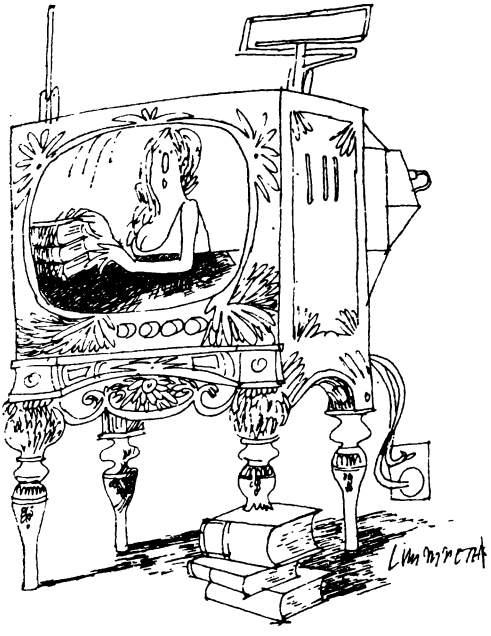
— Однако даровой сыр вы сожрали,— прошипел синьор Кот.

— Мы его съели потому, что вы его нам дали. Это был сыр, предназначенный для рекламных целей Сыр фирмы.

— Это правда? — спросил судья.

— К сожалению,— должен был признать синьор Кот.

ЛИММРОТ. ФРГ.
— В следующем книжном обозрении я представлю вам книги, которые особенно хорошо сочетаются с моей новой зеленой блузкой.



АНТИРУБРИКА

— Ну тогда и я отломлю кусочек,— сказал судья.— Я ценю хорошую рекламу и обожаю сыр «Карусель». После чего я приказываю снабдить мышей пропусками и в сопровождении соответствующего конвоя доставить их домой без всяких промедлений. Судебные издержки я отношу за счет синьора Кота! Банг!

Ударом молотка судья возвестил об окончании заседания и облизал усы. Мышей проводили домой в полной безопасности, и всю дорогу они распевали гимн, сочиненный одним из их предков по имени Джиованнинни Себастьяно.

А синьор Кот вернулся в свой магазин, где радостная кассирша устремилась ему навстречу:

— Маркиза Де Паласатис заказала семьсот пятьдесят банок. Она просит доставить их сегодня вечером без двадцати восемь. Я подсчитала, что мой брат должен будет обернуться туда и обратно семь раз, чтобы выполнить этот заказ.

— Ну не молодец ли я? — спросил рассыльный котик.— Разве я не заслуживаю повышения жалованья?

Синьор Кот, не говоря ни слова, вскарабкался на прилавок и принялся размышлять. «Вот вам,— думал он,— признательность публики. Ты жертвуешь собой ради нее, открываешь новое дело, покупаешь банки, приклеиваешь на них этикетки, набираешь персонал, и все это в интересах клиентуры. И что же ты получаешь взамен? Платишь из своего кармана за сыр и за судебные расходы. И все лишь потому, что мыши отказываются понимать преимущества коммерции и им совсем нашлевать на проблему питания. Ну вот и наступил конец света,— думал синьор Кот, с рассеянным видом облизывая лапу, от которой еще пахло пармским сыром.— Стоит ли творить добро ближнему? Ах, мыши, мыши!

Мыши,— размышлял синьор Кот, отдаваясь самой мрачной грусти и свесив с прилавка хвост, словно наполовину спущенный флаг в дни национального траура,— ведут ничтожную и бесславную жизнь. Я хочу предоставить им лучшее будущее, поместить их в витрины, на виду у всех. За свой собственный счет я обеспечиваю их банками из стойкой жести, плотно закупоренными отличными крышками, этикетками, нарисованными рукой первоклассного художника, на которых мыши выглядят куда более привлекательными, чем они есть на самом деле Я предлагаю консервный нож, льготные боны, стабилизирую цены на уровне доступном для любого кошелька И вот вам результат. Они противопоставляют моим акциям самый яростный саботаж, подкупают судью сыром, чтобы добиться моего осуждения. Нет больше честности в этом мире. Нет больше ни веры, ни религии. Лучше мне стать простым бандитом, разбойником, пиратом» На какой-то момент синьору Коту понравилась эта мысль. Он уже видел себя бандитом, разбойником, пиратом. С черной повязкой на левом глазу. А на хвосте — черное знамя с черепом и костями крест-накрест. И на нем свой лозунг: «Там, где ступает хоть одна из моих лап, мыши больше не живут!»

Он уже видел аршинные буквы заголовков в газетах, прославляющих его похождения: «ТЕРРОР В ПОДВАЛАХ ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! КОТ-БАНДИТ ИЗЛОВИЛ МИЛЛИОН МЫШЕЙ! ВСЕ ХВОСТЫ В ГОРОДЕ ТРЯСУТСЯ ОТ УЖАСА!»

— Синьор Кот,— сказал в этот момент брат кассирши,— для доставки заказов на дом я должен пользоваться своим трехколесным велосипедом или фирма предоставит маленький фургон?

— Синьор Кот,— снова сказала кассирша,— приходил инспектор по налогам. Он заглянул в кассу; увидев, что там нет ни сольдо, пообещал прийти завтра, даже если будет идти дождь

— Синьор Кот,— сказал брат кассирши,— если сегодня мне уже нечего делать, то нельзя ли пойти поиграть в футбол с приятелями? Знаете, я в команде — вратарь. Я отбиваю мертвые мячи хвостиком. Может, в будущем году мне удастся сыграть за команду «Пролимпомпони».

Синьор Кот встряхнулся. Подумать только — какая ответственность: товары, клиентура, кассирша, налоги, рассыльный, «Пролимпомпони»!..

— Друзья мои,— решительно заговорил синьор Кот,— мы переворачиваем страницу. Торговля мышами в консервных банках не налаживается. Возможно, этот проект намного опередил свое время. Не всегда гениальная идея находит свое понимание и должную оценку. Даже Галилео Галилей, когда он заявил, что земля вращается, должен был за это несколько поплатиться. Не будем уже говорить о Христофоре Колумбе, который хотел открыть Америку, и никто не пожелал предоставить в его распоряжение каких-то трех каравелл. Меня оценят наши потомки.

— Да? — с обожанием произнесла кассирша, поглядев на своего патрона, и вытянула свои очаровательные губки.

— Я принял решение. Хватит мышиной возни с мышами в банках. Теперь я займусь продажей яда для мышей.

— Какая замечательная идея! — вздохнула кассирша.

— Если бы эта идея не была замечательной, она бы не пришла мне в голову. У меня природная склонность к подобным вещам. С таким ядом мы развернемся вовсю.

— Какой же вы молодец! — промяукала от всего сердца кассирша.

— Мы будем по-прежнему доставлять заказы на дом? — спросил рассыльный.

— Да, конечно.

— И чем нам будут платить? Надеюсь, не ядом?

— Я вам буду платить счетами...

— Придется научиться считать,— сказал рассыльный.— А теперь можно идти играть в футбол?

— Иди, иди,— радушно сказал синьор Кот.

Убрав с витрины старую вывеску, он быстро написал другую, на которой значилось: «Яд для мышей высшего качества. В каждой банке льготные боны на право приобретения другой по сниженной цене. Отдаем бесплатно банку тому, кто приобретает три».

— Какой вы изумительный каллиграф! — восхитилась кассирша.

— Это чепуха! — сказал синьор Кот.— Когда я пишу на машинке, у меня выходит еще лучше.

— Да вы и сами по себе просто молодец! — сказала кошка.

— Что вы хотите, такой я уж тип. Представьте себе, когда я пишу на машинке, я постоянно рискую обогнать самого себя.

— Удивительно! Я расскажу об этом своей маме. Знаете, мне постоянно хочется говорить о вас.

Синьор Кот не сказал, знает он это или нет Но в конце концов он об этом узнал. Действительно, синьор Кот и кошечка поженились и жили вполне счастливо, ссорясь с раннего утра и до позднего вечера. Они царапали друг дружке носы, запускали в спины друг друга банки с ядом, носились друг за другом по магазину, угрожающе размахивая консервными ножами. Во время таких спектаклей мыши сильно развлекались. Более того, одна из них превратила собственную нору в зрелищное предприятие, и многие друзья, родственники и знакомые наносили ей визиты, чтобы присутствовать при ссорах этой прекрасной и деликатной четы. Мышь брала по десять лир за каждое представление. Все считали, что это дорого, но все же платили и смотрели Эта мышь так разбогатела, что даже сменила свое имя и стала называться Баронессой.

■

ДЖАЛАЛ НУРАНИ (Афганистан)

РАССКАЗЫ

Перевод с языка дари И. БАГРОВА и В ИГНАТЬЕВА

Интеллигенты, или Как стать любимым

Семейство Динар интересовало меня давно. Не то чтобы меня привлекали их денежки, совсем нет, просто приглянулась дочка-красавица. Мне, естественно, захотелось поближе сойтись с этим интеллигентным, как утверждали все, семейством. Хотелось, пусть немного, соприкоснуться с элитой и, хотя бы в качестве зятя, пожить среди культурных людей. Я уже представлял себе легкую, беззаботную жизнь, блистательную карьеру. А уж как обогатится мой интеллект!

Такое дело грех откладывать в долгий ящик. Конечно, завоевать сердце красавицы стоило мне немалых трудов. Родители потакали всем ее прихотям, поэтому, когда она сообщила, что я ее жених, они не пикнули.

После помолвки я сразу же решил с помощью невесты стать интеллигентным человеком. Старался поддержать умные разговоры — нельзя же сразу ударить лицом в грязь. Это было нетрудно. Не успевал я и рта раскрыть, как моя суженая забрасывала меня ценной информацией:

— Дорогой, мини не в моде. К нам эта мода из Англии пришла. А в Голливуде ее теперь совсем не признают, да и в Париже тоже. О Париж! Софи Лорен заказала там себе платье за сто тысяч долларов. А у Брижит Бардо теперь другой парикмахер, тот же, что и у Дина Мартина. Знаешь, сколько Дин Мартин получает за каждый фильм? Двести тысяч долларов А Ралж Капур и Дженти Мала — куда меньше Кстати, они тоже сейчас в Париже снимаются...

Она трещала без умолку, а я ее слушал с открытым ртом.

Один раз я очутился с глазу на глаз с ее отцом. Динар-заде тоже оказался на редкость «информативным»

— Представляете, насколько опасен насморк. Самый большой слон — а от насморка может умереть. У попугая век — сорок лет. Черепахи живут до трехсот лет, а бабочки — всего-навсего один день, сегодня порхают — а завтра уже нет. Кстати, я прекрасных скакунов видел. Надеюсь, вы знаете, что арабские скакуны — лучшие скакуны в мире. А самые прекрасные кошки — сиамские Умные и преданные. Но с южноамериканским шимпанзе их не сравнить — те куда умнее Но самые преданные в мире — эскимосские собаки...

О животных он говорил до самого ужина. А я все слушал, слушал... Да, Брему до Динар-заде далеко.

Моя будущая теща оказалась ходячим кулинарным справочником. Как испечь пирог, приготовить голубцы, пожарить бифштекс, к какому блюду какой соус подавать — все ее рецепты не уместились бы и на тысяче страниц.

Брат моей невесты увлекался спортом. Он знал размер обуви каждого футболиста из сборной Бразилии, любимый цвет рубашек известных швейцарских лыжников и много других важных фактов

Как-то раз за ужином собралась вся семья. На этот раз решили послушать меня. Я откашлялся и вкратце обрисовал положение на Ближнем Востоке, осудил колониальные устремления империалистических держав, остановился на трудностях

АНТИРУБРИКА

развивающихся стран, затронул проблемы разоружения, гневно заклеймил агрессивные блоки.

— Какие еще блоки? — воззрилась на меня теща.— Лучше расскажи, что ты сумеешь приготовить жене. Сытый желудок — залог высокого интеллекта. А ты, я вижу, им не отличаешься.

Ничего себе комплимент, а!

Моя невеста покраснела как рак и говорит:

— Ты и впрямь какую-то чушь несешь. Рассказал бы что-нибудь о кино.

— Лучше о футболистах или культуристах,— перебил ее брат.

— А что вы знаете о насекомых, пресмыкающихся, млекопитающих? Это, право, куда занятнее, чем какой-то «третий мир» со своими «слаборазвитыми странами».

Я почувствовал, что дело мое — дрянь. Надо либо прощаться, либо становиться, как они, «интеллигентом». Я выбрал последнее, не люблю на полпути останавливаться, тем более что мой будущий тесть уже подыскал мне теплое местечко.

Я быстро сориентировался. Трудно приходилось, лишь когда вся семья собиралась вместе — каждому не угодишь. В такие дни моя застольная речь выглядела примерно так:

— Вам, конечно, известно, что Фрэнк Синатра женился в шестой раз. Хотя за Б.Б. ему не угнаться — она седьмого мужа меняет. Между прочим, длинная шея нужна жирафу для того, чтобы обгладывать листву с высоких деревьев, но хобот был бы куда удобнее. А вот рецепт отличного блюда: горсть фасоли, горсть гороха, горсть крупы. Его очень любит Мохаммед Али. Кстати, он король ринга, Пеле — король футбола, а леопарды и тигры — короли джунглей. А кинокороли, к вашему сведению, собираются в Мулен Руж, это в Париже, на Елисейских полях.

Видите, я стал почти интеллигентным человеком, со мной есть о чем поговорить. Простите, заболтался. Бегу в зоопарк, вечерком расскажу тестю что-нибудь свеженькое из жизни колибри, из зоопарка побегу в магазин за поваренной книгой, по дороге куплю фотографии кинозвезд. Привет!

Семейный гамбит

Со школьных лет мне не давал покоя вопрос: в чем же секрет семейного счастья? Грош цена жене, которая не умеет найти подход к мужу. Сколько бед и разочарований уготовано ей судьбой! И я решила встретить их во всеоружии — перечитала уйму книг для молодоженов, все брошюры и статьи, дающие рецепты семейного счастья. А когда в гости к нам приходили умудренные многолетним опытом солидные матроны, я забрасывала их вопросами. Кто отвечал серьезно, кто отшучивался. Мама в такие минуты была готова сквозь землю провалиться. Правда, на людях меня не ругала, лишь сердито косилась. Но когда гости уходили, она выговаривала мне:

— Как не стыдно! Где же твоя девичья гордость?!

— Мамочка, ну мне же интересно... когда-нибудь и я замуж выйду... и кто знает...

— А пока я, значит, красней за тебя перед гостями? И так уж слух идет, что моей дочери замуж не терпится. И в кого ты только уродилась?!

Я старалась не перечить маме, выговорится — легче станет. Невдомек ей, что о самом сокровенном мне и поговорить не с кем. Не с ней же, в самом деле!

В школе я водилась с самыми озорными девчонками. Волновали нас, конечно, одни и те же вопросы. Но одна подружка росла без матери, а у второй мама тоже считала, что дочерей должно растить в строгости и целомудрии.

Но вот я окончила школу, и к нам в дом зачастили сваты и свахи. Каких только не было! И старые и молодые; и в чадрах, и в европейском платье; интеллигентные и полуграмотные; нарумяненные, накрашенные и благообразные, которые и в глаза не видели ни губной помады, ни туши; знакомые и чужие — каких только в доме не перебывало. Я умоляла маму никому ничего не обещать. Зачем торопиться? Составить хорошую партию — это вам не партию в шахматы сыграть. Знать бы тогда, как эти слова против меня обернутся!

Сарвар... Соседский мальчишка. С детства его знала: тихий, все время с книжкой, в школе — первый ученик. Его счастливая мама гордо показывала всем похвальные грамоты сына. Родители то и дело ставили мне его в пример:

— Стыдись! Невеста уже, а ума не набралась. Посмотри, какой Сарвар молодец — и в школе и дома на него не нарадуются.

Мне не терпелось крикнуть: «Да плевала я на него!» — но я сдерживалась и молчала. Наши семьи дружили, мы часто ходили друг к другу в гости. И даже потом, когда они переехали, нас не забывали.

Ученье давалось Сарвару легко, он и выпускные экзамены сдал годом раньше сверстников. Я же, наоборот, несколько раз на второй год оставалась. И видела я в Сарваре тогда, конечно, не будущего мужа, а лишь удачливого соседского мальчишку.

Шли годы. Сарвар уехал из наших мест. Я частенько вспоминала о нем, даже скучала. Как-то раз к нам заглянула его мама и гордо сообщила, что ее мальчик окончил университет и работает за границей. «Вот и хорошо»,— подумала я. Но в один прекрасный день Сарвар появился у нас собственной персоной.

Я так и ахнула. Неужели этот рослый, обаятельный мужчина — тот самый соседский мальчишка?! Да и он смотрел на меня по-иному. А наши матери, заболтавшись, оставили нас наедине. Я растерялась, не зна-

ла, о чем спросить, на глаза почему-то навернулись слезы — убежать бы сейчас. Сарвар, видно, понял мое состояние, первым нарушил молчание, спросил, как я поживаю...

Через неделю Сарвар прислал сватов. О, долгожданный день! Сердце рвалось из груди от радости. Ведь все эти дни я не могла ни пить, ни есть — все думала о нем. Хорошо, что родителям ничего не пришлось объяснять — сами все видели. Теперь я уже не мешкала. Через несколько дней мы были помолвлены. Снова засела я за книги о семье и браке. Когда ж как не сейчас во всем окончательно разобраться.

Сыграли свадьбу, я переехала к мужу в дом, началась новая жизнь. Теперь я знала, что такое семья, и, казалось, могла ответить на любой вопрос. Поначалу и впрямь все шло гладко. Но вдруг обнаружилось, что я не единственная любовь Сарвара.

Шахматы... Первые дни я даже бережно протирала фигурки и доску, не подозревая об «измене» мужа. Но со временем его любовь к шахматам росла, а вместе с ней росла и моя ревность. Приходили друзья, подсаживались к шахматному столику и забывали обо всем на свете. Какое им дело, что стол давно накрыт и хозяйка ждет,— меня они просто не замечали. Когда моему терпению подходил конец, я, деликатно кашлянув, напоминала:

— Садились бы к столу, а то плов стынет...

А мне в ответ:

— Шах!

— Закройся конем!

— Не сюда, на белое поле ставь!

— Лучше было слоном ходить!

— Мат!

И скоро я поняла, что с шахматной королевой мне тягаться не под силу. На все мои увещевания муж отвечал:

— Шахматы у меня единственная отрада. Дня без них прожить не могу.

В конце концов он стал убегать от моих упреков к друзьям, проводя у них целые вечера за шахматами. Я же в сердцах разбивала шахматную доску, выбрасывала ненавистные фигурки. Но это не помогало. Сарвар лишь мрачнел еще больше и... приносил новые шахматы. Невыносимо было смотреть, как он ласкает пальцами крутобокие фигурки, аккуратно расставляя их на доске. Я уходила, запиралась у себя в комнате, но и там меня преследовали постылые возгласы: «Шах! Мат!» Игроки горячились, спорили, стучали по доске фигурами.

Сама кротость взбунтовалась бы на моем месте. Конечно, Сарвар — человек хороший, спокойный, даже ласковый. Но по-настоящему он любил только шахматы, и ревность моя не угасала. Не нужна я ему, не нужна!

Но ведь должен же быть какой-то выход?! Не разводиться мне, в самом деле! Я хорошенько все обдумала, взвесила и — нашла! Почему бы мне не заключить со своим злейшим врагом мир? Ни слова не говоря мужу, я отправилась к дядюшке — заядлому шахматисту. Три месяца он терпеливо обучал меня премудростям игры. Я читала теорию, изучала партии, анализировала позиции, решала задачи, постигала тайны дебюта и эндшпиля. Во мне проснулся азарт. Дядя — игрок с двадцатилетним стажем — только диву давался: откуда у племянницы вдруг столько рвения? Не раз мои оригинальные замыслы ставили в тупик даже его, и я добивалась победы.

Как-то вечером Сарвар с приятелями играл в шахматы. Я вошла в комнату и позвала всех к чаю. Партия подходила к концу — Сарвар проигрывал, его король был близок к гибели. Противник Сарвара победоносно заявил:

— Пижоны вы все, короля от ферзя не отличаете!

Тут я не выдержала:

— Сами вы пижон, играть не умеете!

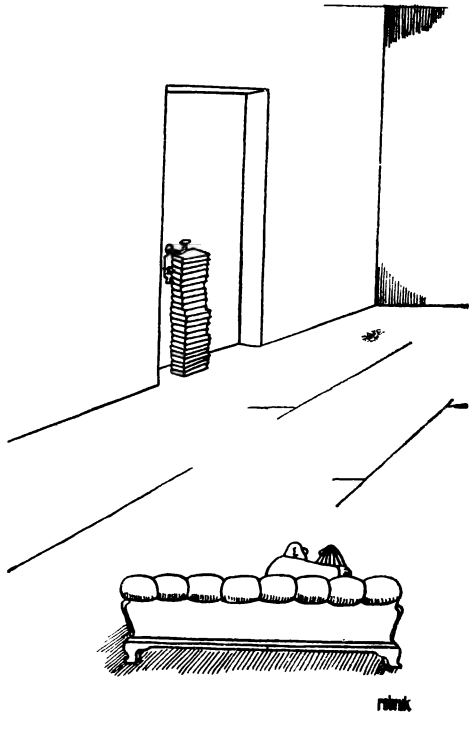
Он с удивлением воззрился на меня. Сарвар тоже от изумления рот раскрыл — он-то не знал, что я играть научилась,— прямо остолбенел, когда я попросила разрешения сыграть. Догадался, наверное, что я что-то задумала. А я спокойно расставила фигуры, выбрала себе черные. Мой противник лишь хмыкнул и двинул пешку вперед. Я сделала ответный ход. Не прошло и пяти минут, а я уже объявила ему мат. Все оторопело стали меня рассматривать. Самоуверенности у моего партнера поубавилось. Он, заикаясь, произнес:

— А что... вы и впрямь... можете... Давайте-ка еще разочек. Буду в полную силу играть.

— Мне неинтересно с вами,— я старалась говорить как можно серьезнее,— у вас сла-

---

РЕБРУК. ФРГ.
Без слов



АНТИРУБРИКА

бая подготовка,— и повернулась к остальным: — Ну, кто следующий?

Нашелся один смельчак среди друзей Сарвара, принял вызов, правда с условием, что ему будут подсказывать. В этой партии мне пришлось потрудиться больше, но все равно победила, сначала выиграла слона, потом несколько пешек — противник сдался, не дожидаясь мата. Больше я играть с ним не стала.

— С таким партнером я и сама скоро играть разучусь.

С третьим я добилась преимущества уже в дебюте. На помощь ему пришли все мужчины. Спорили над каждым ходом, считали варианты, трясущимися руками переставляли фигуры. Моя же позиция с каждым ходом становилась лучше. Хитрым ловушкам я предпочла тонкое маневрирование — этого мои противники не ожидали. Захватив пространство, я вскоре добилась и материального преимущества — выиграла коня. Раздосадованные мужчины отошли от столика, бросив товарища мне на растерзание. Почесав затылок, он обреченно произнес:

— Того гляди мат получу.

— И не просто мат.

— Как это?

— Я сделаю вам детский мат.

— Ну уж нет, я такого позора не допущу!

— Посмотрим.

Игра продолжалась. Он загородил своего короля фигурами, не оставив тому ни единого свободного поля,— думал, что такой заслон мне не прорвать. Я же ловким маневром коня объявила его королю шах и мат. Мужчины тяжело переживали поражение. Они стояли понурые, красные от стыда. А я еще масла в огонь подливаю:

— Эх, вы, горе-игроки! С вами только время терять!

Не глядя на меня, «горе-игроки» поспешно откланялись. С тех пор они к нам с Сарваром не приходят. А муж отныне играет только со мной. Рассеялись тучи на семейном небосклоне. Теперь Сарвар от меня — ни на шаг.

Я бросаю взгляд на книжную полку. Там мирно соседствуют «Брак и семья» с «Шахматной школой» — мои добрые верные друзья.

Сила игрушки

— Нет, не умеем мы все-таки детей воспитывать! — послышался знакомый голос у входа. Пришел мой давний приятель, он для меня авторитет непререкаемый — как-никак объездил полсвета, знает все и вся. Я, откровенно говоря, не ожидал такого приветствия и, смущенно кашлянув, робко спросил, в чем же мои прегрешения на педагогическом поприще. Неужто я рощу из своей дочери морального урода? На что мой высокочтимый друг сурово ответил:

— Мало родить, мало только поить и кормить детей. Ты что, не видишь, как в других странах воспитывают?

— А как? — До чего ж я все-таки тупой и недогадливый!

— Ребенок с первых дней должен жизни радоваться, интересоваться всем, увлекаться. Вот у твоей дочери есть увлечение?

— Да ей вроде бы еще рано,— замялся я,— три года всего. Танцевать, правда, любит. Как по радио музыку услышит, такие кренделя начинает выделывать — только держись.— И я неуклюже попытался воспроизвести замысловатые па дочери. Приятель прыснул и замахал руками.

— Да я не о том! Я об увлечениях спрашиваю. Ну, играет она хоть во что-нибудь?

— А то как же,— удивился я,— конечно, играет!

— Во что, во что именно?

— А во что придется. Дома всякими ложками-плошками забавляется, во дворе — роется в песке.

— Что ж, а настоящих игрушек нет?

— Это каких таких настоящих?

Приятеля даже передернуло.

— В магазине ты ей какие-нибудь игрушки покупаешь?

— А как же! В свое время погремушки приносил, шарики воздушные.

— И это все?!

— А что еще надо?

— Да в европейских семьях трехлетняя девочка уже давно и с куклами играет, и на велосипеде катается, и с заводными игрушками возится...

Далее последовала небольшая лекция о роли игрушек в развитии психики, мышления, интеллекта, творческих способностей, вкуса и политического самосознания детей.

Оказывается, потому-то наше поколение и выросло таким ущербным, что никто в свое время не дарил нам говорящих кукол и заводных медвежат.

Мой приятель откланялся, оставив меня наедине с самим собой. Вырастет моя Фарида, станет ученым — значит, уже сегодня нужно закладывать фундамент ее интеллекта. Видно, и впрямь отстал я от требований современной педагогики.

И я изложил суть дела на семейном совете. Семья у меня невелика: кроме нас с женой да тещей — сестры жены (они живут через дорогу), племянники (двое уже сами обзавелись семьями), еще двое малознакомых мне молодых людей, всерьез грозивших пополнить мою родню. Забегая вперед, скажу, свою угрозу они все-таки исполнили.

Мне легко удалось убедить присутствующих, что без новых современных игрушек жизнь моей дочери тускла, мрачна и вообще никогда не сложится. Сам я торжественно поклялся, что принесу их не меньше дюжины завтра же. Кандидаты в женихи решили не отставать от будущего свояка — в конце концов, мое слово может повлиять на их судьбу, а мой кошелек — на пышность свадеб.

На следующий день в доме не смолкал шум: хлопали двери, сновали люди, росла гора коробок с игрушками: две огромные, с мою Фариду, куклы, детский велосипед, целый автопарк заводных грузовиков, автобусов, лимузинов, медведь, размерами и видом — ни дать ни взять чудище Кинг-Конг. Он мотал головой и лихо молотил лапами по барабану. Из комнаты в комнату ползало непонятного вида страшилище с программным управлением. Игрушки все прибывали...

Бабушка тут же села за машину — шить куклам платья. Дочь растерянно стояла посреди комнаты, а домочадцы нажимали разные кнопки, педали, заводили ключиками хитрые пружины, вокруг все трещало, скрипело, стучало, верещало. У Фариды разбегались глаза. Она то баюкала куклу, то тянулась к страшилищу-роботу — его безуспешно пыталась оживить теща,— то теребила медведя, сидевшего на коленях у тетушки. Каждый из родственников облюбовал по игрушке. А Фариду, вконец растерявшуюся, уложили спать.

Прошло несколько дней. Игрушек в руках дочки я, к своему удивлению, больше не видел. А раз, возвращаясь с работы, застал в песочнице свою чумазую дочь — сидит, строит домик. Заметила меня, обрадовалась, потом на руки перепачканные взглянула, испугалась, спрятала. Подумала, наверное, что ругать буду. Но я улыбнулся, погладил ее по голове и спросил:

— А где же твои куклы?

Она потупилась и вздохнула.

— У бабушки.

— А медвежонок?

— У тети.

Тут к нам подошел Хамид, один из претендентов на сердце и руку моей сестры. Глаза у него лукаво блестели. Обняв Фариду, он ухмыльнулся:

— А знаете, где остальные игрушки? Мы, взрослые, их разобрали. Ведь в наше время таких не было. Вот и решили — хоть сейчас наиграемся. Одна кукла, например, у моей невесты. Даже ночью с ней не расстается.

— Да ты что? Это в двадцать пять лет!?

— А вторая — у ее сестры. А ваша мать все с медвежонком наиграться не может. С роботом сестра забавляется. Службу совсем забросила.

— Быть того не может!

— А знаете, какая беда с вашей тещей приключилась?

— Что с ней? — с дрожью в голосе спросил я.

— Ничего страшного. Просто ушиблась.

С самого порога я услышал стенания тещи. Она лежала в постели, голова забинтована. Я громко поздоровался и спросил: что стряслось. Старушка покраснела, смущенно затеребила свою повязку и ответила:

— Да пустяки. Спускалась по лестнице, упала.

— Не послать ли за доктором?

— Что ты, что ты! Голову мне перебинтовали, уже все проходит.

Хамид отвел меня в сторону и, давясь от смеха, прошептал:

— Не верьте, не верьте вы ей про лестницу. Это она с велосипеда упала.

— Что?!

— Честное слово. Села, поехала по двору, да не удержалась, упала.

Я сунул руку в карман и нащупал что-то твердое. Зажал в кулаке, но вытаскивать не стал, вовремя спохватился. Вспомнил — уходя на работу, захватил с собой заводную машинку и, когда в комнате никого не было, катал ее по столу. Каюсь, даже я не устоял. Современные игрушки — это сила!

Звонок

Кому только взбрело в голову изобрести дверной звонок! Наверное, одному из спасителей цивилизации, придумавших телефон, радио, телевизор. Но электрический звонок меня доконал. Из-за этого удобства вся моя жизнь пошла прахом. Вы, чего доброго, не поверите. А получилось все так.

Жизнь моя текла спокойно и счастливо. На работе моя репутация была безупречной, меня считали усердным, сообразительным. С начальством я почтителен, кланялся первым, не забывал справиться о здоровье детишек, жены. На работу не опаздывал, порой и сверхурочно засиживался, выходных за это не клянчил. Все бы хорошо, да попутал меня черт с этим звонком.

Мое повышение по службе целиком зависело от непосредственного начальника. Как скажет — так и будет. И вот решил я пригласить его к себе. Едва уговорил удостоить меня такой чести. Он записал адрес и пообещал вечером прийти. Я занял денег, накупил всякой снеди — стол просто ломился от яств. Уж очень мне хотелось угодить гостю. Все домашние были заняты на кухне. Взрослые варили, жарили, пекли, а детишки, как водится, таскали самые лакомые кусочки. Взяли радио у соседа, он даже чайный сервиз предложил ради такого случая. Итак, мы готовились к званому ужину — знать бы тогда, что из этого получится!

Гвалт в доме стоял невообразимый: орало радио, еще громче — шестимесячный сынишка, все это перекрывали громкие вопли жены — она на чем свет стоит ругала моих старших шалунов. И мы, конечно, не услышали, как постучали в дверь...

Так и не дождались мы в тот вечер начальника, не достучался он своими начальственными пальцами в мою нечестивую дверь. У себя-то в кабинете он чуть поба-

рабанит по столу — и все внимают ему, ловят драгоценнейшие указания.

Поцарапался-поцарапался он у моих дверей, да и ушел не солоно хлебавши. Решил, что над ним сыграли злую шутку. Я же места не находил — как неловко все вышло. Черт с ними, с долгами, не видно, как теперь оправдаться.

На следующий день начальник, разумеется, вызвал меня и... Я чуть не на коленях ползал, умоляя простить меня,— не помогло. После этого он перестал со мной здороваться. Чем загладить свою вину?!

Моя мудрая супруга подала блестящую мысль:

— Нужно купить электрический звонок, да не простой, а музыкальный, нажмет твой начальник кнопку, а его встречают ноты бодрого марша — и громко, и приятно. Правда, это удовольствие дорогое, но за оскорбление начальства нужно платить.

Едва я провел звонок, как тут же об этом пожалел. Злосчастная кнопка привлекла чуть ли не всех мальчишек с улицы. Звонок не умолкал ни на минуту, а на улице мне вслед кричали:

— Эх ты, горе-хозяин! Чем шикарный звонок ставить, лучше бы дверь починил!

От постоянного звона у меня раскалывалась голова. Но мы смиренно выносили все, ожидая того дня, когда мой начальник сменит гнев на милость и соблаговолит еще раз прийти к нам в гости.

Мой брат — человек очень вспыльчивый — в сердцах грозил снять звонок, желая спасти всех от этой пытки, но я уговаривал:

— Еще несколько дней подожди. Вот придет мой начальник, уж потом...

Близилось время распределения должностей. Набравшись смелости, я снова предстал перед начальником. Может, снизойдет?

— Нет, нет, не могу, я сейчас очень занят...

Я не сдавался.

— Не придете — не переживу, умру с горя.

— Ну-ну, просто я не хочу вас утруждать.

— Напротив, вы нас очень обяжете.

— Хорошо, как-нибудь в другой раз.

— Пусть тогда этот другой раз будет завтра, ладно?

— Ну, будь по-вашему...

Я поклялся, что прошлое недоразумение не повторится, все предусмотрено. Даже похвастал, что специально приобрел музыкальный электрический звонок.

С раннего утра жена принялась готовить плов, жаркое из говядины. Детишки радовались — давненько таких вкусных блюд не едали. Опять выпросил у соседа радио, опять на столе появился знакомый чайный сервиз. Вся семья собралась и затаив дыхание ждала звонка. Верите ли — нет, но и на этот раз мы не дождались гостя. И на этот раз приключилась беда. Теперь уже непоправимая.

Мой нервный брат, страдавший от постоянных звонков и насмешек мальчишек, все и испортил. Поначалу он гонял сорванцов, но это не помогало. В тот день он возвращался с работы и увидел у дверей нашего дома человека, тянувшего руку к звонку. Не разобрав в сумерках, что человек прилично одет — в белой рубашке и галстуке,— брат схватил нашего долгожданного гостя за шиворот и грозно прошипел:

— Попался! Хулиганье паршивое! Сейчас узнаешь, как в чужие звонки названивать!

И не успел мой начальник слова вымолвить, как получил здоровую оплеуху.

Войдя в дом, брат гордо заявил:

— Ну и врезал же я ему. Надолго запомнит, шельмец.

— Кому врезал? Кто запомнит?

— Да крутился тут какой-то тип у наших дверей. Тоже, видать, руки чесались — звонок наш покоя не давал. Только руку поднес, я его и сцапал.

— Когда? — похолодев от ужаса, спросил я.

— Да только что.

В глазах у меня потемнело, ноги подкосились, но брат удержал — руки у него сильные.

— Что с тобой?

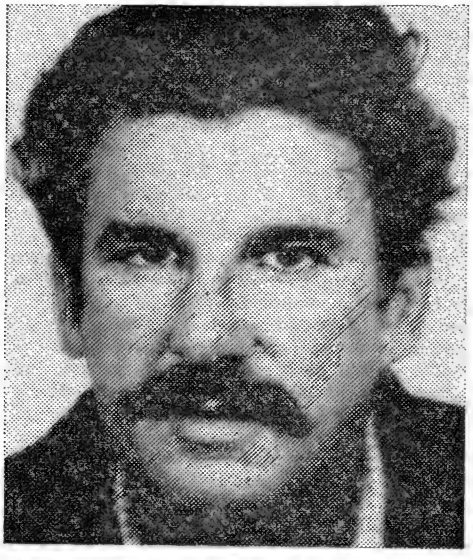
— Все пропало! — прохрипел я.

Утром в конторе я увидел начальника и ужаснулся: на лбу пластырь, под глазами синяк...

Вряд ли стоит рассказывать, что случилось потом. Разве кто поверит, что моя карьера рухнула только из-за простого электрического звонка.

◆

Наши гости



Юджин Нелсон

США

Юджина Нелсона баловнем судьбы никак не назовешь. Прошедшее в бедности детство, трудные школьные годы, болезнь, помешавшая закончить колледж, изнурительный труд за гроши в самостоятельной жизни. Но одних невзгоды ломают, других закаляют. К последним и относится наш гость из США Юджин Нелсон.

— С несправедливостью я столкнулся, когда мне было шесть лет. Шайка — иначе не назовешь — местных банкиров за долги отобрала у моего отца ферму и виноградник. Тогда я, естественно, не задумывался ни о классовой борьбе, ни о пороках капитализма, просто в подсознании зародилась ненависть к несправедливости. Она выросла и окрепла в школьные годы (я тогда учился в городе Трейси, штат Калифорния), я видел, как над моими друзьями, выходцами из Мексики и Китая, глумились их белые одноклассники.

Я с детства мечтал плавать по морям, но мой школьный друг Хонг Ли убедил меня, что я нужнее на суше, где так неуютно и неустроенно живут люди Уйдя по болезни из колледжа, я пошел работать. Приходилось браться за любое дело, чтобы как-то свести концы с концами: мыл посуду в жалких кафе на окраинах, работал на сахарном заводе, ходил на рыболовецком судне, вместе с мексиканскими наемными рабочими «брасеро» гнул спину на свекольных полях. Одним словом, воочию убедился, что такое нищета и бесправие. И твердо решил: дело всей моей жизни — помогать обездоленным.

Фраза эта звучит патетично, но дела Юджина Нелсона красноречивее любых слов. Два года работал он помощником известного профсоюзного деятеля Сесара Чавеса, вместе с ним организовал прогремевшую на весь мир многомесячную забастовку рабочих на виноградниках в Делано, возглавлял группы пикетчиков, помогал в издании профсоюзной газеты. А спустя несколько недель появилась книга «Huelga» (стачка — *исп.*) — страстный, волнующий рассказ о первых ста днях забастовки. Она переиздавалась уже восемь раз — это ли не лучшая ей характеристика? Потом Юджин Нелсон работает профсоюзным организатором в Техасе, добивается заключения коллективных контрактов, выгодных рабочим, борется за повышение им заработной платы. Затем Мексика Писатель изучал жизнь мексиканских «брасеро», точнее сказать, жил с ними одной жизнью. На его глазах люди гибли от голода, болезней, лишений. Разве можно было остаться равнодушным? И в 1973 году выходит в свет роман «Брасеро» — суровая, трагичная, местами ужасающая история недолгой жизни мексиканского парня, которого, подобно тысячам его земляков, голод и нищенское существование заставили бросить родные края и отправиться в США за синей птицей счастья. В книге (ее перевод издан в 1979 году издательством «Прогресс») нет ни одного вымышленного эпизода, она проста и сдержанна по стилю, а лучшие ее эпизоды по драматическому накалу напоминают «Гроздья гнева» Стейнбека.

Из многочисленных бесед с мексиканцами, многие из которых в поисках лучшей доли нелегально перешли границу Соединенных Штатов, родилась и последняя из опубликованных книг Юджина Нелсона — «Пабло Крус и Американская мечта» (1975). Можно ли обрести счастье на чужбине? И если, наконец, ценой компромиссов со своей совестью удается достичь материального благополучия, то счастье ли это?

В столе писателя еще пять завершенных и шесть неоконченных романов. Трудоспособности Нелсона можно позавидовать, ведь пишет он лишь в свободное от службы время (сейчас он работает в обществе, занимающемся проблемами миграции сельскохозяйственных рабочих).

— На литературные гонорары не прокормишься. Да и найти издателя почти невозможно: остросоциальные вещи — не порнография, больших барышей не приносят. Вкусы американской читающей публики оставляют желать лучшего.

— Следовали ли вы в своей литературной работе каким-нибудь образцам?

— Желание писать захватило меня в пятнадцать лет. Еще будучи школьником, я специально прослушал курс лекций по американской литературе. Моим кумиром был Уолт Уитмен. Неудивительно, что первыми моими произведениями стали стихи. Потом зачитывался Хемингуэем, Стейнбеком. Видимо, они тоже оказали влияние на формирование моих литературных пристрастий. А знакомство с судьбой американского революционера и публициста Томаса Пейна помогло мне осознать значение классовой борьбы и роль публицистики.

Природа не наделила меня особой усидчивостью, поэтому в юношеские годы труд писателя представлялся мне нескончаемой чередой романтических путешествий. Самодисциплина появилась значительно позже.

В прозе я начал с рассказов. Их более шестидесяти. Многие построены на воспоминаниях детства. Один из них, в частности, о том, как наша семья лишилась фермы и виноградника.

А первый роман я написал в двадцать два года. Собственно, не роман, а скорее, повесть о моей работе на рыболовецком сейнере Примерно в это же время я познакомился с творениями великих русских писателей: Достоевского, Тургенева, Горького. Они еще больше утвердили меня в том, что избранный мною путь — правильный.

Если говорить о моем литературном стиле (по правде говоря, я не вполне уверен, что он у меня есть), то несомненно влияние Хемингуэя. Даже по сей день я ловлю себя на том, что стоит мне перечитать его произведения, как потом я несколько месяцев невольно пишу «а-ля Хемингуэй».

Что касается тематики, то здесь мне ближе Стейнбек, особенно «Гроздья гнева». Впрочем, не стоит думать, что классовая борьба фермеров, сезонных рабочих — моя единственная тема. У меня были и психологические зарисовки, писал я и о любви.

Сейчас работаю над сценарием для Фрэнсиса Копполы. Месяца три назад я показал свои работы его представителям в Сан-Франциско. Книги вроде бы понравились, но мне вежливо дали понять, что «в ближайшее время экранизировать их не представляется возможным». Я счел было разговор оконченным, но они неожиданно предложили мне написать сценарий о рабочем движении. Если сценарий будет принят, гонорара хватит, чтобы года два посвятить исключительно литературе. Тогда непременно вернусь к неоконченному роману об организации профсоюзного движения среди фермеров и сельскохозяйственных рабочих. Видно, роман получится внушительных размеров, как-никак с профсоюзной деятельностью связана большая часть моей трудовой жизни.

И. БАГРОВ

Сильвана Де Видович

ИТАЛИЯ

Сильвана Де Видович — нередкий гость в Москве. Она — видный переводчик нашей литературы, входит в состав руководящего комитета Общества «Италия — СССР», большую работу ведет в Национальном синдикате писателей Италии.

— Какая область литературы вам ближе всего?

— Моя страсть — театр. Начинала я, увы, уже много лет назад, с перевода «Клопа» Маяковского. Вообще Маяковского очень люблю и считаю его необычайно актуальным, ведь проблема мещанства, обывательщины и сейчас стоит остро. С этим и связываю успех, который имел спектакль, поставленный в Риме по этой пьесе.

Потом была большая монография о Мейерхольде, перевод книги Таирова и комментарии к ней. Много труда вложила в работу над переводом трилогии Сухово-Кобылина, которого считаю очень большим мастером. К сожалению, его вещи у нас пока не увидели сцены.

— А каково ваше отношение к нашей современной драматургии?

— Я внимательно слежу за современной советской драматургией и очень сожалею, что она мало известна в нашей стране. Итальянцы, уверена, с большим интересом посмотрели бы многие вещи Розова, Арбузова, Салынского... Мне, правда, по душе больше Вампилов, Рощин. Хочу перевести «Мы, нижеподписавшиеся...» Гельмана. Эта пьеса, на мой взгляд, могла бы многое дать итальянцам, прежде всего показав, сколь смехотворны утверждения наших «советологов» о том, что-де советская литература, драматургия в том числе,— это нечто застывшее и однообразное, «официально утвержденное». Очень обидно, что в условиях буржуазного общества так мало удается сделать для того, чтобы показать жизнь советского общества во всей ее сложности и диалектическом многообразии.

— А что из современной советской литературы переводится в Италии?

— Очень и очень мало. Буржуазные издательства неохотно берут советских авторов. Но последние годы принесли итель-

янцам немало «открытий». Это — Чингиз Айтматов, ныне бесспорно один из самых популярных советских авторов в Италии, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Валентин Распутин, Василий Шукшин. И все же это, безусловно, лишь капля в море, если иметь в виду хотя бы тот факт, что каждая из национальных республик СССР дала в последние годы по крайней мере несколько авторов, чье творчество имеет общемировое значение.

Подводя итог, могу со всей определенностью сказать: сегодня, как и прежде, советский читатель гораздо лучше знает современную итальянскую литературу, нежели итальянский — советскую.

— Нам известно, Сильвана, что в Италии в настоящее время происходит своеобразный бум литературы публицистической. Что является здесь наиболее типичным?

— Это разнообразные интервью, которые дают друг другу писатели, ученые, журналисты, причем поднимаются в них самые больные проблемы нашего общества, наркомания, к примеру; это зачастую просто блестящие биографии наших современников. Пример тому — книга Сичильяно о Пазолини. Это, наконец, комментированные подборки писем читателей в различных массовых изданиях. Необычайный успех имела книга Беллотти «С точки зрения девочек», посвященная такой острой для Италии проблеме, как феминизм.

— А как вы сами относитесь к этой проблеме?

— В общем и целом положительно. Тот факт, что впервые женщины активно вторгаются в жизнь общества на всех его уровнях, для такой страны, как Италия, необычайно важен. Рушатся десятилетиями насаждавшиеся представления о том, что женщина — лишь «хранительница домашнего очага», которая если и получает образование, то лишь для того, чтобы более «квалифицированно» заниматься детьми. Сегодняшние молодые итальянки в массе своей наконец обрели человеческое достоинство, и даже больше того — достоинство гражданское, сознание политической, подчеркиваю, политической ответственности за судьбы своей страны. Это с особой силой проявилось во время борьбы за введение в Италии института развода, за право на аборт. Сейчас кое-кто пытается утверждать, что поскольку время таких, затрагивающих подавляющее большинство женщин, битв прошло, то и «феминистское» (я употребляю это слово только в позитивном значении) движение исчерпало себя Абсолютно неверно! Сейчас борьба переносится на новый и еще более сложный уровень — внутрь семьи, внутрь домашнего уклада, где привычки, образ мышления, система отношений все еще очень консервативны.

Разумеется, развитие феминистского движения. как и всякого нового массового движения, не обошлось без эксцессов, принимавших порой прямо-таки «фольклорный» характер. Я имею в виду бурные манифестации против мужчин вообще, за создание организаций «для одних лишь женщин». Кстати, таких организаций появилось много, но искусственность подобных формирований проявила себя очень скоро.

В настоящее время, на мой взгляд, в феминистском движении происходит процесс очищения от всего наносного, носящего скорее эмоциональный характер, отработка требований, соответствующих общим целям той борьбы, которую ведут демократические силы Италии.

— Ваша основная профессия — преподаватель русского языка, и трудитесь вы в знаменитом лицее «Мамиани». В 60-е годы практически не проходило и дня, чтобы газеты не писали об этом учебном заведении — «Учащиеся заняли лицей», «Полиция против учащихся. Применены слезоточивые газы». Вы, конечно, помните все это...

— Разумеется. Если не слишком углубляться в анализ проблем студенческого движения вообще, проблем, которые в лицее «Мамиани» в свое время концентрировались, как в фокусе, отмечу следующее. Сейчас жизнь лицея спокойнее. Но это не то спокойствие, о котором так мечтают многие буржуазные социологи, утверждающие, что «взрыв» конца 60-х — начала 70-х годов — дело прошлого, что нынешние молодые достаточно-де «поумнели», чтобы не идти больше на баррикады. Поумнеть-то они поумнели, но совсем не в том смысле, в каком это хотелось бы правящим кругам.

Сегодня, на мой взгляд, учащиеся и студенты все больше отдают себе отчет в том, что учеба есть учеба и знания, истинные и необходимые, не приобретаются в ходе схоластических дискуссий о полезности тех или иных разделов программы. Эти качественные сдвиги мы, преподаватели, ощущаем с особой силой. Ведь как было раньше? Чтобы прослыть «прогрессивным» педагогом, достаточно было обращаться ко всем на «ты», делать из лекций игру, смеяться и превращать в шутку все проявления новой «свободы», в том числе и сквернословие, и марихуану, и... Впрочем, обо всем этом в вашей печати писалось немало.

Сегодня я не могу войти в класс к своим ученикам без серьезной подготовки, я не могу говорить о чем-то вообще. Я вижу у них искреннее стремление к знаниям, увлеченность, если хотите. И это ко многому обязывает. Задача моя не проста. Ведь есть официальная программа, дающая определенный набор знаний. Но как добиться, чтобы, овладевая ими, школьники научились мыслить критически, сопоставлять полученное на занятиях с реальной жизнью, с ее проблемами? Ведь все это происходит в Италии, где у каждого преподавателя свои взгляды на науку, жизнь, политику. Как добиться, чтобы возобладали именно твои идеи? Ведь я коммунистка и была, есть и буду убеждена, что всякие разговоры о школе вне политики — это чушь.

Меня порой упрекают в чрезмерном оптимизме относительно настроений учащихся, их тяги к знаниям. В какой-то мере это верно. Студенческое движение и ныне не развивается по прямой, во всяком случае, не по той прямой, за которую борются левые силы. По-прежнему много трудностей, рецидивов «детской болезни» левизны. И все же... я — оптимистка.

А. ВЕСЕЛИЦКИЙ

Среди книг

Издано в СССР

КРИЗИС МАНИПУЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

П. С. Гуревич. Буржуазная идеология и массовое сознание. Москва, «Наука», 1980.

Совсем не так уж много воды утекло с тех пор, как ведущие западные философы и социологи громко возвестили о «закате идеологий», имея в виду, что в век НТР с его нивелирующими тенденциями будто бы отпадает необходимость в идеологиях, соответственно утрачивает значение и борьба между ними. Сегодня те же самые теоретики — Б. Белл, Р. Арон, С. Липсет, Э. Шилз и другие — отстаивают уже прямо противоположный тезис: о «возрождении идеологий». Правда, реальная идеологическая ситуация при этом обычно искажается: или, например, утверждают, будто в настоящее время складывается некое среднеарифметическое «глобальное сознание», или, наоборот, имеют в виду активизацию местнических, групповых и тому подобных «микроидеологий». Но уже тот факт, что идеология, как таковая, «восстановлена в правах», сам по себе показателен: чем дальше, тем яснее становится, что сознанием «рядового человека» буржуазного общества нельзя манипулировать до бесконечности, нельзя отучить его думать.

Буржуазные теоретики, таким образом, оказываются перед необходимостью усиленно «мозговать» над вопросами идеологии: если буржуазия желает попытаться сохранить господство над умами, она уже не может обойтись без теории, без новых идей. Книга советского социолога П. С. Гуревича знакомит читателя с широким спектром идейных течений, концепций, старых и новых, созданных западными философами и социологами, с тем, как они используются пропагандой, в каком виде идеологии доходят до сознания масс.

Как показывает автор, буржуазный аппарат идеологии и пропаганды состоит из нескольких «этажей». В верхнем из них помещается, так сказать, «мыслильня»: здесь создаются доктрины, в полном объеме понятные лишь немногим посвященным. Ниже «этажом» те же доктрины распространяются в форме дайджестов, то есть в упрощенном варианте; здесь обслуживаются широкие круги интеллигенции, функционеры политических партий, учащаяся молодежь и т. д. Еще ниже располагаются владения массовой пропаганды: здесь идеи переводятся на язык образов, сообщений, рассчитанных на эмоциональный отклик. Какими отношениями связаны между собой «этажи» — об этом читатель узнает из книги Гуревича, впервые обстоятельно исследовавшего данную (чрезвычайно актуальную, как это нетрудно догадаться) проблему.

Если раньше буржуазные теоретики приписывали верхнему «этажу» (то есть самим себе) едва ли не всесилие, то в последние годы они были вынуждены круто изменить свои суждения на сей счет. Массовое сознание оказалось далеко не столь податливым, как было принято думать. Практика манипуляции переживает кризис — сегодня это признают, кажется, все ведущие западные социологи. Заметим, что данное обстоятельство отнюдь не умаляет роли «мыслильни», напротив, повышает ее; поскольку «внизу» проявляют непокорство, постольку «наверху» удваивают усилия, чтобы добиться желаемого эффекта.

В поисках ответа на вопрос, как возникают и на чем держатся идеологии, буржуазные теоретики обращаются к внутреннему миру человека. Исходной в этом плане оказывается для них концепция итальянского социолога В. Парето, созданная еще в начале нашего века. Парето сосредоточил внимание на том факте, что мировоззренческие доктрины и представления о них, бытующие в общественном сознании, не тождественны друг другу. Так, не тождественны теология и религия, законы и правовые представления, нормы морали и практические правила поведения; первые пред-

ставляют рациональные конструкции, тогда как вторые всегда заключают в себе элемент иррационального и эмоционального. Парето, однако, пришел к ложному выводу, будто именно инстинкты и чувства первичны и составляют основу идеологии. Потому, дескать, что иррациональное всегда нуждается в логическом обосновании, на базе институтов и чувств возникают лжерационализации, псевдообъяснения, мифы.

От этой-то концепции отталкиваются многие современные буржуазные исследователи. Или они видят в идеологии «конденсацию» массовых умонастроений, рационализированное выражение изначальных, глубинных, аффективных влечений человека, или рассматривают ее как искусственное теоретическое построение, оперирующее абстракциями и потому принципиально враждебное обыденным представлениям. В обоих случаях зачастую делается тот вывод, что все идеологии по-своему хороши или, наоборот, по-своему плохи, и, следовательно, заранее отвергается возможность того, что идеология может быть истинной. Антимарксистская, антикоммунистическая направленность подобных теорий достаточно очевидна.

Критерий истинности идеологии, напоминает автор, состоит в том, какую историческую роль играет класс, ее породивший. Класс, идущий в авангарде истории, создает научную идеологию, основанную, по словам В. И. Ленина, на всем материале человеческого знания, абстракции, которыми она оперирует, наполнены конкретным содержанием и способны мобилизовать духовную, эмоциональную энергию масс и направить ее в нужном направлении.

Сыгравшая свою историческую роль буржуазия уже не в состоянии выдвинуть никаких новых идей, которые бы могли «зажечь» массы. Отсюда ухищрения буржуазной пропаганды найти какие-то окольные пути к сердцу «массового человека». Примером может служить так называемая «социологическая пропаганда», как ее окрестил французский социолог Ж. Эллюль. Речь идет о таком виде манипуляции, при котором идеи, как таковые, вроде бы даже и не затрагиваются, а стараются произвести впечатление конкретными «соблазнительными» приметами буржуазного образа жизни, вернее, его потемкинскими деревнями. Это мир стопроцентного комфорта, ярких красок, полированных плоскостей, деланных улыбок и «равных возможностей»,— короче говоря, это рекламный облик буржуазного образа жизни, рассчитанный как на «внутреннее» потребление, так и на «внешнее»; проникая в поры сознания, он исподволь, но весьма настойчиво внушает мысль о превосходстве капитализма.

Отметим вместе с Гуревичем, что и Эллюль, и некоторые другие западные мыслители выступают как критики буржуазной пропаганды и как поборники гуманизма, и тем не менее та же буржуазная пропаганда обращает их теории себе на пользу. Да, в «мыслильне» сидят не только апологеты, но и критики, хотя бы и не последовательные и связанные с «казенной» мыслью многими ниточками; их изыскания, однако, объективно способствуют совершенствованию (или исправлению) приемов и методов манипуляции. Та же «социологическая пропаганда», например, была описана Эллюлем как уже сложившаяся практика и как таковая была им осуждена; но его наблюдения помогли ей, «социологической пропаганде», так сказать, осознать себя, стать более зрелой, более изощренной. Машина пропаганды, таким образом, «перемалывает» даже враждебные по отношению к ней теории — что, однако, не спасает ее, как уже было сказано, от сбоев.

Все чаще случается — и об этом тоже говорится в книге Гуревича, — что верхний «этаж» непосредственно выходит на широкую публику: ведущие буржуазные философы и социологи выступают в изданиях, рассчитанных на массового читателя (порою весьма сомнительных, вроде, например, журнала «Плейбой»), принимают участие в телевизионных и радиодискуссиях и т. д. Это одна из характерных примет времени: «рядовой человек» тянется к теоретической мысли, к ее первоисточникам. Было бы небезынтересно разобраться, в каком виде приходят к нему идеи ведущих теоретиков, особенно критически настроенных— ибо даже при непосредственном изложении идеи эти так или иначе препарируются: к примеру, ведущий в радио- и теледискуссиях обычно искусно направляет их ход, подхватывает одни мысли, затушевывает другие, искажает третьи.

Интерес к теории — знамение века НТР. Сторонники «заката идеологий» (в особенности те из них, что принадлежат к неопозитивистскому, или сциентистскому, направлению в социологии) полагали, что научно-техническая революция как бы походя решит все общественные проблемы и что поэтому такие вещи, как мировоззрение, мораль, утратят былое значение — их место займет наука, «технический разум». С помощью этих последних общественный механизм будет отлажен таким образом, чтобы все составляющие его колесики исправно вращались и друг друга не царапали (то есть фактически науке, «техническому разуму» отводилась роль надстройки над буржуазной идеологией). «Заката» вопреки прогнозам так и не произошло — НТР тут оказалась ни при чем,— зато вырос интерес к общественным наукам; нижний «этаж» пытается самостоятельно разобраться в трудной алгебре идеологических доктрин, все менее доверяя набившим оскомину стереотипам официальной пропаганды.

Круг вопросов, о которых идет речь в книге Гуревича, широк и сложен (мы, естественно, могли коснуться лишь некоторых из них). Борьба идеологий в наши дни обостряется и принимает новые формы, соответственно усложняются приемы и методы буржуазной пропаганды. Кризис манипуляторства вынуждает соответствующие буржуазные агентства изыскивать все более изощренные средства уловления душ; все чаще они превращают борьбу идей в психологическую войну, которая, в свою оче-

редь, ведет к политической и военной конфронтации капитализма с социализмом. Исследование Гуревича помогает разобраться в существующей идеологической ситуации, в расстановке сил, сложившейся на различных «этажах» буржуазного идеологическо-пропагандистского комплекса,— в этом его полезность и своевременность.

Ю. МИХАЙЛОВ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Иво Андрич. Травницкая хроника. Проклятый двор. Барышня. Заяц. Послесловие О. Кутасовой. Кишинев. «Литература артисикэ», 1979.

Творчество Иво Андрича (1892—1975) отмечено неизменным и пристальным интересом к многовековой жизни боснийского народа. Подобно многим большим художникам двадцатого века Андричу довелось принять непосредственное участие в истории — в двадцатидвухлетнем возрасте он был арестован в числе молодежи, близкой к организации «Молодая Босния» которая подготовила убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда. Первую мировую войну будущий писатель провел в австрийских тюрьмах и ссылках. Тюремные дневники (освободили его в 1917 г.) стали материалом для первых его книг лирической прозы «Ex Ponto» (1918) и «Смятение» (1919).

Мотив связи времен, пройдя сквозь все творчество Андрича, с особой силой выразился в вышедшем посмертно, в 1976 году, сборнике новелл «Дом на отшибе»,— вместе с незавершенным романом «Омер-паша Латос» и двумя книгами критической и лирической прозы он стал, по мнению критики, «новой главой в творчестве писателя». Этот сборник, каждая из новелл которого по-своему выражает заветную для Андрича мысль о неповторимости любой человеческой жизни и ее необходимости в общей цепи,— последнее слово художественных размышлений писателя о человеке и истории Боснии, начатых рассказами 20-х годов.

Прочную известность, быстро перешагнувшую рубежи Югославии (в 1961 году Андрич стал лауреатом Нобелевской премии), принесли ему три романа, написанные во время второй мировой войны,— «Травницкая хроника», «Мост на Дрине» и «Барышня». Первые два — исторические. «Травницкая хроника» охватывает период с 1807 по 1814 год. В те времена Травник (в нем писатель родился) — глухое захолустье Османской империи, скученный, стиснутый горами городок, поделенный на четыре враждующие веры, населенный «страдальцами двоякого рода: мучителями и мучениками». Таким, во всяком случае, представляется Травник просвещенному европейцу начала прошлого века.

Не таким, однако, представляется он самим травничанам. Даже в странном и весьма неудобном расположении города — домишки, лепящиеся по склонам глубокой ложбины, спускаются вниз, к реке Лашве,— они видят «нечто необычное, оригинальное и горделивое». Почти не покидая своего сумрачного ущелья, рождаются, живут и умирают травничане — хилые на вид, но выносливые, осторожные, скрытные и гордые. У них особый нрав, особый образ — не жизни, а выживания. Травник не любит новшеств, не ждет ничего хорошего от перемен, предпочитает, чтобы история — в этих краях она всегда текла кровью — совершалась где-нибудь в другом месте.

Роман имеет подзаголовок «Консульские времена» — это тревожные, беспокойные, надолго запомнившиеся травничанам годы, когда мировые события вплотную подступили к их забившемуся в щель городишку: в соседней Сербии — восстание Карагеоргия, в Далмации — войска Наполеона, в Константинополе — государственный переворот. Свержение просвещенного султана-реформатора Селима III, пытавшегося «подновить» одряхлевший механизм Османской империи, сказывается на Травнике частой сменой визирей — ненавистных константинопольских чужаков. К «чужакам» собственным прибавляются чужаки иноземные: по Травнику ползут тревожные слухи о прибытии каких-то загадочных «консулов» — француза и австрийца.

Андрич сводит Запад и Восток на тесной травницкой «арене», два во многом противоположных миропонимания, оказавшись в провоцирующе тесном контакте, «просвечивают» друг друга с резкостью почти гротескной. Однако не в этом для автора главное и даже не в самих по себе сценах боснийского политического быта, разыгрываемых перед читателем и невольно пародирующих где-то вдалеке идущие парадные спектакли истории — это всего лишь «консульские бури в стакане воды». Его интересуют исполнители, то, насколько они способны выйти из предуказанной роли. Главные герои романа — представители власти, не очень большой — каждый только винтик в своей государственной машине,—но и не такой уж маленькой. Андрич в своем творчестве много внимания отдал проблеме власти и всегда стремился рассмотреть за «функцией» человека. Травницких чиновников, и восточных и западных— а в Боснии похозяйничали и те и другие,— писатель изучает вдумчиво, подробно, некоторых даже с участием. Андрич вообще умеет быть объективным, не впадая в бесстрастие, и редко кому из героев отказывает в художественном сочувствии, стараясь в каждом отыскать нечто жизнедостойное и человечески ценное.

Самый человечный в «Травницкой хронике»— Давиль, он и преобладает над другими персонажами романа. Французский консул — типичный «средний человек», часто ошибающийся, не способный постигнуть точный смысл совершающихся событий; заурядность героя, смертельно уставшего от своей бурной эпохи и мечтающего о «длительном умиротворении», подчеркивается на протяжении всей книги. Он как раз из тех, кто, по выражению Щедрина, «ждет охранного листа на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование». Русский сатирик, немало

горьких слов сказавший в адрес «срединности», тем не менее считал «среднего человека» исторически существенным, не столько сознательную его позицию — она могла быть и вынужденной,— сколько нравственный его, если можно так выразиться, состав, «живучесть в нем человеческого естества». В Давиле с его «нравственными реакциями, неизменно живыми и бодрствующими», хотя и не всегда верными, человеческое очень «живуче». Старательно исполняя отведенную ему историей роль, небольшую, но трудную и неблагодарную, тратя свою жизнь на вечные «исправления» своих путей, которые вдруг оказываются «беспутьем», Давиль чувствует личную ответственность перед каждым человеком, с которым его сталкивает судьба, стараясь, где может, помешать окружающей жестокости. Собственно, и «средний путь», о котором мечтает французский консул, для него не только безопасный, но и справедливый, оставляющий человеку «то достоинство, без которого нельзя жить». Поданный с мягкой иронией и несомненной симпатией, Давиль предстает в романе своего рода воплощением нравственного корректива, вносимого человеком в течение событий.

Сколь важны для писателя эти человеческие «поправки» на историю, свидетельствует по контрасту другой герой «Травницкой хроники»—сменивший фон Миттерера новый консул, фон Паулич, бестрепетный, безошибочно действующий «автомат Австрийской империи». В романе он стоит особняком: если других персонажей, как бы дурны они ни были, автор дает возможность увидеть не только извне, но и изнутри, постигнуть их внутренний закон, то вылощенный красавец, подполковник, показан исключительно с внешней стороны. И какое, собственно, «нутро» может быть у человека-машины, все жизненные отправления совершающего «естественно и гладко, как счет без остатка». Фон Паулич в романе не совершает ничего жестокого, он умен, образован, у него четкие понятия о чести и долге австрийского офицера. Совершенно, однако, очевидно, что эти понятия легко и безболезненно, без всякого внутреннего сопротивления, как устаревшие детали, могут быть заменены другими, противоположными. Даже на фоне средневекового варварства, которого много в романе, образ этот производит жуткое впечатление, сразу вспоминается, что «Травницкая хроника» писалась в сорок втором году, в Белграде, оккупированном фашистами.

В травницких пришельцах, несмотря на все их различие, есть и нечто общее: все они в той или иной мере чувствуют себя, как выразился меланхолический визирь Ибрагим-паша, «изгнанниками, заточенными среди страшного народа». Этот «страшный народ» — почти не замечаемый расположившейся в центре романа травницкой верхушкой и предстающий перед читателем галереей ярких, колоритных образов — остается непознанным и непонятным даже для смелого, объективного, старающегося быть справедливым Дефоссе, хоть он и пишет книгу о Боснии, «основанную на самой реальной реальности». И не случайно над исследованием умного француза (книга такая, написанная французским автором, прототипом героя, действительно была — история создания романа интересно освещена в содержательном послесловии О. Кутасовой) автор ставит предостерегающий знак одной вскользь упомянутой, но выразительной деталью: мысли молодого человека о понравившейся боснийской девушке, чья странность мучает его как неразрешимая психологическая загадка, выливаются в гладкий и холодный пассаж о «хорошем сложении и белизне кожи» обычно высоких боснийских женщин. Таким же непостижимым, как эта девушка, остается для прагматика Дефоссе и Травник: само имя города напоминает ему «название какой-то таинственной болезни или магическую формулу, которую трудно запомнить и легко забыть».

Отбыв свой срок, консулы разъезжаются, а Травник остается один на один со своей жестокой судьбой, обернувшейся на сей раз новым визирем — Силиктар Али-пашой. Властитель крутой и лютоватый, он нагрянул без двора и гарема, с войском устрашающего вида и двумя полевыми пушками и сразу же повел себя в Боснии, «как в покоренной стране, взимая и с турок и с христиан», «добиваясь от всех без различия страха и повиновения». Мы оставляем травничан в тревожной атмосфере готовящегося против тирана бунта, и стихия народного мятежа — подпочвенная, время от времени вырывающаяся на поверхность струя исторической прозы Андрича — как бы переливается из «Травницкой хроники» в следующий, соседний по времени и родственный по материалу, роман «Мост на Дрине».

Роман носит подзаголовок «Вышеградская хроника», который определяет не столько его жанр, сколько пластику повествования, гармонизирующую местами жестокий и пронизанный контрастами боснийский «материал». Обращаясь к жанру «Моста на Дрине», критика нередко пользуется отрицательными определениями — «не роман», «не историческая хроника». Действительно, в исторических романах Андрича форма както не ощущается, словно бы вырастая органически и незаметно из способности писателя насыщать пространство временем. Если в «Травницкой хронике» в тесную лощину стянута и в отраженном виде представлена бурная эпоха наполеоновских войн, то в «Вышеградской хронике» мост длиною в триста лет перекинут через сюжетный поток, вобравший в себя множество людских судеб — от первого вышеградского бунтаря крестьянина Радисава, посаженного на кол турецкими властями, до проникнутого национально-освободительными идеями поколения молодых людей, сверстников автора.

Романы Андрича, воссоздающие реальное содержание боснийской истории во всем ее противоречивом многообразии, в противоборстве ее движущих сил,— результат кропотливого подготовительного труда. За внешне безыскусственной, свободной их формой

скрывается глубокая продуманность и тщательный расчет: из каждого эпизода извлечен исторический корень, известным событиям возвращен их человеческий смысл. В этих романах сошлись многие темы и мотивы исторических рассказов писателя. Андрич — мастер исторической новеллы; в сборнике представлена одна из лучших (по объему это скорее повесть) — «Проклятый двор» (1954), обнаруживающая глубокое внутреннее родство с его романами. Безумный юноша, о котором рассказывает герой повести — мудрый и незлобивый монах фра Петар, заставляет вспомнить слова одного из героев «Травницкой хроники» Марио Колоньи о людях, живущих «на грани двух миров», «распятых». И сама Босния предстает со страниц Андрича распятой — между Востоком и Западом.

Умение видеть жизнь в исторических, «процессных» категориях не покидает писателя и когда он обращается к современности — в романе «Барышня», например, или в повести «Заяц». Если в романе зловеще-гротескный образ барышни-ростовщицы, погубленной фанатичной страстью к накопительству (несмотря на определенную условность, образ этот дан не в сатирическом, как можно было ожидать, а скорее в трагическом освещении — в выжженной душе героини еще теплятся до неузнаваемости изуродованные остатки человеческого), символизирует историческую обреченность буржуазного миропорядка, то повесть — выражение веры писателя в исторические потенции народа.

«Заяц» написан в 1950 году, после «Травницкой хроники» и «Моста на Дрине», конечный смысл которых — поиски исторически деятельного человека. Доверие к реальным, невыдуманным людям, пропущенное сквозь испытующее горнило многострадальной боснийской истории (как бы проверяя себя еще раз, Андрич в том же 1950 году вместе с «Зайцем» пишет исторический «Рассказ о кмете Симане», о бунтаре-одиночке, опередившем свое время, воплощающем зиждительное начало истории), привело к созданию образа борца-антифашиста, погибшего тихой, но героической смертью. «Маленькая, неприметная песчинка в водовороте бурных событий» («Заяц» — кличка героя, в начале повести мелкого чиновника, через которого «переступают» все). Исидор Катанич, как бы сфокусировавший в себе лучшие черты прежних, «невоплощенных» героев Андрича, в тяжкие годы войны сознает, «как мало обязанностей, возложенных на человека, он выполнял». Чувство «мучительного долга» перед жертвами фашизма, страстное «желание не только осмыслить происходящие события, но и хотя бы в самой скромной степени влиять на их ход» приводят героя в ряды Сопротивления, где благодаря бесстрашию, обретенному в ходе напряженной внутренней работы и скрытому под добропорядочной чиновничьей внешностью, он делается прекрасным связным. Приобщение человека к истории происходит прямо на глазах читателя со всей убедительностью точно выписанных психологических подробностей — каждый поступок героя вырастает из сложного и тонкого переплетения разнообразных побуждений, мыслей и чувств. «Заяц» — яркая творческая удача писателя, сумевшего показать присутствие времени в отдельном человеке, отразить историческое становление нового мира; для героя, сблизившегося с коммунистами, антифашистская деятельность — этап в борьбе за социальное преобразование мира через обычную и во многом типическую судьбу.

Сборник произведений Андрича дает представление и о своеобразии художественной манеры писателя, о слиянии двух стихий — изобразительной и аналитической — и о ярко выраженной гуманистической направленности его творчества. Принимая Нобелевскую премию, напоминая об ответственности каждого художника за все им написанное, Иво Андрич произнес слова, точно определяющие его собственную творческую установку: «...рассказчик и его творение не служат ничему, если тем или иным способом не служат человеку...»

Н. СМИРНОВА

КНИГА РАЗДУМИЙ

Современная шведская поэзия. Перевод с шведского. Составители Б. Ерхов и А. Парин. Москва, «Прогресс», 1979.

На поэтической карте мира, создаваемой и постоянно уточняемой усилиями наших ученых, поэтов и переводчиков, остается все меньше белых пятен. И поразительно, что многие «земли неведомые» открываются буквально где-то рядом, в то время как страны отдаленные и экзотические известны нам порой не в пример лучше. Так — до выхода этой книги — обстояло дело с поэзией шведской, так в значительной мере обстоит оно со скандинавской поэзией в целом, которую мы знаем куда приблизительней, чем, скажем, латиноамериканскую или даже австралийскую.

На то, помимо игры случая, есть свои причины. Шведская поэзия не дала в XX веке таких властителей дум, какими стали Т. С. Элиот для англоязычного мира или Г. Бенн для германоязычного. Правда, популярность Нильса Ферлина была воистину всенародной, но по характеру своему она скорее сродни успеху французских шансонье. Не знала шведская поэзия и своего звездного часа, не выделилось в ней и ведущего шумногласого направления — спор между экспериментаторами и традиционалистами, ей несомненно присущий, достаточно традиционен и сам по себе. Говоря о вкладе шведов в мировую культуру XX века, вспоминаешь прозу Сельмы Лагерлёф и Пера Лагерквиста, кинематограф Ингмара Бергмана, но никак не поэзию.

Не последнюю роль здесь играет, конечно, и убеждение в том, что поэзия приходит в мир «в его минуты роковые» и в его роковых точках. Так исключительный интерес к испанской поэзии получил мощный импульс в годы национально-революцион-

ной войны в Испании, так зазвучали по-русски стихи немецких антифашистов, польских, чешских и французских поэтов Сопротивления. А от пресловутого шведского благополучия как-то априорно тянет скукой. И от шведской поэзии ждешь воспевания скромной прелести северного пейзажа, скромной доблести рыбака и землепашца, да разве что еще стихов о любви, разумеется, по-скандинавски сдержанной. И тем более всего этого ждешь, пока шведской поэзии не знаешь.

Ценность настоящей книги прежде всего в том, что она разбивает эти стереотипы. Все, что ожидал найти — и сосны, и пахарей, и мореходов,— здесь находишь, но главный упор сделан составителями и переводчиками на духовные искания, напряженный и мучительный поиск смысла и места в жизни, в мире, в истории человечества и страны. Разумеется, этот выбор сделан самими поэтами — и шведская поэзия XX века в своих лучших проявлениях именно такова,— а заслуга составителей в том, что они не пошли по легкому пути превращения национального колорита, служащего только фоном поэзии, в самоцель. Книга раздумий о современном мире — только такой и может быть антология современной поэзии. Такую книгу мы и получили.

В «Современной шведской поэзии» представлены тридцать поэтов, многие из которых творчески активны на протяжении десятилетий — перед нами, по сути, портрет шведской поэзии XX века. Каковы же ее черты?

Когда читаешь книгу подряд, замечаешь глубокий водораздел, рассекающий ее надвое. Стихи Юханнеса Эдфельта, Гуннара Экелёфа, Эрика Линдегрена. Песни познания, вытесняющие и, очевидно навсегда, песни утраченного неведения. Быт, сметаемый дыханием Бытия. Слово, дематериализирующееся, как и весь предметный мир, по законам апокалипсического видения:

«...буквы дробить между зубами зевать
гласные звуки огнь ярится в аду блевать
и плевать ныне или совсем никогда я и
тошнота ты или совсем никогда тошнота
ныне или совсем никогда».

(Гуннар Экелёф «Сонатная форма».
Перевод А. Парина)

Сходство процитированного стихотворения со знаменитой «Фугой смерти» австрийского поэта Пауля Целана подсказывает и причину перелома, потрясшего и преобразившего шведскую поэзию: опыт противостояния народов Европы фашизму, бессильное благородство гуманистических идеалов и мучительная ностальгия по ним.

...когда перегниют в золу и прах
приклады палачей и крысы камер,
пути комет и излученья звезд
все так же будут говорить о павших,
о брошенных в огонь, но не сгоревших,
об изуродованных, но без ран,
и не от ужаса глаза прозреют,
а мертвые, восстав, заговорят.

(Эрик Линдегрен «Мертвые».
Перевод О. Чухонцева)

Неучастие в битве против фашизма болезненно ощущается шведскими поэтами как косвенное соучастие в его злодеяниях. Страшный сон — кого-то терзают у тебя на глазах, а ты не в силах помочь,— достаточно часто переносимый на экран западными кинематографистами, оживает и в стихах шведских поэтов:

Все ощущают внезапный страх,
ощущают: что-то случилось,—
есть исходная точка у темных кругов
на воде,
возгласы рвутся с губ, зовущих на
помощь.
Но маклер ровняет стопки монет золотых,
переплетаются флаги — запретные и
законные,—
женщина, свернувшись калачиком,
рядом с мужчиною спит.

(Вернер Аспенстрём «Крик».
Перевод А. Парина)

Прямая публицистичность прорывается в послевоенные годы и в лирику дотоле камерных поэтов старшего поколения, заново осмысляется исторический опыт. Последнее особенно наглядно в двух прекрасных притчах Эверта Тоба — «Стена и книги» и «Сервантес»:

Борхес сказал
в блистательной книге,
что тень Китайской стены —
это тень властелина, весьма возжелавшего
вырвать с корнем все тридцать веков
культуры...

(«Стена и книги», перевод Юнны Мориц)

К лучшим образцам гражданской лирики, представленным в книге, несомненно, относится и «Элегия Пабло Неруды» Артура Лундквиста, вдохновенно переведенная П. Грушко:

...ты оказался беззащитным перед врагами,
с которыми
боролся всю жизнь, стал трофеем
омерзительных
триумфаторов, их безжалостного
глумления —
как змеи, своей ядовитой слюной они
замызгали страну перед тем,
как ее проглотить,—
был готов самолет, чтобы отвезти тебя
в Мексику,
но ты все откладывал час отлета...

Опыт, превращающий историю литературы XX века в «трагическую историю литературы» (термин швейцарского исследователя В. Мушга), затрагивает, разумеется, не только гражданскую лирику, он придает иное, более глубинное измерение и лирике медитативной:

Живут в бутыли сна озерно-лиловой
мужи и жены в спячке, и над
ними не властвуют бури. Вряд
ли нужен сон бессонному, спящему —
слово,
в горькую явь погружающее...

(Ларс Густафсон «Вариации на тему».
Перевод А. Парина)

и любовной:

Лишь миг. Мгновенье встречи,
все в свежести черемухи
и мальвы.

Лишь дух захватит
от тени лёта ласточки.
Ты устать не успел,
а стихи уже в прошлом.

(Ларс Энглунд «Тень ласточки».
Перевод Е. Суриц)

По сравнению с мужественной зрелостью шведской поэзии последних десятилетий «песни неведения», собранные в основном в начале книги, кажутся несколько пресноватыми и, главное, угаданными наперед, «вычисленными». Это в известной мере относится даже к Ферлину. Правда, Бу Бергман, стихами которого открывается книга, поэт, бесспорно, выдающийся, недаром его знаменитых «Марионеток» (в нашем сборнике «Кукол») перевел на немецкий Р. М. Рильке.

Переходя к разговору о переводе, необходимо оговорить жанровое и стилистическое многообразие современной шведской поэзии, а также присущую ей «веротерпимость»: новейшие формы экспериментального стиха мирнехонько уживаются в ней — сплошь и рядом в рамках творчества одного поэта — с традиционнейшей стариной. Обычно наши переводчики лучше переводят как раз традиционные стихи, верлибры же зачастую звучат подстрочником, порой даже испорченным подстрочником. Обычно — но не в этой книге! Здесь все произошло наоборот. Темпераментно и разнообразно звучат верлибры Ю. Мориц, А. Парина, О. Чухонцева, интересна и своеобразна работа Нат. Булгаковой и В. Тихомирова, изящно ведет непременную в современной западной поэзии «японскую партию» Е. Суриц. В то же время в стихах, переведенных правильными размерами, встречаются серьезнейшие огрехи: они сильнейшим образом отдают девятнадцатым веком, причем банальным девятнадцатым веком, мелькают в них и нечаянные аллюзии к творчеству русских поэтов, стремление к раскрепощенности порой оборачивается — ведь поэтика-то другая — элементарной неряшливостью.

Но поскольку в основном проблема перевода решена в книге удачно, эти шероховатости не мешают общей остроте восприятия. Однако обратить внимание на промахи нужно, потому что они, может быть как раз в силу своей нетипичности, симптоматичны. Не разучились бы мы, ища ключи к западной поэзии двадцатого века, переводить девятнадцатый!

Знакомство со шведской поэзией XX века состоялось. Ее образ, воссозданный средствами русского стиха, в целом достоверен, интересен и необычен. Но это образ именно поэзии, индивидуальности отдельных поэтов только намечены, творческий путь спрессован до размеров небольшой подборки. Что ж, такова природа таких антологий, таково их назначение. Надо поблагодарить всех, кто работал над книгой,— поблагодарить, в частности, и за то, что о беглости иного знакомства, например с Экелёфом, поневоле сожалеешь. Выпроваживая скучного гостя, не предлагаешь ему заходить почаще. Шведских поэтов хочется пригласить еще.

ВИКТОР ТОПОРОВ

Издано за рубежом

«ЧТОБЫ ЖИТЬ, НУЖНА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕСЛЕДУЕТ

Michel Piédoue. Hurler avec personne. Paris, Editions Gallimard, 1978.
Мишель Пьеду. Выть не с кем. 1978.

Роман французского писателя Мишеля Пьеду «Выть не с кем» не печатался в какой-либо из парижских газет со словами «продолжение следует» после каждого опубликованного куска. Книга вышла сразу целиком, и рассказанная в ней история, вернее, рассказанные в ней истории заканчиваются на последней странице. Заканчиваются, но их продолжение, мысль о том, что воссозданное в романе продолжает оставаться повседневной «жизнью» для многих и многих, число которых возрастает с каждым днем,— не дает читателю покоя. Возникает потребность еще раз перечитать книгу, теперь уже во вполне осознанных поисках, с желанием отметить «галочкой» те места, те строки, где таится надежда на какие-нибудь перемены.

Страницы все же останутся без таких отметок, но затем — когда и карандаш и книга будут снова отложены — мысль начнет подчеркивать в перечитанном что-то такое, что при первом «ошарашивающем» чтении уловить и тем более осознать, на мой взгляд, практически невозможно. Следует ли отнести эту «неуловимость» за счет недостаточной талантливости или литературной неискушенности автора? Напротив, книга свидетельствует о том, что перед нами «современный текст» в том смысле, который придает этому понятию в статье «Социология литературных текстов», опубликованной недавно в журнале «Пансе», Жан Дюбуа, профессор Льежского университета. «...Современный текст,— пишет он,— создает представление о социальной действительности, пользуясь скорее намеками, вызываемыми ассоциациями... и порождает сложную систему значений, вовлекающих в противоречивую игру многих уровней смысла».

Этот клубок значений не обязательно распутывать, но тогда мы останемся в пределах чтения, которое обозначается термином «потребление книги». Надо сказать, что помещенная на обложке романа Мишеля Пьеду аннотация настраивает читателя скорее именно на такой «потребительский» лад, в значительной мере упро-

щая и искажая содержание. «В городке под Парижем,— читаем мы,— сосуществуют два глубочайшим образом отличающихся друг от друга мира. Есть те, кто работает и располагает мебелью, женами, магазинами, машинами, желанием сохранить порядочность, и есть другие, безработные, они воруют и бесчинствуют. Кажется, никакая встреча между этими двумя мирами невозможна. Однако она происходит. Женщина, ненавидящая свою жизнь, увлечена циничным и ожесточившимся хулиганом-подростком; девушка, уличенная в краже с прилавка универмага, вынуждена выпутываться из лап «вышибал», блюстителей честности. На каждом шагу насилие, которое ничто уже не способно остановить...».

Уже первая строка этого разюме дезориентирует читателя, ставит его в такое положение, исходя из которого он скорее увидит соприкосновение «значений», а не их сплетение, таящее в себе истину. Нет, на страницах романа не два отличающихся друг от друга мира, а один, подобно тому как в физике мы говорим о сообщающихся сосудах, в то время как в действительности имеем дело с одним сосудом, части которого неотъемлемы и соединены между собой, если можно так выразиться, единством дна. Таким общим дном в книге является то, что принято называть духовным миром героев. Этот духовный мир низок, «подоночен». Таков, что любые вещи, происходящие в жизни, считаются «в порядке вещей», ибо — «плоды потребления» — почти никто из персонажей «Выть не с кем» не способен провести границу между вещью (предметом, товаром) и человеком. Различие в мирах, выведенных в книге, только в причинах, порождающих эту неспособность, эту бесчеловечность, но как бы ни были разнообразны причины, они сходны между собой, подобно животным, принадлежащим к одному семейству хищников.

Что руководит Мариан Дрюиде — «женщиной, ненавидящей свою жизнь»,— когда она, в отличие от сказанного в аннотации, не позволяет увлечь себя, а позволяет себе завладеть на некоторое время Жо, восемнадцатилетним «вуаю» (хулиганом)? В ее хорошо обставленной квартире есть все, и в том числе приобретенные не в магазине, а на рынке «нестандартные» предметы, которые Мариан охотно демонстрирует гостям. Когда «измена» Мариан перестает быть тайной, ее муж Ив говорит, что им надо обсудить создавшиеся проблемы. «Какие проблемы? — звучит в ответ,— этот мальчишка мне понравился, вот и все». «Он даже не красив,— объясняет она одной из знакомых,— он молод, и это все, что у него есть...».

По сути дела, нет никакой разницы между «жестом» Мариан и жестом шестнадцатилетней «праздношатающейся» Сесиль, прячущей за пуловер украденный шарфик,— и в том и другом случае это завладение понравившимися вещами. Жесты сходны, но вызвавшие их побуждения различны, ибо Сесиль похищает злополучный шарф не для себя, а для Жозиан, своей подруги, своей спутницы в путешествии по магазину. Этой мелкой кражи могло бы, однако, и не произойти, если бы за несколько минут до ее совершения один из посетителей магазина не предложил Сесиль удалиться куда-нибудь с ним вместе, а в ответ на ее отказ не обозвал бы девушку проституткой. Сесиль чувствует себя униженной и беззащитной, ей хочется снять это ощущение, чем в значительной мере и продиктован ее поступок, позволяющий предстать в глазах подруги «смелой и независимой».

Отказавшейся от навязываемого ей свидания Сесиль приходится, однако, быть уступчивее, когда уличивший ее в краже «вышибала» обещает разорвать составленный «протокольчик» в обмен на час-другой вечернего уединения. Потерявшая голову шестнадцатилетняя преступница не отдает себе отчета в том, что она делает, и, действуя по указаниям Жо, заставляет «вышибалу» привезти ее в машине на отдаленный пляж, где их поджидает банда подростков. Труп «вышибалы» с проломленным железными палками черепом будет обнаружен утром.

Спасение дорого обходится Сесиль, в ее подсознание прочно вписался душераздирающий крик убиваемого, и невидимые нити сообщничества связывают ее отныне с Жо. Ей предстоит опускаться все ниже и ниже, она как бы меняет кожу, и чем-то вроде символа этой перемены становится отданная ей Жо кожаная куртка, которую на ее глазах хулиганы в одном из переулков содрали с избитого ими сверстника. Он оказался легкой добычей и поплатился помимо всего прочего за то, что походил на человека, «имеющего какие-то дела, знающего куда идет». У Жо и его компании никаких нет дел, идти им некуда, чаще всего они целыми днями околачиваются в подъездах огромного нового дома, на одном из этажей которого проживает Дрюиде. Чем заполнить эти бесконечные часы безделья, когда в карманах нет денег не только на билет в кино, но и на билет в автобус, на пачку сигарет, на чашку кофе? Здесь, в полумраке первой лестничной клетки, не вынашиваются планы совершаемых затем диких бесчинств или преступлений, сюда просто возвращаются как бы инстинктивно для того, чтобы занять свое место на самой нижней ступеньке лестницы жизни и с ненавистью посматривать на ноги, сумки и сумочки тех, кто поднимается к кабине лифта.

Сюда, в эту «безвыходную проходную», следует прийти, на этих ступеньках следует посидеть, размышляя над вопросом «как рождается преступник», поставленным не так давно в одной из статей Жана Пинателя, крупного французского криминолога. «Я прибегнул,— пишет он,— к приему, несколько отличающемуся от обычно употребляемых в социологии: я решил исходить из личности преступника и постарался создать ее «модель» для того, чтобы вооружиться каким-нибудь инстру-

ментом в научном поиске». Модель Пинателя включает в себя четыре компонента: агрессивность как доминирующую черту характера и сопровождающие ее эгоцентризм, неуравновешенность и определенное аффективное безразличие, неразвитость инстинктов симпатии. «Из того факта,— пишет ученый,— что преступность столь интенсивно развивается в наши дни, приходится сделать вывод, что постиндустриальное общество в большей мере, чем прежде, благоприятствует этим компонентам нашей модели».

Если вернуться в подъезд и перебрать в памяти поступки, проступки и преступления, совершенные его завсегдатаями, то, не упуская из виду всех компонентов модели, предлагаемой Пинателем, прежде всего приходится задуматься над крайней неуравновешенностью и моральной «марионеточностью» юных персонажей книги Мишеля Пьеду Они не двигаются, а «дергаются», приводимые в своего рода транс невидимыми нитями жизни. И именно связь этой черты с уделом значительной части молодежи в постиндустриальном обществе писатель прослеживает наиболее четко. «...Преступник не способен организовать себя в потоке времени, на него воздействуют любые перемены обстоятельств,— пишет Пинатель. — И этот недостаток организованности во времени ведет к тому, что правонарушитель не считается ни с чем в своем прошлом опыте и перспектива наказания также не оказывает на него никакого воздействия».

С какой же силой должны эти факторы проявляться в тех случаях, когда «нестойкая личность» самим обществом лишена того организующего и дисциплинирующего начала, которым является труд, работа?

Надо отдавать себе отчет в том, что эта вырванность из времени, жертвой которой является каждый безработный, ставит перед писателем наисложнейшую задачу, когда он хочет проникнуть в психологию своих героев. Безработный почти в буквальном смысле теряет свое лицо. И не случайно скульптор, создававший символический памятник безработному, который минувшим летом был открыт на одном из митингов в Париже, создал фигуру, заслонившую лицо ладонями, что являет собой не просто жест отчаяния, а как бы попытку скрыть исчезновение каких-то черт, без которых лицо перестает быть лицом,— передать их отсутствие, их утрату ваятелю, если он не хочет ограничиться душещипательной риторикой, еще труднее, чем автору книги, романа.

Применительно же к героям Пьеду дело еще в бесконечной мере осложняется тем, что они совершают шаг, отделяющий безработность от преступности тогда, когда еще свое лицо не обретено, когда они еще не стали тем, что принято называть личностью, и поэтому, создавая образы Сесиль, Жо, автор не приобщает нас к их сознанию (нельзя приобщиться к тому, чего еще нет), а лишь демонстрирует моменты и формы импульсивного поведения.

Мы расстаемся с Жо, главным персонажем книги, в минуту, когда ему дома на глазах безразличного ко всему отца надевают наручники. Стали известны все его основные преступления: и организация убийства «вышибалы», и пытки, приведшие к смерти одинокого старика, у которого хотели вырвать деньги (старика, который по-дружески относился к нему и к Сесиль), и дикий погром, учиненный ночью в помещении детского сада, куда влезли, разбив предварительно окна. «Это неправда! Это неправда! Это неправда!» — кричит, отбиваясь от полицейских, Жо с таким неистовством, словно пытается своим криком, как обрывком цепи, как железной палкой, как брошенным в окно камнем вдребезги разбить все то, что было его жизнью и что по-другому, может быть в менее кошмарных формах, остается «правдой» для бесчисленных «детей подворотен».

В одном из своих недавних выступлений Жозиан Вуаян, деятель движения «Жёнесс коммюнист» («Коммунистическая молодежь»), очень четко охарактеризовала положение, в котором находятся французские юноши и девушки. «Молодежь,— сказала она,— это поколение кризиса... Ей предлагают перечеркнуть все свои надежды. Многие молодые люди ставят знак равенства между жизнью и кризисом. Многие живут с отчаянием в сердце. Отрицательные формы поведения берут верх над положительными. По отношению к молодежи цель ведущейся идеологической войны — это стратегия отчаяния».

Ценность таких книг, как «Выть не с кем», заключается как раз в том, что они позволяют представить себе сказанное Жозиан Вуаян в человеческих судьбах и заставляют задуматься, все ли человеческое полностью истреблено «стратегами отчаяния» на том дне, куда нас приводит автор?

«В блоке сознания,— пишет в своем недавно вышедшем романе «Брешь» Пьер-Луи Рей,— каждая трещинка имеет шанс стать брешью, где может взять начало другая жизнь». Мир, описанный в книге Рея, далек от героев Пьеду, но процитированное мною психологическое наблюдение помогает не пройти мимо некоторых «трещинок» в той морали насилия, в той дьявольской смеси из «человек человеку волк» и «человек человеку вещь», которая, кажется, заполонила собою все — от подъезда до крыши дома-башни, «подобно огромной стене» Трещинки... Иногда их подмечает глаз, иногда их находишь как бы на ощупь.

Жозиан порывает с бандой Жо после того, как в одном из притонов ее напоили пьяной и она не помнит, что происходило дальше. Она находит в себе силы не только сказать Сесиль: «Я не хочу их больше видеть», но и поступить согласно сказанному.

Сесиль чересчур запуталась для того, чтобы последовать за своей подругой. Мы не знаем, что ее ждет впереди, но помним, что нож блеснул в ее руках, когда господин Поль, владелец оптического магазина, пытался «помочь» ей стать проституткой. Служивший в парашютных войсках во время алжирской войны, пытав-

ший и терзавший алжирских патриоток, господин Поль полагает, что Сесиль ускользнула из его машины, потому что... «нализалась наркотиков». Нет, напротив, это был проблеск сознания, инстинктивный акт «законной обороны» от тех, кто «может заплатить», от той (в себе), которая готова продать.

Нож Сесиль не был пущен в ход, но Ив Дрюйде ножом вскрывает себе вены не только потому, что Мариан ему «изменила», а потому, что она «изменилась» — «она перешла на сторону чудовищ... у нее на лице появилась печать жестокости и безжалостности». Исчезла та Мариан, которую любил и продолжает любить Ив, она сделала свой выбор, Ив делает свой, предпочитая умереть со словами «я люблю» на устах, радуясь до последнего мгновения тому, что ему не было отказано в счастье любить,— и отказываясь жить в мире, где у него нет больше ни одной точки опоры. Смерть Ива — не трещинка, а брешь, и роль этой бреши, пробитой светом, велика в той «игре уровней смыслов», которая предстает в романе.

И, наконец, Жо. При создании этого образа автору грозила большая опасность. Недостаточно стремиться ни в коем случае не «романтизировать» подобного «героя» — у Жо легионы романтизированных предков. Еще Буало в XVII веке в своей «Поэтике» писал (переведу прозой, чтобы не исказить мысль): «...нет такой змеи и нет такого чудовища, которое, будучи приукрашено искусством, не могло бы нравиться глазам». Вчитываясь в эти слова, следует не забывать, что коварная способность «нравиться» заложена в самой природе «изображения», и это может особенно навязчиво проявиться в таком жанре, как роман, где мало-помалу в конце концов (à la langue, как говорят французы) мы привыкаем к героям, склонны сочувствовать им и выступать в роли их адвокатов.

Вот почему, думается мне, самую тягостную сцену, где Жо предстает в качестве мучителя, пытающего беспомощного старика, автор поставил в конце книги; вот почему — хотя мы имели уже возможность и ранее убедиться, что под внешней бравадой скрываются трусость и безволие,—в конце этой сцены, когда появляется полиция, Жо переживает приступ неописуемого страха, утрачивая всякий человеческий облик. А был ли он у него хотя бы на одной странице? Да, как проблеск. Ниточкой, заставляющей Жо на мгновенье не поднимать, а вздергивать голову, была мысль о том, что на него показывают пальцами из окон, на него смотрят, о нем говорят. «Они не имеют на это права! Они не имеют права...» — шептал он, сжимая кулаки. Может быть, это всего лишь звук второго компонента «модели Пинотеля» — безграничного эгоцентризма Жо, но даже и в этом случае здесь та трещинка, которая, вероятно, позволяла где-то и когда-то начать с ним разговор о правах людей, о необходимости вести борьбу за эти права. Борьбу, о которой Жо, вероятно, никогда и не слышал, ибо услышать о ней не так просто, как может показаться.

Недавно «Юманите» опубликовала поразительную по своей идеологической емкости таблицу, где было представлено, сколько раз — если не говорить о самой «Юманите» — за первые девять месяцев 1980 года появлялись на первых страницах парижских газет такие слова, как «борьба», «солидарность», «требования», «заработная плата», «власть», «прибыль». По всем этим шести показателям: «Франс-суар» — 0, «Фигаро» — 0, «Орор» — 0, «Паризьен» — 0, «Монд» — 0, «Либерасьон» — 0, «Матэн» — 0. «Заговором молчания» называет «Юманите» такую ситуацию в прессе. В этом свете трагическое название романа — «Выть не с кем» — приобретает особенный оттенок, а вся книга в целом помогает понять, кому необходимы мрак и безмолвие, в котором мечутся ее герои.

НИКИТА РАЗГОВОРОВ

САМОУЧКИ ТРЕВОГИ

Emile Ajar. L'angoisse du roi Salomon. ne. Paris, Editions Gallimard, 1978.
Эмиль Ажар. Тревога царя Соломона. 1979.

«Писательская судьба Эмиля Ажара (псевдоним Поля Павло́вича) сложилась на редкость удачно: первая его книга появилась в 1973 году, а уже через два года он был удостоен Гонкуровской премии за роман «Жизнь впереди» [1]. Успех этого произведения закрепил одноименный фильм режиссера Моше Мисраи, где главную роль с блеском исполнила замечательная актриса Симона Синьоре.

Критика — во Франции и за ее пределами — отмечала, что французская литература обогатилась новым, самобытным талантом, который стремится рассказывать о простых людях с позиций гуманизма и неподдельного демократизма, рисовать настоящую жизнь, по словам Андре Стиля, «с ошеломляющей естественностью». «Жизнь впереди» привлекла внимание и оригинальной манерой письма, проникнутой светлым, человечным, мягким юмором.

И в новом романе писателя «Тревога царя Соломона» (это четвертая книга автора) с первых же страниц покоряет та неповторимая интонация, что выделяет «голос» Ажара среди сегодняшних романистов Франции. Ажар пишет в монологической, сказовой манере, и необходимо прежде всего почувствовать тональность его прозы.

«Он сел в мое такси на бульваре Осман, некий очень старый господин с белоснежными прекрасными усами и бородкой, которые он сбрил потом, когда мы познакомились ближе. Парикмахер сказал, что они его старят, а так как ему восемьдесят четыре с хвостиком, нет нужды стараться набавлять возраст.

[1] См. «ИЛ», 1976, № 9, с. 263—265.

Я часто замечал, что в конце жизненного пути большинство стариков, даже самых ухоженных, о которых заботятся, носят старомодные одежды. Но господин Соломон был одет с иголочки, вызывающе и солидно, на нем был костюм стиля «принц Уэльский» и голубая бабочка в мелкий горошек, от него веяло моднейшей элегантностью, и сразу чувствовалось, что этот человек не позволит себе легко умереть.

У меня работало радио, и, словно нарочно, первое, что мы услышали, были последние известия о гибели танкера и черном приливе в Бретани, где в мазуте погибло двадцать пять тысяч птиц.

— Это позор,— сказал господин Соломон,— что мир с каждым днем становится все невыносимей».

Так знакомятся друг с другом главные персонажи романа: Жан (Жанно) Лапэн — по специальности слесарь-ремонтник, он временно подрабатывает на такси — и библейской внешности старец Соломон Рубинштейн, бывший владелец магазинов готового платья. Г-н Соломон, как почтительно называет его Жан, мгновенно почувствовал симпатию к молодому человеку и предложил ему работать в созданном им своего рода пункте моральной скорой помощи «СОС — добровольцы». Эта филантропическая частная организация, по замыслу ее руководителя, призвана помогать всем несчастным и одиноким, старикам и больным, то есть людям, которые раздавлены невыносимым капиталистическим миром. Отчаявшийся человек в любое время дня и ночи может позвонить в «СОС» и получить, как иронически выражается Жан, хотя бы «вокальное вспомоществование», услышав голос живого человеческого участия.

В романе «Жизнь впереди» арабский мальчик-сирота Момо мечтал поскорее вырасти и написать своих «Отверженных»: «О них пишут всегда, когда есть что сказать». Картин горькой нищеты и обездоленности бедняков парижских предместий в новом произведении Ажара нет; здесь речь идет об отверженности буржуазного общества от человечности, добра и справедливости.

Мармеладов у Ф. М. Достоевского говорил, что самое страшное — это «когда человеку некуда пойти». Много воды утекло с той поры, но одиночество по-прежнему остается изнанкой того «качества жизни», которое не устает рекламировать западная «цивилизация изобилия и досуга». Герои Ажара живут в обществе, где «много совершенно забытых людей», где не существует бескорыстия и сострадания, где никто не станет помогать ближнему. «С кем поговорить всегда найдется, если имеешь деньги»,— с горечью говорит Жан. Это мир, где малейшее проявление доброты люди воспринимают как очередную уловку рекламы.

В романе Ажара множество примет современной жизни. Гибнет не только природа — задыхающиеся в нефти птицы или безжалостно истребляемые детеныши тюленей; в далекой Кампучии «экспериментируют» над живыми людьми методами геноцида; террористы в Италии бессмысленно-кроваво убивают Альдо Моро. «Массовая культура» вовсю пропагандирует бесчеловечность: на киноэкранах идет американский боевик «Челюсти», в котором гигантская акула-людоед пожирает беззащитных, не подозревающих об опасности купальщиков. Один из приятелей Жана вычитал в газетах следующий эпизод: чтобы избавиться от двоих детей, мать решает уморить их голодом, заперев в комнате. Когда она вошла проверить, все ли «готово», у одного ребенка еще нашлись силы произнести «мама». И погибают от одиночества и заброшенности старики, кому в меру своих сил пытается помочь умудренный жизнью и страданиями Соломон Рубинштейн (нацисты уничтожили у него всю родню, и во время фашистской оккупации Франции сам он четыре года прятался в подвале).

Буржуазное общество утрачивает способность чувствовать, средства массовой информации спешат приучить человека к обыденности, заурядности жестокости и насилия, посеять в душах равнодушие к страданиям, с корнем вырвать ростки доброты и человечности. И вполне понятно, почему в романе фашизм определяется как «фабрика по обесчувствованию» людей. Однако тут необходимо сделать существенную оговорку. Абстрактный гуманизм Ажара приводит его к странному заключению (мысль эта вложена в уста студента Шюка, друга Жана), что «в фашизме было кое-что и хорошее, так как можно было выступать против него», что «становится тяжело, когда больше нельзя быть антифашистом». Эта путаная логика напоминает рассуждения о том, будто хорошо, когда лавина засыпает в горах людей,— ведь это дает возможность спасателям проявить себя с лучшей стороны. Далее следует политически беспомощный вывод: «Красные бригады», расправившиеся с Альдо Моро, якобы сделали это потому, что им не приходится теперь бороться с фашистами. Но общеизвестно, что ультралевый терроризм в Италии играет на руку неофашизму, который пытается «дестабилизировать» обстановку в стране и приучить людей к «обесчувствованию».

Не случайно один из героев романа, служащий «СОС» Лепелетье, говорит, что раньше еще «можно было сохранять свои иллюзии» (в том числе и насчет абстрактного гуманизма). А сегодня весь мир, подчеркивает он, «стал ослепительно видимым» и «всегда, повсюду касается нас». Это чувство ответственности человека за все происходящее в мире составляет сильную сторону книги и недвусмысленно выражено писателем.

По сути, та же мысль о причастности человека ко всему в мире передается выразительной метафорой «готового платья», продажей которого всю жизнь занимался г-н Соломон. «Готовое платье» — это и тяготы, радости, страх, беспокойство, чтобы не говорить о тревоге... жизнь и... наконец, все остальное. И утешения, надежды, мысли, о которых мы узнаем из книг и которые называют философиями, во множественном числе... они тоже суть «готовое платье». Именно все «готовое платье» невыносимого мира г-н Соломон, этот Гарун аль-Рашид филантропии, хотел бы перекро-

ить по меркам добра и любви, справедливости и человеческого достоинства. Сам он, несмотря на свой долгий и горький жизненный опыт, сумел «сохранить сердце, которое не умеет стареть», мудрость и силу души. Он просто любит людей, он мечтает «одарить все человечество своей добротой и, может быть, добиться для него лучших условий существования».

Однако г-н Соломон одинок и бессилен изменить что-либо к лучшему. Его благотворительность, за которую он получил даже диплом Парижского муниципалитета, не способна сделать людей счастливее, и Ажар это понимает. Ведь некий Ипполит Лябиль, которому г-н Соломон предоставил пожизненную ренту, даже умер от волнения: бескорыстие воспринимается как непостижимое «проявление сверхъестественного». Филантропия — не путь изменения современного буржуазного общества, таков вывод, вытекающий из романа Эмиля Ажара.

«Библейская душа» г-на Соломона нашла в себе силы простить свою возлюбленную, бывшую «реалистическую певицу» Кору Ламенэр, изменившую ему в годы нацистской оккупации с французским агентом гестапо. Все ее «благородство» свелось к тому, что она не выдала своего поклонника; но элементарная порядочность еще не является гуманистической жизненной программой, как это представляется автору книги. На склоне дней бывшие любовники уезжают в Ниццу. Правда, это совсем не веселый хэппи-энд: жизнь позади, «СОС — добровольцы» распущены, и мечта г-на Соломона о действенной помощи людям так и не осуществилась.

Мнения французской критики о романе Ажара разделились: Матье Галэ в еженедельнике «Экспресс» обвинил писателя в сентиментальности и свел смысл книги к метафизической тревоге г-на Соломона перед близкой смертью. Анна Понс в еженедельнике «Пуэн» писала о человеколюбии Ажара, утверждая, что «уровень мастерства делает этот роман лучшим произведением писателя». Журнал «Лир» пытался причислить Ажара к несуществующей «школе еврейского юмора» в сегодняшней прозе Франции.

Книгу Эмиля Ажара действительно есть за что упрекнуть. Писатель часто повторяется в своих словесных формулах; чувствуется в романе и налет некоего благополучного всепрощения и снисходительности к «злым людям»; иногда автору изменяет вкус, как, например, в растянутых эпизодах интимных отношений Жанно Лапэна с Корой Ламенэр.

Однако важно, что Ажар открыто выступает против дегуманизации литературы, которую проповедовали и до сих пор проповедуют представители реакционных идейных течений. Он не приемлет печально известного тезиса Андре Жида, будто «хорошую литературу не делают с добрыми чувствами», ставшего чуть ли не прописной истиной в определенных литературных кругах современной Франции. Не согласен он и со зловещим афоризмом Луи-Фердинанда Селина «человек человечен ровно настолько, насколько курица может летать», и со все еще модными теориями о «смерти человека», которые были выдвинуты структуралистской философией. Писатель наделил своего Жана «обостренным чувством человеческого». Мудрый старец Соломон объясняет юноше, что «это очень редкая форма интуитивного понимания, которую также называют даром симпатии». Жан молод, у него действительно «жизнь впереди», он встретил свою любовь. Но главное — он нашел принцип достойного существования. «В каждом человеке есть человеческое,— заявляет он,— которое прячется и рано или поздно в конце концов проявится».

Правда, пока Жан ищет человечность в одиночку (так сказать, на эмоциональном, а не на социальном уровне). Однако в романе есть характерная сцена — встреча героя с отцом — старым контролером парижского метро, который верит в «вечные», нерушимые ценности подлинной жизни: труд, справедливость, честность и искренность. Жан, называющий себя «самоучкой тревоги», по-своему защищает их. «Чтобы жить, нужна человечность»,— заявляет Жан, и этим же пафосом проникнут весь роман Эмиля Ажара.

ЛЕВ ТОКАРЕВ

ПРАВНУК ПРЕЗИДЕНТА

R. P. Blackmur. Henry Adams. Edited by Veronica A. Makowsky. New York and London, Harcourt Brace Yovanovich, 1980.

Р. П. Блэкмур. Генри Адамс. 1980.

«Выдающийся критик о выдающемся американце» — так эту книгу рекомендуют издатели. Выдающийся американец — Генри Адамс (1838—1918), дипломат, историк, писатель, и его роман «Демократия» был в русском переводе опубликован еще в 1883 году. В Америке в ответ на вопрос о том, кто такой Адамс, вас переспросят, который из Адамсов? Ведь это целая «династия», занимавшая видное место в духовной и административной жизни США уже на протяжении многих поколений, от начала колонизации через Войну за независимость до недавнего времени. И любой американский студент, даже школьник, хороший школьник, вам разъяснит, что если называть наиболее знаменитых Адамсов, то это Джон Адамс, второй по счету президент Соединенных Штатов, затем Джон Куинси Адамс, его сын, шестой президент, Чарльз Френсис Адамс, соответственно внук и сын двух первых, посол; и, наконец, Генри Адамс, правнук президента, внук президента, сын посла, тот, который написал «Демократию», а также книгу под названием «Воспитание Генри Адамса». На вопрос «А вы что-нибудь из этого читали?» скорее всего ответят отрицательно, и все-таки каждому

мало-мальски образованному американцу известно про Генри Адамса основное: деды были «отцами американской демократии», внук написал об этой «демократии» разоблачительный роман и ряд других, не менее критичных книг. На вопрос о том, кто такой автор данной книги, Р. П. Блэкмур, вам первый встречный, конечно, не ответит, но филолог разъяснит, что был такой ученый-литературовед. Статьи об Адамсе Блэкмур начал печатать еще в 30-е годы, и от него ждали книги — не дождались. Блэкмур скончался в середине 60-х годов. Однако оказалось, что книга все-таки существует. Это установила Вероника Маковски, молодой сотрудник Принстонского университета. Долгожданный труд увидел свет.

Восстал против условий, которые его же породили,— так Блэкмур определяет положение Генри Адамса в американской истории. Бостонский «брамин», представитель элиты Генри Адамс родился, образование получил и сам преподавал в Бостоне. Официальной столицей Бостон никогда не был, но наряду с Филадельфией считался культурно-политическим центром страны, столицей духовной. Отсюда ведь пошло выражение «как в лучших домах Филадельфии и Бостона»... Одним из самых лучших домов Бостона, бесспорно, был дом Адамсов. У них было даже два дома, еще один — в пригороде, там находилось их семейное гнездо. А Белый дом начал строиться не только у них на глазах, но при их участии. Адамсы рассматривали и город Вашингтон, и Белый дом прямо как продолжение своих бостонских владений, как фамильную резиденцию, которую они в самом деле собирались занимать не одно поколение. Борцы за демократию были представителями «аристократии», американской, той самой, что вдруг возникла «в народе, не имеющем дворянства», по выражению Пушкина.

Однако Адамсов начали оттеснять на периферию американской политики. Чарльз Френсис Адамс, отец Генри, уехал за границу представлять Америку в Лондоне и в Женеве лишь постольку, поскольку не удалось ему закрепить за собой представительства в Вашингтоне ни в Белом доме, ни в конгрессе. Генри находился при отце в качестве секретаря, кроме того, занимался он журналистикой, посылая корреспонденции из-за рубежа. Возвращение на родину после восьмилетнего пребывания за границей не оставило у него никаких надежд или иллюзий в отношении больших лично политических перспектив. На этом моменте в судьбе Генри Адамса Блэкмур останавливается подробно. Он пространно рассуждает о том, что называет «неудачей Генри Адамса». «Неудачей,— подчеркивает Блэкмур,— которая была предвестием наших собственных неудач». Общий вывод Блэкмура таков, что Генри Адамс был чересчур хорош, во всяком случае слишком образован для Америки. Его воспитание зашло так далеко, так высоко, настолько он поднялся над общим уровнем, что на почве грубо практического американизма не было места, где бы Генри мог обосноваться и быть полезен со всей своей утонченностью. Это и привело его к провалу. Поэтому участью Генри Адамса стала неудача. Можно ли принять такую мысль?

Отчасти, конечно, так оно и было. Персонаж из романа «Демократия», конгрессмен и кандидат в президенты, готовый взять взятку и дать взятку (размером что-нибудь в сто тысяч),— о невыдуманности подобного лица красноречиво говорит тот факт, что прототип, узнавший себя на страницах романа, убил человека, заподозренного в авторстве: ведь книга вышла анонимно. В противном случае, если бы имя автора стояло на обложке, то Генри Адамс уж больше ничего бы не написал.

«Роман «Демократия» показывает политическую среду, пронизанную коррупцией, безответственными, честолюбивыми устремлениями и глупостью», — пишет Блэкмур, отмечая, что все это читатель видит с точки зрения поистине интимной, глазами женщины, главной героини повествования. Молодая и очень богатая вдова, пережив потерю мужа, возвращается к жизни и приезжает в Вашингтон в поисках новой партии в личном и общественном плане, таков сюжет. Именно через новое замужество хочет героиня приобщиться к правящей верхушке, и в ряду претендентов на ее руку и сердце видим мы вершителей американской политики, в том числе и того, кто за проведение какого-то решения через конгресс получил что-то порядка ста тысяч. Мало того, что получил, он еще и оправдывается ссылками на соображения высшие, на общую пользу.

«Смелая наглость этого человека могла бы показаться даже величественной по-своему, если бы только ему была ведома разница между добром и злом, правдой и ложью. Но чем больше она его наблюдала, тем яснее видела, что отвага его была всего лишь следствием нравственного паралича, что говорил он о чести и бесчестье так, как может говорить дальтоник о красном и зеленом, что он вовсе не видит того, что было очевидно для нее, и если бы ему самому полностью предоставили выбор, то у него не оказалось бы для осуществления этого выбора никаких руководящих принципов».

Так пишет Генри Адамс, и те же строки приводит Блэкмур, рассуждая о том, как рано и до чего верно автор «Демократии» подметил пороки американского политического устройства. Действительно, и рано, и остро, но возникает естественный вопрос: а судьи кто? «...Что было очевидно для нее»,— говорит Генри Адамс, совершенно солидарный со своей героиней. Каковы же границы очевидного? Обращен ли острый и проницательный взгляд героини — а заодно и автора — на собственную персону? Нет, героиня не совершает ничего предосудительного. Поведение ее безупречно. Чересчур безупречно — в ее же глазах. Если кто-то берет крупные взятки — это, разумеется, выглядит грязно, но когда она благоустраивает свой особняк прямо напротив Белого дома, подбирая обои под стать разным золотым вещичкам, привезенным из Ирана, Сирии и Японии, это просто мило. Принадлежность ей этих ценностей как бы очевидна. Судя по всему, никаких наводящих вопросов не возникает и у автора, который, кстати, сам с не меньшим изыском обставил свой особняк на той же площади. К нему приходили друзья, утонченные умы, и

они остро злословили на счет тупиц и проходимцев, с некоторых пор захвативших Белый дом. С каких же это пор? С того времени, как оттуда пришлось выехать Адамсам?

Как уже сказано, кроме романа «Демократия» Генри Адамс написал свою автобиографию, исповедь, книгу горькую и разоблачительную, тем более что все в ней названы своими именами, в том числе и главный «герой». Правда, имени автора опять не поставлено, но таков уж замысел: автор скрылся не из опасений, а ради объективности, рассматривая как бы со стороны «воспитание Генри Адамса». Тут уж самокритика была, кажется, прямо поставленной задачей. Насколько же задача была выполнена?

О «Воспитании Генри Адамса» Блэкмур пишет много, но, как ни странно, подобного вопроса прямо не ставит и не дает сколько-нибудь прямого ответа на такой вопрос. Книга Блэкмура вообще очень не прямая. Впечатление, когда читаешь эту книгу, таково, будто пробираешься к цели какими-то окольными, затрудненными путями. С кем поведешься, от того и наберешься — это правило распространяется и на изучение литературы. Манера критика часто отражает манеру исследуемого писателя. Сам Генри Адамс писал по стилю достаточно просто и прямо. Непрямота, уклончивость и даже увертливость проявлялись у него в подходе к предмету или проблеме. Вот взялся он выяснить, что же происходит с Америкой, изобличил взяточничество на высшем уровне, сколько и за что получили те политические авантюристы, которые обосновались в Белом доме или в капитолии после Адамсов, это мы узнаем от него во всех подробностях, но как только доходит до самих Адамсов, то вроде бы сам господь доверил им руководство страной.

Интеллект или сила — стержневое противопоставление проходит через автобиографию Генри Адамса и, соответственно, через монографию Блэкмура. Но ведь это лишь символы и просто слова. За счет чего попал Генри Адамс в положение духовной элиты? Насколько в самом деле основательны по сравнению с проблемами реальные наблюдения и выводы его возвышенного ума? После восьми лет, проведенных за границей, вернулся Генри Адамс в Америку. Страна за время его отсутствия стала другой. За годы, пока его не было, произошла Гражданская война. «Воспитание Генри Адамса», где есть главы (интересные главы!) о пребывании в Риме, Лондоне и в Петербурге, не содержит и страницы о столкновении американского Севера и Юга. Когда я читал «Воспитание» и ничего не нашел там про суровые события 1861—1865 гг., то подумал, что как-то пропустил этот раздел, и заглянул в указатель. В том месте, где могла бы значиться Гражданская (Цивильная) война, стояло лишь — «Цивилизация, упадок цивилизации»... Действительно, Генри Адамс много говорит о судьбах мировой культуры, а о Гражданской войне и ее последствиях у него сказано ровно столько, насколько все это его затронуло: если бы не убили Линкольна, положение его отца оказалось бы гораздо прочнее, а занявший после Линкольна президентское место Грант — грубый человек, разве можно с ним иметь дело?

Генри Адамс разбирался в американской политике с той капризной придирчивостью, с какой героиня «Демократии» (вполне доверенное лицо автора) подбирала обои и меняла обстановку в своем особняке. В момент окончательного политического поражения взялся он за многотомную «Историю Соединенных Штатов от Томаса Джеффферсона до Медисона». Первые главы «Истории» до сих пор входят в школьные и университетские хрестоматии. Генри Адамс описывает в них Америку начала прошлого века, ту самую, которую путешественники, приезжавшие из Старого Света, рассматривали и критиковали свысока. Генри Адамс дает им основательный отпор, говоря, что они имели слишком поверхностное представление о Новом Свете. Но почему, начиная только с Джефферсона, третьего по счету президента? Да потому, что вторым был Джон Адамс. В сущности, это история того, что было с Америкой, когда не была она у Адамсов в руках. Медисон стал четвертым президентом, Монро — пятым, шестым — опять Адамс, Джон Куинси, но больше уж бостонских «браминов» на этом посту не было. А создавал Генри Адамс «Историю» в такие времена, когда от высшей политики их оттесняли все дальше и дальше. И чем дальше писал Генри Адамс свой труд, тем мрачнее смотрел на современность и — сквозь нее — на историю. Он говорил, что, завершив последний раздел, уже не верит тому, что сам же написал в первом. Если учесть, что первые разделы были с общепризнанной точки зрения все-таки лучшими: в них меньше доктринерства, больше живого материала, то это характерный разлад. Генри Адамс словно обиделся на себя самого — и на факты.

Чтение книг Генри Адамса — занятие интересное, однако постепенно вызывающее недоверие и, наконец, раздражение, которое по контрасту с утонченными словесными кружевами так и хочется выразить какой-нибудь грубой общеизвестной формулой вроде: «Уж чья бы корова мычала!» «А я, страшно выговорить, чувствую себя на стороне этого конгрессмена, а не на стороне этой дамы»,— признался автор предисловия к современному изданию «Демократии». И читатели чувствуют в позиции Генри Адамса нечто чистоплюйское. Но у Блэкмура реакция иная, и не только потому, что он — исследователь. Он — сочувствующий, пишущий о Генри Адамсе так, как если бы писал о себе и своих единомышленниках. Этого Блэкмур не скрывает, и редактор во вступительной статье заинтересованную позицию автора подтверждает.

Если бы, расспрашивая, кто такой Блэкмур, вы встретили человека знающего, то вам бы объяснили, что принадлежал он к так называемой «новой критике», течению, которое зародилось в Америке еще в 20-х годах, с тех пор успело стать старым, даже совсем исчерпало себя, но вошло в новей-

шую историю. Действительно, упоминание об этом течении можно найти в каждом толковом обзоре американской духовной жизни нашего века. Оказывается, эти критики, как и Генри Адамс, претендовали на положение элитарное. Блэкмур был одним из новых «браминов». Так вот откуда недоговоренности, трудности и для него и, своим чередом, для читателей. Не произносит он вслух того, о чем все время пишет, именно — претензии, почему его, как некогда Генри Адамса, не послушали? А что слушать? — спросит со своей стороны читатель. Знал ли Генри Адамс страну, в которой ему хотелось чувствовать себя хозяином?

В свою очередь Блэкмур не очень затруднял себя изучением фактов биографии Генри Адамса. Он все больше рассуждает в связи и по поводу... Он, как и Генри Адамс, хотел высказать малоприятные вещи в адрес своих соотечественников, но при этом он, как и Генри Адамс, исключил из числа соотечественников самого себя. Высокий интеллект как бы отказывается нести ответственность за подлость, подкуп, коррупцию, за вещи грубые, но, что поделаешь, реальные.

Пока мы изучали монографию Блэкмура, объявлено о выходе еще одной книги, посвященной Генри Адамсу. Издается она прямо в Бостоне известной фирмой «Литтл, Браун энд Компани». Написана Дэвидом Р. Контостой, доцентом из Филадельфии, и называется «Генри Адамс и американский эксперимент». С этой книгой нам еще предстоит познакомиться, а пока сделаем выписку из издательской аннотации. Она достаточно красноречива, в ней говорится, что «сочинения Генри Адамса показывают его начальные надежды и дальнейшее разочарование в отношении американского опыта. Он видел поначалу в этом опыте уникальную и смелую попытку создать новый рай, где люди станут богаче, свободнее, богаче духовно и нравственно более чуткими, чем какие бы то ни было народы в прошлом». К этому в самом деле можно лишь добавить вопрос: в какой мере американская элита, виднейшим представителем которой был Генри Адамс, несет ответственность за крах эксперимента? Может быть, новая книга о Генри Адамсе будет в этом отношении смелее и последовательнее, чем монография Блэкмура.

Д. УРНОВ

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Новый журнал «Панорама», орган Комитета культуры, Союза болгарских писателей и Союза переводчиков Болгарии, который возглавляет известная поэтесса и переводчица Леда Милева, посвящен современной зарубежной литературе и критике.

Как сообщает газета «Отечествен фронт», первый номер «Панорамы» познакомит болгарского читателя с отрывком из романа К. Воннегута «Заключенный», рассказами В. Притчета и Лилиан Хеллман, а также с малоизвестными пока в Болгарии литературами — такими, как, например, финская или филиппинская.

Под рубрикой «Пропущенные страницы» будут публиковаться не переводившиеся до сих пор произведения выдающихся писателей прошлого. Открылась эта рубрика рассказами Карела Чапека. За ними следуют произведения Кафки, Германа Гессе, Олдоса Хаксли.

Большое внимание уделяет новый журнал проблемам перевода.

ВЕНГРИЯ

ЮБИЛЕЙ БЕЛЫ БАРТОКА

Широко и торжественно отмечается в Венгрии 100 лет со дня рождения выдающегося венгерского композитора, пианиста и ученого XX века Белы Бартока.

Венгерская фирма грампластинок выпустит четыре альбома с записью произведений Белы Бартока в исполнении известных венгерских музыкантов Золтана Кочиша и Корнеля Земплени, а также пластинки с записью игры самого Белы Бартока. Любители музыки смогут услышать в его исполнении произведения Баха, Кодая, Шопена, Бетховена, Моцарта.

На снимке: скульптор Имре Варга у созданного им памятника Беле Бартоку.

(Журнал «Тюкор»)

Известно, что Бела Барток был крупнейшим знатоком и собирателем фольклора. К юбилейным торжествам специально выпущена пластинка «Cantata Profana» («Светская кантата»), в которой он как бы подытожил свои искания по фольклору, эта пластинка включает не только само произведение Бартока, но и рассказ композитора о путях народной музыки, народной песни. Выпускается также специальная серия пластинок «Венгерская народная музыка с примечаниями Белы Бартока». В Будапештской консерватории пройдет серия праздничных концертов, на которых будут исполнены все крупнейшие произведения Белы Бартока. Венгерское радио организует международную радиопрограмму: в эфире прозвучит музыкально-литературная композиция по книге Андраша Фодора «Слово о Бартоке», будет транслироваться своеобразный музыкальный спектакль со сцены будапештского дворца музыки «Вигадо», в котором примут участие выдающиеся музыканты Венгрии и зарубежных стран.

В репертуаре оперных и музыкальных театров страны композитор будет представлен своей прославленной оперой «Замок герцога Синей бороды» и балетами «Деревянный принц», «Чудесный мандарин».

По венгерскому телевидению будет показан венгеро-канадский документальный фильм о жизни и творчестве Белы Бартока, в ходе которого всемирно известные музыканты, критики, друзья, родственники поделятся своими воспоминаниями о композиторе.

К юбилею приурочивается много книжных изданий. Так, в издательстве «Музыка» выйдет книга Ференца Бониша «Жизнь Бартока в иллюстрациях и документах», сборник «Восемьсот писем Бартока», подготовленный к печати его сыном Белой Бартоком-младшим, академическое издание монографии Белы Бартока «Венгерская народная песня» и сборник «18 статей Белы Бартока», две биографические книги о композиторе: Белы Бартока-младшего «Хроника жизни Белы Бартока» и Юлии Сегё «Роман о жизни Белы Бартока», а также специальное издание для детей «Жизнь Белы Бартока в картинках».

Юбилейный год закончится специальным симпозиумом, в котором примут участие венгерские и зарубежные исследователи Белы Бартока.

ВЬЕТНАМ

ОПЕРА «ОВОД» НА ВЬЕТНАМСКОЙ СЦЕНЕ

В Ханойском оперном театре состоялась премьера оперы советского композитора А. Спадавеккиа «Овод». Ее постановку осуществил известный вьетнамский режиссер Ван Ха (ученик народного артиста СССР И. М. Туманова), известный своими предыдущими работами — постановками опер вьетнамских композиторов: «Ваятель» и «А Шао» До Нью Ана, «На берегу Кронгпа» Нят Лая. Ван Ха так прокомментировал свою новую работу: «Я не хотел углубляться в раскрытие трагедии Монтанелли и Артура. Главное для меня в этой постановке — благородный образ революционера, защитника интересов народных масс, несгибаемого борца. Именно такой образ Овода живет в сердцах вьетнамцев».

Постановка была осуществлена с помощью Академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, предоставившего коллективу Ханойского театра основные декорации и реквизит.

[redacted]

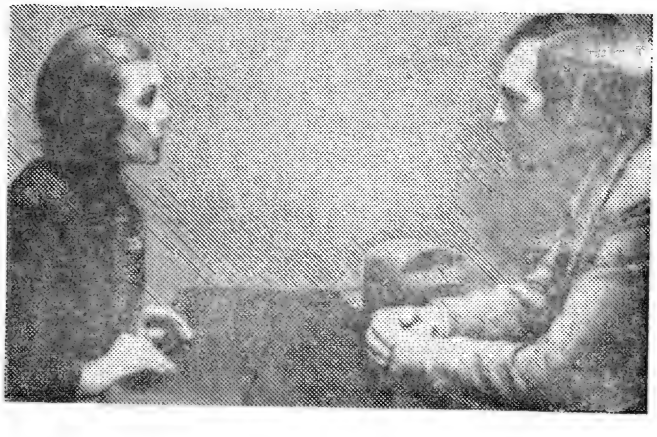
«НЕВЕСТА»

В основу нового фильма ДЕФА «Невеста» Гюнтера Рюккера и Гюнтера Райша легла трилогия Эвы Липольд «Дом тяжелых ворот». Писательница провела одиннадцать лет в гитлеровских тюрьмах и сумела рассказать о том страшном времени с большой художественной убедительностью. «Я не читал никогда ничего подобного, — пишет Гюнтер Рюккер. — Меня потрясла эта книга. В нашем фильме мы постарались сохранить ее основные события».

Героиня фильма — молодая женщина, Гелла Линдау, тоже много лет провела в фашистских тюрьмах по обвинению в «государственной измене». Ей приходится претерпеть все ужасы неволи, она сталкивается с уголовницами, с которыми ее умышленно помещают вместе. Огромное мужество, вера в будущее, сила ее характера, а главное, большая любовь к человеку, с

На снимке: кадр из фильма «Невеста». В главных ролях — Ютта Ваховиак и советский актер Регимантас Адомайтис.

(Газета «Берлинер цайтунг»)



которым ее разлучили, помогают Гелле выжить.

В конце фильма зритель видит ее уже на свободе. Неизвестно, встретится ли она со своим любимым, неясно, как сложится ее жизнь. Перед зрителем — измученная, но не сломленная женщина, которая сможет все выдержать и все преодолеть...

Рецензенты еженедельника «Зонntаг» и ежедневных газет посвятили фильму «Невеста» большие статьи, в которых называют его не только очень сильным, но и поэтичным фильмом.

Творческий коллектив фильма «Невеста» (в том числе исполнительница главной роли Ютта Ваховиак) был удостоен Национальной премии Германской Демократической Республики за 1980 год.

На Международном кинофестивале в Карловых Варах фильму «Невеста» была присуждена высшая награда — «Гран при».

ВТОРОЙ РОМАН РЁРИХТА

Издательство «Морген» выпустило второй роман трилогии Карла Германа Рёрихта «Обед в большом городе» (о первом романе «Детство в предместье» см. «ИЛ» № 10, 1979). Продолжая историю главного героя Вальдемара Ландмана, писатель доводит ее до конца пятидесятых годов. Вальдемар возвращается с войны, ему предстоит выбрать свой путь в жизни. Он мечтает стать художником. Вальдемар встречается с большими трудностями, он мечется между разными школами в искусстве. Уехав из родного города, Вальдемар нигде не находит покоя. Побывав в Западном Берлине, а затем в Италии, он сталкивается с коммерческим подходом к живописи. Он понимает, что его место в родном городе Лейпциге, в предместье которого он вырос, понимает, что его искусство должно служить многим людям, а не избранной публике.

«Нетрудно узнать в герое автобиографические черты. Рёрихт — сам художник, его волнуют те же проблемы, что и Вальдемара. Писатель рассказывает о жизни своего героя очень правдиво и искренне»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

«Рёрихт показал в своем романе целый период нашей действительности — с первых послевоенных лет до конца пятидесятых годов,— отмечает Руло Мельхерт в еженедельнике «Зонntаг».— Ему удалось наряду с портретом главного героя создать целую галерею очень красочных образов... Можно сказать, что новый роман Рёрихта обогатит современную прозу Германской Демократической Республики».

На снимке: сцена из спектакля «Женщины Чили».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ДАНИЯ

«ЖЕНЩИНЫ ЧИЛИ»

Так называется новый спектакль копенгагенского «Фиолетеатрет», рассказывающий о сегодняшнем дне четырех чилиек, об участии женщин в чилийском движении сопротивления. В основу спектакля лег сценарий, написанный специально для «Фиолетеатрет» датской журналисткой Лиз Баке.

Сценарий был творчески переработан занятыми в спектакле актерами во главе с режиссером Петером Торсбое.

В беседе с корреспондентом газеты «Ланд ог фольк» участники постановки подчеркнули, что цель спектакля — не столько проинформировать зрителя об ужасающих преступлениях фашистского режима в Чили (это общеизвестно), сколько «заставить людей, то есть нас, датчан... прочувствовать и понять, что означает родить свое дитя в условиях военной диктатуры».

Отсюда и выбор героинь: все четыре — не революционерки, которых отличает высокий уровень политического сознания, а самые обыкновенные женщины. Вот только жизнь их протекает под невероятно мощным давлением извне.

Угнетенные жестокостью режима, одинокие (мужья— кто убит, кто за решеткой, кто в изгнании) женщины постепенно приходят к осознанию того, что простого желания обеспечить будущему ребенку одной из них хотя бы относительно спокойное существование мало — необходимо перейти от пассивного ожидания перемен к активным действиям.

Символическая деталь: все действие разворачивается в одном и том же замкнутом пространстве — в маленькой швейной мастерской, где изготовляют славящиеся на весь мир лоскутные одеяла.

По мнению постановщиков, проблема, поднятая в «Женщинах Чили», затрагивает не только положение чилийских или даже всех латиноамериканских женщин: кто может быть абсолютно уверен в том, что подобная ситуация не сложится в так называемой «миролюбивой Дании»?

ИНДИЯ

ФОРУМ ПРОГРЕССИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

На страницах индийской прессы широко освещалась работа второй всеиндийской конференции Национальной федерации прогрессивных писателей Индии (НФППИ), проходившей в одном из крупнейших промышленных и культурных центров страны — городе Джабалпуре (штат Мадхья-Прадеш). Конференция состоялась пять лет спустя после того, как в мае 1975 года на первом общеиндийском форуме индийских литераторов была создана НФППИ (см. «ИЛ» № 9, 1975).

Прошедшее пятилетие было насыщено крупными событиями в общественно-политической жизни страны. Это был сложный период в истории независимой Индии, когда силы реакции, разворачивая планомерное наступление, попытались свернуть страну с избранного ею пути. В общем строю боровшихся против наступления реакции, за социальную справедливость и светлое будущее Индии достойное место занимали прогрессивные писатели. Национальная федерация прогрессивных писателей объединяет в своих рядах лучшие писательские силы, которые во многом определяют лицо современной индийской литературы.

Практическую работу по подготовке и проведению конференции возглавлял генеральный секретарь НФППИ — выдающийся индийский прозаик Бхишам Сахни (см. «ИЛ» № 2, 1980). Для участия в работе конференции в Джабалпур со всех концов страны съехалось свыше четырехсот писателей, представляющих все основные языки Индии.

На церемонии открытия конференции с приветственной речью к писателям обратился главный министр штата Арджун Синх. «Эта конференция, — сказал он, — впишет новую главу в летопись великой борьбы, в которой победа пролетариата предопределена». С большим докладом перед собравшимися выступил генеральный секретарь НФППИ Бхишам Сахни.

На конференции была единодушно принята декларация, в которой прогрессивные писатели, подтвердив свою приверженность идеалам демократии, мира и социализма, выразили солидарность с борьбой трудящихся за свободу, социальную справедливость и равенство. «Наша литература не просто отражает жизнь народа, — говорится в декларации,— она играет важную роль в титанической борьбе противостоящих друг другу социальных сил».

На заключительном заседании конференции был единогласно избран национальный комитет НФППИ, в который вошел 81 человек, представляющий все основные индийские литературы. Председателем НФППИ избран известный поэт урду Гулам Раббани Табан, генеральным секретарем переизбран Бхишам Сахни.

ЕЩЕ ОДНО ИМЯ

В последние годы в индийской литературе появились и стали модными течения «наи кахани» («новый рассказ») и «акахани» («антирассказ»). Новеллистика, продолжавшая реалистические традиции индийской литературы, в ряде случаев оказывается оттесненной с авансцены общественной жизни, а ее представители зачисляются в разряд закоснелых консерваторов и ретроградов. Реализму, как уже не раз бывало в истории индийской литературы, приходится выдерживать длительный и упорный бой. В этих условиях не может не привлечь внимания опубликованная на страницах газеты «Джан юг» рецензия на сборник рассказов молодого прозаика хинди Дхирендры Астханы «Люди на обочине».

В рассказах сборника, пишет рецензент, нет формалистических изысков, запутанных сюжетных ходов, зато в них есть горькая правда жизни, где мало радости, но много беспросветной нужды, страданий и горя и где простому человеку приходится вести изнурительную повседневную борьбу, чтобы выжить, не погибнуть от голода и болезней. Рассказы молодого прозаика (это его первый сборник) воспринимаются как обличение общества, которое построено на беспощадном угнетении и социальной несправедливости. О том, до какого состояния может довести человека нищета, безработица и голод, рассказывают новеллы «Один только дым», «Смерть, растянувшаяся на три дня», «Еще один Спартак», «Человек на перепутье».

Особое внимание в рецензии обращается на язык рассказов — скупой, точный, лаконично-выразительный. «Дхирендра Астхана использует язык как инструмент — проверенный, безотказный, остро отточенный», — пишет ре-

цензент, называя многие рассказы сборника «удивительными и не имеющими себе равных».

«Нет сомнения, — заключает рецензент, — что в лице Дхирендры Астханы новеллистика хинди обогатилась еще одним новым именем — именем писателя, у которого большое будущее».

ДРЕВНЯЯ ЛЕГЕНДА НА ЭКРАНЕ

Индийский кинематограф занимает одно из первых мест в мире по количеству выпускаемых фильмов. Значительную их часть составляют картины, темы, сюжеты и герои которых взяты из неисчерпаемой сокровищницы древних сказаний и мифов. К сожалению, такие картины, рассчитанные на невзыскательный вкус массового зрителя, зачастую имеют невысокий уровень исполнения и режиссуры. Исключения крайне редки, и тем отраднее среди фильмов, поставленных на мифологические темы, встретить подлинное произведение искусства. Таким счастливым исключением является фильм «Пастух Кришна», вышедший на экраны индийской столицы.

Газета «Джан юг» откликнулась на фильм рецензией, в которой дается высокая оценка картине, созданной известным индийским продюсером Тарачандом Барджатьей на бомбейской студии «Раджашри пикчерс». В рецензии отмечается, что автору сценария и режиссеру Виджаю Шарме удалось сохранить и передать на экране неповторимый аромат самого известного и любимого в Индии народного сказания о детских и юношеских годах бога-пастуха Кришны, чье имя в сознании масс неразрывно связано с именем его возлюбленной, пастушки Радхи. «Тарачанд Барджатья тем более заслуживает похвалы и благодарности, что он экранизировал это целомудренное сказание — и сделал это с присущим ему блеском — в то время, когда зритель смертельно устал от киноподелок, полных

На снимке: кадр из фильма «Пастух Кришна». Исполнители главных ролей — Сачин и Зарина Вахаб.
(Газета «Джан юг»)

убийств, насилия и секса»,— пишет рецензент.

Своим успехом, по мнению рецензента, картина в значительной мере обязана великолепной игре всего актерского ансамбля. Рецензент особо выделяет проникновенную игру исполнителей заглавных ролей: в роли Кришны снимался известный киноактер Сачин, в роли Радхи — выдающаяся актриса индийского кино Зарина Вахаб.

Музыку к фильму написал композитор Равиндра Джайн.

ИОРДАНИЯ

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИОРДАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Под заголовком «Письмо из Иордании» багдадский журнал «Аль-Аклям» поместил заметку своего корреспондента в Аммане Мухаммеда аз-Захира о литературной жизни в этой стране.

Аз-Захир отмечает, что в последнее время наблюдается заметное оживление в творческой деятельности иорданских писателей и работе местных издательств. Если раньше за целый год выходила одна или две книги иорданских писателей, то теперь за тот же период художественной литературы издается несравненно больше.

Так, за последние месяцы вышло несколько сборников рассказов в Ассоциации иорданских писателей: «Тимьян на холме» Ахмада Ауды, «Старый дом» Юсуфа аль-Газва и «Маленькие заботы» Хашима Гараибы. Эта же писательская организация опубликовала повесть «Ты умрешь в одиночестве» Муайида аль-Одайли. Несколько книг иорданских писателей вышли также в Сирии, Ливане, Ираке. Так, в Дамаске вышел сборник рассказов Юсуфа Дамры «Повозки», в Багдаде — Ильяса Фаркуха «Пощечина», в Бейруте — Салема ан-Наххаса «И ты, Мадаба!». В Бейруте же опубликована книга стихов иорданского поэта Мухаммеда аль-Кайси.

Среди новых литературоведческих и критических работ иорданских авторов аз-Захир называет книгу известного критика доктора Абд ар-Рахмана Яги «Параметры литературного творчества» и исследова-

ние Ахмада аль-Муслиха «Детская литература в Иордании». (Первая книга вышла в Аммане, вторая — в Дамаске.)

«После долгого периода засухи и неурожая, растянувшегося более чем на десять лет, — пишет аз-Захир, — иорданские писатели начали завоевывать арабский книжный рынок своими произведениями». Большая заслуга в этом, по мнению критика, принадлежит руководству Ассоциации иорданских писателей, разработавшей хорошо продуманную программу публикации произведений местных литераторов.

ИТАЛИЯ

ВСЕГДА НОВЫЙ АНТОНИОНИ

В центре внимания последнего международного кинофестиваля в Венеции оказался снятый для телевидения фильм Микеланджело Антониони «Тайна Обервальда». Широкий интерес критики и зрителей — в отличие от прошлых фильмов этого режиссера — он вызвал отнюдь не своей проблематикой, а как интереснейший технический эксперимент, знаменующий, быть может, новую революцию в кино.

Целых пять лет после своей ленты «Профессия: репортер», знакомой советским зрителям, Антониони не снимал фильмов. По тем или иным причинам, чаще всего из-за отсутствия финансовых средств, не был осуществлен ни один из проектов режиссера. Однако Антониони не терял времени даром и в процессе работы на телевидении изучал новую технику, открывающую неожиданные перспективы не только перед телевидением, но и перед кино. Еще в 1975 году в одном интервью он говорил: «Мне тесно в условиях современной кинотехники. Мне нужны более гибкие и более совершенные средства, позволяющие, например, полнее использовать цвет, добиваться его большей выразительности... В этом смысле возможности телевидения по сравнению с кино значительно шире. Здесь видишь, что получается в процессе самой съемки... Техника съемок, использующая магнитную ленту, достаточно совершенна. Она может дать поразительные результаты».

И вот фильм Антониони «Тайна Обервальда» в значительной степени подтвердил эти слова режиссера, произнесенные им почти пять лет назад. Интересных результатов с точки зрения цвета Антониони добивался и раньше — при работе над фильмом «Красная пустыня», когда он подкрашивал в разные цвета траву, деревья, даже дорогу, чтобы показать отравленную химией природу. Но теперь от «кустарных методов» он перешел к использованию современной электронной аппаратуры и магнитной пленки, которые, как режиссер сказал в недавнем интервью журналу «Эспрессо», способны совершить в кино целую революцию, подобную той, что произошла с приходом звука. Съемки при помощи телевизионной камеры дают возможность режиссеру «на ходу» менять оттенки, работать подобно живописцу, а перевод с магнитной ленты на пленку способствует максимальному сближению кинематографа и телевидения. В своем фильме — смелом поиске в области новых изобразительных средств — Антониони изобретательно экспериментирует: на экра-

На снимке: кадр из фильма «Тайна Обервальда».

(«Кинобюллетень венецианского фестиваля»)

не дует зеленый ветер, каждый герой появляется в ореоле своего оттенка (отрицательный персонаж — серовато-фиолетовом, положительный — золотистом), есть в фильме сцена, где часть действующих лиц снята в цвете, а часть — в черно-белой гамме, и так далее. Цвет, как говорит Антониони в этом интервью, становится не только важным компонентом фильма, но приобретает значение первостепенного элемента художественного воздействия: режиссер может при помощи тончайших оттенков цвета передавать разные душевные состояния героя, показывать разные «слои» жизни.

Однако, как указывает, например, в своей рецензии в газете «Унита» критик Аджео Савиоли, фильм оставляет у зрителя чувство некоторой неудовлетворенности, так как этот интереснейший эксперимент Антониони не наполнен соответствующим ему по значению содержанием. Впрочем, сам режиссер говорит, что тема фильма его мало интересовала.

По жанру это — историческая мелодрама, рассчитанная, как и пьеса, на исполнение большими актерами. В главной роли — Моника Витти, вновь создавшая под руководством Антониони образ большой драматической силы (последние годы Витти, снимаясь у разных режиссеров, играла чаще всего комедийные роли в развлекательных фильмах и неожиданно стала комедийной актрисой № 1 итальянского экрана). В фильме — отзвуки истории трагической любви императрицы Елизаветы Австрийской и молодого короля Баварии Людвига II и их таинственной гибели. К этому сюжету некогда уже обращался и Лукино Висконти в своем фильме «Людвиг». Некоторый оттенок современности этой дворцовой мелодраме, пожалуй, придает лишь то, что в ней действуют заговорщики и террористы, от руки одного из них — влюбленного в нее юноши — и гибнет Елизавета, причем по собственной воле, так что гибель ее — скорее самоубийство...

По-видимому, у Антониони не было другой возможности осуществить свои новаторские поиски, кроме этой постановки на телевидении. Уже многие проекты режиссера так и остались проектами. Как ни парадоксально, этот некогда самый модный на Западе режиссер не может найти денег, чтобы ставить «свои» фильмы. Мешают, как он говорит в интервью, и «ограничения, диктуемые структурой итальянского общества... Нельзя делать фильмов о мафии, об армии, о Ватикане, о террористах... Пока в итальянском кино все серо и скучно».

КУБА

НОВЫЕ ТРИУМФЫ АЛИСИИ АЛОНСО

Выдающимися творческими достижениями был отмечен минувший год для примы-балерины Национального балета Кубы Алисии Алонсо. Под ее руководством и с ее участием в Венской опере был поставлен балет «Жизель». Во время своего пребывания в австрийской столице Алисия Алонсо выступила с лекцией о романтическом направлении в современном балете. В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, кубинская балерина приняла участие в гала-концерте в рамках проходившей Недели кубинской культуры во Франции. С огромным успехом прошли ее выступления в Польше, Мексике, США. Неизменно восторженно принимают Алисию кубинцы.

Пожалуй, самым большим подарком для кубинских балетоманов стало выступление Алисии Алонсо в роли Маргариты Готье в спектакле по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Откликаясь на возобновление этой постановки в Гаване, Роса Эльвира Пелаес пишет в газете «Гранма»: «Участие в спектакле Алисии Алонсо доставило огромное эстетическое наслаждение. В каждом движении ее рук, в повороте головы, во взгляде мы словно открываем для себя драматизм положения

На снимке: Алисия Алонсо.

(Газета «Гранма»)

героини, ощущаем трагедийность ее чувств. В роли Маргариты Готье балерина не только демонстрирует свои великолепные данные, она показывает, что для исполнения подобных ролей нужно нечто большее, чем техника и мастерство. Алисия Алонсо живет в своем образе. Магия ее творчества не знает границ».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

«СЫНОВЬЯ ДОЛЖНЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ»

Так называется роман Альберта Вендта, писателя и поэта из Западного Самоа. Опубликованный в Новой Зеландии еще в 1971

На снимке: кадр из фильма «Сыновья должны возвращаться домой». В главных ролях — Улисе Петайя и Фиона Линдсей.

(Журнал «Фестиваль-80»)

году, он с успехом выдержал пять переизданий и относится к числу самых популярных литературных произведений этого обширного региона. Вендт по-своему трактует в нем неисчерпаемую тему трагической любви двух молодых людей, они могли бы быть счастливы, но их счастью, в отличие от Ромео и Джульетты, мешает не вражда двух аристократических родов, а глубоко укоренившиеся расовые предрассудки, делающие невозможным союз Сары, белой девушки из состоятельной новозеландской семьи, и темнокожего самоанца Сиони.

По признанию автора, его роман автобиографичен и является попыткой описать часть собственного жизненного опыта, показать, что значит быть самоанцем вообще и жить в условиях чужой культуры, в частности. В издательской аннотации автор говорит: «Мой роман о Полинезии — какая она была, есть и какой становится». И в этом, последнем, качестве роман самоанского писателя, уже не новичка в литературе (он опубликовал также сборник рассказов «Летающая лисица и древо свободы», роман «Поулиули» и сборник стихотворений, написанных им в 1961—1974 годы), особенно интересен.

О популярности романа «Сыновья должны возвращаться домой» свидетельствует и тот факт, что в настоящее время к нему обратились новозеландские кинематографисты. Одноименный фильм создан режиссером Полом Мондером, который привлек к исполнению главных ролей молодых актеров — Улисе Петайя (Сиони) и Фиону Линдсей (Сара).

Новая Зеландия направила фильм Мондера на XXII Карловарский фестиваль, где жюри фестиваля удостоило актера Улисе Петайя премией за лучшее исполнение мужской роли.

ПОЛЬША

«ЧТОБЫ МИР УЗНАЛ»

Так называется книга, изданная Государственным музеем Освенцима. В ней содержатся записи польских политических узниц концентрационного лагеря Равенсбрюк. Записи с риском для жизни передавались на волю и были закопаны в укромном месте. Они были извлечены из тайника только в 1975 году. Об этом рассказывают в предисловии Кристына Олексы и Ирена Польска.

Эти записи, являясь свидетельством очевидцев, представляют большую ценность. Они делались поспешно, скупо, временами стилистически беспомощно, но в них, отмечает рецензент «Жице Варшавы» Беата Совинска, заключен богатый фактографический материал, который является непосредственным источником знаний о лагерной действительности, нечеловеческих условиях жизни, о терроре, пытках и злодейских медицинских экспериментах, проводившихся тогда над польскими узницами. В одной из таких записей Зофья Почиловска сообщает: «К настоящему времени проведено восемьдесят операций, в основном на польках. Пятеро из узниц умерли, остальные остались на всю жизнь калеками».

Одна из глав посвящена стихам, созданным в лагере. Характерной чертой этих стихов, написанных за колючей проволокой, является одно: в них не говорится о лагерной действительности, они обращены к «вольному миру», посвящены минувшим дням на свободе, полны тоски по родине и близким, выражают надежду на будущее. К этим стихам нельзя подходить с литературной меркой, их уровень самый разный, но все они обладают неоспоримой ценностью — ценностью документа.

В книге также опубликованы рассказы и письма бывших узниц Равенсбрюка, бывших польских военнопленных, помогавших проносить записи за колючую проволоку. Они дополняют основной материал, обогащают его своими свидетельствами.

«ВСТРЕЧА В АТЛАНТИКЕ»

На польских экранах демонстрируется новый фильм «Встреча в Атлантике» Ежи Кавалеровича, широко известного советскому зри-

На снимке: Тереза Будзиш-Кшыжановская в фильме «Встреча в Атлантике».

(Журнал «Фильм»)

телю такими фильмами, как «Поезд», «Мать Иоанна от ангелов», «Фараон», «Смерть президента». Авторы сценария нового фильма — Ежи Кавалерович и Болеслав Михалек.

Действие фильма разворачивается на океанском лайнере, где встречаются самые разные люди с самыми разными судьбами. «Тема новой работы Кавалеровича, — пишет в журнале «Кино» рецензент, — это в какой-то мере продолжение темы, так тонко и талантливо поданной в фильме «Поезд», тема человеческого одиночества и стремление от этого одиночества избавиться. Но в новом фильме Кавалерович идет дальше, он хочет вскрыть причины этого одиночества, которые зачастую заключены в самом человеке, в его эгоизме, в потребительском отношении к жизни».

Перед нами профессор Новак, у которого все складывается вполне благополучно. Он преуспевающий врач, ученый, у него преданная, любящая подруга, но он живет в постоянном страхе за некогда совершенный им поступок; в свое время, боясь за благополучие, он отказался помочь своему коллеге, и тот был лишен права заниматься врачебной практикой и пытался покончить с собой. Профессору кажется, что человек, преданный им когда-то, находится на корабле, профессора мучают кошмары, он готов на все, лишь бы от них избавиться.

Новый фильм Кавалеровича отличается простотой и строгой подчиненностью теме, что приводит, к сожалению, как отмечает критик, к некоторой упрощенности. Это особенно сказывается в обрисовке характеров двух молодых людей, Ирены и Збышека, которые должны олицетворять позитивное начало и вселять в людей надежду на возможность вновь обретенного взаимопонимания.

Кавалерович сказал в одном из своих интервью, что он пытается передать на экране человеческие чувства, самые сложные, подчас неосознанные, но всегда оставляющие след в жизни каждого.

РУМЫНИЯ

К ЮБИЛЕЮ ДОСТОЕВСКОГО

К столетию со дня смерти великого художника слова и мыслителя бухарестское издательство «Критерион» выпустило книгу «Федор Достоевский. Об искусстве». В сборник, изданный на венгерском языке, вошли статьи, отрывки из записных книжек, письма Достоевского об искусстве, размышления о литературных направлениях, о реализме и «натуральной школе», высказывания о русских писателях и классиках мировой литературы, о русских живописцах, наблюдения над творческим процессом, оценки отдельных произведений. Читатель сборника сможет составить достаточно полное представление о литературно-эстетических концепциях Достоевского.

Многие материалы, включенные в книгу, были уже опубликованы на венгерском языке несколько лет назад будапештским издательством «Мадьяр Геликон». Но часть текстов переведена составителем Альбертом Ковачем (он же автор предисловия и комментариев) впервые — некоторые письма Достоевского, отрывки из «Записных тетрадей», первоначальные наброски романа «Преступление и наказание», заявление Достоевского на процессе петрашевцев и другие. Составитель обратился к более поздним исследованиям, появившимся в Советском Союзе, в частности, к «Неизданному Достоевскому» (83-й том «Литературного наследства»), а также к полному собранию сочинений писателя в тридцати томах.

«Какая это огромная радость, — пишет во вступительной статье А. Ковач,— когда гении мировой литературы оставляют нам не только свои великие произведения, но и свои исповеди об искусстве, которые позволяют заглянуть непосредственно в мастерскую творца, проникнуть в тайны его творчества. И кто другой, как не сам творец, может раскрыть нам эти тайны?»

И действительно, непосредственные суждения Достоевского, иногда парадоксальные, неожиданные, но всегда очень личные, оценки своих и чужих произведений помогают читателю, возможно еще не знакомому с публицистическим наследием великого писателя, понять его духовный мир, мир его напряженных исканий. Этой же цели служит и обстоятельный комментарий. Он воссоздает атмосферу эпохи, накал общественной борьбы в предреформенной и пореформенной России. В комментарии, в частности, читатель прочтет о полемике Достоевского с Добролюбовым, о кружке Петрашевского, узнает об истории создания «Преступления и наказания», о сочинениях на историческую тему — о Борисе Годунове и Марии Стюарт, задуманных писателем когда-то в юности, и многих других фактах, связанных с его жизнью и творчеством. Здесь же даются ссылки на работы советских и зарубежных исследователей («Эстетика Достоевского», «Фолкнер и Достоевский», «Достоевский и румынская литература»), которые помогут заинтересованному читателю ориентироваться в море литературы о русском классике.

«Это прекрасная, серьезная работа», — пишет об этой книге в газете «Утунк» известный прозаик Тибор Балинт. Он отмечает продуманность отбора, основательность сопроводительного материала. Книга заставляет, говорит он, задуматься над тем, в чем же новаторство и прозрение Достоевского. «Лично мне в поэтике Достоевского, — признается Балинт, — близки размышления о том, что фантастическое и исключительное составляют сущность реального, фантастическое никогда не сможет соперничать с реальной явью, и ни один романист не может изобразить большего ужаса, большего абсурда, чем преподносит нам жизнь повседневно. А в художественных произведениях великого русского гуманиста меня поражает то, что даже в самых тягостных, леденящих душу эпизодах у Достоевского всегда есть надежда, милосердие, даже там, где ад и пекло, всегда есть клочок голубого неба».

СЕНЕГАЛ

ПРЕМИЯ «НОМА» — МАРИАМЕ БА

Как сообщает журнал «Жён Африк», жюри международной премии «Нома» признало лучшим африканским романом 1980 года произведение сенегальской писательницы Мариамы Ба «Длинное письмо». Эта литературная премия появилась недавно. Основал ее Шуачи Нома, президент японского издательства «Коданхса лимитед», специализирующегося на книгах писателей развивающихся стран.

До сих пор Мариама Ба была известна в своей стране как общественная деятельница, активистка женского движения. «Длинное письмо» — ее первый роман, вышедший в дакарском издательстве «Нувель эдисьон африкэн». В нем рассказывается о судьбе современной сенегальской женщины, представительницы новой африканской интеллигенции. Героиня книги—учительница. Жюри, по словам корреспондента журнала, оценило роман Мариамы Ба как «правдивое свидетельство положения африканской женщины-мусульманки в меняющемся обществе».

США

ЭНДЖЕЛ-СИТИ НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

Во втором номере журнала «Иностранная литература» опубликован роман Патрика Смита «Энджел-Сити, или Ангельский город» о положении рабочих-поденщиков в США. Рабские условия, в которых трудятся эти люди на плантациях Флориды и Калифорнии, стали настолько вопиющими, что привлекли внимание многих честных американских журналистов (равно как и охотников за сенсацией), и вслед за публикацией романа Патрика Смита на страницах американских газет, таких, как «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс», появилась серия статей, в которых проводятся случаи продажи людей в рабство, жестокой эксплуатации детского и женского труда, переправки рабочих из-за границы и последующей продажи их американским предпринимателям.

В некоторых статьях был упомянут роман Патрика Смита, и это привлекло к нему внимание телекомпании Си-Би-Эс, одной из крупнейших в Америке. Роман был экранизирован, и по американскому телевидению в конце прошлого года был показан фильм «Энджел-Сити». Главные роли в нем исполняют Пол Уинфилд и Ралф Уайт.

Американские газеты откликнулись рецензиями на телефильм. В частности, газета «Вашингтон пост», пытаясь принизить социальное звучание фильма, писала, что это чисто коммерческое предприятие, «еще один вариант фильма ужасов». И хотя события в фильме показаны не в плане осуждения пороков общественной и экономической системы США, хотя наивны и доверчивы герои, тем не менее демонстрация такого фильма на телеэкранах — явление безусловно положительное, так как миллионы американцев увидели правду о рабских условиях труда американских поденщиков. Возможно, посмотрев такой фильм, люди задумаются над тем, что же на самом деле представляет собой американский «рай».

[illegible]

ПЛАМЕННАЯ ДУША

В кинотеатрах Хельсинки состоялась премьера фильма «Пламенная душа», посвященного жизни замечательного финского революционера и писателя, зачинателя финской пролетарской литературы, зверски убитого белофиннами в 1918 году, Майю Лассила.

Фильм, съемки которого проходили в Финляндии и СССР, создан молодыми талантливыми режиссерами Пирью Хонкасало и Пекка Лехто. В главной роли — известный финский актер Аско Саркола, которому, по мнению рецензентов, удалось создать живой, впечатляющий образ революционера.

Фильм рассказывает о полной опасностей и борьбы жизни Лассила, начиная с того момента, когда он бежал из Петербурга в Финляндию после участия в покушении на министра внутренних дел царского правительства Плеве в 1904 году. Поселившись в Финляндии, Лассила стал работать учителем, всерьез занялся литературным творчеством. За эти годы им было написано несколько романов и множество статей. Главными темами его творчества стала тема интеллигенции в революции и отношение к насилию как методу революционной борьбы.

«Хотя Лассила в принципе отрицал насилие, — рассказывает Аско Саркола в интервью газете «Ню тид», — после долгой внутренней борьбы он пришел к выводу, что гуманист должен прибегать к нему как к способу защиты своих идеалов. И поэтому Лассила присоединился к красным, когда они взялись за оружие. Этот поистине замечательный человек доказал, что он подлинный финский патриот».

Когда пал красный Гельсингфорс, у Лассила была возможность бежать из города, но он остался в нем, чтобы отредактировать номер коммунистической газеты «Тюёмвес».

Майю Лассила, представитель прогрессивной финской интеллигенции, отстаивающий интересы рабочего класса, был зверски убит белофиннами в 1918 году.

«Я восхищаюсь мужеством этого человека, — продолжает свой рассказ А. Саркола, — своим жизненным подвигом он еще раз показал, что в решающих для жизни своего народа ситуациях интеллигенция не может оставаться в стороне».

«Создателями фильма, этого подлинно эпического

полотна», отмечает А. Саркола, была проделана огромная работа по сбору материала о жизни Лассила и о событиях тех лет, ведь они поставили перед собой нелегкую задачу — «воссоздать подлинный образ Лассила, которого современная буржуазная историография рисует как некоего безобидного бытописателя и создателя пасторальных сценок из народной жизни». Думается, что с этой задачей они справились, отмечает рецензент.

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1980 ГОДА

Гонкуровская премия присуждена Иву Наварру (род. в 1940 г.) за роман «Зоосад» (изд-во «Фламмарион»).

Роман «Зоосад», как и большинство произведений Ива Наварра, посвящен распаду буржуазной семьи. Семья крупного буржуа Анри Пруйяна распадается вследствие преступления, совершенного по воле ее главы и при попустительстве ее членов. Анри Пруйян метит в министры. Опасаясь, что поведение младшего сына, не укладывающееся в общепринятые рамки, может скомпрометировать его, Анри Пруйян отправляет сына в больницу, где под предлогом удаления несуществующей опухоли Бертрана, двадцатилетнего юношу яркой одаренности, подвергают лоботомии. Последствия операции оказываются катастрофическими — Бертран превратился в дебила. Отец благополучно стал министром и достиг больших высот в своей карьере. Бертран тем временем живет под присмотром слуг в загородном имении. Постепенно семья Пруйянов распадается, потому что каждого ее члена преследует сознание непоправимости содеянного и своей вины, ибо никто из них не подумал защитить Бертрана. Все разъезжаются подальше друг от друга, и старик отец остается в одиночестве.

«Ив Наварр изображает семью, порожденную адской машиной нашего общества, семью, обрекающую своих детей на духовную смерть», — пишет Ален Пуарсон в «Революсьон».

Критики «Юманите» и «Юманите диманш» считают, что «Зоосад» отнюдь не является лучшим романом Ива Наварра и в еще меньшей степени — лучшим из французских романов 1980 года. По мнению критиков «Монд» и «Фигаро», в присуждении Гонкуровской премии Иву Наварру немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что издательство «Фламмарион», где публикуются книги писателя, не получало этой премии целых тридцать пять лет. Выбор жюри, возможно, был связан с желанием выйти за пределы круга издательств, которые обычно делят между собой премию Гонкуров: «Галлимар», «Грассе» и «Сёй».

Премию Ренодо получила писательница Даниэль Сальнав за роман «Двери Губбио» (изд-во «Ашетт»). Ее первая книга «Пейзаж с руинами и персонажами» была опубликована в 1975 году.

Роман «Двери Губбио» написан в форме дневника. Его ведет преподаватель музыки в одной из стран Восточной Европы (город и страна, где он живет, не названы), взявший отпуск для того, чтобы написать задуманное им музыкальное произведение. Записывая в дневнике свои мысли и сомнения, он постепенно приходит к выводу, что его истинное призвание — не музыка, а литература, и принимается за создание биографии недавно умершего знаменитого композитора. Материалы биографии перемежаются с размышлениями и воспоминаниями автора дневника о своем прошлом, своей любви, об искусстве и о быстротекущем времени, а также беседами с археологом, который пишет книгу об античном искусстве. По мнению Бертрана Пуаро-Дельпеша, рецензента газеты «Монд», роман Сальнав представляет собой образец великолепной по стилю прозы; в нем высказаны глубокие мысли об искусстве и о времени. Ален Пуарсон в «Юманите», признавая литературные достоинства романа, с сожалением отмечает наличие в нем двусмысленных политических и идеологических намеков при описании образа жизни обитателей одного из городов, находящегося в Восточной Европе.

Премия Медичи впервые в истории премий присуждена одновременно двум писателям — Жан-Люку Бенозильо и Жану Лаугу, которые в ходе многочисленных туров голосования неизменно получали одинаковое количество голосов. Жан Лауг опубликовал заявление, в котором отказался от премии, заявив, что «...достоинство литературы... не допускает никакой иерархии, а премии создают искусственную иерархию». Жюри Медичи не приняло отказа, заявив, что «выбор жюри определяется литературными достоинствами произведения, а не личными желаниями автора».

Жан Лауг родился в 1945 году. Он автор многочисленных романов. Роман «Считалка Хайтов» (изд-во Галлимара), по признанию самого автора, написан под влиянием произведений Агаты Кристи. Однако, по мнению критика газеты «Фигаро» Кристиана Крессара, книга Лауга отнюдь не является подражанием, ибо автор вводит читателя в лабиринт своего сюжета рукою мастера.

Жан-Люку Бенозильо премия Медичи присуждена за роман «Исповедь в туалете» (изд-во «Сёй»). Писатель родился в 1941 году в Швейцарии. Публикует свои произведения с 1972 года.

Герой романа «Исповедь в туалете», оставшийся без работы и покинутый семьей, вынужден перебраться в тесную комнатушку под самой крышей. Ему некуда поставить свое единственное достояние — двадцатипятитомную энциклопедию, и он добивается разрешения разместить ее в общем туалете. Туалет становится его кабинетом для чтения, что вызывает негодование соседей. Он подвергается преследованиям,

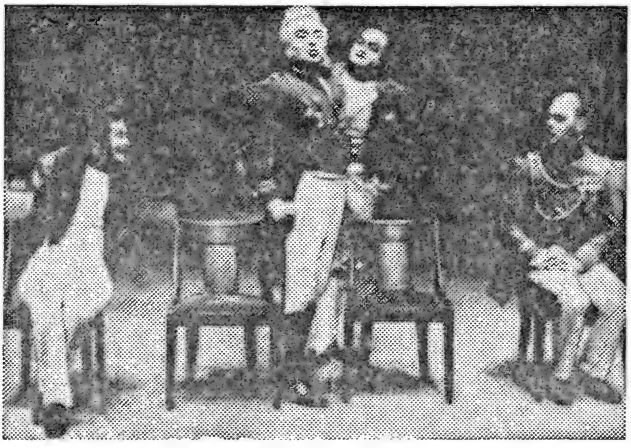
особенно со стороны соседа по лестничной площадке, бывшего охранника в концлагере. Расизм, грубость и любовь к порядку делают его похожим на нацистского палача. «В книге «Исповедь в туалете», — пишет критик «Монд» Жаклин Пьятье, — Бенозильо использовал все виды иронии, от самых тонких до самых грубых, и создал в высшей степени своеобразный роман, свидетельствующий о расцвете юмористического таланта автора».

Премия Медичи за иностранный роман присуждена южноафриканскому писателю Андре Бринку за книгу «Белый, сухой сезон». Первый роман Бринка «В темноте ночи», разоблачающий бесчеловечность системы апартеида в ЮАР, вышел в 1974 году. Книга была запрещена на родине писателя, а сам он был взят под надзор полиции.

Герой романа «Белый, сухой сезон», далекий от политики белый преподаватель, старается разобраться в причинах гибели своего черного садовника, который в свою очередь пытался узнать о судьбе своего сына, исчезнувшего во время волнений в Соуэто. В отместку за интерес к делам черных полицейские власти бесцеремонно вторгаются в частную жизнь ни в чем не повинного преподавателя, всячески стараясь его запугать. Роман Бринка — пламенное выступление в защиту прав человека в ЮАР.

Премия «Фемина» присуждена Жослин Франсуа за роман «Сыграй нам Эспанью» (изд-во «Меркюр де Франс»). Писательница начала публиковаться в начале семидесятых годов. «Сыграй нам Эспанью» — произведение автобиографическое, о детстве и юности автора, прошедших в Лотарингии, в католической школе-интернате с исключительно суровым режимом.

Премию Энтералье, которая присуждается писателям-журналистам, получила Кристина Арноти за роман «Все шансы плюс один» (изд-во «Грассе»). Ее первая автобиографическая книга «Мне пятнадцать лет, и я не хочу умирать» вышла в 1952 году. Роман «Все шансы плюс один» — это, по определению критика «Монд», «комедия политических нравов». В романе изображен депутат-реакционер, использующий любые средства для достижения своих карьеристских целей. В образе молодой девушки, с которой он завязывает любовную интригу, воплощено «отвращение молодежи к демагогическим приемам политиков», пишет «Юманите». По свидетельству прессы, портретам политических деятелей, изображенных в романе, приданы черты реально существующих персонажей сегодняшнего политического мира.



Известный французский режиссер Витез поставил в театре Иври комедию Гоголя «Ревизор». В спектакле, по словам театрального рецензента «Юманите» Жана-Пьера Леонардини, явственно ощущается влияние Мейерхольда, как в самой постановке, так и в трактовке характеров. Ж.-П. Леонардини особо отмечает игру Пьера Виаля, исполнителя роли Городничего. В интерпретации Пьера Виаля гротескная фигура этого персонажа утрачивает свои комические черты и остается лишь воплощением острого социального зла.
На снимке: сцена из спектакля «Ревизор».
(Газета «Юманите»)

ФРГ

АНТИФАШИСТСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

«Замлюнг» по-немецки значит собрание, сборник, в переносном смысле — собирание сил. Под таким названием в 1933—1935 годах выходил антифашистский литературный журнал (под редакцией Клауса Манна), в котором сотрудничали видные писатели Европы. Под этим названием выходит теперь ежегодник, посвященный проблемам антифашистской литературы и искусства. Редактор сборника, публицист и педагог Уве Науман писал в передовой статье первого выпуска: «Замлюнг» хочет внести вклад в последовательный, действенный анализ фашизма и борьбу против него. И притом в специфической области, особенно важной для сознания людей; предмет внимания ежегодника — все формы художественной трактовки фашизма как в историческом, так и в актуальном плане. Произведения антифашистской литературы, кино, изобразительного искусства будут здесь изучаться и обсуждаться...» Ежегодник следует этой программе. В круг его авторов входят известные литературоведы, писатели, публицисты ФРГ, ГДР, США и других стран, а также деятели театра и кино, преподаватели средней и высшей школы. «Замлюнг» не замыкается в рамки немецкой тематики — он систематически уделяет внимание, в частности, литературному и художественному творчеству чилийских антифашистов. Но

главным образом в «Замлюнг», естественно, идет речь о прогрессивной немецкоязычной культуре, о творчестве писателей-антифашистов разных поколений, от Генриха Манна до Петера Вайса.

Ежегодник уделяет много места таким оперативным формам публицистики, как обзоры книжных новинок, «круглые столы», анкеты, дискуссии, в ходе которых сопоставляются разные точки зрения. Авторы «Замлюнг» дружно, энергично, настойчиво борются против различных проявлений неонацизма в области идеологии и культуры. Вместе с тем на страницах ежегодника подвергаются резкой критике тенденции так называемого «беспомощного антифашизма», воззрения на фашизм как на явление иррациональное, непознаваемое и неискоренимое. Богатство материала, содержащегося в первых трех выпусках ежегодника, идейная острота, актуальность проблематики — все это завоевало новому изданию растущую популярность.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОБЕГИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ

На чехословацких киноэкранах появился новый фильм режиссера Яромила Ireша (сценарий Павлы Фиалы) «Побеги домой». Парадоксальное название картины весьма точно раскрывает ее содержание. Герой фильма 12-летний Гонзик действительно совершает неоднократные побеги от своих приемных родителей (Михала и Марии), стремясь найти «настоящий» дом и «настоящих» отца и мать. Во время скитаний к Гонзику приходит прозрение, и его последний «побег» — это возвращение домой, к тем, которые его воспитали, любят и которые, как он наконец-то понял, и есть его самые настоящие родители.

Вдумчивое раскрытие характеров героев, правдивое изображение сложных семейных проблем, стремительность действия и великолепная игра актеров (Мария — заслуженная артистка ЧССР Яна Брейхова, Михал — Ян Каниза, Гонзик — Томаш Голый) обусловили большой успех нового фильма у зрителей. Критика, правда, отмечает «сужение социального фона» картины по сравнению с предыдущей работой Ireша — фильмом «Молодой человек и белый кит».

На снимке: заслуженная артистка ЧССР Яна Брейхова в роли Марии.

(Журнал «Кино»)

ШВЕЦИЯ

«ПУТЬ ТУДА И ОБРАТНО»

Ежегодно шведское издательство «Рабен ок Шёгрен» проводит конкурс на лучшее произведение на тему «Обычный день».

В 1980 году победительницей конкурса стала писательница Моника Баррвик, чей роман «Путь туда и обратно» подробно разбирается на страницах авторитетного литературного журнала «Свенск литературтидскрифт».

Роман «Путь туда и обратно», — пишет рецензентка журнала Ингрид Неттервик, — проникнут подлинным гуманизмом. Это — крик души человека, живущего и страдающего в мире, где все слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на тех, кто нуждается в помощи».

Роман представляет собой «сцены из супружеской жизни» его главных героев — Марии и Пэра, человека с больной психикой. В центре повествования — трагедия женщины, чей обычный день складывается из неустанных попыток «выйти» к своему мужу, облегчить его страдания.

Печальна история жизни супругов. В счастливом поначалу замужестве Мария тщетно искала спокойствия — того, чего ей так недоставало в детстве. Но Пэр все более замыкается в себе, и Марией овладевает отчаяние, которое в конечном итоге толкает ее на самоубийство.

Хотя повествование ведется от третьего лица, писательнице, которая с большим мастерством проникает в психологию своих героев, удается создать эффект присутствия, дать читателю почувствовать гнетущую атмосферу семьи Марии и Пэра.

Но Моника Баррвик не довольствуется созданием «истории болезни» своих героев. Описание их психического состояния от-

нюдь не самоцель писательницы. Она пытается объяснить причины, приведшие к тому, что ее герои не смогли найти путь друг к другу и к нормальной жизни.

Причины этого она ищет и в прошлом своих героев (тяжелое, безрадостное, нищее детство Марии и семья холодных, не способных на любовь родителей Пэра), и в их настоящем (равнодушие окружающего их общества).

«Это беспощадная критика общества, которое тратит всю свою энергию на решение лжепроблем, создает себе ложных кумиров и забывает о самом важном — о человеке... «Несмотря на мрачное содержание, роман имеет большое воспитательное значение. Он призывает всех нас внимательнее относиться к окружающим, стремиться понять друг друга, прийти в нужную минуту на помощь, словом, открыть свои сердца для любви», — заключает рецензентка.

Актуальность затронутых в романе проблем, типичных для современного буржуазного общества, его явная критическая направленность и бесспорное мастерство писательницы принесли ей первую премию в конкурсе и сделали «Путь туда и обратно» заметным явлением в культурной жизни страны.

НОВЫЙ ФИЛЬМ КЭЯ ПОЛЛАКА

Шведский режиссер Кэй Поллак, известный советскому зрителю по фильму «Элвис! Элвис!» (фильм демонстрировался на X Московском кинофестивале), поставил новый художественный фильм «Остров детей».

Герой картины — одиннадцатилетний Райне Ларссон — остается на летние каникулы один. Он предоставлен самому себе и вынужден решать «взрослые» проблемы — как заработать деньги, где найти работу. Райне пытается поступить в театральную труппу, однако проваливается на экзамене. Но главное для него — найти друзей, и в поисках друзей Райне общается с самыми разными людьми — хорошими и плохими. Лето подходит к концу, и это время не прошло бесследно для героя фильма. Райне понял, как трудно отыскать близких тебе людей и как нелегко найти свое место в жизни.

На снимке: Томас Фрюк в роли Райне в фильме «Остров детей».

(Кинобюллетень «Ньюс»)

В интервью, данном кинокритику Ларсу-Олофу Лётваллу, режиссер Кэй Поллак говорит, что его всегда привлекали дети, их многообразная, богатая событиями жизнь. По мнению режиссера, все дети талантливы и их творческие способности безграничны. Однако, считает режиссер, фильмам для детей уделяется недостаточно внимания, и в количественном отношении они значительно уступают фильмам для взрослых.

«Остров детей» — фильм о детях, об их стремлении к человеческому общению, стремлении найти свое собственное «я».

ЮАР

ИСКУССТВО В БОРЬБЕ

«Извержение красок и ритмов, жизнерадостности и оптимизма», «Прекрасное, яркое... событие», — вот отдельные отзывы критиков на прошедшие недавно в Дании гастроли южноафриканского художественного ансамбля «Амандла». В составе ансамбля двадцать восемь человек, все они — участники освободительного движения, вынужденные покинуть пределы родины вследствие политических преследований.

В недавнем прошлом официальные власти ЮАР неоднократно отправляли в заграничные турне танцевальные группы с целью пропагандировать расистский режим, показывая миру «счастливых» африканцев, «примитивных детей природы».

На снимке: южноафриканские патриоты — участники ансамбля «Амандла».

(Газета «Ланд ог фольк»)

Творчество независимого ансамбля «Амандла», побывавшего уже во многих странах мира, — пример успешного синтеза традиций народного искусства и современной тематики. «Амандла» открывает зрителю Южную Африку сегодняшнего дня: тяжелую работу горняков, преступность бедноты в крупных городах, произвол полиции, коррупцию. Но наряду с этим «Амандла» призывает к борьбе против угнетения, апартеида, призывает к оружию и активным действиям.

«Амандла» показывает порабощенных, но непокорившихся людей. Боевые песни, которые звучат в исполнении ансамбля, танцы трудового народа — все это создает убедительный образ борющейся Южной Африки.

ЮГОСЛАВИЯ

НАГРАДА — ПИСАТЕЛЮ

Одна из высших наград Социалистической Федеративной Республики Югославии — премия АВНОЮ (Антифашистского веча народного освобождения Югославии) — присуждена по случаю национального праздника — Дня республики известному хорватскому драматургу, литературному и театральному критику, академику хорватской Академии наук и искусств в Загребе Марияну Матковичу. Этой наградой отмечен большой вклад писателя в развитие социалистической культуры Югославии.

Свой творческий путь М. Маткович начал еще до второй мировой войны. Его первая пьеса «Случай гимназиста Вагнера» была принята к постановке загребским Национальным театром, но после нескольких представлений цензура королевской Югославии запретила ее как произведение, «подрывающее основы существующего строя».

После освобождения Югославии М. Маткович опубликовал драматические циклы «Хоровод смерти» (1955), «Боги тоже страдают» (1962). Пьесы М. Матковича широко ставятся на югославской сцене.

М. Маткович — автор ряда работ по общим проблемам истории литературы и изобразительного искусства. Основное внимание Матковича-эссеиста уделяет югославской литературе. Его перу принадлежат исследования о Матоше, Джиче, Цесарце. Основное внимание, однако, уделяется творчеству М. Крлежи. М. Матковичу принадлежит также монография о Питере Брейгеле и ряд других работ по истории изобразительного искусства.

Произведения М. Матковича хорошо известны советскому читателю. В 1975 году в СССР вышел сборник его пьес, в который вошли драмы «Ярмарка снов», «В конце пути» и «Раненая птица». В 1976 году журнал «Иностранная литература» опубликовал фрагменты его книги «Американский триптих».

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В декабре 1980 года исполнилось тридцать лет со дня создания «Издательства энциклопедической литературы» в Загребе, которое возглавляет выдающийся писатель Мирослав Крлежа. На торжественном заседании, посвященном этой дате, заместитель директора издательства и заместитель главного редактора «Энциклопедии Югославии» д-р Цецич ознакомил собравшихся с достижениями в деятельности этого единственного в стране издательства подобного рода. Д-р Цецич, в частности, сказал: «Невозможно говорить о нашей работе, не упомянув имени Мирослава

Крлежи, крупнейшего литератора, человека поистине энциклопедических знаний. Крлежа — не только инициатор и организатор энциклопедических изданий. Он собрал вокруг себя самых способных сотрудников, выдвинул долгосрочную программу работы издательства. Крлежа, отдавший семьдесят лет своей жизни служению революционной литературе, участвует во всех наших начинаниях».

Коснувшись планов на будущее, д-р Цецич рассказал о подготовке второго издания энциклопедии Югославии, первый том которого вышел в свет накануне юбилея. Новое издание энциклопедии вызывает большой интерес как в самой Югославии, так и за ее пределами. Оно выйдет в свет на языках всех народов и народностей многонациональной СФРЮ. Как подчеркнул д-р Цецич, перед авторским коллективом стоит важнейшая задача — дать объективный, марксистский анализ общественно-политического, культурного и экономического развития народов Югославии в прошлом и настоящем. Особое внимание будет уделено биографиям тех деятелей югославской культуры, которые своей революционной, научной и творческой деятельностью заложили основы сегодняшних достижений. Среди них Цецич назвал имена писателей и критиков, таких, как Крлежа, Андрич, Цанкар, Караджич, Негош, Прешерн, Назор, Видмар, Скерлич.

Большое место в издании займут материалы, посвященные жизни и деятельности основателя новой Югославии, покойного президента СФРЮ, Председателя СКЮ Иосипа Броз Тито.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 04.01.81. Подписано в печать 13.02.81. А 04551. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,71.

Тираж 527 500 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 101.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

РАКЕЛЬ ФАБРЕГА. Испания.
Портрет

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394